ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения **№ 3 | 2017**

Светлана Соловьёва | Окно | 100 × 70 | 2016

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2017

В номере

ДиН память
Юрий Беликов
3 Непрядва Евгения Евтушенко
Валентин Курбатов
6 Жизнь назад
Роман Солнцев
12 Бог с вами и со мной
Владимир Шанин
14 О Сибири — с любовью
Валерий Черкесов
20 Осознанный путь

ДиН ревю
Сергей Кузнечихин
11 Седьмая жена Есенина
Владимир Яковлев
151 Стихотворения
Татьяна Некрасова
171 Трудовая книжка
Елена Тимченко
193 Муха

ДиН артефакт
Максим Ершов
19 В прошлый век
Анатолий Бимаев
152 Человек-птица

ДиН пародия
Евгений Минин
23 Под скрип ключа…
33 Сор из избы
145 Страхи поэтической тропы

ДиН диалог
Юрий Беликов,
Михаил Бажутин
24 Песни из чёрного чемодана

ДиН ирония
Дмитрий Трушкин
28 Серость океана

ДиН стихи
Владимир Шемшученко
29 На златом крыльце
Сергей Слепухин
32 Труба играет человеком…
Владимир Скобцов
34 Я родился в Донецке
Андрей Галамага
36 Замоскворечье
Анатолий Субботин
38 Страшные сказки
Эльдар Ахадов
172 Вращение Земли
Никита Брагин
174 Толкование печалей
Галина Булатова
176 Все автобусы — братья
Александр Габриэль
178 Кроссворд

ДиН очерк
Лев Алабин
41 Огольцы

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Марина Саввиных
64 Пять дней без интернета, или Февральские радости Москвы и Иванова

Александр Роваев
68 Ненаписанный рассказ

Виктор Соколов
72 Простор и воля

Дмитрий Лакербай
74 Реки посередине…

Лариса Щасная
76 Стою на земле

Марина Москалёва
77 Будни города Энска

Вероника Алеева-Недоброво
78 Твой дождь

Д*и*Н РОМАН

Александр Астраханцев
79 Хроника потерянных

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Марат Валеев
137 Ломоть хлеба с салом

Ирина Ивaськова
146 Шурочка

Татьяна Долгополова
183 Майк

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лиана Алавердова
180 Тень города

Вера Харченко
184 Продлить звучание стиха

Д*и*Н САТИРА

Дмитрий Косяков
187 Спасти Россию

Д*и*Н ДЕТИ

190 Лето Господне

194 Д*и*Н АВТОРЫ

Юрий Беликов

Непрядва Евгения Евтушенко

Его хотели бы переоблачить и те и эти. Одни — во фрак, другие — в нечто из домовыстроченных телаг. Однако он продолжал раздражать всех своих возможных и невозможных переоблачителей: выбирал броские, радужные цвета. Когда я склонился к нему, прощаясь, во время отпевания в переделкинском храме, то не без некоторого удивления и одновременно не без внутреннего согласия разглядел, что на нём — небесного цвета галстук. Словно вещественное переложение пастернаковского перевода из Бараташвили:

Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал…

Была ли на то воля почившего или преображённое преломление горькой радужки его вдовы Маши — не ведаю. Но, готовясь уйти — телом в землю, а душой — в небеса, он предпочёл оставаться самим собою.

Евгений Евтушенко был самым русским поэтом из западников и самым западным из русских поэтов. Перечтите его поэму «Непрядва» образца 1980 года, мускулисто-упругую, до сих пор ослепляющую плотницким мастерством, но в силу разных причин оттеснённую другими поэтическими полотнами, такими как «Братская ГЭС», «Казанский университет», «Под кожей статуи Свобода», «Мама и нейтронная бомба», в открывшиеся язвы которых ныне с обожанием вкладывают шустрые сетевые персты евтушенковские аккомпаниаторы от Егора Холмогорова до Дмитрия Галковского. Но именно в «Непрядве» её автор сам задаёт этот вопрос — об «идентификации» — себе и своим записным оценщикам:

Здесь, у пахнущих зеленью запаней,
сам себя я остановил…
Кто я —
западник?
Славянофил?

О, совсем неспроста наш общий собрат Леонард Постников, основатель и главный хранитель уральского града Китежа — беспримерного Парка истории реки Чусовой под открытым небом, искрясь следопытской осведомлённостью, сперва отыскал, а затем к приезду именитого гостя изготовил в местной типографии своего рода чудесную ловушку-прокламацию — оттиск наиболее выпуклого куска из его «Непрядвы» (почему не из «Наследников Сталина» или, скажем, не из «Подписантов»?). Чем, очевидно, озадачил Евгения Александровича, который, возможно, полагал, что о той поэме мало кто помнит, хотя он в ней, между прочим, явил не на ветер брошенные слова:

Невозможно быть русским,
Непрядву сочтя за ручей.
Не любя свой народ,
не полюбишь ничей.

Однако Постников отпечатал и вручил поэту строфы его «Непрядвы» как вещественное доказательство: «Я пришёл к тебе, Куликово поле». А раз доказательство предъявлено, отступать-то некуда — позади «Непрядва».

Тогда — зимою 1997 года, когда тонкие стены дощатого домика, где мы были определены здешним хозяином на постой, подпирал 40-градусный мороз, тем не менее, пройдя в долгопятой шубе по возведённой Леонардом «улочке русского сопротивления», по пути вбирая взором крестьянские дома, часовни, кузню и ветряную мельницу, Евтушенко ошарашил, казалось бы, немыслимым для него признанием:

— Да-а, — протянул он, — здесь бы я тоже стал русским националистом!..

— Ну, наконец-то! — воскликнет через годы вечный его антипод, прибывший на постниковский манок другой поэт и главный редактор «Нашего современника» Станислав Куняев, коему я перескажу это наше хожение по погружённому в мороз уральскому граду Китежу, породившее воскрылённую фразу. Сочетание несочетаемого… Особенно, если вспомнить обмолвку Андрея Вознесенского: «Рифмы дружат, а люди — увы…» Но в том-то, вероятно, и нечаянность счастья, что люди шире собственных матричных установок, и недаром Евтушенко-составитель введёт куняевских «Коней НКВД» в стойло отечественной антологии «Строфы века», а «Гудвин» шестидесятничества, «великий и ужасный» Станислав Куняев, узнав, что Евгению Александровичу ампутировали ногу, вздохнёт в телефонную трубку: «Сочувствую!..»

И добавит: «Когда-то мы с Евтушенко вместе играли в футбол…»

И что с того, что один был на том поле левым крайним, а другой—правым крайним?

Улыбается подполковник,
разрывается колокольчик.

И летит в ворота кручёный мяч. И пока что далеки времена вражды рифм.

Но даже когда эта межевая пора наступила, не угасали поистине бесценные признания. Тех, кто не мог погрешить против истины. В их числе—Юрий Кузнецов. «Я как-то в присутствии Поликарпыча начал долбить твоего любимого Евтушенко и Вознесенского в придачу,—вспоминает поэт Игорь Тюленев.—И вдруг Поликарпыч меня пресекает: „Ты, Игорь, не прав. Потому что, благодаря им, на кого ты сейчас замахиваешься, расширился тот коридор, по которому смог пройти я. Иначе бы мне было гораздо сложнее и не известно, как бы всё сложилось…“»

Россия перевешивала в Евтушенко всё то, что вместилось в им самим же отлитую формулу: «Поэт в России больше, чем поэт». Перевешивала интернационализм, права человека, метания «между городом Да и городом Нет», памятное всем и, казалось бы, самосожженческое отрицание рубежей:

Границы мне мешают…
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка,

перевешивала даже возлюбленных женщин, несмотря на впечатляющие рокировки:

Ты ведь стала моей Россией
за которую я живу!

На заре собственного творчества Евтушенко написал последнее стихотворение. Я не оговорился: последнее—не по дате, ибо родилось оно в 1965 году, а по метафизической сути. Сей феномен—последнего стихотворения—глубоко изучил живущий в Екатеринбурге поэт Юрий Казарин, посвятивший этому литературному таинству одноимённую антологию. А стихотворение общеизвестно—«Идут белые снеги…» И в нём, конечно же:

Пусть я прожил нескладно
для России я жил.

И—тот знаменитый финал:

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

Это—всерьёз. А вот—то ли всерьёз, то ли в шутку: «Моя фамилия—Россия, а Евтушенко—псевдоним». Всё это, если хотите, было своего рода приноравливанием, но 1 апреля 2017 года, в день его физической кончины, произошло отождествление, замещение образов. Наступил тот самый, из пастернаковского Бараташвили,

лёгкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.

Человек-поэт стал окончательной Родиной многих. Впрочем, не нынешней, а, скорее всего, Родиной тех, кто оплакал её, как и он, прочтя его «Прощание с красным флагом»: «Я—не из „коммуняк“, но глажу флаг и плачу».

При жизни Евгений Евтушенко был государством, причём даже не государством в государстве, не матрёшкой в матрёшке, не троянским конём, внутри которого засадной полк воеводы Боброка, а государством, отдельно взятым, могущим заключать мир и объявлять войны. Один из недавних примеров—декабрь 2015 года, во время VI Международного конгресса «Русская словесность в мировом культурном контексте. Итоги года литературы». На этот конгресс, проходивший в Питере, Евгений Александрович вытащил и меня, и себя, перенёсшего ампутацию и травмировавшее его падение в гостинице Ростова-на-Дону. Это была наша последняя с ним встреча, потом—только межконтинентальные (я—в Перми, он—в Талсе штата Оклахома) телефонные разговоры.

Причина «объявления войны» не то что бы существенна (а у войн вообще разве все причины существенны?), но, судя по всему, его задевала. Выступавший на одном из круглых столов конгресса после Евтушенко, призвавшего писателей как просвещённый правитель собственного государства забыть все распри и объединиться, ректор Литинститута, «новый реалист» Алексей Варламов обмолвился, что при всём желании сие объединение не возможно. Вот тогда-то Евгений Александрович и взмахнул скипетром: «Я объявляю вам войну!»

На другой день после его отъезда из северной столицы главред «Знамени» Сергей Чупринин, возвращаясь к дискуссии, классифицировал: дескать, как это по-русски: сначала призвать писателей к объединению, а потом объявить одному из них войну!

Но ведь и чупрининский укор по большому счёту—в плюс Евтушенко. Это—всё к тому же вопросу об «идентификации»: не только в поэтическом, а и в «государственном» своём воплощении Евгений Александрович всё делал «по-русски». Он и книги мне свои подписывал так: «Очень русскому поэту…». Значит, определение «русский» и даже «очень русский» не было для него заставочно-бутафорским, как это временами тщатся представить.

Помню возмущение Евтушенко, когда он наткнулся на веселящую, как, видимо, представлялось некоему остроумцу, подпись под одним

из снимков в «Литгазете», где поэт был запечатлён в привычном для него, но для кого-то «провокативном» цветистом одеянии. Подпись буквально торжествовала: «Заокеанский гость». Это он-то «заокеанский», всякий год, как только выкраивалась возможность оторваться от преподавания курса русской поэзии американским студентам, как десантник, забрасывающий себя для энергообмена и взаимной нужности не только в громкие российские города, но и в «медвежьи углы» собственной Родины, чему я свидетель?!

Знаю, как Евгений Александрович, сетовавший: «Пермь вдруг стала для меня недоступна ещё с разрушителя классических традиций Гельмана», рвался приехать в село Постаноги Пермского края, где жил и творил учитель истории Валерий Возженников, чьи стихи, «останавливающие драки», он включил после внезапной смерти их автора в антологию «Десять веков русской поэзии». Как хотел навестить в Чусовом могилу «возвратившего» ему «Непрядву» Леонарда Постникова. Как упорно — на протяжении двух последних лет — пытался помочь вашему покорному слуге, проведав, что по милости местных олигархов, перетягивающих друг у дружки ветхое одеяло пермской, столетней выдержки, газеты «Звезда», где начинал работать ещё Аркадий Гайдар, я оказался без средств к существованию и, по сути, отлучённым от публикаций. Эх, если бы не помощь друзей!.. И, поскольку Евгений Евтушенко был и оставался до последнего дня явлением державообразующей силы, дипломатическая служба в его лице не утихала — пермский губернатор удостоился, по меньшей мере, двух его требовательных писем в мою защиту, не считая телефонных звонков. В ответ — клятвенные заверения и расшаркивания перед всемирно известным главой государства по имени Евтушенко.

Все последние наши телефонные разговоры (прежде мы читали друг другу новые стихи: он — свои, я — свои) начинались с неумолимого, точно выпад мушкетёрской шпаги, вопроса Евгения Александровича о том, что предпринято губернатором и краевым министром культуры по моему поводу. «Неужели до сих пор даже никто не позвонил?» — недоумевал он. Мне не хотелось огорчать своего старшего друга, потому что я понимал: Евтушенко обманули. А он, в свою очередь, не мог не осознавать, что его государственному престижу нанесён урон, если не оскорбление. Хотите верьте, а хотите — нет, но вскоре в Перми был сначала снят с должности министр культуры, а затем отлучён и губернатор… Или так распорядились небесные сферы? Или всё-таки с Евгением Евтушенко не стоило шутить, будто с карликовым государством?

Дальше — цепная реакция мировых сгущений: 1 апреля останавливается сердце поэта; 3-го числа происходит теракт в санкт-петербургском метро; 4-го — химическая атака в сирийской провинции Идлиб, кто бы к ней не был причастен; 7-го — ракетный удар США по авиабазе Башара Асада Шайрат; в тот же день грузовик врезается в толпу в центре Стокгольма; 9-го апреля — взрывы в коптских церквях египетских городов Тампа и Александрия; сжимается в сплошной комок мышц корейский полуостров; ввысь и вширь полыхают леса Сибири, и на фоне этих пожаров — скупое новостное уточнение: «В городе Зима огонь уничтожил половину строений…» Последнее — как эпиграф к евтушенковскому стихотворению:

> Если суждено мне вновь родиться,
> то опять — на станции Зима.

Называйте это, как угодно: случайным совпадением, стечением обстоятельств, но нельзя не заметить: до момента кончины поэта Евгения Евтушенко подобной концентрации бесчеловечности и горя за короткий отрезок времени в Человечестве было, по крайней мере, в разы меньше. Словно прорвало гигантскую плотину, доселе удерживавшую всю накопившуюся событийную тяжесть. И действительно перестало существовать некое государство, с каковым считались. Говорят, поэт умер во сне, и мне всё чаще представляется: то, что случилось после остановки его безграничного сердца, есть сон — продолжающийся и страшный, не дающий ему покоя. То ли мне показалось, то ли на гражданской панихиде в ЦДЛ так падали отсветы с экрана, на котором менялись кадры с фотоснимками Евтушенко, но через день после его отпевания, предшествовавшего панихиде, до этого сосредоточенное и как бы направленное в себя лицо поэта было измученным.

> Уже перешагнув XXI столетие, он ощущал:
> Сам я забыл, как зовусь я по имени.
> Я бы хотел, чтобы звали Россией меня.

Произошло ли, как я написал выше, это отождествление, это замещение? Произойдёт ли? Для кого-то — да. Для кого-то — нет. Однако на то и тайна, что она призвана всё неотвратимо поменять. Долго ли, коротко ли, но мы об этом узнаем. А пока взойдём заново на высокий берег его поэмы о Куликовом поле, спустимся по течению в самые её низовья и проследим, куда впадает она, евтушенковская Непрядва:

> Что в запасе ты держишь, Россия?
> Чьи там лица за чащей густой?
> Там, Бояны, ещё молодые,
> новый Пушкин и новый Толстой.
> И шепну я потомкам:
>   «Я с вами…» —
> у лошажьих трепещущих морд,
> и я встану к потомкам под знамя,
> под его
>   куликовский развёрт…

Валентин Курбатов

Жизнь назад

(Дневник одной старой поездки)

«Дни поздней осени бранят обыкновенно», как замечал Александр Сергеич, а между тем и в ней есть нежданное утешение. Полезешь в своей «поздней осени» в дальний угол антресолей, которые выполняют в наших домах роль пыльного чердака, а там завалится за старые папки какой-нибудь бедный блокнот из тех канцелярских пустяков, которые рождались в советские дни из типографских отходов—крошечные в ладонь с самой бедной бумагой. На обложке окажется чей-то телефон из ушедших из памяти, а то и из жизни, какое-то уже ничего не говорящее имя.

Автоматически, почти со скукой откроешь, готовясь тотчас в смущении захлопнуть и отправить обратно в забвение (ну что мы могли думать и писать в то выцветшее время?). А там окажется дневник твоей поездки к Астафьеву, когда он только-только оставил Вологду (Марья Семёновна ещё оставалась там) и воротился в родную Овсянку, куда собирался сразу после войны, да обстоятельства и история смиряют наши желания, и собрался вот только в 1981 году. И значит, дневнику 36 лет.

Кинешься уже с интересом: ну, думаешь, что же это была за невозвратная жизнь? Ещё Советский Союз до небес и никому в голову не придёт, что его не будет. А вот смотрю—записи бедны, повседневны, случайны. И будто не к великому писателю приехал, а так—к старшему товарищу, обманываясь тем, что я в отрочестве, а он в юности, едва после фронта, жили в одном городе и тем отчасти «уравнены». Тем более я уже писал о нём, был рекомендован им в Союз писателей и уже два года был в этом Союзе. Чего тут особенно-то пристально глядеть—командировка и есть командировка. Благо данная из щедрости—без обязательности отчёта (кажется, командировала ленинградская «Аврора). Материал я тогда написал», а вот этот позабытый дневник был сором повседневности, «обстоятельствами», в которых тогда складывался материал, просто жизнью рядом, случайной фотографией, какую мы стараемся сделать незаметно, чтобы удержать «воздух» дней. На него глядел и себя не забывал—жизнь ведь.

И пусть так и будет—всё грядущему биографу Виктора Петровича в копилку. Да и самому времени в напоминание, что оно было не всякий день высоко, отчего однажды и повалилось…

16 июня 1981 года

Так и летел в неизвестный пока Красноярск сначала при полоске заката, а потом она перешла без ночи в половину рассвета и в полдвенадцатого стемнело, а в час ночи уже светило солнце. Летел бесконечно, ноги немеют, кажется, этот полёт никогда не кончится.

Вот он—Красноярск.

Скука, холод, и вот неожиданность: впечатление, даже после моего маленького Пскова, глухой провинции. Это в миллионном-то городе. Позвонил. Виктор Петрович дома. Вчера «гулял», но бодрится, смеётся, сыплет, как всегда, анекдотами. То о мужике, который купается в Енисее, а тут вода 9–10 градусов, и вскрикивает от холода:

— Ну, б… евреи, чо делают!

То о вологодской бабе, которая кричит соседке:

— Манька, ты 13-ю зарплату получила?

— Х… я получила.

— А я, дура, деньгам взяла.

Весело рассказывает о своих чалдонах, которые вчера пластались под окнами ножами, пока всех не повязали.

Вечер у художника Андрея Геннадьевича Поздеева. «Лит. Россия» попросила меня написать о нём. Больной, тревожный, искренний. Живопись—чудо! Я сначала по стенкам-то поглядел, что висит, и закис—ну, думаю, что говорить буду, как выкручиваться, а как пошли портреты, как глянули «Читающие», как увидел Аполлинера, «Портрет отца», сирени, пейзажи, войну, стрелков по птицам, так и онемел. Привыкли мы к беллетризму, а тут надо не говорить, а только глядеть. Говорить-то и не о чем, сюжета нет, привычной нашей психологии тоже—только цветные пятна, да жирные линии, только пир мазков, намёки на фигуры. Хотя (если о портрете говорить), всегда видно сразу кто и каков—так верно схвачена цветовая интонация человека.

— Я ведь беспризорник. Весь в наколках. Так бы и по лагерям и пропал.

Оказывается, выручил мужик, который возглавлял их лагерь (вроде Репнина у Астафьева в «Краже», только из КГБшников), краски нашёл, бумагу, дело научил делать. Но вообще спас мало кого—все под откос пошли, а потом и его пустили. Потом

была война, Япония. «Не воевал, но трупы видел, видел, как человек делается падалью и разлагается, а людям хоть бы что, закидают землёй наспех, и всё. Вообще война—это разрешение массового убийства, которое говорит, что человек безобразен».

Поэтому его «Женихи»—это бесцветные матиссовские мальчики, сражённые во время танца на лугу, поэтому его «Новорождённый», ещё кажется, во чреве матери уже обречён в солдаты, а земля—чёрной ямой, набитой касками, лицами, месивом летит во тьму. А пейзажи полны света, ритмы чистые, гармонии определённые, а всё вместе—полно жизни. В хорошем родстве с Минасом Аветисяном, Нариманбековым, Пикассо (как он был поражён его «Авиньонскими девушками», бéгом плоскостей, а потом и нежностью). Всё заглядывает в глаза, извиняется, глядит в себя, ласково и робко, сосредоточенно и глубоко, всё про себя знает, и тайну эту не скажет нигде как в холсте.

Сидел и смотрел без конца, но надобно домой, потому что у меня был ключ, пока Астафьев выступал перед гастролирующим в Красноярске «Современником». Бежал, летел, а он вернулся в полтретьего ночи, пьяный и весёлый, счастливый вниманием к нему:

— Все играли будто одному мне и, кажется, злились, если кто-нибудь кашлянёт,—ишь ты, кашлюн какой, я тебе покашляю.

— Радовался игре, таланту ребят, их доброте и отчаянью, девки ихние на меня поглядывали. Эх.

17 июня 1981 года

С утра прибежал Поздеев. Оказывается, с утра сидел под дверью—пока в 8 не позвонил:

— У вас был магнитофон. Вы, пожалуйста, сотрите всё. У меня пунктик—мне кажется ко мне кто-то ходит. Я это вижу в мастерской. Я что-то врал вам вчера. Я обыкновенный человек и люблю обыкновенную жизнь. Я родился художником. Это моя единственная вина перед обществом. Я не умею делать чеканки, оформлять витрины, писать героев—я только художник. И вижу как вижу. Обо мне разное говорят. Даже придумали термин «большая живопись», а что это—я не знаю. И он не знает. Живопись есть живопись—не большая, не маленькая. Мне уже мало осталось жить. Пора немного обобщать. Я Вам не показывал. У меня большие холсты на полках. Не надо ничего писать. Наше дело—работать, успеть что-то сделать, а слова и слава—это помехи и зло.

Встал Виктор Петрович:

— Жаль Андрюшу, сбился с реалистического пути, чего-то выдумывает.

Похоже, В. П. не любит Андрея, несмотря на ласковые слова. Не любит, потому что не понимает и не поддерживает разговора.

А днём знакомый Виктору Петровичу капитан милиции—китаец—везёт В. П. в город. Всю дорогу в рассказах скокари, домушники, молодечество (спустя пять лет я узнаю это в «Печальном детективе»). Расстались. Я в картинную галерею. Темно, скучно. Отраднее других один Ряузов (один холст) и Андрей (особенно—«Сирень»). Потом заехал в ВТО поглядел целую выставку Андрея—почти не выставка, а живая жизнь холстов—висят хорошо—как тут и были. Очень хороши «Стрелки», «Стихи», «Натюрморт», «Беседа».

Заехал в дом-музей Сурикова—бедно, голо, безжизненно, неуютно. Да ещё дождь за окном—так мёртво показалось—откуда тут удали взяться, где тут «Стрельцы», «Меньшиков»?

Вечером в «Современнике» салтыковский «Балалайкин».

Гафт—мера и чудо.

Кваша—изоврался и извертелся.

Табаков—чистый Чичиков—«не без приятности».

А всё вместе вяло и, несмотря на дерзости, скучно.

18 июня 1981 года

С утра дома. Читал Гоголя, картинки разные смотрел, пытался выхлопотать билет, отбивался от радиожурналиста, который грозился приехать и ждать В. П. дома, боясь что тот уклонится, а беднягу и без того обокрали. Так что если ещё и В. П. не примет, то хоть вешайся. Потом поехал в издательство и как-то всё сразу и сделалось—и поговорили хорошо и с директором, и с главным редактором, и с редакторами, и тут же и договор на книжечку о Викторе Петровиче подписали. Вечером погулял над Енисеем, собрал букет, где оказалась и саранка—цветок действительно ненаглядной красоты и аристократизма, никак не дикий цветок.

Сыграли в шахматы, и я скоро просвистел партию В. П., потом слушали Ульянова и В. П. всё приговаривал:

— Умница, молодец! Большой художник, он и гражданин большой—это уж как пить дать.

Немного хвалится дружбой Ульянова и рад, что тот помянул его в выступлении. Уже перед сном сунул мне почитать письмо какой-то несчастной, сутулой телом и душой молодой бабы, которая понесла ещё девочкой от пионера и теперь жалуется на утрату всех чувств и всякой веры.

19 июня 1981 года

Утром как раз и говорили об этом—о нелюбви и одиночестве. В. П. говорит, что почти нашёл ответ. Он в том, что народ поубежал из деревни, души не успел вырастить и попал под топор города, а что делать—не знает.

Раньше церковь была—можно было на людей поглядеть. Послушать службу—это ведь и душа растёт, и концерт хорошей музыки. Да и праздников было много—то Святки, то Масленица—каждый

со своими ритуалами, игрой, театром. А тут хоть пять театров в Красноярске, так ведь от силы три тыщи сидят за вечер, ну хоть пять, если хочешь, да в ресторанах и кабаках десять а остальные-то куда в миллионном городе? К телевизору! Телевизор — дело одинокое, разделяющее, вот и бесятся по подворотням. Вот и драки, ножи, дурацкое молодечество.

Потом приехали с радио корреспонденты, оба разговорчивые, показные, умничающие, так что скоро В. П. смекнул, что надо куда-то их сбыть, а то жизни не будет. Поехали в Овсянку. Солнце вовсю жарит. Слизнево, Шалунин бык, с которого как на ладони — чудо Енисея и Овсянки вдали, по дороге дом тётки Августы, дачи жлобов из рассказа «Пир после победы». Птичка вылетела «вить — вить» — как тогда — («узнала!»), и он опять сказал ей «привет».

В Овсянке сразу за стол — и гулянье сплошь. Купание в Енисее. Холод, спина дыбом, бабушкин дом, двор, иконы нет, перекреститься не на что.

Мужики на Енисее ловкие умом, хитроватые. Все как один сходятся к В. П.

— Дядя Вить, дядя Вить.

А он посмеивается, советует, поглядывает. Сокрушается, а сосед, порезанный сыном с васильковыми глазами, всё сыну простил, а тот глаза прячет, но, кажется, не стыдится.

Мужики все ему рады.

20 июня 1981 года

Утром холод. Туман над Енисеем. Как на Чусовой, куда он с Марьей Семёновной явился с войны — брёвна плывут, бабы с вёдрами готовят баню с утра, мужики с похмелья вылезли на солнышко, глядят на реку, кашляют, мучаются, но глядят добро и спокойно.

Дома мебельная перестановка. Рассказ рижского гостя Хари Хейслера о том, как он подделывал хлебные талоны в 47-м году и о доброте капитана, проглядевшего забытую на столе копирку на свет, всё понявшего и всё-таки скомандовавшего солдату прекратить обыск — видно, своих детей увидел капитан — одна была беда на всех и один голод. Уж очень видна была несчастная невольность подделки. А вообще Хари весёлый: «Каждое утро „Голос Америки“ сообщает, что Хари Хейслер задыхается в тоталитарном Союзе. Можно, я позадыхаюсь у тебя, Виктор. Пусть завтра скажут, что задыхаюсь в Овсянке. Прославишься».

Вечером баня у Кольчи младшего, дяди из «Последнего поклона», и фотография баушки Катерины Петровны — строгой, высокой старухи и деда Ильи — покойного, как все деды, как мой дед. А старуха — строга — тут не пошутишь, тут затрещина — первый и доходчивый урок.

Короткая прогулка вдоль Енисея с рассказом о смерти матери, утонувшей вон там, зацепившейся косой за бону и выплывшей вон там, у Шалунина быка, на нашем берегу, а вон там, у Караульного на той стороне, я ждал переезда в «Пире после победы».

Зашли на кладбище, где кресты, подкрашенные подсиненными белилами, как потолки в деревенских избах (да и остались белила-то от избы, так что всё родное там и тут), стоят тесной кучкой, и редкие ёлки уже теснят их — бедно, сорно, предсмертно. Кладбище скоро снесут, и В. П. хлопочет, чтобы хоть под огород не давали, а хоть сквер разбили.

Когда шли обратно, три пьяных парня пытались прокатиться на одном мотоцикле без коляски — верхом друг на друге, и их кидало из стороны в сторону, и след в пыли летел с боку на бок, и надо было жаться к забору, чтобы не снесли. У другого забора два мужика, держа друг друга за руки, выясняли отношения, у реки кричат дети. Жизнь к вечеру расходилась. Смотрели футбол. В. П. выказывал обширную осведомлённость в предмете, орал над ухом Хари боевые комментарии.

Совсем уж в сумерках — день долгий — как-то поневоле, от сумерек, что ли, я закинул удочку об одиночестве: как у него тут с ним, с односельчанами, как в деревне после Вологды.

— А ну их сук… Бандитов развелось, не унять. Крови жаждут, затопчут и зарежут. Дождутся войны, побьют друг друга, станут опять ненадолго сентиментальными и добрыми. Девок жалко. Пляшут, прижмутся к своим каким-то пегим мужикам и покуривают — веселье изображают, а тоска так и торчит в глазах — куда денешься, баба-то скорее одумывается, ей не только мужика ей ребятёнка надо, дом, а одной откуда взять.

— Светлого он пришёл искать! (Это всё не успокоится после разговора с корреспондентом.) — А я где ему найду? Пришлось прогнать, наглый такой. Только искатели светлого обычно такие наглецы, они миром и правят.

— В деревне всё моё читают, и никто ещё не укорил в неправде, хотя тут как на ладони, сразу попадёшься.

Бабка Апроня заглянула: «А давеча ты на улке был, дак тут без тебя мужчина в телевизоре с женщиной пели. Он на гармошке играл, а она плясала — ещё вот эдак нога об ногу ударила! Ой, как хорошо! А ты не видал».

21 июня 1981 года

Весь день у Поздеева, выбирал картинку для деревенской картинной галереи, придуманной очеркистом лауреатом Горьковской премии Иваном Васильевым у нас на Псковщине, смотрел портреты (есть великие — ни перед Ван Гогом, ни перед Сезанном, по цвету и психологической правде не потупятся, хотя пишет быстро, да до быстроты-то должен изглядеть всего).

— Цвет должен побеждать плоть (на это потом Астафьев, когда я пересказываю встречу: «Плоть-то уберёшь, а где духу помещаться? — он ведь во плоти живёт, а без него душа в небесах, а на холсте труп» — почему и сердится на Андрея, потому что сам «плоть» очень знает).

Гляжу, как пишет мой портрет, спиной ко мне, так непривычно — видно, высмотрел раньше, знает. Портрет испуганно-тревожен, хотя трещу весело, передразниваю С. С. Гейченко. Рука в воздухе, рот полуоткрыт — видно, что персонаж только и живёт в беседе. Жест точен, хотя волосы зелены, глаза черны, лицо рыже, глаза круглые, испуганные. А потом я увижу его в альбоме — ничего от того, что я видел, ни жеста, ни цвета. Всё переделал. Посадил, сунул книжку в руку, пустил в проповедники — ну да так и есть.

Перед этим ходил по Красноярску, поднимался на смотровую башню, откуда А. С. Попов солнечное затмение наблюдал. Какой огромный и унылый город, не утешенный, кажется, ни одним памятником, ни одной церковью — не попались пока.

Был в Дивногорске — уютном, как какой-нибудь калининградский Светлогорск, — только опять хоть бы одно зданьице не барачного свойства. Берег Енисея поднебесен, прекрасен, сама ГЭС эффектна, скучна, хоть и технически красива — веет бухгалтерией. Любая живая матушкой-природой «сложенная» гора рядом стократ «умнее» этой технической красоты. Видал бурундучка. Астафьев потом:
— Это тебе повезло. Теперь тут звери в редкость, угнали шумом вглубь.

На «Ракете» спустился до Красноярска — всё в блистающем закатном свете — ничего не снимешь, свет прямо в объектив — «родные» быки Шалунин и Караульный с воды особенно мощны и хороши.

22 июня 1981 года

С утра собирались в лес, и днём, наконец, пошли. Цветы со всех сторон — кукушкины слёзы, марьины коренья, венерины башмачки, стародуб на увале. Глаза разбегаются. Не зря Евгений Иванович Носов отказывался от таких походов с Виктором Петровичем в лес «Не могу, — говорит, — по цветам ходить, а тут ногу некуда поставить».

Комары на Фокинской речке усерднее парней, которые сломали скамейку, которую лесник ставит там, чтобы старухам посидеть, повспоминать детство и отдохнуть. Виктор Петрович темнеет.
— Сила-то играет, готовы весь лес повалить, а дома матери полена дров не принесут.

Вечером посидели на Енисее, потом посмотрели репортаж с Белорусского вокзала о Священной войне и В. П. рассказал, как впервые услышал эту песню в запасном полку, когда её наносило ветром с морозного плаца, и первый раз эта пропадающая на холоду и ветре песня дала почувствовать, что идёт война, что она надолго и что она тяжела, и будет ещё тяжелее.

Потом рассказывал отдельные сюжетные ходы романа (весь будет листов в 80, в трёх частях). О Мулярчике и Софе (теперь уж читатели поймут, о ком он. — *В. К.*), романтической любви, о подзуживании Булдакова (из лагерников, который может в голод свистнуть у немцев харч и жрать в окопе — ему что немец, он в лагере под проволоку с током мог пролезть и вологодского охранника — а это тебе не немец — мог обойти), чтобы Мулярчик переспал с Софой. И тот сделал это, к радости Булдакова, и потом погиб, а Софа осталась с сыном на Урале, а сын Феликс — пьяница и негодяй. Медсестра Нелька из красавиц, лихих оторв, которых и солдаты боятся (может на переправе у Дона сорвать бинт с головы красавца и, увидев, что голова его цела, крикнуть ребятам: «Расстреляйте его!» — и его тотчас разорвут). И когда она видит плывущего солдата, который тащит за собой какие-то комки внутренностей, и кровь толчками туманит воду при взмахе его рук, а подплыл вцепился зубами за лодку — и не отцепишь, Нелька сказала: — Ну, если этот выживет, будет мужик!

Они встретились после войны, а потом он её из ревности пырнёт ножом и сядет. Когда же она приедет в лагерь — он гядит на мир уже мёртвой душой:
— Не беспокойся, Нелька, баба у меня тут есть за зоной, хожу — всё как следует. Что тебя пырнул — дурак был, но уже у нас не будет ничего — всё умерло. Вот тут ещё заделаю одного охранника, послужу Родине, и прощай.

Она тоже не жилица. Едет на юг к подруге, а там полковник её части торгует клубникой, и она нарочно не доплачивает ему пятак, так он чуть ей горло не перегрызает.
— Не узнал, полковник, мы же те твои солдаты.
— Мало ли что…

И тут она ему всем стаканом клубники по морде.

А потом гуляла в дым при закрытых дверях и покончила с собой.
— Много будет горя, как его и было много.

Вечером хорошо говорилось обо всём. Ругал Бондарева за «Выбор»: мельчит, копеечничает суетится, под всех лазит, а писать умеет без пижонства одну войну. И из Союза ему бы уйти.

А днём о Белове — злой, того жди укусит. У него мать тоже маленькая, поживёт, ленивая.
— Это что у тебя, Маня?
— Картошка.
— Тьфу на неё! Что бы я… Что тебе Витька картошки не купит?

С Васей часто ругается.

23 июня 1981 года

С утра ездили на Ману.
— Здесь была наша заимка. А тут поля. И ещё сохранился ключ. И лес на этой горе неизменен.

Глаза закрою — всё как в детстве. Тут стоял барак с прогнувшейся, как у старой лошади, спиной. Тут снимали «Перевал», жарили опят, чуть прожарив, дристали все. Я уже наварил им черёмуховой коры и перед началом съестного дня заставил выпить по кружке.

Вдоль Маны, как вдоль Усьвы в Чусовом, — сплав, быстрый бег реки, огромные скалы. Лез наверх по прямой, рискуя сломать себе шею, зато снял вид в обе стороны и на Савельево, где снимали, и на Ману. Обратно — вдоль Енисея пешком через Усть-Ману.

Красиво, но как-то будто позабыто, словно всё тут ненадолго… Вечером увидел у него томик Такубоку. И чуть не засмеялся, прочитав ему:

> Поля продают,
> Дома продают,
> Пьют вино беспробудно…
> Так гибнут люди в деревне моей,
> Что ж сердце тянется к ним?

Во, б…, как про Овсянку и про меня, про моё сочинительство.

Не знаю, как своротили на «Пастуха и пастушку».
— Я мало там объяснил, когда рассказывал, как написал черновик в Быковке «Пастуха и пастушки», без сна за сутки. Тут бы Фрейд больше рассказал о всех комплексах, которыми я был награждён. Любви я тогда (до войны) не знал — раз в кино сходил, да раз с девкой посидел, и она сказала, что даже замужем была, но я тогда не понял, к чему это она. В войну вот переписывался с Шуркой, теперь на Мане её мужик палкой гоняет. А в детстве всё ходил по лесам и мечтал о принцессах…
— Теперь уже не смогу тянуть «Поклон», хотя и мог бы ещё кое-что туда насовать. Выдохся. Теперь надо писать о войне. Тут черта невольничья — пришёл срок — давай! И уж ничего другого не смогу.

Яростная беседа о христианстве — озлобленная на внутреннем огне, сердит за Гоголя на отца Матвея, на какого-то Антонова, который и В. П. пытался православием искусить. Но, как всегда, когда «христианство» — злость, зажатость.

Вечером приехал Сергей Задереев и завёл нетерпеливый разговор о собеседнике Толстого Тимофее Бондареве, о котором пишет. Даже и фотографию захватил, с которой глядит совершенный Фёдоров, собиравшийся воскресить человечество. Последние годы Тимофей готовился к смерти — поставил на месте будущей могилы стол с ящиком для рукописей, обнёс могилу забором из лиственницы, чтобы подольше стояла. На плите из песчаника выгравировал своё учение о спасении крестьянским трудом и гневно укорил сограждан: «О, люди, бесчеловечное племя», с припиской губернатору-гонителю, что и он пусть не мнит себя властителем мысли, потому что тоже станет прахом, как последний бедняк.

А уж тотчас после смерти мужики рукописи по ветру пустили, стол в распыл, плиты под коровник пустили. Теперь на могиле страшная свалка. Хорошо хоть деревня из Иудина, как он её называл, потому что принял иудаизм с именем Давид, стала теперь Бондаревым.

Вечером у скульптора Зеленова с актёрами «Современника». Валентин Никулин с крупными, литыми, лошадиными, крепкими зубами, посеянными как попало, улыбается, щурит глаза, закатывает, закрывает их, туманится.
— Мы же люди без кожи, и нам так приятно, что вокруг нас добрые люди, — и прищёлкивая пальцами, улыбаясь обворожительно, туманясь, наклоняется ко всем:
— Ну, вы меня понимаете?

И о пьяницах: вместо нашего «в стельку» предпочитает «вошёл в рондо» или «не вошёл». Так покойный Олег Даль в Киеве у принимавшего его художника выпил, «не вошёл», но прощаясь утром, на «пока» художника спятился обратно и сказал:
— Что значит пока? Так не прощаются, — наклонился и поцеловал его. И остался. А потом уже в полвторого его дверь взломали, хотя не отзывался он с десяти и ему били в дверь и колотили в стену, а вскрыли — вместо дыхания был уже хрип. Кругом разные лекарства из очень сильных, умер от сердечной недостаточности, которая вызвала отёк лёгких, а это необратимо.
— И как они все уходят, как мы все уходим — Вова вот Высоцкий, Лёша Эйбоженко, на место которого ввели в Малом Даля, и он вздрогнул, теперь вот сам Олег.

(О Табакове — Лёлек, о Кваше — Квашонок: «У него комплекс — какой голос, сколько регистров, а рост никакой, и у него на роду написаны характерные роли, а он норовит в герои и везде промахивается».)

Потом кто-то попросил Романа Солнцева прочитать стихи: «Нету любви, нету любви», — и тот уклонился, а Никулин:
— Как это нет? Ну, милые, при дамах. А как без неё мог Николоз Бараташвили написать вот это в переводе Борис Леонидыча (как будто Николоз так и писал сразу «в переводе Борис Леонидыча» — блеснуть так блеснуть):

> Цвет небесный, синий цвет,
> Полюбил я с малых лет.
> В детстве он мне означал
> Синеву иных начал.
>
> И теперь, когда достиг
> Я вершины дней своих,
> В жертву остальным цветам
> Голубого не отдам…

— Необъяснимо, необъяснимо!

Прочитал рельефно, эффектно почти скульптурно. И тут же Юру Левитанского и «Дезика раннего» — «идёт не умолкая память-дождь»: «Я обычно читаю это в выступлениях, когда вспоминаю умерших Вову, Олега, Алёшу, и вот хочу спросить у В. П.: как это на этику и слух? В. П. слушал вполуха и отчего-то вдруг зло отрезал: «Я помню чудное мгновенье!» А сам в кусты валит — вот и вся любовь…

Тут уж я не утерпел:

— А как же «Пастушка»?

— Ну, это так, выдумка, — и зло поглядел на меня.

Не пускает в своё. И разговоров «об этом» застольных не любит, сразу норовит «вниз» утащить и переменить тему. Слишком другим живёт — корневым, плотным, земным, так что половину «поэтических» тем считает баловством.

Тут и оборву. Хотя был ещё день, но он уже был полон беготнёй и прощанием. Не буду ничего достраивать. Скажу только, что это ранившее меня о «Пастушке»: «А-а, это выдумка…» потом вспомнится, когда я увижу эту повесть в его сборнике «Плач о несбывшейся любви». И какой новой болью повернутся и «Звездопад», и «Пастушка», и «Ясным ли днём» — вот и любовь там «проклята и убита». И только милостью художника, его исповедной тоской и воображением её можно вернуть оставшимся *там* мальчикам и солдатам, вернуть им свет, отнятый тьмой войны…

ДиН ревю

Сергей Кузнечихин

Седьмая жена Есенина

Москва: «Эксмо», 2017

Глубины веры и жизни

Поэт — тот человек, что запросто выламывается из ряда людей и из обычного хода вещей.

Так было, и так будет.

Поэт непредсказуем, он всегда трагичен, потому что стоит на обрыве жизни, часто — у края собственной могилы. Он видит всё разом, и прошлое, и будущее, и жизнь, и смерть, как некий Нострадамус; так видят мир иконописцы, в обратной перспективе, и сами насельники православных икон — святые, столпники, угодники, мученики.

Поэт всегда мученик, даже если у него на душе великий праздник.

Поэт свят, он очищен огнём своего искусства, даже если он великий грешник.

Он один среди людей свидетельствует о Страшном Суде, ибо он его уже видел и прожил (величайший поэт, ученик Христа, Иоанн Богослов в «Апокалипсисе» так и сделал!).

И, значит, судьба поэта — заведомо необычная судьба.

Сергей Кузнечихин в своей книге рассказывает и показывает нам эти судьбы. Он показывает, что для поэта смерть, о которой нельзя писать стихи, ибо ты себе напророчишь её, и что для него жизнь, где сменяются жёны, слава и нищета, признание и гонения.

Белинский, Бенедиктов, Платонов, Шолохов, Есенин, Ахматова, Демьян Бедный, Маяковский, Лермонтов, Пушкин, Достоевский, Толстой — вот герои этой книги, и не всё ли мы уже знаем про них!

Но взгляд Сергея Кузнечихина — особенный рентген. Им просвечены такие высоты и глубины, куда не добирались ни мысль исследователя, ни любопытство читателя.

Это глубины веры и глубины жизни. Веры в жизнь, хотя смерть и ходит рядом.

«Поэт подвластен только Богу, а если в государстве Бога нет, значит, не подвластен никому».

Елена Крюкова

Роман Солнцев

Бог с вами и со мной

17 апреля 2007 года ушёл из жизни основатель журнала «День и ночь», его первый главный редактор Роман Харисович Солнцев. Нынче — десять лет. Говорят, по-есенински, «лицом к лицу лица не увидать». Спустя годы отчётливее и вернее проступают черты, очевиднее становятся масштаб и значение личности. Хотя кто из нас, нынешних издателей «ДиН», не отдавал ему должное при жизни? И всё же… Роман Харисович был центром всеобщего притяжения, мы вращались вокруг него, как планеты вокруг солнца. Вроде бы каждый был самодостаточным, летел по собственной орбите… но в то же время и вокруг Солнцева! И он всем отдавал достаточное количество тепла. Это тепло, этот свет не иссякли до сих пор. Тем и держимся.

Редакция «ДиН»

● ● ●

Не будем про политику при встрече!
А станем слушать музыку ночную!
Мы зажигаем, как в театре, свечи.
Мы разливаем водку голубую.
И музыка гремит — зовёт Бетховен
в борьбе объединяться все народы.
А что же наш народ? Угрюм, бескровен?
И снова речи про зарю свободы…

Не будем про политику при встрече!
Начнём стихи читать за крепким чаем.
Мы зажигаем, как бывало, свечи.
Гостей печальных весело встречаем.
И страстно шепчем пушкинское слово…
Но столько силы в гениальном слове:
«Товарищ, верь, взойдёт она!..» — что снова
мы говорим о бедном Горбачёве.

Не будем же при следующей встрече!
Давайте о любви за чёрным кофе.
Мы зажигаем, как в театре, свечи.
Ты, как Христос с Марией, на Голгофе.
И слышен ропот: «Как любить мне труса?
Ведь хочется — борца, что мир разбудит?
И скажет правду?..» Как же это грустно.
Наверно, мы больны. Но что-то ж будет?!

● ● ●

В пляшущем кузове старой машины,
плюхаясь в реки, влетая в дожди,
мы проносились через осинник,
дикий малинник… нет, погоди!
Ветром кепки и шапки сдирало
и надувало как парус пальто…
сердце орало про козни тирана…
Нет, всё не то!
Просто запомнились сумерки, свечи,
двор постоялый, горящая печь,
добрых хозяев невнятные речи,
хоть и казалось, что русская речь…
Это поляки… а эти вот — венгры…
Как занесло их в Сибирь, в глухомань?!
Кто-то бормочет: нету им веры.
Ты уж молчи, душу не рань.
Хоть мы ни в чём не виновны с тобою,
но согласимся, обжёгшись слезою,
всё впереди, всё впереди:
ненависть грянет ещё, погоди…
Люди родные уедут… но вряд ли
с радостью встретят тебя вдалеке,
как привечали, когда мы озябли
на грузовике…
Здесь по единым мы жили законам,
лагерным, дружеским… но ведь не век
мучиться должен в краю удалённом
чужой человек.

● ● ●

Благодарю за то, что не убили.
За то, что оболгали, говорю,
за то, что в душу лезли — руки в мыле —
и не нашли её, благодарю!

Я душу поменял — я в той синице,
что с жёлтой ветки смотрит на зарю,
я в ручейке, что в океан стремится,
и в рыбке золотой, благодарю…

Я в той соломке, что сверкает в поле,
и в звёздочке — я вместе с ней в раю.
Вот почему не чувствую я боли,
а радость чувствую! Благодарю!

Современная сказка

Не отворяй, сестра Алёна,
из всех дверей вот эту дверь.
Там сор, там старые патроны,
там нету ничего, поверь.
Уехал—и она, понятно,
достала ключ из сундука,
в дверь постучала для порядка,
а дверь—как пёрышко легка!
А что там, что?.. Горят во мраке
как плошки жёлтые зрачки,
и дух идёт, как от собаки,
а больше не видать ни зги.
И стонет чудище живое:
«Алёна, полюби меня!..
Все клады я тебе открою,
как шубу, выверну моря.
Что хочешь—золото, опалы,
из красной меди острова…»
Алёна перед ним стояла
и ни жива, и ни мертва.
«Не бойся, ты ко мне привыкнешь
не через долгий тяжкий век,
едва к моей груди приникнешь—
я сразу стану человек».
Алёна нежная приникла,
а он такой же, что и был.
Затрепетала, как травинка,
а он всё жарче говорил.
«Пройдёт неделя иль полгода,
и наваждение спадёт…»
Слова звучали слаще мёда,
но сам он был урод, урод!..
Алёна плакала и билась
в его руках—он отпускал…
Поверить вновь она стремилась,
косясь на бешеный оскал…
О Родина моя, Россия,
с наивною своей душой!
Какие страшные витии
желали властвовать тобой!
И властвовали… Но поныне
о палаче, едва жива,—
кому висеть бы на осине—
находишь добрые слова.
Светла, спокойна, благосклонна,
жалеешь всяческий народ.
Не отворяй, сестра Алёна,
ту дверь!..
Конечно, отопрёт.

● ● ●

Вчера меня убить хотели на углу.
Мне трудно говорить. Но всё ж я вас люблю.
Мою пробили дверь, ворвались в жизнь мою.
Мне нелегко теперь. И всё ж я вас люблю.
Вы мой спалили дом. Угнали в плен семью.
Я вас догнал с багром! И всё ж я вас люблю.
Вы лгали целый час, ослепли, мол, в бою.
Мне тяжело сейчас, и всё ж я вас люблю.
Покайтесь со слезой. А вы мне: улю-лю!..
Бог с вами и со мной. Пока я жив—люблю…

● ● ●

Самое таинственное общество—
музыки классической любители,
нам всегда уединиться хочется,
чтобы криком, храпом не обидели,
пусть на чердаке, в любой обители,
где лишь пламя свечки нервно корчится,
мы сидим—да в небе вроде росчерка
моцартову молнию мы видели,—

а виолончели, скрипки нежные
нас в миры уводят запредельные,
за моря зелёные безбрежные,
за поля угрюмые метельные,
но сосуды, так сказать, скудельные,
мы идём ослепшие, потешные,
при мерцанье музыки безгрешные,
позабыв редуты и котельные,

и сюда ворвись омон, полиция:
что, мол, собрались, и что тут слушали?..
кажется, и публика приличная,
спирт не пили и вино не кушали,
но спокойно разойтись не лучше ли?..
знаю и во сне все наши лица я—
гордо не ответим! Пусть измучили
где-то нам подобных! Плакать лишнее…

Мы не назовём им ни Бетховена,
ни Чайковского да и ни Моцарта!
Пусть потом все будем похоронены—
но смолчим! А эти будут досыта
бить нас! Только мозг майора Пронина
не поймёт нас! Ах, луна обронена
в реки золотые… в травах росы там…
Наше общество вспомянет Родина!

Владимир Шанин

О Сибири — с любовью

С поэзией Льва Черноморцева я впервые познакомился в Иркутске, будучи студентом-заочником университета имени А. А. Жданова. Учился я на журналиста, однако наш факультет назывался историко-филологическим и давал широкие академические знания. Учили нас люди талантливые, умные, истинные патриоты Сибири. На лекциях по сибирской печати и сибирской литературе я услышал имя поэта Льва Черноморцева. Впрочем, оно ни о чём не говорило мне, а насторожило то, что он — красноярец, здесь родился и вырос и что является племянником известного сибирского художника-пейзажиста Дмитрия Иннокентьевича Каратанова. Ну и как же было не познакомиться ближе с творчеством своего земляка! И я занялся поисками фактического материала о нём самом, стал знакомиться с его поэтическими сборниками, к тому времени уже изрядно подзабытыми.

Лев Черноморцев гордился тем, что он сибиряк, и свою кровную связь, мысли и чувства проверял Сибирью, подчёркивал в стихах:

> Я люблю Сибирь большой любовью,
> Горы её, пашни и становья,
> И колхозных родичей своих.
> Или вот такие строки:
> Не таёжной, старой, промысловой,
> Я горжусь своей Сибирью новой.

Как русский поэт он с любовью писал о многочисленных народах Сибири, приенисейских аборигенах. И они платили ему тем же:

> Меня встречают всюду добрым словом.
> Со мной эвенки делятся уловом,
> Я друг и брат хакасов и долган.

В 1971 году Восточно-Сибирское книжное издательство (Иркутск) издало сборник «Литературная Сибирь. Писатели Восточной Сибири» тиражом в пять тысяч экземпляров, по тем временам довольно ничтожным. Составитель сборника профессор Иркутского госуниверситета, доктор филологии В. П. Трушкин писал, что литературоведческое издание «существенно отличается от подобного рода справочных изданий как по широте охвата материала, так и по принципам подачи его… сборник призван раскрыть перед читателем духовные богатства, накопленные писателями-сибиряками, особенно нашими современниками». Почти сразу же после выхода в свет книга стала библиографической редкостью.

В книге около ста кратких биографий, и среди них — Льва Черноморцева.

Лев Николаевич Черноморцев (1903–1974) родился в Красноярске 6 мая в семье железнодорожного техника. Учился в гимназии, а потом в средней школе второй ступени. Когда мальчику исполнилось 12 лет, умер отец, и большая семья Черноморцевых осталась без средств к существованию. Пришлось подростку устраиваться на работу: сначала по найму у кустарей — «мальчиком на побегушках», потом — грузчиком на пристани, а немного повзрослев, — конторщиком в мастерских уземотдела и одновременно слесарем.

На формирование духовного облика будущего поэта, его пристрастий и интересов большое влияние оказал Дмитрий Иннокентьевич Каратанов, родной дядя. Которая из трёх сестёр художника (Вера, Ольга или Анфиса) была женой Николая Черноморцева и матерью Льва, выяснить не удалось. Возможно, ею стала младшая сестра, Анфиса, родившаяся в 1884 году; так что замуж она могла выйти в восемнадцать лет, а в девятнадцать разрешиться сыном. Дмитрий Иннокентьевич любил племянника, и тот, в свою очередь, привязался к художнику, ходил за ним по пятам, интересовался, наблюдал за работой дяди, подолгу всматривался, как на холсте мазок за мазком возникало чудо.

Художник всячески поощрял его интерес к искусству, подогревал в нём любовь к прекрасному — к великолепию сибирской природы. Приучая к длительным переходам, брал с собою в тайгу, в тундру, к стойбищам эвенков, плавал с ним по сибирским рекам, часто усаживая за вёсла. Он учил подростка всему, что могло бы пригодиться ему во взрослой жизни. Но художником, как мечтал Дмитрий Иннокентьевич, племянник не стал: он втайне от всех писал стихи.

Так юный Лев Черноморцев и взрослел, опекаемый родным дядей, известным в Сибири художником-пейзажистом, которого великий Суриков благословил на творчество…

В ночь на 20 февраля 1921 года в Красноярске готовился контрреволюционный мятеж, однако

за сутки до него Енисейская губчека арестовала его организаторов — эсеров Николаева, Сибирцева и Попова. Заговор был ликвидирован. В Омске, Томске, Новониколаевске и Красноярске арестованы члены антисоветского «Союза трудового крестьянства».

В Енисейской губернии объявлено военное положение. В Красноярском, Ачинском, Канском и Минусинском уездах на базе коммунистических полков были созданы части особого назначения (чон). Восемнадцатилетний Лев Черноморцев в это тяжёлое для Красноярска время добровольцем записался в Красную Армию. Участвовал в боях против отряда генерала Олиферова в Хакасии, состоявшего из офицеров разбитой колчаковской армии, и после его разгрома отправлен в Монголию, — там вместо атамана Семёнова закрепился барон Унгерн, которого поддерживала Япония.

Барон захватил столицу Монголии Ургу (ныне Улан-Батор), чинил жестокий суд и расправу. Монголы организовали народное правительство, и оно попросило Советскую страну помочь им. Закалённые в боях и походах части Красной Армии разгромили белогвардейцев и их пособников-японцев, а самого генерала Унгерна взяли в плен, отправили в Сибирь, в Новониколаевск, и после громкого суда расстреляли.

Уволившись в запас, Лев Черноморцев остановился в Иркутске. Ещё в 1918 году здесь был основан государственный университет, и бывших воинов зачисляли на первый курс вне очереди. Лев Черноморцев поступил на литературное отделение педагогического факультета, покорив приёмную комиссию чтением своих стихов. Учился, можно сказать, средне, к некоторым наукам относился небрежно, зато всецело был увлечён поэзией. По отзывам товарищей, он задумчиво бродил по длинным, плохо освещенным коридорам университета, «вечно читая свои и чужие стихи»:

Просторно и чудесно
С людьми на свете жить!..
Об этом надо песню
Хорошую сложить.
И пусть она вливается
В сердца моих друзей,
Как Ангара-красавица
В могучий Енисей.

Летние каникулы студент Черноморцев проводил в родном ему Красноярске. И опять вместе с дядей, Дмитрием Иннокентьевичем Каратановым, участвует в походах по красивейшим местам Сибири: Байкал, Ангара, Енисей, Томь, Обь, Мана... В устье Подкаменной Тунгуски встретились с этнографической экспедицией Красноярского музея, старыми знакомыми: А. Я. Тугариновым, А. Л. Яворским, М. А. Дмитриевым, П. Т. Вороновым, с которыми провели весь день в расспросах и воспоминаниях. Каратанов делал зарисовки, Черноморцев записывал рассказы учёных мужей, сочинял стихи:

И славлю я обычай юрт и чумов —
Не о себе, а о другом подумай:
«Усталый путник, гостем будь, входи!..»
...И пусть глаза слепит в чащобе вьюга,
За сотни вёрст в пути мы видим друга,
Что где-то там шагает позади...

Благотворное влияние на студента Льва Черноморцева, по его собственному признанию, оказали преподаватели университета: этнограф Г. С. Виноградов и этнограф-фольклорист, историк литературы М. К. Азадовский. Заведуя кафедрой русской литературы, Азадовский одновременно возглавлял отдел Географического общества Восточной Сибири. Вместе с Виноградовым он основал в Иркутске журнал «Сибирская живая старина» — первое советское этнографическое издание, ставшее научным событием. Редактором журнала стал Г. С. Виноградов. Они умело прививали студентам вкус к хорошей книге, к поэзии.

Черноморцев активно участвовал в работе Иркутского литературно-художественного объединения (илхо), во многом обновлённого, когда на смену его зачинателям пришла подросшая поэтическая молодёжь: Елена Жилкина, Василий Непомнящий, теперь вот и он, Лев Черноморцев. Из поэтов старшего поколения в илхо оставались двое — Александр Балин и Иван Молчанов-Сибирский. Лев Черноморцев подружился с ними, а вскоре познакомился с Исааком Гольдбергом, автором широко известного цикла эвенкийских рассказов о свободной жизни эвенков.

В 1925 году выходит очередная книга «во многом обновлённого илхо», составленная в основном из стихов молодых авторов. Здесь впервые были напечатаны стихи Василия Непомнящего и Льва Черноморцева, причём два стихотворения Черноморцева, отобранные для сборника, были ещё довольно слабы, юношеские, зато, как отметила критика, отличала их «яркая бытовая живопись, свежая образность».

Профессор литературы В. Трушкин, анализируя творчество членов илхо, писал, что «молодой Лев Черноморцев в своей лирике намеренно избегает всякой гладкописи. В его ранних произведениях чувствуется влияние конструктивистов. Поэт предпочитает усложнённый синтаксис, густую образность, буйство красок». И приводит пример — четыре строчки:

Когда в лога ползут туманы
И дремлют синие гряды,
Не ты ль, варнак, ноздрёю рваной
Вдыхал костра колючий дым.

«С ненасытной жадностью к краскам, необычным звукосочетаниям поэт живописует далёкий север», — подытоживает В. Трушкин.

Уже со следующего года стихи Льва Черноморцева регулярно появляются в иркутской газете «Власть труда», в томской «Красное знамя», в новосибирских «Советская Сибирь» и «Молодой рабочий». Весной 1927 года во втором выпуске журнала «Сибирские огни» появилось его стихотворение «Гостеприимство» — о том, что он желанный гость многочисленных народов Сибири. Стихи «Север», «Фактория», «Таёжный путь» и другие охотно печатают отраслевые журналы «Охотник и рыбак Сибири», «Охотник и пушник Сибири». Любовь и уважение к малым народам Сибири, воспитанные в нём с детства художником Д. И. Каратановым, определили и тему творчества поэта. Поэтический голос его креп и мужал.

Эвенк ушёл из чума на охоту.
Но, уходя, как будто ждал кого-то
(Быть может, путник забредёт какой?),
Охапку веток в камелёк подкинул,
И добрый кус сушёной сохатины
Он положил заботливой рукой.
(«Гостеприимство»)

В апреле 1927 года в большинстве китайских провинций произошёл контрреволюционный переворот, во главе которого стоял Чан Кайши. Началась большая кровавая чистка: разгоняли профсоюзы, расстреливали коммунистов, тюрьмы заполнялись неугодными чанкайшистам людьми. Западные державы активно поддерживали Чай Канши, в китайских водах сконцентрировали около 200 боевых кораблей. Испортились взаимоотношения между Китаем и СССР. Китайские власти захватили дорогу и арестовали советских служащих. Не сумев урегулировать конфликт, советское правительство приняло меры по обеспечению безопасности Дальнего Востока. В августе была создана Особая Дальневосточная армия (ОДВА) под командованием В. К. Блюхера. Началась мобилизация резервистов.

Лев Черноморцев был призван на действительную военную службу, направлен в Особую Краснознамённую Дальневосточную армию, участвовал в боях на Китайско-Восточной железной дороге. В октябре были разгромлены группировки китайских войск в двух самых агрессивных районах, уничтожена Сунгарийская флотилия противника, в ноябре проведена победоносная операция по «зачистке», и в конце декабря китайцы подписали Хабаровский протокол, «восстановивший прежнее положение на КВЖД.

Отслужив два года, в 1930 году Лев Черноморцев увольняется из армии; вероятно, был тяжело ранен и списан вчистую, но сведений об этом, даже намёка, отыскать не удалось.

В период военной службы поэт не порывал связи с родными приенисейскими местами, был верен сибирской теме, часто выступал со своими стихами в армейской газете «Тревога» и в читинской газете «Забайкальский рабочий». Дальневосточные читатели узнавали особый поэтический почерк Льва Черноморцева по мощности, сибирскому колориту, по ярким художественным образам, подчёркивающим дикость и необжитость родных просторов: «глухомань», «чаща», «трущоба», «бурелом», «берложий сон» — слова, которыми порой злоупотреблял автор, но они только усиливали эффект авторского восприятия сибирской природы.

В 1930 году Лев Черноморцев уезжает в Москву, где входит в круг известных стране поэтов, бывших сибиряков, близко сходится с Павлом Васильевым, автором остроконфликтных произведений о событиях Гражданской войны, о коллективизации. Но в следующем году неожиданно Павел Васильев был арестован по так называемому «делу сибирских писателей», бывших сотрудников журнала «Сибирские огни». Арестованы также Леонид Мартынов, Сергей Марков, Лев Черноморцев, обвинённые в «симпатиях к белому движению», в «воспевании колчаковщины». Черноморцева и Васильева вскоре освободили «за недостаточностью улик», остальных писателей выслали из Москвы. Поэма «Песнь о гибели казачьего войска», за которую Павел Васильев пострадал, готовилась к печати в журнале «Новый мир», но была отложена до окончания следствия.

Первая книга стихов Льва Черноморцева под названием «Тайга» вышла в 1934 году, и уже в ней была заложена оптимистическая направленность творчества поэта: природа, труд, новая жизнь малых народов Сибири. У поэта зоркий глаз, яркий и точный в определениях поэтический язык. Охотники, лесорубы, сплавщики леса, плотники, геологи — излюбленные герои стихотворений, в которых утверждается «неизбежность победы нового над обречённым старым». Это и стихотворение «Кержак», и «Кержацкий дом», и «Одинокие стойбища Тыма», и «Ночлег»… В «Ночлеге» показана старая крестьянская изба с пыльными вербами в углу за божницей, но на столе стопка книг, — это сын старой хозяйки, тракторист, работает и учится, борется «за победу нового на селе». А вот как поэтически ярко и образно поэт изображает любимую тайгу:

Теперь здесь голо, грязно, пусто…
Глядищь — и кровь стучит в виски.
Как высказать такое чувство!
Стоим у входа
И до хруста
Сжимаем крепко кулаки…

Вторая книга Льва Черноморцева была издана в Москве в 1937 году. Непритязательное название

сборника — «Стихи» — уже само по себе говорило о том, что ничего нового, свежей мысли, ярких образов поэт не нашёл. Стихи в основном пронизаны «идеей борьбы за будущее страны», патриотическими лозунгами и призывами.

Началась Отечественная война, враг рвался к Москве. Лев Черноморцев пришёл на сборный пункт. Военком полистал его документы и, посуровев, сказал, чтобы отправлялся домой и ждал вызова.

Как бы ни было тяжело на фронте, советское правительство старалось уберечь писателей, направляя их в формируемые армейские и дивизионные газеты. Черноморцев попал в одну из редакций рядовым литсотрудником, но в начале 1942 года был отозван в Москву, в Союз писателей СССР, организовавший эвакуацию семей писателей. Эвакуированных отправляли в глубокий тыл: в Сибирь, в Казахстан. Литераторы с неохотой покидали столицу.

Лев Черноморцев распределён в Красноярск. Вместе с ним на его родину выехали писательница Лия Гераскина, корреспондент «Комсомольской правды» Абрам Рябчиков и широко известный историк Александр Клибанов.

Зима в тот год выдалась суровой. В городе не хватало топлива, закрылись бани. Плохо работал водоканал, вышло из строя центральное отопление. Красноярцы с вёдрами ходили по воду на Качу и Енисей. Заботу об эвакуированных взял на себя секретарь крайкома партии К. У. Черненко. «Запомнились его подкупающая доступность, отзывчивость, сердечность и строгая взыскательность, — писала в своих воспоминаниях З. И. Семигук, бывший директор Красноярского книжного издательства. — Помню, как бережно заботился Константин Устинович об эвакуированных в наш город писателях, учёных, художниках. Ведь за каждой судьбой — неустроенность, трагедия потерь и утрат. И каждого надо было накормить, обогреть, помочь обрести силы, дать почувствовать, что их знания, труд нужны народу». И они в полную силу старались доказать свою нужность стране. Лия Гераскина писала повесть о нравственной перестройке в душах молодёжи — «Аттестат зрелости». Абрам Рябчиков пригодился и здесь, в далёкой Сибири, со своим журналистским опытом. Александр Клибанов занимался историей общественной мысли, религии и сектанства в России в XV–XX веках. Лев Черноморцев подготовил книгу стихов о подвиге советского народа на войне, которая была издана в Красноярске под суровым названием — «Моё оружие».

В книжном издательстве состоялся традиционный «большой сбор». Редакторы обсуждали только что вышедший стихотворный сборник «Линия огня», открывавшийся стихами Льва Черноморцева. Все отметили: стоит лишь пройтись по заголовкам («Говорит Москва», «Мы вернёмся!», «Ночной бой», «Защитники Родины», «Мужество», «Клятва») и сразу ощущается накал времени. Подборку своих стихотворений поэт посвятил Красной Армии.

В том же 1942 году, зимой, в бригаду передовиков труда, которая готовилась к отъезду на фронт с подарками, был включён и Лев Черноморцев. По возвращении для студентов педагогического института устроили встречу с ним. Об этой встрече рассказала потом З. И. Семигук: «Выходит Лёва на сцену, а он вообще не был мастером речи произносить. Долго всматривался в молодые лица. Распахивает свой новенький, с иголочки, армейский полушубок.
— Вот, бойцы мне полушубок подарили! — потрясённо говорит он. И смолк, видно, от волнения. А зал взрывается рукоплесканиями. Всем понятно — это свидетельство силы нашей армии, заботливости воинов о поэте».

Газета «Правда» писала: «В Красноярске литературная жизнь не замирала даже в самые тяжёлые месяцы Отечественной войны, несмотря на то, что многие из работавших здесь писателей ушли в Красную Армию».

Кончилась война, и в Москву стали возвращаться эвакуированные. Уехали поэты Л. Черноморцев, М. Скуратов, И. Ерошин, учёные Н. Озерецкий, М. Москалёв, А Клибанов. В Ленинград вернулся А. Половников. А в Красноярск возвращались фронтовики А. Шадрин, А. Чмыхало, А. Нижегородцев и др.

В первый же послевоенный год у Льва Черноморцева, едва обжившегося в ликующей Москве, вышла книга «Песнь о Сибири», в которую подобраны лучшие стихи о войне: «Раздумье», «Между боями», «Граната», «Баллада о танкисте». Всё пережитое, выстраданное поэтом щедро отразилось в этом сборнике, отличающемся большой искренностью. О любви к Родине, о тяжёлых испытаниях в борьбе против иноземцев, о мужестве лирического героя стихов Льва Черноморцева — главная тема книги.

В 1950 году в московском издательстве «Советский писатель» вышла книга Черноморцева «Сибирская земля». В ней снова стихи о северянах:

Учитель — сам эвенк. Давно ли
Слепым эвенкский был народ!
Теперь сидят ребята в школе.
Из стойбищ, где снега и лёд,
Их привезли отцы на нартах
С далёких рек Вельмо и Сым…

Через год в Новосибирске была издана очередная книга — и опять о Сибири и сибиряках, она так и называется — «Моя Сибирь». А в 1956 году на прилавках книжных магазинов появилось избранное Льва Черноморцева — лучшие стихи,

созданные в разные годы: о сыновней любви к Сибири, к малым народам Севера, приобщающимся к социалистической культуре. И сам автор у них — желанный гость.

Сижу в тепле, вдыхая запах дымный.
Кому за этот кров гостеприимный
Когда, какою отплачу ценой!

Тот же мотив звучит в стихотворениях: «Песнь о Сибири», «Моя тропа», «Далёкий путь», «Большая родня», «Родные места», «Идущий навстречу», «Гостеприимство» — сказалось удивительное влияние художника Каратанова, таскавшего племянника Лёвушку по эвенкийским стойбищам, «где снега и лёд», знакомившего будущего поэта с жизнью и судьбой малых народов Севера.

«И славлю я обычай юрт и чумов»,— писал поэт. Особенно громко славил человека труда: «Счастлив тот, кто крепко делом занят».

Про горы да про речки,
Где добывают клад,
Геологоразведчики
Со мною говорят.
И у костра мне место
Охотники дают,
На промысел рыбтреста
Ловцы меня зовут…

В первых своих книгах Лев Черноморцев подчёркивал дикость, необжитость, сибирских просторов, впоследствии поэтический голос его меняется. Теперь Сибирь у него другая, счастливая, край великих строек и богатых колхозов, край с удивительно щедрой природой, подвластной смелым проектам советского человека. Поэт верен своей теме, своему мироощущению. Преобразованию Сибири посвящены многие стихотворения, вошедшие в книгу «Приметы» (1967): «Здравствуй, Енисей», «Тайгу корчуем», «Уремы», «Конец глухомани», «На строительстве ГЭС»… «Я горжусь своей Сибирью новой»,— утверждает поэт.

На первом месте у него — человек, но человек, неразрывно связанный с природой, его душа близка и понятна поэту, потому и природа передаётся через восприятие лирического героя. В стихах, по утверждению критиков, «много солнца, света, ярких красок», поэт видит всё не так, как простой смертный («стекольщик утреннее солнце пронёс на поднятом плече». А полярный городок Игарка весь освещён огнями кораблей в порту, вспышками электросварки, северным сиянием на тёмном небе («Огни Игарки»). Сибирская тайга — обожаемый поэтом объект для познания природы вообще: она для него живая, наполнена звоном синиц, шумом «зелёных ветров», ярким солнцем, в лучах которого «вспыхивая, золотится на кедрах смуглая кора» («Солнце мира»).

Поэт бережно, с любовью относится ко всему живому; как и сама тайга, стихи «населены» птицами, зверя́ми, охотничьими трофеями. Живые образы присутствуют в каждой бытовой детали: «брат Енисей и Ангара-красавица», «медведь-музыкант»,— всё, что перед глазами, Лев Черноморцев видит в поэтических образах:

Суровые охотничьи трофеи
Висят передо мною на стене.
В заимке над студёным Енисеем
Мерцают угли, в печке пламенея,
Цветёт узор морозный на окне.
Рога оленьи, чудные деревья,
Каких не видел бирюзовый Крым,
Нарисовал седой охотник Север,
Шутя, резцом размашистым своим…

Необычный и очень выразительный образ весны создан поэтом:

По перевалам и по кручам,
Копытом пробивая лёд,
Ярясь в красе своей могучей,
Весна проходит речки вброд.

Последние годы жизни поэт почти ничего не писал — болел, а если что-то и рождал его усталый мозг, то всё это никуда не годилось. Что-то надломилось в душе, ослабла память, на ум всё чаще приходила мысль: всё, исписался…

Лев Николаевич Черноморцев умер в 1974 году в Москве, забытый ещё при жизни…

Максим Ершов

В прошлый век

> *«…Так, с годами улики становятся*
> *важней преступленья, дни—*
> *интересней, чем жизнь; так знаками*
> *препинания заменяется голос.*
> *Хотя от тебя не дождёшься*
> *ни телескопа, ни воспоминания».*
> Иосиф Бродский

Постепенно действительность прекращается.
В недействительность
съезжает уже не жилец,
возмущённый квартплатой и фибрами всех желез,
а сама квартира—
сами стены картины мира.
Поёживаясь, мы обживаем сомнительность.
Так что чёрт бы с ним, с телескопом.
Но Вы неправы насчёт воспоминаний.
Презрев очевидное, в поэзию валят и скопом, и с колом,
и кое-кто в виде голом.
Но на оплёванных ступенях пути
с выбитыми (иногда, как зубы) именами,
Бродский, докладываю, в холе и в чести,
и по всем статьям, как выразился бы судья,
сие—присутствие небытия в голосе бытия,
о чём так часто пронзительная минута
закатывает глаза в общаге Литинститута.

Да, мэтр. Галактика есть интернет
Бога; скорость сети ещё более отрицает свет.
И если внимательно смотреть на часы,
как на весы между большим и налом,
то палки чаемой нами в 80-е колбасы
критически обернулись дубиналом.

Словом, сифилис философии прогрессировал обратно Гегелю.
Ницше облаял время на 150 лет вперёд.
Французская философия, разойдясь по фунту и шекелю,
обходит умолчанием сакраментальное…
Но у ворот
будущего по ту сторону грядущего
она скорбно отверзнет фиолетовые уста,
покорная, впрочем, взгляду съядущего
нас прободного ленточного глиста.

Да, бабы всё те же, мэтр: прилагательные
к существительному.
Это P. S. И, к отверстью в броне бытия—
притягательно
действительному—
приблизившись, может быть, я,
выражаясь понятным Вам языком,
соберу на ладони бумажный ком
строчек нечётких
и кину, с пометкой «хочу в прошлый век».
Вы поймёте. Привет Кузнецову. На гамбургских чётках—
не делятся низ и верх.

Валерий Черкесов

Осознанный путь

13 июля 2017 года исполнилось бы 80 лет писателю *Борису Черных*, чьи жизнь и творчество связаны с Сибирью, в том числе и с Красноярском.

Июль 1997 года. Из Белгорода я приехал в Дом творчества писателей в подмосковном Переделкино. Перед обедом зашёл в единственный на то время в посёлке магазин. Выхожу. Навстречу мужчина. Сталкиваемся взглядами. «Борис?» — то ли спрашиваю, то ли с удивлением приветствую я. — «Да. А ты… ты Валерий?»

Пожимаем друг другу руки. Сколько же мы не виделись? Мысленно подсчитываю: почти двадцать пять лет.

Борис приглашает: «Пойдём к Юре Карякину, там поговорим, повспоминаем».

1.

Первый раз Борис Черных появился в Благовещенске в редакции газеты «Амурский комсомолец», где я работал литсотрудником, осенью 1971 или весной 1972 года. Приехал по командировке журнала «Юность», в котором был напечатан или готовился к публикации его очерк «Весенние костры» об известном дальневосточном географе Владимире Михайловиче Питухине, он встречался с ним ещё в школьные годы. В редакции мы и познакомились. Тогда же я узнал, что детство и юность Бориса прошли в городе Свободном, а вообще он продолжатель казачьего рода, корни которого в селе Албазино — первом на Амуре русском поселении — крепости Албазин.

Через какое-то время Борис опять оказался в нашей редакции. Приехал он вместе с журналисткой Валентиной Юдиной, она стала ответственным секретарём газеты, его же почему-то долго не зачисляли в штат. По молодости я не очень-то интересовался ни их биографиями, ни анкетными данными, но слышал, что Валентина была экс-редактором владивостокской молодёжки, за острые публикации её сняли с должности, а за Борисом тащился «хвост» по линии КГБ за какое-то письмо в адрес XV съезда ВЛКСМ с предложением по реформированию этой молодёжной организации. (Много позже я прочитал это письмо в его двухтомнике, вышедшем в издательстве «Европа». Оно называлось, как и книга Н. Чернышевского и статья В. Ленина, «Что делать?». Ничего антисоветского в тексте не было, а только предложения по «оживлению» деятельности уже тогда «загнивающего» комсомола.) В Благовещенск, в «Амурский комсомолец» их пригласил первый секретарь Амурского обкома ВЛКСМ Владимир Бунин — земляк и школьный приятель Бориса.

С приездом Юдиной и Черных «Амурский комсомолец» резко изменился. Редактор Владимир Ермошин как бы отошёл в сторону, видимо, выжидая, что из такой «перестройки» получится. Газетой рулила Валентина. В тот период была пора комсомольских отчётно-выборных собраний и конференций, и если прежде материалы о них были в основном гладкими, то теперь стали более критическими. Я и сейчас помню названия некоторых: «Мы поднимаем мятеж», «Не стоять в стороне», «„Они“ и „мы“». Заголовки придумывали Валентина и Борис, он же стал готовить литературные публикации. Тогда в «Амурском комсомольце» впервые была напечатана большая подборка моих стихов, причём в неё вошли и верлибры — в то время, кроме меня, в области их никто не писал.

Я и Борис подружились, как могут дружить люди с десятилетней разницей в возрасте и разным жизненным опытом. Он читал мои материалы и стихи, подсказывал, советовал, и мне, журналисту-самоучке, такие уроки давали многое. Мой учитель был немногословен, о себе не очень-то распространялся, но чувствовалось, что за этой скрытностью есть достойная биография, есть знания и духовный багаж, которым он готов поделиться далеко не с каждым собеседником.

Кажется, в ноябре Бориса зачислили в штат редакции, но проработал он меньше месяца.

5 декабря был День Конституции СССР. Я написал очерк о делегате областной комсомольской конференции молодом лесозаготовителе из посёлка Дактуй Александре Чернове. Юдина поставила его в праздничный номер на всю первую полосу, заключив материал и фотографию героя в жирные рамки. Шапка «Сегодня — День Конституции СССР», насколько помню, была выделена красным цветом, а заголовок материала «Фортуна ни при чём» был чёрным.

В понедельник я пришёл на работу. Обычно в этот день утром проходила летучка, но на этот раз её отменили. Кто-то сказал, что Ермошина и Юдину вызвали в обком партии. Потом Валентина рассказывала, что тогдашний секретарь по идеологии по фамилии Карбивничий размахивал руками, топал ногами и орал: «Это что за похороны вы в газете устроили? И что, Конституция СССР — фортуна ни при чём?!»

Вероятно, эпизод с этой публикацией стал последней каплей терпения амурских властей и соответствующих правоохранительных органов. Через несколько дней мы провожали Бориса и Валентину на самолёт. Из редакции были только я и Саша Жданова (сейчас Александра Николашина — главный редактор журнала «Дальний Восток»). Улетали они куда-то на юг, работать в городской газете. Честно сказать, тогда я и не подозревал, что познакомился и общался с писателем, который в будущем скажет своё слово в современной отечественной литературе, с человеком, чья гражданская позиция достойна уважения, как бы кто к нему ни относился.

В «Амурском комсомольце» Борис опубликовал прозаическую миниатюру «Зажигалка Твардовского» (к моему удивлению, ни в одной его книге я её не нашёл, так что будущим исследователям творчества Черных есть поле деятельности). У него действительно была зажигалка, которая когда-то принадлежала Александру Трифоновичу.

2.

В конце 80 — начале 90-х годов в «Литературной газете», журналах «Огонёк», «Континент», других изданиях стали появляться рассказы Бориса Черных. Из аннотаций к публикациям я узнал, что он отбыл пять лет в заключении в лагере под Пермью, якобы за антисоветскую агитацию, за организацию «Вампиловского книжного товарищества», в деятельности которого усмотрели угрозу советскому строю. Он попал в последнюю, так называемую «андроповскую посадку». В настоящий момент живёт в Ярославле, редактирует газету «Очарованный странник». Я читал «Гибель Титаника» и другие его «Урийские рассказы», без всякого преувеличения восхищаясь тем, как Черных рассказывает о родном городе Свободном, о друзьях детства, о земляках-амурчанах.

О его прозе писатель Фазиль Искандер в предисловии к книге «Озими» сказал, в частности, так: «…Это зрелый прозаик. У него свой богатый сибирскими красками язык, свой мир, пронизанный любовью к людям, своя философия существования… Талант там, где не иссякает любовь». Перечитывая сегодня книги Бориса, в том числе двухтомник, вышедший в 2007 году в московском издательстве «Европа», и однотомник «Эрька Журо, или Случай из моей жизни», выпущенный уже после его смерти владивостокским издательством «Рубеж», понимаешь, насколько точны и ёмки эти слова.

Но любовь писателя, о которой говорит Искандер, вовсе не умилительно-благостная, а, я бы сказал, пронзительно-щемящая, а порой и трагически-печальная. Она во всём — в рассказах о детстве, юности и молодости, прошедшей в поисках смысла и цели жизни, о людях, с которыми встречался и которые близки ему по духу, в конце концов, о судьбе страны, о её прошлом, настоящем и будущем. Его произведения, как художественные, так и публицистические, не придуманы и не надуманы, они, как и герои, реальны, поэтому воспринимаются так, словно всё, о чём говорит писатель, произошло с самим читателем — волнуют, тревожат, заставляют любить и негодовать. Лично я такие чувства испытываю.

Похожие мысли и чувства, вероятно, испытал и известный критик Валентин Курбатов при прочтении рассказа «Мазурка», написав: «Это русский писатель с зорким и любящим сердцем, он пишет о русской судьбе — стремительной и долгой, как лучшие простые и печальные баллады и песни нашего много повидавшего народа… Они спеты доверчиво и открыто, как поёт обычно русский человек, бледнея лицом на горьких стихах и возносясь на счастливых… Эти слёзы при чтении — к свету. Значит, мы по-прежнему дома и не забыли заветов милосердной русской литературы — быть с человеком до конца».

Борис Черных так говорил о своём творчестве: «Я сам пленник собственной судьбины. Так сложилось. Год за годом, десятилетие за десятилетием наслаивались испытания. Я привык быть гонимым и даже тихо полюбил это всегдашнее состояние. Незаметным образом оно наложило отпечаток на ум и сердце. Не сделало их злобливыми, но нельзя же с незаживающей раной жить и здравствовать»; «Несмотря на то, что мои произведения достаточно рваные, я мог бы выделить рассказы „Мазурка“, „Это о матери“, „Плач перепёлки“, „Гибель Титаника“, „Маленький портной“. Мои произведения читали такие великаны, как Солженицын, Искандер, Астафьев».

Кстати, тема «Астафьев и Черных» ждёт своих исследователей. Писатели встречались и вероятно не один раз. Есть фотография, на которой запечатлены Виктор Петрович и Борис Иванович, сделанная в январе 1966 года в Ярославле, когда там проходило Всероссийское совещание молодых писателей. Его организатором был Черных, он и пригласил Астафьева руководить одним из семинаров прозы. А в книге «Нет мне ответа…», в которой собраны письма Виктора Петровича респондентам, вышедшей в Иркутске уже после

смерти писателя, опубликованы несколько посланий Борису Черных.

В 2007 году в Красноярске вышла брошюра «Дело было в прошлом веке… Штрихи к портрету Б. Черных». В ней немало интересных подробностей о жизни и творчестве писателя, в том числе и о том, как он был узником советского режима.

3.

На даче писателя Юрия Карякина в Переделкино мы проговорили несколько часов. Вспомнили молодость, знакомых. Борис подарил своё фото с юбилейного вечера (накануне он отметил 60-летие), книгу прозы «Озими» с дарственной надписью «В память об Амуре», а ещё сказал, что с семьёй собрался переезжать в Благовещенск. Это меня удивило. Стал говорить, что на родной земле приживаться ему будет непросто, что чем дальше от столицы, тем литературная и вообще жизнь, за редким исключением, больше похожа на тихий омут, если не на зловонное болото. Но он ответил, мол, не такое испытал, выбор сделан, и он не отступит. И, насколько знаю, о том, что вернулся на малую родину, Борис не жалел никогда.

Тогда же я познакомился с Майей Черных, дружеские отношения с которой мы поддерживаем и теперь.

Приезжая на малую родину, я всегда встречался с Борисом. Особенно запомнилась встреча летом 2002 года. Тогда он задумал сделать обо мне передачу для одного из местных телеканалов. Для съёмок выбрал небольшой затон на Зее, где некогда стояло много речных судов, а теперь торчал из воды одинокий полузатопленный катеришко как символ наступившего времени. Несколько часов мы — я, Борис, Майя и их сын Митя, тогда младшеклассник, — пробыли вместе. На память о той встрече у меня осталось несколько фотографий, а ещё появились такие строки в записной книжке: «Общаясь с Борисом, понимаешь, насколько полно он жил и живёт, и совсем не для себя, а ради справедливости и правды, за которую, увы, долго выдавалась кривда, а то и явная ложь. Да и сейчас такое зачастую происходит».

Конечно, когда я это писал, то имел в виду не только литературное творчество Бориса, но и его, так сказать, общественную деятельность. Живя на Амуре, он открыл и несколько лет выпускал общественно-политическую и историко-культурную газету «Русский берег», в которой не гнушались печататься лучшие российские поэты, прозаики, критики. Основал литературно-педагогический альманах «Чистая лампада» — при нём увидели свет несколько выпусков. Под его началом проходили областные Дни русской духовной поэзии. Он добился того, что на железнодорожном вокзале Свободного установили мемориальную доску Александру Солженицыну (он проезжал этот город, когда возвращался из эмиграции в Россию. В «Архипелаге ГУЛАГ» Свободный несколько раз упоминается), а на одном из старых зданий Благовещенска — памятную доску в честь купца Ивана Чурина, которому дореволюционный город был во многом обязан своим развитием и процветанием. Черных — автор больших документальных телефильмов о Павле Флоренском и Валерии Приёмыхове, жизнь которых была связана с Приамурьем.

И о Флоренском. Однажды, будучи в гостях у Черных, я увидел на столе в его рабочем кабинете объёмистый зелёного цвета том отца Павла, выпущенный издательством «Эксмо» в серии «Антология мысли». Полистал. Страницы книги были испещрены пометками Бориса, сделанными чёрными чернилами. Хозяин, когда вошёл в кабинет, заметил, что я держу эту книгу, и, не дожидаясь моего вопроса: «Почему Флоренский?», — сказал примерно так: «Меня и за него, за статьи его свободы лишили».

Много позже я прочитаю статью Бориса «Флоренский — государственник». Вот из неё две цитаты: «Из всех когда-либо прошедших по земле Приамурья с середины XIX столетия самой загадочной личностью является, несомненно, Павел Флоренский»; «Отец Павел сумел сохранить в невероятных испытаниях и в течение многих лет страшных тягот в первозданной чистоте лучшие помыслы и порывы… Остался строгим воителем за добро». Последние слова в полной мере можно отнести и к самому автору статьи.

Кстати, это был чуть ли не единственный случай, когда Борис заговорил о своём заключении в неволе. Второй раз об этом периоде жизни он обмолвился, когда я прочитал ему своё стихотворение «Свободный», предваряющееся эпиграфом из Анны Ахматовой: «Пересылкою в лагерь Свободный» (строки посвящены Осипу Мандельштаму). Он тогда сказал, что при обыске у него изъяли и ахматовскую поэму «Реквием», запрещённую в те годы в СССР. Ещё, помнится, однажды Борис открыл письменный стол и достал из ящика выцветшую, помятую пачку «Примы» и сказал: «Это последняя пачка, которую я выкурил в лагере». На ней стояла дата освобождения. Это пожалуй, всё, что слышал я из уст старшего товарища о его заключении.

К слову сказать. Борис намеревался издать двухтомник о БАМлаге, столицей которого был его родной город, словно по злой иронии названный Свободным (до 1917 года — Алексеевск). Собирал документы, публицистику, стихи, прозу, но эта задумка, увы, не осуществилась, как и ещё многое. К примеру, он хотел создать в Свободном Сад искусств, но при его жизни на эти деяния не нашлось средств, а после его ухода достойных

продолжателей этого начинания пока не наблюдается.

Трудно перечислить всё, что сделал Борис Черных, но надеюсь, что просвещённые и благодарные потомки-амурчане сохранят память о его добрых деяниях.

Мы переписывались, обменивались книгами. Так, на отдельном издании рассказа «Мазурка» он написал «Валерию Черкесову—наша малая родина». А на двухтомнике: «Валера, на Амуре ходят тучи хмуро. Но по всей России тоже. На память от семьи Черных». Под надписью дата: 3.04.2012 г. Через два дня Борис ушёл из жизни. Позже Майя сказала, что это был его последний автограф. Педагогический альманах «Чистая лампада» с сочинениями школьников Амурской области об А.С. Пушкине, который составлял и редактировал Борис, передала мне в Белгород уже Майя.

Он простился с земным миром очерком «Отче Наш», который в 2011 году был опубликован в журнале «Москва» и в двух альманахах—владивостокском «Рубеже» и благовещенском «Амуре». Это даже не литературное произведение, а поистине реквием—так определил жанр сам автор. Пронзительный рассказ о фамильном древе рода Черных, корни которого в родной почве, они питают силами и верой мощный ствол, а ветви шумят молодой листвой. Сегодня особенно больно читать: «…Зажился я на белом свете».

В одном из интервью Борис сказал «Начиная с 1987 года я напечатал всё. Точнее, почти всё—одну вещь я держу для посмертной публикации… Это повесть „Садовник“, кстати, мне её тоже в приговор вставили. Решили, что антисоветчина. Хотя там ничего антисоветского нет—там моя биография, написанная правдиво».

Будем ждать появления в печати этой повести. Правда—она всегда актуальна и необходима читателям, народу.

Осенью 2012 года я вновь оказался в Благовещенске. 5 октября было полгода, как я потерял старшего друга,—смею так сказать, ибо наше душевное притяжение, надеюсь, было взаимным. Утром в храме, где меня крестили более шестидесяти лет назад, прошла панихида по Борису. Я и Майя стояли рядом. За упокой Бориса Ивановича Черных молились незнакомые люди, в том числе молодые, и мне подумалось: это его читатели, нынешние и будущие.

В очерке Бориса «Чистая лампада» Александр Вампилов—ныне русский литературный классик, с которым Черных дружил в молодости, назвал автора Дон-Кихотом. Да, возможно, некоторые его поступки и можно отнести к донкихотству, но в целом его творческий и жизненный путь осознан, прям, бескомпромиссен, как ни высокопарно это звучит. Лучшее подтверждение вышесказанного—его книги.

Евгений Минин

Под скрип ключа…

Скважное

Вот слышу—по ступеням ты идёшь,
Вот слышу—ключ твой в скважине играет
И не поймёт, и не подозревает,
Как металлический мотив хорош.
Вера Зубарева

Когда я слышу Мендельсона марш,
Что мне звучит из скважины замочной,
Я вспоминаю, милый друг полночный,
Под скрип ключа медовый месяц наш.
Когда же в скважине Хачатурян,
Тот самый танец с саблями извечный,
Тогда запомни, милый друг сердечный
Ты спать ложишься сразу на диван.

Нет повести печальнее…

Этой повести грустны главы,
Отдохнуть от них хотя день бы.
Ах, Морозов дорогой, Савва,
Не давай большевикам деньги.
Александр Городницкий

Много к жизни имею вопросов,
Опоздал я со днём рожденья
Ах, зачем ты, Савва Морозов
Раздавал большевикам деньги.
Поздновато я на свет появился,
И не вышло встретиться с Саввой.
Он деньгами б со мной поделился,
Я бы с ним поделился славой.

Юрий Беликов, Михаил Бажутин

Песни из чёрного чемодана

«Плету корзины и… песни сочиняю!»,—объясняет особенность своего творческого метода самый туманный в мире человек. «Прямо-таки—самый туманный?»—отпарируете вы. И я отвечу: «Да, братцы мои, да, сестрицы мои, житель пермского райцентра Большая Соснова Михаил Бажутин утверждает, что „Там за туманами“ группы „Любэ“—это его текст. Мало того, он готов биться об заклад, что и „Сиреневый туман“—тоже вышел из-под его авторучки». Полагаю, этих двух «туманов» достаточно?

Но если вам удастся подслушать, как Михаил в процессе плетения корзин и изготовления табуреток-банкеток в своей столярке что-нибудь наборматывает или напевает из фирменного бажутинского репертуара, то вы сейчас же обнаружите всё то же «действующее лицо» из жизни призраков: «Остров Русский туманом покрыт…», «Сов. Гавань, брег дальневосточный. Туманы частые, дожди…».

Эти строки, как, впрочем, и «Там за туманами», и «Сиреневый туман над нами проплывает…», и «Ребята с нашего двора», и «Дорога, дорога, осталось немного…» и «А ты там, там, там, где смородина растёт…»,—из тех двух тетрадок, которые, согласно версии Бажутина, пропали у него в поезде, вёзшем его, вдохновенного и чуть расслабившегося дембеля, из Хабаровска в Пермь в мае тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Одна—серая, чьи листочки в клеточку, а другая—зеленоватая с листочками в полоску.

— В этих тетрадках,—с мечтательной гордостью предъявил их Михаил окружившей его поездной братве,—всё самое ценное, что есть у меня в жизни!..

Потом он припомнит, как по-осиному вился около молоденький солдатик в зелёной фуражке и в тельняшечке. И как ехавший рядом старшина второй статьи, подмигивая флотским, насмешливо осадил «сухопутника»:

— Ты чё тельняшечку-то нацепил?

А Бажутин, который всё-таки был старшиной не второй, а первой статьи, защитил молоденького:

— Да пусть пацан носит! Все мы вояки…

— Михаил, теперь не жалеешь: может, ты зря за ту «тельняшечку» вступился?

— Во всяком разе, когда стал паковать чёрный, из кожзаменителя, чемодан, обнаружил, что в нём нет тех самых заветных моих тетрадок. Вроде сильно не пили. И я «при голове» был. Впрочем, и «при желудке». Мне ведь предлагали тогда в госпиталь лечь. Да прямо с дока на дембель списали. За день до срока. Решили: «Ладно, давай до дому! У матушки болеть полезней…»

И вот ехал я, несмотря на желудочные спазмы, на таком душевном подъёме, что одну за другой песню сложил. Эх, Юрий, как совпадал тогда этот самый душевный настрой с ощущением ещё не утраченной нами Родины: «Я ехал в вагоне по самой прекрасной, по самой прекрасной земле…» А «Там за туманами» выдохнул ещё во время службы на ракетном катере в знаменитой Советской Гавани. «Ребят с нашего двора» начал там же, но доделывал уже в пути. Перепрыгивал с одного на другое. То писал:

А ещё я весне благодарен,
За Отчизну, что всё же живёт.
И за то, что однажды в апреле Гагарин
Совершил свой высокий полёт.

То, словно подчиняясь ритму идущего поезда, тянул:

Звенели колёса, летели вагоны,
Гармошечка пела: «Вперёд!»,
Шутили студенты, скучали погоны,
Дремал разночинный народ…

Помню, внутренне споткнулся на строчке «Гармошечка пела: „Вперёд!“». Чем-то она мне не глянулась. Думал: потом к ней вернусь. Сперва получилось: «Шутили матросы». Но в поезде-то не только матросы ехали. И я чуть переиначил: «шутили студенты». А матросов и другой военный люд слил воедино—«скучали погоны».

А дорога-то длинная—семь суток до Перми добирался. За такое время со всеми перезнакомишься, на всех перронах ноги разомнёшь, да ещё и влюбишься. Увидел в вагоне девчонку с большущими глазами. Она тоже на меня смотрит. Как говорят у нас на Урале, искрá между нами прошла. Чуть позже, на каком-то хмельном приливе, извлёк тетрадку и аж красной пастой начал фонтанировать:

Последнее «прости» с любимых губ слетает,
В глазах твоих больших тревога и печаль…
Ещё один звонок, и смолкнет шум вокзала,
И поезд улетит в сиреневую даль…

— На моём месте некие седовласые знатоки фольклора сейчас бы выкрикнули: «Не надо ля-ля!» И предъявили бы свой резон: «Мы эту песню ещё в студенчестве слышали! То бишь в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов прошлого века. Помнится, Виктор Татарский, что полвека ведёт на радио программу «Встреча с песней», однажды назвал автора «сиреневых» слов. Это Михаил Матусовский. А сам текст написан им не то в тридцать седьмом, не то в сороковом году…» Что скажет на сей счёт другой Михаил — Бажутин?

— Мы же в поезде с кораблей были. И я девчонку «клеил». Повторяю: «Сиреневый туман» — про неё. Забыл певца, который оптом его исполнял. Марков?.. Маркин! Сначала он якобы приписывал тот «Туман» себе, а после отказался: мол, не он сочинил. Дескать, автор неизвестен. И только затем какая-то вдовушка предположила: мол, это её муженёк сочинил в тридцать седьмом. Вот и кивают сейчас на тридцать седьмой год.

— Я, вообще, считал эту песню народной…

— А я готов бороться и за «Сиреневый туман»! Кстати, я его «добью». Там всего три куплета. А я сделаю шесть. Дотяну, что не успел тогда в поезде…

— А как написалось «Там, за туманами»?

— После учебки на острове Русском я служил в Сов. Гавани на ракетном катере. И были мы на учебных стрельбах. Промазали. И тащили в Татарском проливе цель — катер «Комсомолец». Это такие клёпаные, дюралюминиевые, времён Великой Отечественной войны катера. Начался шторм в три-четыре балла. Воды-то солёной тогда мы наглотались. Катера есть катера. Болтало нас здорово. И мы шли по радиолокационной станции. Потому что там такие туманы!.. Трос не видать, тот катер — тоже. Фонтан воды и дымка серая. Всё затянуло. Вот тогда-то у меня и возникло: «Там, за туманами…»

— То есть эта фраза — твоя?

— Да вся песня — моя! Я имею в виду слова… У меня сейчас сердце кровью обливается! У меня же другая мелодия была. Она походит на ту. Я её напевал. Сам-то я не композитор. Так — для себя. Ребятам на флоте не показывал. Стеснялся…

(По моей просьбе Бажутин напевает: «Синее море, только море за кормой…» Действительно, напевает на собственный лад. Мотив похожий, но и отличающийся от известного.)

Когда строчка пришла «Там, за туманами…», поначалу я хотел написать: «Серыми». Подходит. «Белыми» — тоже. А потом вспомнил голубей у себя из детства в Большой Соснове!.. Сизых. И стали туманы у меня «сизыми».

— Но ведь «Любэ» поёт — «вечными, пьяными»?

— И «вечными» там тоже есть. Я сейчас эту песню тормошить не буду *(в голосе Михаила проступает заметная хлипотца)*…

— А про остальные песни что скажешь?

— Да они все у меня похожие! Я часто ввожу слово «там»: «Там за туманами…», «А ты там, там, там, где черёмуха растёт…». Это уже — из «Ребят с нашего двора». У меня было два варианта: «черёмуха» и «смородина». Расторгуев поёт «смородина». И если «Там за туманами» они оставили без изменений, то в «Ребят» насовали своих куплетов — например, про какого-то «Кирюху по кличке Флакон». А вот про Гагарина — это моё… В тех тетрадках было штук десять моих песен. Сорок лет прошло. Я все их дословно не помню. Кроме тех, о которых мы говорим, потому что я их тогда зубрил…

— Когда ты впервые услышал, что поют твои слова?

— Году в девяносто шестом-девяносто седьмом. Но тогда мне не до того было. Болезнь меня маленько придавила… Сахарок прыгнул. Перед этим две трети желудка убрали. В общем, как я говорю, меня периодически штормит…

— Что испытал, когда узнал песни на свои слова?

— Тоска меня пробила!.. Что вот так в мире может получиться. Интересно: говорят, как-то Расторгуеву задали вопрос: «Скажите, кто текст-то „Там за туманами…“ сочинил?» Он вроде как ответил: «Да один моряк!» Стало быть, знают они ситуацию?

— В тетрадках было твоё имя?

— Вот этого не помню… Не подумал об этом. Я даже не думал в то время, что, оказывается, рукописи можно красть!

— Как в дальнейшем сложилась твоя жизнь?

— Мы же как? Свободу любим. Создали бригаду — и айда шабашить. Строили дома, гараж. Около года работал в Перми слесарем на телефонном заводе. Но всё равно тянуло меня к деревенскому бытию. И я не выдержал здешней толкотни-суетни. Отправился обратно. Это был семьдесят седьмой год. Сколько-то проработал лаборантом семенной инспекции у своей мамашеньки. В семьдесят восьмом женился. Выучился на водителя. Шоферил на ГАЗ-69. Возил людей по полям-по лесам. Потом — инженером по топливу. Десять лет — лесником.

— Сейчас продолжаешь сочинять?

— Если посчитать с теми, что остались в пропавших тетрадках, и что написаны потом, то, наверное, песен шестьдесят будет. Я много не пишу. Я теперь стал, как граф Монте-Кристо: если правды не добьюсь, я им ни одной песни не отдам! Я готов там горланить песни свои новые! Только чтоб встретиться с ними… Раздавить бы ещё этого!..

— Кого?

— Который в авторах ходит *(Бажутин показывает раскинутыми руками масштаб воображаемого лица)*. Пусть он там у себя в Москве живёт — кислородом дышит, но чтобы мои земляки знали, кто есть кто! Я хочу его на поэтическую дуэль вызвать…

— Ох, и не просто придётся тебе на той дуэли! Знаешь, есть марочные вина. А есть марочные песенники. Твой «Дантес» — из таких. Кто только не исполнял его тексты: и группа «Чёрный кофе», и «Любэ», и Женя Белоусов, и «Иванушки», и Татьяна Овсиенко, даже София Ротару и Алла Пугачёва. Он, если и встанет к барьеру, то какого-то, пусть и первостатейного, морячка из Большой Сосновы просто не заметит. Да и кто тому морячку поверит? Пусть лучше плетёт свои корзинки, а не небылицы. Да и морячок ли он?

— Видишь вырезку из приморской газеты «Служба Родине»? Уже пожелтевшую. Это — обо мне: «Хорошо отзываются на корабле об отличнике боевой и политической подготовки старшем матросе Михаиле Бажутине. И в службе, и в учёбе у него полный порядок. Изучив два заведования, Михаил готовится к экзамену на первый класс. Добиваться намеченной цели ему помогает социалистическое соревнование, развёрнутое в экипаже в честь XXV съезда КПСС». Так что я — не призрак.

— Ну, допустим, не призрак. И читатель согласится: ехал наш «отличник боевой и политической подготовки» в поезде неделю и что-то там карябал в двух тетрадках, а после их посеял. Затем — словно уснул на тридцать лет и три года (тоже мне Илья Муромец!), а когда однажды включил телевизор и узрел-услышал френчеватого Колю Расторгуева, поблазнилось ему, будто тот его словами изъясняется. Сколько таких историй от разных шукшинских чудиков с синдромом Гришки Отрепьева из невообразимых медвежьих углов? Токующие в самозабвении, они будут с пеной у рта и в полной уверенности доказывать, что «Я помню чудное мгновенье» — их рук дело. И только потом, поупиравшись да изрядно почесав репу, позволят ретироваться: «Ах, да, как же это я запамятовал?! Оказывается, автор-то — Пушкин. Но всё равно — будто бы я сказал!..» Поэтому это всё — «Ой, туманы мои, растуманы!».

(Далее, оттолкнувшись от последней фразы, я позволю себе небольшое литературоведческое отступление. Может быть, и «растуманы». А может, постмодернизм. «Лихие девяностые», они ведь лихи не только рэкетом, отстрелами друг друга и рейдерскими захватами. Под видом смены соцреализма на постмодернизм не зазорно стало использовать известные из классики сюжеты, а то и целые, не принадлежащие автору фразы-периоды. Своего рода экспроприация! В этом смысле большевики и постмодернисты — близнецы-братья. Было чужое — стало моё. Щепетильные классики называли сие цитатой, и врождённая порядочность не позволяла им признавать и применять ликвидацию кавычек. Однако пришедшие им на смену решили наступить на кавычки, как на хвост разомлевшей на солнышке ящерки, выбросить их из обихода, точно некогда буквы «ер» и «ять», да ещё подвести под эту отмену научную базу — наречь незакавыченные цитаты центонами, что в переводе с латыни — лоскутное одеяло. И это одеяло начали тянуть на себя все кому не лень.

Например, провозглашая здравицу старой деве, один московский остроумец витийствовал:

Она в этом кайфа не ловит,
но если страна позовёт,
коня на скаку остановит,
в горящую избу войдёт!

Так великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов обернулся Александром Викторовичем Ерёменко. Другой «поэтический бармен» Николай Байтов, вообще, приготовил убойный коктейль, смешав спетого Борисом Гребенщиковым Анри Волохонского с Лебедевым-Кумачом:

Под небом голубым
есть город золотой
с фашистской силой тёмною,
с проклятою ордой.

Но если два первых случая ещё можно отнести к некому, пусть подшакаливающему, но литературному приёму, то, предположим, поэт-песенник Виктор Пеленягрэ, тот и вовсе не разводит чайных церемоний. Вспомните хит всё той же группы «Любэ» «Позови меня тихо по имени…». Не надо быть большим знатоком творчества Сергея Есенина, чтобы не насчитать в этом песенном тексте четыре прямых заимствования из известного стихотворения русского классика «Несказанное, синее, нежное…».

Поскольку уши у современного россиянина занавешены транслируемыми напевами попсы, может даже показаться, что первоисточник — Пеленягрэ, а не Есенин:

Колокольчик ли, дальнее эхо ли?
Только мимо с тобой мы проехали.
Напылили кругом, накопытили…

С той лишь разницей, что у Есенина: «Стой, душа, мы с тобой проехали». И вместо «Несказанное, синее, нежное» на голубом глазу поётся: «Несказанное, глупое, нежное». Бог шельму метит: тут коренное словцо — «глупое».

И так во многих песенных текстах Пеленягрэ, исполняемых той же группой «Любэ», Лаймой Вайкуле, Николаем Басковым, Ириной Аллегровой, да Бог ещё знает — кем: то Блок мелькнёт, то Николай Рубцов, то Михаил Кузьмин, то Юрий Влодов, то Юрий Кузнецов. Прежде это именовали плагиатом, нынче кличут центонами или «особым химическим составом сознания», которым под завязку наделены дети постмодернизма.

Дабы в этом убедиться, достаточно воспроизвести название одного сборника стихов и песен: «Я Шаганов по Москве». Чувствуете?.. Постмодернист всегда попирает первоисточник. И если придерживаться истории, что какими-то путями, когда-то к будущему бажутинскому супротивнику по возможной поэтической дуэли, о которой ныне грезит Михаил, попали тетрадки с каракулями неведомого морячка, исполненные обаятельного наива, то по методу своих собратьев-постмодернистов он мог вполне впустить их в свои тексты, при этом даже не заметив.

Но если внимательно, с использованием лингвистической лупы, укрупнить особенности собственного стихотворчества баловня отечественного шоу-бизнеса и предполагаемых бажутинских напевов, прослеживается вот какая картина: сей баловень более умел, пластичен, изощрён, если можно считать изощрёнными попсовые тексты, но они, надо признать, крепко держатся на гвоздях рифм, тогда как Бажутин не всегда подрифмовывает, а ежели и рифмует, то нередко как-то по-школьному, по-дилетански — едва опираясь на гласные… Примером может служить недавняя написанная Михаилом песня про гранёный стакан, напетая во время нашего с ним диалога:

Рождённый, рождённый, рождённый
В огромной советской стране,
Гранёный, гранёный, гранёный,
Твой звон раздавался везде…

И здесь голос Бажутина возвратил меня в большесосновскую реальность.)

— Но при этом к моей поэзии-то не подстроешься! А у того баловня, о котором ты глаголишь, — другая интонация. Ведь песня, она, как ручей. Заколодило одно слово, будешь ломать — всё, песня не пойдёт. Отбросит куда-то на камни, но никуда не покатится. Вот как тебя пронзило, так ты и катись!

— Я знаю, что когда группа «Любэ» давала концерт в Перми, ты хотел приехать из Большой Сосновы, выйти на сцену с букетом цветов, а в букете, на видном месте, — записка: так, мол, и так — я тот самый моряк, автор «туманных» тетрадей… Захочет Расторгуев поговорить — даст понять. А нет…

— Отдал, повернулся и пошёл на своё место. Надо ведь и честь знать! Но на тот концерт мне не суждено было попасть — по иронии судьбы, все билеты были проданы. Однако вскоре я услышал радиопередачу Андрея Дементьева «Виражи времени». А в гостях у него был… всё тот же баловень. Дементьев его спросил: а как, дескать, была написана песня «Там за туманами»? И тот сказал, что якобы в девяносто шестом году ходил с другом в море. Вот под впечатлением этой прогулки и написал… Только оплошка выходит — промахнулся «стрелок» аж на два десятилетия…

— А чем закончилось твоё обращение в передачу «Пусть говорят» или «Прямой эфир»?

— Отправил письмо. А потом позвонил. И почувствовал: как будто там что-то не пробивное! Девица какая-то отвечает: «Да, мы знаем, что вы…» А письмо я отправил в стихах:

Я пишу же вам с Пермского края.
Связан песней я с группой «Любэ».
Знает Бог справедливого Рая:
Я писал эти песни себе…

Но в ответ — тишина. Но я всегда успокаиваю себя тем, что Бог-то ведь знает!.. А чё нам бояться? Мы-то всё равно здесь временные. Чё нам?.. Там всё узнаем. «Дорога, дорога, осталось немного — мы скоро вернёмся домой…»

Вместо послесловия

История с Михаилом Бажутиным — красивая литературная легенда, которая в силу своей голословности может окончательно переродиться в миф. Может ли это быть правдой, чтобы у нас в Большой Соснове безвестно проживал автор известных на всю Россию песен, если точнее — произведений песенной лирики?!

Обычно в нашем писательском кругу говорят: «Чудес не бывает».

Обоснованно, как эксперт, я не могу судить об этом просто потому, что недостаточно знаком с творчеством Михаила Сергеевича. И не вслушивался, и тем более не вчитывался в репертуар «Любэ». Но при нашем личном знакомстве Михаил произвёл на меня хорошее впечатление. У меня сложилось мнение, что это искренний человек, не ищущий сомнительной «славы», живущий с чувством удивления счастливой надеждой на то, что пришедшие ему когда-то в прекрасной молодости

чувства и мысли не пропали и, облечённые в не слишком гладкие строки, не потерялись, а зазвучали по России через десятки лет.

Может ли такое быть?

По косвенным характеристикам сюжета легенды—да, может. Кто помнит эту жизнь большой страны в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, тот знает, что тогда в душах суровых мужчин цвела романтическая нежность стихами и мечтаниями, тогда довольно ясно ощущалось, что, если не ты, то страна в целом живёт невероятно большой судьбой и особой, значительной историей. Конечно, все эти чувства касались не амбивалентных людей, живущих «сложной, неоднозначной внутренней жизнью». А рядовых граждан—работяг и интеллигентов. И вот это «эмоциональное содержание», как говорят литературоведы, донеслось вдруг до нас известными песнями. То есть вполне можно допустить, что эти тексты могли быть написаны в середине семидесятых. В них та же атмосфера.

Мог ли матрос, отличник боевой и политической подготовки, записывать в тетрадку стихи. Конечно! Среди пермских писателей сразу можно назвать, например, Ивана Гурина, Валерия Возженникова, которые, будучи солдатами, так же «грешили» сочинительством и записывали стихи в тетрадки и даже прятали тетрадки от осмотра.

Почему бы сейчас, когда есть возможность, жива память, живы авторы, не воссоздать скрупулёзно творческую историю уже доказавших свою значимость литературных, да и любых других произведений искусства? Но, видимо, я спрашиваю пустоту. Спрашивает пустоту и Михаил Бажутин. И с этим надо жить, ничего не попишешь!

…Да, чудес не бывает, пока они не случаются.

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ

председатель пермской
краевой организации
Союза писателей России

Д*и*Н ИРОНИЯ

Дмитрий Трушкин

Серость океана

* * *

По субботам я хожу в Ашан
Затеряться между грязных полок.
Город, точно серый океан.
«Серость океана», Джексон Поллок.

Я не прыгну выше головы
У забора, на котором кто-то
Чёрной краской написал «увы».
Персонаж больного анекдота.

Утешаюсь тем, что все спешат,
Утешаюсь тем, что все зануды.
Всем в метро цветастый коловрат
Путь укажет ото дна до чуда.

Воскресенье, влажной тряпкой пыль
Вытираю с трещин на гитаре.
Жизнь—игра, в разгаре миттельшпиль,
Но я слышал, что азарт коварен.

Так проходит день, неделя, год,
Жизнью залп из самой мощной пушки.
Ярких красок я набрал, и вот—
«Серость океана». Дмитрий Трушкин.

Клёвые сердца

У нас с тобою клёвые сердца.
Однажды их сожрёт мусоровоз.
Наверно, будет ранняя весна
И половодье от пролитых слёз.

И будут губы девушек грустны
В помаде цвета тысячи гвоздик.
Живут, сопротивляются, а мы
Себя переписали в чистовик.

Любили не решать и не спешить,
Забыв про неминуемый финал.
Но вдруг—пора точить карандаши
И аккуратно складывать в пенал.

Весна звенит бездонной пустотой,
В которой звёздам больше не мерцать.
Шепни мне на прощание: зато
У нас с тобою клёвые сердца.

Владимир Шемшученко

На златом крыльце

* * *

Украинская ночь домашним пахнет хлебом.
Здесь время не идёт, а тянется, как мёд.
На капли молока, пролитые на небо,
Во все глаза глядит ленивый старый кот.

Его пра-пра-пра-пра… якшался с фараоном.
Он по-кошачьи мудр. Он доктор всех наук.
По одному ему лишь ведомым законам.
Он выскользнуть сумел из цепких детских рук.

Он знает, почему туман сползает с кручи,
И то, о чём поют метёлки тростника.
А я у костерка под ивой неплакучей
Никак не разберусь—зачем течёт река?

Динь-динь, динь-динь, динь-динь—проснулся сторожок!
(Похоже, крупный лещ польстился на наживку…)
Удилище—в дугу! Он сам себя подсёк!
Я вывожу его… как кралю, на тропинку.

И вот он—золотой! Должно быть, в два кило…
Танцует на песке последний в жизни танец…
Украинская ночь вздыхает тяжело,
И на её щеках—предутренний румянец.

Лизнула сапоги неспешная волна,
И лещ—пошёл, пошёл, качаясь с бока на бок…
Иди—мне жизнь твоя сегодня не нужна.
И сладок этот миг, и ветер тёплый—сладок.

* * *

Ветер замёл под ковёр облетевшей листвы
Милые глупости и разговоры о лете.
Перелиставший Сервантеса северный ветер
Жестью на крыше грохочет… Ах, если бы вы
Или другой кто-нибудь на весёлой планете
Вместе со мной расплескал по страницам печаль.
Впрочем, о чём я? Никто за меня не в ответе—
Сею стихи—вырастает дамасская сталь.
Некто однажды сказал мне: «Иди, дождь с тобою…»
(Был он, признаюсь, смешон и довольно нелеп).
Даже писал мне невнятное что-то из Трои
И, наконец, замолчал, потому что ослеп.
Чёртово время! Бегу, как собака по следу,
За показавшими гонор и прыть в человечьих бегах.
Если сегодня же ночью я Трою спасать не уеду,
То на рассвете в «испанских» проснусь сапогах.

Революция

Тише рыбьего дыханья,
Легче трепета ресниц—
Скорой смерти ожиданье
Сходит с блоковских страниц…
А вокруг всё лица, лица…
Заряжай! Прицелься! Пли!
Журавлиные синицы
И синичьи журавли
На златом крыльце сидели—
(Здесь зачёркнуто…) Гляди
На бушлаты и шинели!
Хлеба дайте! Проходи!
Робы, блузы, платья, спины,
Маски, кепки, колпаки,
Свечи, фонари, лучины,
Проститутки, кабаки…
Кто поёт, кто матерится—
Власть издохла! Вот те на!
Тут—шампанское искрится,
Там—штыки и стремена…
Карнавал! Гуляй, людишки!
День последний! Судный день!
Ничего теперь не слишком!
Никому сейчас не лень!
Отойти! Остановиться!
Руки разбросать! Не тронь!
Вера—манна несчастливцев—
Всех в огонь!

Письмо небратьям

Нас много. Нас очень много!
Мы русские—в этом суть.
Когда мы не верим в Бога,
В делах наших смысла—чуть.

Нас много. Нас очень много!
Мы все—из огня и льда.
Когда мы не верим в Бога,
Слова наши, что вода.

Нас много. Нас очень много!
Мы ласковы и нежны.
Когда мы поверим в Бога,
Вы станете не нужны…

● ● ●

Бросил в угол и ложку, и кружку,
И когда это не помогло —
На чердак зашвырнул я подушку,
Что твоё сохранила тепло.

Не ударился в глупую пьянку,
Не рыдал в тусклом свете луны,
А принёс из подвала стремянку,
Чтобы снять твою тень со стены…

● ● ●

Светилась яблоня в саду
За три минуты до рассвета.
В тени ракит купало лето
Кувшинки жёлтые в пруду.

Играла рыба в глубине
На перламутровой свирели,
И камыши чуть слышно пели,
И подпевать хотелось мне.

Звенел комарик у виска
О чём-то бесконечно важном…
И это было не однажды,
И те же плыли облака…

Упало яблоко — пора —
И ветка, охнув, распрямилась…
И, торжествуя, жизнь продлилась
За три минуты до утра.

● ● ●

Вместо бессильных слов
В самом, самом начале —
Капельки васильков,
искорки иван-чая.
Ну и ещё — река.
А на реке — светает…
Это издалека,
Это растёт, нарастает.
Это — ещё не звук.
Это — из сердцевины.
Это небесный паук
Звёздной наткал паутины.
Это корова-луна
Тучу поддела рогами.
Это кричит тишина,
Смятая сапогами.
Это — здесь и сейчас! —
Заговорить стихами.
Это — последний шанс
Не превратиться в камень.

● ● ●

У зимы петербургской несносный характер
У зимы петербургской прескверный характер весьма —
У неё задарма на понюшку не выпросишь снега.
Безъязыкие — жмутся на Невском друг к дружке дома,
А под ними подземка гремит допоздна, как телега.

Разгулявшийся ветер Атлантам начистил бока,
И, как ловкий цирюльник, намылил гранит парапета.
В плиссированной юбке на берег выходит река
И с достоинством царским идёт в Эрмитаж без билета.

И опять всё не то… Как мальчишку меня провела —
Вместо ярких полотен подсунула кинокартинки…
А над площадью ангел уже расправляет крыла,
И Балтийское море мои примеряет ботинки.

● ● ●

Черёмуховый обморок. Безумье соловья.
Подслеповатый дождь, крадущийся по крыше…
Скучают во дворе верёвки для белья,
И, кажется, земля волнуется и дышит.

На цыпочках рассвет по лужам пробежал
И в спешке обронил роскошный куст сирени…
Он долго на ветру качался и дрожал,
Роняя на траву причудливые тени.

Откуда ни возьмись нагрянули скворцы,
Снуют туда-сюда… И важные такие…
И тотчас воробьи — на что уж храбрецы! —
Расстроили свои порядки боевые.

И, кажется, что зла на свете вовсе нет,
Зато добра вокруг — невыпитое море:
И от костра дымок, и яблоневый цвет,
И соло василька в большом цветочном хоре!

● ● ●

Дождь походкой гуляки прошёлся по облаку,
А потом снизошёл до игры на губе.
Он сейчас поцелует не город, а родинку,
На капризно приподнятой Невской губе.

И зачем я лукавую женщину-осень,
С разметавшейся гривой роскошных волос,
Ради музыки этой безжалостно бросил,
Чтоб какой-то дурак подобрал и унёс?

Я по лужам иду, как нелепая птица,
Завернувшись в видавшее виды пальто.
Этот сон наяву будет длиться и длиться…
Из поэзии в жизнь не вернётся никто!

* * *

Ненасытная печь за поленом глотает полено.
На исходе апрель, а в тайге ещё снега по грудь.
Скоро лёд в океан унесёт непокорная Лена,
И жарки расцветут, и не даст птичий гомон уснуть.

Где-то там далеко облака собираются в стаи.
Где-то там далеко людям снятся красивые сны.
А у нас ещё ветер весёлые льдинки считает
На озябших деревьях, и так далеко до весны.

Тишину потревожил испуганный рокот мотора…
Не иначе сосед мой—рисковый, бывалый мужик,
До того одурел от безделья и бабьего вздора,
Что по рыхлому льду через реку махнул напрямик.

И опять тишина. На сей раз проскочил-таки, леший.
От души отлегло. Я бы так ни за что не сумел.
В эту пору на лёд не ступают ни конный, ни пеший,
А ему хоть бы хны. Он всегда делал то, что хотел.

И за то пострадал, и срока отбывал на Таймыре,
И на выселках жил от верховьев до Карских ворот,
Пил еловый отвар, кулаком плющил морды, как гирей,
И выхаркивал лёгкие сквозь окровавленный рот.

Он глядел на меня, усмехаясь, в минуты застолья
И на третьем стакане меня зачислял в слабаки,
А глаза изнутри наполнялись любовью и болью—
Так на небо глядят пережившие жизнь старики…

* * *

Машет крыльями вьюга, и, перья ломая, кружится,
И беспомощно бьётся в колодце двора, как в силках.
Я тебе помогу, моя сильная белая птица.
Подожди… Я сейчас… Я тебя понесу на руках.

Я узнал тебя, птица… Зачем ты сюда прилетела?
Кто оленей пасёт и гоняет по тундре песцов?
И какое тебе до меня протрезвевшего дело,
И до города этого, где даже воздух—свинцов?

Я тебя пожалею—добром за добро рассчитаюсь…
Помнишь, как ты меня превратила в большущий сугроб?
Я по воле твоей три недели уже прохлаждаюсь…
Здесь тепло и светло, а меня колошматит озноб.

Я сейчас поднимусь… Крутану на оси этот шарик…
И качнётся палата… И сдвинется с места кровать…
И вернётся хирург… Он был явно тогда не в ударе,
И кричал на меня… А вот руки не стал пришивать…

Сергей Слепухин

Труба играет человеком…

• • •

Я подожду тебя молчанием у входа
А. Петрушкин

Мы снова вышли на промозглый ветер,
Забытый стог, пылал закат вдали,
Взъерошенные, путаные мысли,
Как тени, наползали друг на друга.

Брат смерти, сон, спускался на долину,
Но запахи фиалкового йода,
Стекавшие из умерших растений,
Нас не могли взбодрить и отрезвить.

«Мир движется по правилам, запомни»,—
Ты мне сказал и спрятал сигарету
В ладонь. Несмелою струёю
Гнусавой флейты полз усталый дым.

«Но если, всё же, мы не принимаем,
Навязанных нам кем-то, для чего-то
Законов—для себя без спроса
Другие открываем небеса».

Ты замолчал, твой профиль заострился.
Страх, круглый, плотный, ношей загрудинной,
Сползал на землю стопудовой гирей
И горловые звуки испускал.

И небосвод качнулся непривычно,
И мы переглянулись: сдвиг по фазе.
Был День Шестой, день сотворенья Бога,
Он, третий лишний, нас у входа ждал.

• • •

Ползёт походкою паучьей
Ноябрь в выцветшем трико,
Всё в мутных пятнах—парк и тучи,
Мой день прокис, как молоко.
Прибита хмурь на дюбеля,
Уходит осень в дембеля.

Труба фабричная маячит,
Дождь ловит в ледяную сеть.
Слезится, жалуется, плачет
Незримый бог—нельзя узреть.
В глазах опять кишат иголки.
Как всё достало! Палки-ёлки!

• • •

Зелёный крест—то кладбище ль, аптека?
Смех глупых, треск тернового куста…
Опять труба играет человеком
И медью слёз тревожна и густа.

Иди и помни: нет тебя в помине,
Цветёт миндаль и каперс стелет бег,
Твой голос смолк, безмолвие в пустыне,
Ты одинок и жалок, человек.

• • •

На поверку вещи границ не имеют,
серебристая тень и чернильный омут
не удержат предмет в постоянных пределах,
не смирят в запёкшихся очертаньях.

Вот и мы из собственной формы уходим
величаво, с гордой хвастливой осанкой.
Что нам абрисы, контуры, силуэты,
несвобода, данная при рожденье!

Лёгкий шаг бесчисленно множит склоны,
чистят небо ангелы, крыл не жалея,
наблюдают сверху глазами птицы,
как храним себя мы не дольше мгновенья.

• • •

Когда опять сквозь Сусзкие ворота
проедет он на ослике хромом,
одышливо зашевелится что-то
вот здесь, левее, в раненом, больном.

И пальмовые ветви, и осанна,
и ночь в Вифании, блаженна и чиста,—
душевная обманчивая рана
во имя Господа грядущего Христа.

Пластмассовые стульчики рядами,
увеселения дешёвый атавизм,
спогрéбшеся Тебé сидят меж нами
у входа в рай… Метафора, трюизм.

Я тоже видел мух на этой куче,
И слышал тех, кто величал, любя.
Ах, эта боль, зачем она не учит,
Не доверять, не выдавать себя!..

● ● ●

Пустота как присутствие…
Д. Веденяпин

Опасность обычно таится с наветренной стороны,
Тени убийц копошатся в бездонных зелёных лужах,
Вентиляционные шахты отрыгивают из глубины,
Дремлющий запах горя вываливая наружу.

Он и есть, по сути, последняя темнота,
От голоса, ставшего чуждым, глаза отрешаются спешно,
Фонари, зажигалки—выкинь! Куриная слепота!
На ощупь! Только на ощупь! Если спасёшься, конечно…

● ● ●

Гудят бидоны, лязгают металлом.
Басит приёмщица, разгрузка молока.
Простуда снова губы обметала,
Ещё неосновательно, слегка.

Что тормозишь! А ну, харэ копаться!
Давай, плесни. Да нет, не молоко!
Закончен день, едва успев начаться,
Горчит и жжёт, стекает глубоко.

Свет отступает, пористый и липкий,
Жизнь—перевёртыш, жалкий палиндром.
Селёдка, водка, детплощадка, липки,
Да баба снежная с метёлкой и ведром.

● ● ●

Игла на ножке, как девчонка, скачет.
Беги, душа, без памяти беги,
Туда, где слёзы ничего не значат.

Продольный взгляд ровняет пустоту,
Накалывает боль игла тупая.
Оркестр, как полк, уходит за черту,
В забвение смиренно отступая.

● ● ●

Взирает, непреклонен,
Пластмассовый атлет,
Накачан, как Сталлоне,
Как Хьюго Босс, одет.
Рождён, к несчастью, зрячим
Тот бравый манекен.
Как он, бывает, плачет
В глухом проёме стен!..

Спешит, бежит не глядя
По улице народ,
А в раме плачет дядя,
На все глаза урод!
Мольба его напрасна,
Несбыточны мечты:
Ослепнуть безопасно,
Чтоб стать, как я и ты…

ДиН пародия

Евгений Минин

Сор из избы

Дышите глубоко

Дыши глубоко. Постарайся заснуть.
Прими анальгина. Попей.
водички. А хочешь горчичник на грудь?
Оно помогает ей-ей.
Бахыт Кенжеев

Открой мою книжку. Попробуй прочесть.
под утро. А можно в ночи.
Когда непонятна стихов моих жесть,
водички попей и молчи.
Дыши глубоко. И скорее забудь
все строчки из книги моей.
Прими коньячка граммов двести на грудь—
оно помогает ей-ей.

Сорное

Воют ли волчицы?—Можно выть.
Можно починить на кухне кран.
Стряпать, выносить сор из избы,
колыбельку белую качать…
Олеся Рудягина

Голос мне замечательный дан—
У меня замечательный вой.
Я иногда починяю кран,
Штукатурить могу порой.
Не пугает в квартире хлам,
Сор выношу каждый день в горсти.
Из чего ж рождаться стихам?
Если сора в избе не найти.

Владимир Скобцов

Я родился в Донецке

Я родился в Донецке

Помню снег в Уданьшань, мэйхуа на снегу,
как в предгорьях Юньнань розовели акации.
Я родился в Донецке, в мирном году
своей нынешней реинкарнации.
Верный конь за кормой, дело было в Крыму,
след кровавый простыл от моей эмиграции.
Я родился в Донецке и здесь я живу
в своей нынешней реинкарнации.
Шла по Ладоге жизнь к нам сквозь злую пургу,
я забыть не могу лютый вой авиации.
Я родился в Донецке и здесь я живу
в своей нынешней реинкарнации.
Бьют тяжёлым по нам, гнутся стены в дугу
и метафоры все далеки от абстракции,
я родился в Донецке и покуда живу
в своей нынешней реинкарнации.
В синеве твоих глаз, во вселенском пруду,
и Голгофа моя, и моё воскресение.
Я родился в Донецке, в него и уйду
в своём окончательном перерождении.

Совесть

Безутешной времён повестью
Птицы чёрные зло кружат,
Искалеченною совестью
Новый век из открытых врат.
Хорошо было или плохо,
На ушедшее не греши,
Вот грядёт инвалид-эпоха—
Тело спелое, нет души.
Не прошу ни вина, ни хлеба,
Ни бумажных купюр вал,
Дал Господь мне кусок неба
И любовь мне Господь дал.
Можно душу отдать за имение,
Можно душу продать за грант,
Есть талантливее преступление—
Разменять на кассе талант.
Я рифмую времён повесть,
Лик бессонных ночей мят.
Бог вживил в миокард совесть,
Я ему благодарен стократ.

Братишка

Зарыт своими,
Забыт страной,
Закрыто имя,
Лишь позывной.
Судьбы случился
Бараний рог,
Кто мог, скрутился,
А он не смог.
Ни прыгать с пирса,
Ни жечь причал,
Кто изловчился,
А он не стал.
Те, что пожиже,
Шептали: «лох»,
Уже в Париже,
А он не смог.
Крысиным ором:
— Твоя ль беда?—
Кричали хором,
А он сюда.
Мать похоронки
Не ждёт, сынок,
Иди сторонкой.
А он не смог.
Ни за медали,
Ни за пятак—
Ему не дали
Вы их и так.
В полнеба пламя,
В полвека смог.
Кто выжил—с нами,
А он не смог.
На место пусто,
Уставом тёрт,
В казарму пустит
Сверхсрочник Пётр.
Дадут бельишко
И скажет Бог:
— Привет, братишка!
Я б так не смог.

Клятва

Когда к тебе я не приду,
Не бойся и не плачь, родная,
Нас доставляют прямо к раю,
Когда Донбасс горит в аду.
В раю я совесть сберегу,
Сбегу, когда настанет утро,
В раю мне будет неуютно,
Когда Донбасс горит в аду.
Быть приговору, быть суду.
Не приведи на нары, Боже,
В раю дончанам быть негоже,
Когда Донбасс горит в аду.
А если в ад я попаду,
Вернусь, восстану той же ночью,
В аду погано, но не очень,
Когда Донбасс горит в аду.

Перед Пасхой

На небе целится в межбровье
Луна винтовкой номерной
И падает на Приазовье
Звезда с разжатой пятернёй.
Свечу поставив в изголовье
Пятиконечною звездой,
Клянёт земля судьбину вдовью
Несостоявшейся весной.
Не воротить погибших кровью,
Со спиртом фляжечку открой,
Они там выпьют за здоровье,
А мы от горя по одной.
Не внемля адову злословью
Над убиваемой страной,
Я воскрешал слова любовью
И тихо плакал Бог со мной.

Небо

Гул синевы высокой
В землю вошёл по локоть.
Если закроешь окна,
В окнах не будет стёкол.
Если закроешь уши,
Будешь ты слышать кожей.
К Богу взывают души,
Ты их услышишь тоже.
Если чиста рубаха,
То не страшна разлука.
На небесах нет страха,
Если смотреть без звука.
Их синева упруга,
Можно смешать в мольберте.
Если обнять друг друга,
Можно забыть о смерти.

Слово

Без света тенью жизнь простёрта,
Без тени смысл теряет свет,
Где ни черта нет, там ни чёрта,
Ни Бога и в помине нет.
Из ничего возникло Слово,
Не Пустота явила лик,
Не мова, не язык немого,
А Бог, который есть язык.
Не слушай песню крысолова,
Ищи божественный родник,
Где небо соткано из Слова,
И Бог, который есть язык.
Там Александр грешит стихами,
С любовью вновь рифмуя кровь,
Там небо звёздное над нами
И Бог, который есть любовь.

Жизнь

Поближе к огоньку держись,
Когда безверием повеет
От тех, кто ни во что не верит,
Когда в них не поверит жизнь.
Быть у воды водой учись
На этой каменной планете,
Храни любовь, она в ответе
За нашу маленькую жизнь.
И на надежду не сердись,
Пусть ненадёжнейшая штука,
С ней смерти нет, лишь есть разлука
Длиной в оставшуюся жизнь.

Больше некому

Не от барских щедрот,
Кого жизнь не убила,
Называли народ,
Больше некого было.
А беда, как вода,
Дождик капал на рыло,
Не сбежал никуда,
Ему некуда было.
Сон, не видящий снов,
Молодецкая сила,
Не искал подлецов,
Ему незачем было.
Узел времени пал,
Королевство прогнило,
Он стихов не читал,
Ему некогда было.
И когда в чёрный год
Неба лопнула жила,
Он держал небосвод,
Больше некому было.

Андрей Галамага

Замоскворечье

* * *

Юрию Баранову

Мы успели родиться на шестой части суши—
На восток до Камчатки и до Кушки на юг.
Мы умели смеяться и играть без игрушек,
И не всякого сразу допускали в свой круг.

Мы сбегали с уроков на футбольное поле;
Мастерили ракеты из конфетной фольги,
И таинственный запах бертолетовой соли
Ни химчистки, ни стирки одолеть не могли.

Мы не ждали послушно, когда стукнет шестнадцать,
И на взрослые фильмы пробирались в кино.
Мы с пелёнок учились ничего не бояться
И не верить, что будет—чему быть суждено.

Мы чуть свет выбирались из постылой постели,
Каждый день продлевая хоть на крохотный час;
Мы быстрее взрослели, потому что хотели
До поставленной цели доходить каждый раз.

Мы от края до края по земле колесили,
От Карпат до Байкала всё нам было—своё.
Мы страну, где родились, называли Россией
С большим правом, чем нынче называют её.

Где-то строились башни, где-то рушились стены;
Мир дробился на части и кроился по швам.
Мы сумели не сгинуть через все перемены,
И, кому было трудно, шли по нашим следам.

Мы ни совесть, ни веру никогда не попрали.
Что нам новый порядок или старая власть.
Если мы в этом мире до сих пор не пропали,
То, уж будьте надёжны, нам и впредь не пропасть.

Замоскворечье

Последним воскресением зимы
По узким улочкам Замоскворечья,
По тем местам, где вместе были мы,
Пройтись, наружу вырвавшись из тьмы,
И не отчаяться, и не отречься.

Казалось бы, всего на полчаса
Нам стоит оказаться на Ордынке,
И снова ты поверишь в чудеса—
Прекрасна, как весенняя роса
На тоненькой нетронутой травинке.

Часы застыли. Тиканье пружин
Прервалось на последнем обороте.
Я снова жив. Но снова здесь один,
Как будто безраздельный властелин
Всех проходных дворов и подворотен.

Мы знали тайну. В предрассветный час
Они, как музыкальная шкатулка.
Их звук с тобой мы слышали не раз,
И не было волшебнее для нас
Замоскворецких сонных закоулков.

Я не могу поверить, что сюда
Ты больше никогда не возвратишься.
Что я один—невелика беда,
Но нет страшнее слова—никогда,
Из словаря посмертного затишья.

И каждый день, как грешник, по утрам
Я нашему молюсь Замоскворечью.
Брожу по переулкам и дворам
И жду, что небо улыбнётся нам,
И ты—нечаянно шагнёшь навстречу.

Канун

Туман в низинах расстилался пеленою,
Внезапный ветер набегал и пропадал;
И до утра, готовясь к завтрашнему бою,
Не спал в сраженьях закалённый генерал.

Рассвет всё ближе. Но, покуда час не пробил,
Он зорким взглядом обводил притихший стан;
То тут, то там мелькал его орлиный профиль,
И все бесшумно расходились по местам.

Он назубок усвоил истины простые:
Не лгать, не трусить, не сдаваться, не стонать.
Он знал доподлинно, как велика Россия,
И доброй волею не стал бы отступать.

Пристало ль русским перед пулями склоняться,
Когда на знамени — нерукотворный Спас!
Мы насмерть станем за родную землю, братцы,
И вместе выживем. А впрочем, как Бог даст.

Пусть грянет бой, какой от века был едва ли,
Пусть супостату будет белый свет не мил;
Чтоб через двести лет потомки вспоминали
Тех, кто за Родину себя не пощадил.

Он не застанет час, когда под вечер смолкнут
Орудий залпы, посвист пуль, снарядов вой.
Он будет гордо умирать, шальным осколком
Смертельно раненый в атаке роковой.

Светлело небо в ожидании восхода;
Вот-вот над полем вспыхнет первая заря.
Начало осени двенадцатого года.
Грузинский князь — на службе русского царя.

● ● ●

Солнце всходит, словно из-под пытки, —
Хоть бы и вовек не рассвело.
Город, обносившийся до нитки,
Растерял последнее тепло.

День проходит, начерно набросан;
Стынут листья в сквере на Страстном.
Небо над Москвой стянула осень
Серым негрунтованным холстом.

Полчаса до полного коллапса.
Нет бы от снарядов или пуль, —
Мир как будто сдуру наглотался
Противозачаточных пилюль.

День устал мечтать о брачной ночи,
Холостой рассвет, пустой закат.
Только ветер вкрадчиво пророчит
Неисповедимый снегопад.

И часу неведомо в котором,
Над бесплодной осенью смеясь,
Первый снег под бархатным покровом
Скроет город от нескромных глаз.

Связь

Удел связиста — это ли не рай?
Удачливей на фронте не найдёте.
Наладил связь — сиди и ожидай,
Тебе не лезть под пули, как пехоте…

Я, устранив на линии обрыв,
Ползком открытым полем пробирался.
Со всех сторон гремел за взрывом взрыв,
А немец будто бы с цепи сорвался.

Земля вздымалась, дым стоял стеной.
Мгновение — и лопнут перепонки;
Когда меня ударною волной
Отбросило на дно большой воронки.

Там трое пацанов, как я, солдат
Дрожали побелевшими губами
И, на меня направив автомат,
Велели мне валить к такой-то маме.

Я до сих пор не смею их судить;
Такие есть везде — один на тыщу.
Я благодарен, что остался жить,
Короткий выстрел — и концов не сыщешь.

Я цел и невредим дошёл назад.
Не то, чтоб думал, ждут меня объятья;
Но лейтенант лишь бросил беглый взгляд:
«Опять обрыв. Давай, ползи обратно».

Я, было, возразил: не мой черед,
Теперь тебе пора идти настала.
Но он сквозь зубы процедил: «Вперёд!
Что, смотришь, не боишься трибунала?!»

И я пополз второй раз в этот ад.
Фашист сплошным ковром по полю стелет,
И каждый пролетающий снаряд,
Казалось, прямо на меня нацелен.

Не буду врать, я страха не скрывал,
Но чувствовал нутром, что не погибну;
И только непрерывно повторял
Рассказанную бабкою молитву.

Уже сквозь гарь окоп был виден наш,
Уже готов в него был прыгнуть с ходу…
Прямое попадание в блиндаж,
И кровь с огнём взметнулись к небосводу.

Мне не избавиться от этих снов.
Но кто однажды видел смерть так близко,
Тот навсегда постиг значенье слов:
На фронте — не бывает атеистов.

Анатолий Субботин

Страшные сказки

● ● ●

А мальчик был. Какой был мальчик, Боже!
Вот где любви хватило бы на всех…
Но где любовь, там нет и *тонкой* кожи!
И—космос хлынул и сменил посев.

Циничный рыцарь бродит по Европе.
И что ему насмешек арбалет!
Но загляни под цинковую робу—
там не по росту маленький… скелет.

● ● ●

Медвежий угол. Угловат пейзаж.
И обросли тайгою пирамиды.
Здесь речки говорливы за глаза:
окрестностям все кости перемыли.

Художник-рысь кистями шевелит,
нарисовать кого-то, видно, хочет.
У патронташа смелый зуб болит
и просится в ружьё, где жизнь короче.

Легко ль сохатому в его короне?
Несёт рога лесного короля.
Пред ним ломают кепки егеря,
но камарилья жаждет его крови.

Прости меня, любовь: я одичал
и бреющего требую полёта.
Дай вертолёт мне с райского плеча,
нимбических достигший оборотов.

● ● ●

Смерть друзей нас ещё собирает.
Жизнь уже нас не может собрать.
Центробежная сила дерзает.
Карусель не раскрутится вспять.

Между нами пространство всё то же,
но оно не едино сейчас:
по незримым ячейкам и ложам
рассовало как будто бы нас.

Одиночество, круг свой сужая,
кабинетный диктует покой,
чтобы сверхтеснота гробовая
не явилась нам слишком чужой.

Слово

Что ж, время начинать свою галиматью,
не зная, где и как её закончить.
«Авось» и «как-нибудь» страхуют жизнь мою.
Я плохо кончу, а точней, я чокнусь.
Вот каркнул, а зачем? Поистине, словца
безжалостна красивая охота!
Я на него лечу, как заяц на ловца.
Сильнее страха жажда стать исходным
материалом… Что ж, из слова люди вышли,
в него уходят, отрицая Лету.
Ты лепетала не напрасно: свыше
магнитная записывает лента.
Она не бесконечна, потому
длиннот не надо, ерунды—тем боле.
Я напоследок слово обниму
и не почувствую, впечатываясь, боли.
Я напоследок слово подержу:
как выше обещал, кончаю дурно.
И уж не мне, а слову, как ужу,
меня сжимать и гнуть в кольцо Сатурна!

● ● ●

Кучевые кочевые облака.
Расползание небесного белка.
Синеглазый одноглазый бог ты мой,
ты смахнул бы набежавшее бельмо.
У меня у самого в глазу бревно.
Ты не видишь, я не вижу—всё одно!
И без цели хорошо, и наугад
облаками, куда ветер, убегать.
Мы не видим, нас не видят—пустота.
И никто нас не поймает никогда.

● ● ●

Что-то дума моя вольна,
распоясалась, как война,
расходилась, что твой казак.
Ах, язычество языка!

Не скитанье бы ей, а скит.
В угол встать, там, где лик и лампада,
ширину поджимая, расти,
достигая небесного града.

Колыбельная

Что бы на ночь рассказать тебе, сынок,
чтобы спал ты безмятежно, как сурок?..

На Руси Василий Тёмный правил бал.
Он дружить нам с темнотою завещал.
Мы храним её в темнице целый день,
как пищаль, её наводим на плетень.
А как ночь, мы выпускаем эту мать
поразмяться, порезвиться, погулять.

То не птица ржёт-хохочет козодой—
у вампиров у кромешников запой.
Улюлюканье, искрá из-под копыт…
(Что ты хнычешь? Не животик ли болит?
Нас пугаться отучила мама-мгла.)
От луки—собачье рыло и метла.
Ищут маску, и сорвать хотят её,
но *лицо* сдирают с черепа живьём…
Как пищат щенки, что тонут, как пищат!
Этот омут сыроват и вороват.
Мы, сынок, народ оседлый, мы сидим—
кто на кóнях, кто на кольях—как один.

Все пути ведут, смотри-ка ты, в Путивль.
Ярославна там рыдала на стене.
А теперь там Самозванец пьёт бутыль,
и черно от казаков и кистеней.

Спи, младенец мой прекрасный, что не спишь?
Разлетался по-над степью ветер-стриж.
Он стрижёт людские головы долой,
а потом он возвращается домой,
чтобы крови гекалитры подсчитать,
чтоб историю детишкам рассказать.

• • •

Л. Д. Постникову

Выжидал потоп, притворясь ручьём,
и копил напор в пузыре своём.
Голодранец гор не любил долин,
где гаремом книг окружён камин.
Что тут выжидать—развернись и пой!
Чтоб залить свечу, нужен ли брандспойт?!
Для фанерных стен не надо катапульт.
Но посад туманен, словно коноплю
курит. Там рога обломал марал.
Там с копьём игрушечным бегает Марат.
Ой да на мозаику взорвали Ермака.
Что-то там не чисто—ой—наверняка.
И ждала река, когда час умрёт,
и сомкнёт свои чёрные губы рояль.
И кабаньим рылом, сдерживая рёв,
кинулась копать под культурный ряд.

Из-под ног коттеджа, словно табурет,
вышиблена почва, но обвала нет.
И висит Икаром, карой над землёй
ощутимый, страшный и духовный слой.

Солдат вв

Ю. Асланьяну

Сибирские глухие небеса.
Контрольно-следовая полоса.
И ты, солдат вв, стоишь на вышке.
Мороз с тобой играет в кошки-мышки.

Страна преподнесла тебе сюрприз:
ты ехал в армию, а угодил на зону.
«Деды́» в садизме молодом зашлись,
и некому их, мразей, урезонить.

Ты понял, что «колючка», как закон,
нечётко разделяет злых и добрых,
что человек под тяжестью погон
порою уменьшается до кобры,

что ты для Родины такой же зэк,
и хочется тебе уйти в побег.
Вокруг тайга. Весь лагерь спит устало.
Лишь часовые подняты уставом.

Ты знаешь, сколько юных душ казарма
втоптала сапогами в грязь.
Они ломались на ветру задаром,
то слизью, то козлами становясь.

Непросто сохранить своё лицо
там, где мороз его корёжит в маску,
где униформа, как души замазка,
вколачивает всех заподлицо.

Но нет иных путей из ада,
как только уберечь себя.
Ты понял: воля может быть не за оградой,
она—внутри тебя.

И ты, на вышке стоя, «бритый гусь»,
стихи читаешь, как молитву Богу,
классических поэтов наизусть.
Читай, читай—они тебе помогут!

Цветок

Эскадра возвращается домой,
ведомая Улиссом—адмиралом.
xx век остался за кормой,
богов и волшебства как не бывало.
И кто подскажет, скоро ли Итака?
Бинокли ищут признаков земли.
Но воды, словно небо, пролегли.
И солнце пляшет на волнах сиртаки.

И вдруг цветок—посередине моря,
где дно не сразу отражает звук.
Куда уходит стебель твой и корень,
о, одноногий спрут, кальмар, паук?!
«Он мне напоминает глаз циклопа!—
сказал Улисс.—Хочу его сорвать».

Ушло под воду око перископа.
Торпеду отпустили погулять.

● ● ●

Мечи, мечи метафоры, поэт!
Так, забавляясь, ветер мечет листья.
Так мяч бессмысленно гоняют футболисты,
забыв о том, что в этом смысла нет.

И не пытайся истину, как воду,
до мира донести в разумных вёдрах—
расплещется. И ты, как Сирано,
останешься… а с чем, сказать смешно.

Метафора похожа на фонарь,
ну, если хочешь, будет пусть жар-птица.
Лишь на полметра выхватит у тьмицы,
и вновь её уносит ветер вдаль.

Как мальчик-бог простым нажатьем клавиш
всю ночь играет миром до утра,
так ты, поэт, в метафоры играй,
но не забудь о том, что ты играешь.

● ● ●

«Зуб за зуб»!—они кричат, а ты не слышишь,
милый травоядный мой господь.
Голову склоняя, ты их выше,
потому что плоть—всего лишь плоть.

По траве идёшь—не гнутся травы,
и вода не рвётся под тобой.
Переходит ниже на октаву
ветер, и не горбится прибой.

Молчаливой просьбой, тихой песней
к сердцу путь проложен твоему.
Замирают—стыдно!—стрелы мести
и, сгорая, освещают тьму.

● ● ●

Оса, не бейся о стекло.
Ты видишь, воздух отвердел.
В такой прозрачный беспредел
оставь ненужное весло.
Зачем упрямый этот шум?!
Смотри, тигровый твой полёт
попал в тюремный твой костюм,
и их сам чёрт не разберёт.
Как я завидую тебе
за сухость смерти, трепет крыл.
Как я завидую себе—
тому, который стёкла бил.

Пустячок

Плюнув раза три через плечо
(не из страха, так, на всякий случай),
полюблю я в жизни пустячок.
Пусть меня он нежности научит.

Не успел сказать—и вот уж я
стал короче муравы зелёной,
где, понятно, встретил муравья,
что тащил соломинку влюблённо.

Как в своём труде он величав!
И соломинка его таких размеров,
что субботнее бревно с плеча
ленинского кажется химерой.

Или тараканов и клопов
взять. Они из города исчезли.
Мы ответим к ним за нелюбовь,
ибо нету тварей бесполезных

для Творца… Я нежен был, пока
детвора, которая постарше,
весело, посредством кулака
не утёрла эти сопли наши.

Этот мир я в хамстве обвинял.
По заслугам. Но хочу проститься
с ним тактично, как зверьё и птицы,
уподобив детству свой финал.

В. Астафьев, в злобе уходя,
одного не уяснил момента,
что земля полнее человека,
как бы тот не лез из доходяг.

Потому у жизни на краю
я смотрю не в небо, а под ноги,
и простых козявочек пою,
неосознанно живущих в Боге.

● ● ●

Не жалею, не зову, не плачу:
мол, иначе надо было жить.
Наша главная теперь задача—
мимо боли как-то проскочить,
что стоит у входа, будто стражник,
в ту страну, где кончится кино,
напоследок делая нам страшно,
перед тем, как станет всё равно.

Лев Алабин

Огольцы

Московский очерк

Щукино

Выхлопные газы булькали в воде, и по воде шли пузыри, которые сносило течением и закручивало в воронки, когда корпус нашего корабля крутило на волне… И я неотрывно смотрел, как булькает в неспокойную, крутящуюся воду эта белёсая дымка, которая так отвратительно пахнет, если её доносит ветерком до очереди, ожидающей посадки на речной трамвайчик. Мы стоим в числе первых. И нам этот запах достаётся первым, впрочем, так же, как и запах речной воды, и лёгкие мельчайшие брызги, которые изредка повисают в воздухе, когда волны слишком сильно начинают биться о причал. Солнце ещё не встало, в очереди только мужчины. Мы едем на другую сторону ловить рыбу. Наш улов обычно составляет несколько маленьких золотистых карасиков и несколько усатых огольцов. Тоже маленьких и, в отличие от ярких карасиков, тоненьких и бесцветных.

Мы стоим не на берегу, а на деревянном помосте причала, который слегка покачивает на волнах. У меня билеты в руке. Они разноцветные—красненький и синенький. Взрослый и детский, как я понимаю сейчас. Папе взрослый, мне—детский, потому что мне только 13 лет и я учусь в 5 классе средней школы №738. На билетах нарисован якорь и волны. Один стоит 10 коп., другой—5. Наш кораблик пришвартован к пристани старым, перетёртым, размочаленным канатом, и он то натягивается и дёргается на кнехтах, то ослабевает и провисает… Трамвайчик не просто качается, его крутит на волнах, то относит от причала, то с разгона бьёт бортом о покрышки. Волны идут не столько от ветра, сколько от проходящих мимо барж.

Открыли шлюз, и оттуда повалили огромные караваны гружёных судов. Баржи разные. Иногда это целый состав барж и его толкает перед собой маленький буксирчик с тупорылым носом. И, кажется, этот буксирчик прямо пыхтит от напряжения. А другие буксиры тащат баржи за собой, закинув трос через плечо. Баржи открытые. Что везут, всё видно. Это либо песок, либо гравий. Иногда проходит красивая самоходная баржа. На её палубе всегда что-то более замысловатое, закрытое брезентом, аккуратно затаренное. По сравнению со старыми, чёрными от времени и трудов баржами самоходная с новой, блестящей краской, выглядит словно стиляга. Я видел этих стиляг в журнале «Крокодил». В узких, неудобных брюках, ярких пиджаках, с набриолиненным коком. Их высмеивают, а вот эту новенькую баржу, в отличие от них, никому не придёт в голову высмеять. Наоборот, ей уступают дорогу, потому что она идёт быстрее и обгоняет другие суда.

Если пройти от причала подальше, вдоль канала к шлюзу, то там много деревянных домов и бараков, в которых ещё живут люди. Есть брошенные, развалившиеся дома, от некоторых одни фундаменты. От одного дома остались одни головешки. Людей выселили, и дом сгорел. Это и есть деревня Щукино.

Вскоре в наш класс придёт Таня Рыбакова, из этой деревни Щукино. Она весёлая, красивая, у неё русые русские волосы. Она хорошо учится. Потом она поступит в МГУ. Таня Рыбакова из деревни Щукино. Странным мне кажется, что у жителей этой деревни такие фамилии. Где же они рыбачили? Где ловили щук?

Можно прочитать, что название деревни происходит не от рыбы с одноимённым названием, а от некоего персонажа по прозвищу Щука. Откуда тогда в деревне фамилия Рыбаковы? Наверное, историк одёрнет и скажет, что совсем не оттого, что тут жили рыбаки. А потому что тут жил некий внеисторический тип с некалендарным именем Рыбак.

Сейчас рыбаков с нами едет много, но редко кто выловит какую-нибудь достойную рыбину. Если Щукино, значит тут, где мы стоим, водилось когда-то множество щук, думаю я. И делюсь этим открытием с папой. Надо бы попробовать снасть на щук! Он мне отвечает, что название деревни наверняка древнее самой Москвы. Тогда, в те времена и водились, мол, тут щуки. Я слышу, что мою реплику обсуждают мужики в очереди. И спорят, и говорят, что где-то, кто-то, когда-то, совсем недавно, в прошлом году, давеча, по слухам, поймал тут щуку. Говорят, что в устье речки у кого-то хорошо клевало. Речка с названием Химки впадает в Москву на другой стороне. Когда ещё не было канала, от деревни можно было туда пройти. Теперь нет. Надо переплывать канал.

Всегда хотелось подойти к шлюзу вплотную и посмотреть на его огромные железные ворота, особенно, когда они открывались и оттуда бурным потоком шла вода. Но подойти туда нельзя, там охранная зона, проход воспрещён. Это написано на железной табличке. И стоит будка с часовым. У часового винтовка за плечами, а в вольерах овчарки.

Не успел я окончить школу, а только перешёл в старшие классы, как часового убрали и проход разрешили. Только тогда я исследовал шлюзовые сооружения. И смотрел на бушующую воду, и на баржи, выплывающие из ворот. И закидывал там удочки. Глубина там была порядочная, пору надо было делать метров семь. Закидывать далеко не приходилось. Шлюзовые стены такие высокие, что только до воды бы достать. Хорошо ловилось здесь на мормышку. Один мальчик поймал сто ершей. Полный бидон, по полному счёту—сто. Он сам разрешил мне посчитать. Но такой клёв тут далеко не всегда. А вскоре ерши вывелись. Пошли бычки.

Слышу, как мужики переговариваются между собой.

— Я на Круглое.

— А я на карьер.

— Я на озёра пойду.

А кто-то, я знаю, ловит на реке.

Мы тоже ездим на озёра, хотя там плохо клюёт.

С нами едут Тарасовы, большие специалисты в рыбной ловле. Но и у них тоже, как правило, улов небольшой. Сына Тарасова я зову Тарас, это кличка, имя у него другое. Забыл сейчас, какое. Алик его зовут, вспомнил. Он старше меня на год. А может быть, и на два. Мы учимся в одной школе. На всю школу нас только двое таких малолетних рыбаков. Больше никого не встречаем на наших водных угодьях.

Мотор трамвайчика что-то бормочет на слабых оборотах, а когда волна накрывает выхлоп, он захлёбываясь бормочет скороговоркой. У меня начинает кружиться голова, потому что совсем не выспался. Готовил снасти допоздна, и встали к первому автобусу. Автобус №100 довозит почти до берега. А потом по косогору спускаешься к причалу, идёшь по набережной, спешишь, потому что трамвайчик уже стоит. Но он стоит долго. Добежишь, запыхаешься. А ещё с полчаса ждать. Но спокойно дойти невозможно, когда видишь трамвайчик у причала. А вдруг отойдёт, а ещё и билеты надо брать, а следующего ждать целый час. Расписание у него неизвестно какое.

Готовить снасти меня научил Тарас. Это бесконечное учение. Нельзя сразу научиться всему. Сначала я научился, как вязать крючки с ушком. Пронизываешь леску в ушко и на узелок. Потом с ушком перестали выпускать, оставили только расплющенное цевьё. Когда я впервые купил целлофановый пакетик с 10 крючками без ушка, сначала подумал, что это брак. Но сами крючки были намного лучше, чем с ушком, тоньше, и на них удобнее было насаживать мотыля. Он легко прокалывался и долго жил. Надо было аккуратно проколоть кожицу у головки, мотыль извивался коленчатым кровавым телом у тебя в пальцах, а потом в воздухе, а потом, надеюсь, так же и в воде, на глазах у рыбы. Моей мечтой было посмотреть на свой крючок с мотылем под водой глазами рыбы. Но приходилось это только воображать. И только по некоторым признакам узнавать, жива насадка или уже нет. Близко крючок ото дна, или нужно его ещё больше опустить.

Поплавки были очень чувствительные, мы их крутили сами из пенопласта. Вырезаешь прямоугольный кусок пенопласта и крутишь его доской по столу или по другой доске. Дожимаешь до нужной плотности. Пенопласт постепенно становится твёрдым и прочным. Вставляешь вниз, в пупочек отточенную палочку. На палочку надеваешь пластиковую трубочку. Пластиковую трубочку найти очень трудно. Сначала надо найти проводки. Потом вытащить проволочку из полихлорвиниловой изоляции. Потом отрезать от неё трубочку нужного размера. Потом под этот диаметр выстругать палочку и воткнуть в поплавок. Другую пластиковую трубочку, большого диаметра,—на поплавок, найти было сложнее. Такие изоляции объединяли обычно много проводочков. Но можно было обойтись и без неё. Достаточно только нижнего крепления.

Потом надо покрасить поплавок. Окунёшь головку в ярко-красную нитрокраску и подвешиваешь на просушку. Вот и готов чудо-поплавочек. Он такой красивый, просто невозможно, чтобы на него не клюнуло. Когда краска высыхает, проводишь по яркой алой головке две беленькие линии. Это не только для красоты. За таким поплавком следить легче. Сразу замечаешь, когда он притоплен. Поплавок можно сделать любого размера. Маленький и большой. Можно сделать круглый или очень длинный. И ни у кого подобного поплавка не будет. Поплавки я верчу не от нечего делать, а потому что таких не купишь. Не продают.

А потом особо сверхлёгкие поплавки мы научились делать из репейника. Ближе к осени находишь толстый, созревший куст репейника и вырезаешь ствол. Обдираешь кожуру, и внутри он оказывается пористым, словно пенопласт, но намного более прочным. Его не надо сжимать. Да и невозможно, потому что он всё равно разожмётся и примет прежнюю форму. Природные материалы всегда лучше. Из репейника нам нравились поплавки намного больше, чем из пластмассы и пенопласта, хотя на них тоже ничего не клевало, и они к тому же очень быстро ломались.

Всем премудростям меня учил Тарас. А Тараса, его отец. А отец его неизвестно у кого узнавал все

новые технологии рыбной ловли. Отчасти из книг и журналов, отчасти от других рыбаков. Он был намного более общителен, чем мой отец. Они были коллегами, работали в одной организации. Вам лучше не знать, в какой. Впрочем, очень нужной и необходимой. Все наши дома в районе были населены коллегами из одной или родственных военных организаций. Типа Министерства обороны, Генерального штаба, Академии артиллерии… Тогда это считалось в порядке вещей: работать и жить вместе. Сейчас это кажется немыслимым, и на работе и дома у себя в коммуналке, а отдельных квартир ни у кого же ещё нет, видеть одни и те же лица.

А белёсый дымок, вырывавшийся из выхлопной трубы, словно разговаривал со мной. Вспоминая это, я всё силюсь услышать и понять, что же он говорил мне тогда. Что-то важное, нужное, на что я не обратил внимания, просто не понял. И сейчас вспоминая, отчётливо слышу эти звуки: буль-буль-буль, буль-буль-буль, и потом с брызгами, заменяя мягкое «эль» на тревожное «эр»: бр-быр. Брррррррры. Быр-бры. Бррры. Но ничего членораздельного. Иногда этот разговор был меланхоличным и неспешным, убаюкивающим, иногда более темпераментным, когда дымок просто захлёбывался от обилия эмоций, которые необходимо срочно высказать.

У одного писателя я прочитал, что в бессонницу, во время депрессии, он воображал, как готовится к рыбалке. Совершает самые простые и даже банальные вещи. Копает червей, например, вяжет крючки. Я иногда сейчас поступаю по его совету и, чтобы заснуть, копаю червей. Или вяжу крючки с цевьём.

Сначала надо сделать петельку, потом сделать вокруг неё и цевья крючка, три оборота, потом кончик лески продеть в петельку и аккуратно затянуть. Если всё сделать аккуратно, то крючок будет висеть ровно вниз, а не загибаться в сторону. Лишний кончик лески потом отрезается, или его можно оплавить спичкой. Накопаешь банку навозных червей, навяжешь крючков десять на донку, и не заметишь, как заснёшь. Я и сейчас иногда так делаю. Помогает.

Накопать червей во дворе нашего дома, в палисадниках, не составляло труда. Я даже не представлял, какие трудности могут быть в добыче дождевых червей, пока меня не забросили работать в Астрахань. В Астрахани черви были настоящим богатством. Их разводило всё мужское население города, и не в палисадниках, палисадников там нет, а у себя дома, предоставляя огромным коробам и тазам с червями лучшие места в квартире. Для червей готовили специальную еду, отваривали овощные очистки. Особенно красиво получается с картофельными очистками. Черви выедают аккуратно всё, оставляя только тоненькую кожицу картофеля. И шелуха, которая раньше была картошкой, невесомо покрывает сверху землю. Если на неё дунешь — разлетится. Впервые видишь, насколько тоненькая эта несъедобная кожица. Всё остальное — съедобно.

Но летом на червя ловить не годится. Пробуем органические наживочки. Тогда мы ловили на хлеб. А потом ассортимент безмерно расширился. Овсянка, манка, тесто. С душистыми подливами. Анисовое масло, постное масло, отвар жмыха, мёд… и так бесконечно. Кто во что горазд.

Если пройти по берегу дальше, не видные с причала, напротив опустевшей деревни, лежат полусгнившие остовы лодок. Судя по ним, у деревенских когда-то была собственная речная флотилия. Но одна лодочка оставалась целой, и регулярно использовалась. Почему-то мне сейчас представляется оппонент, который возбуждённо опровергает меня.

— Не было лодки.

Отчётливо помню. Была лодка, и в каких-то домах деревни Щукино горел свет, а из труб шёл дымок. А значит, они ещё были обитаемыми. И лодка жила. Помню, что кто-то переезжал на другую сторону канала, недоступную нам, и ловил там. Он ловил на кружки. Пускал по воде целое семейство кружков и с лодки следил за ними.

— Не может быть, возражает невидимый оппонент. Значит, наши дома стоят на месте бывшей деревни? А где же был причал?

— А причал был именно там, где теперь стоит комплекс «Алые паруса». Там же, на горке, стояла и касса речного трамвайчика. Там она стояла, при старой пристани, но потом на буксире притащили пристань новую, красивую, и касса находилась уже в самой пристани. Пол новой пристани был покрыт железом. Она закрывалась, когда рейсы кончались, и охранялась. За воскресные дни выручка была приличной. Рейсов было много, особенно в воскресные дни. Трамвайчик всегда ходил переполненный. А старая будка кассы ещё долго торчала поодаль, ветшая и разрушаясь без присмотра.

А ещё выше, на горе, маячила спасательная станция, с мостиком и наблюдательной башенкой, а под станцией, на берегу, был её собственный маленький причал и катера. Спасатели, молодые мужики, курившие «Беломор», изредка заводили свои казанки, объезжали пляжи, забирали заплывших за буйки женщин и привозили в мокрых купальниках на свою спасательную станцию. И здесь на них, беспомощных и беззащитных, составляли протокол.

Звезда в ладони

Не буду утверждать, что я помню всё так отчётливо. Например, я не помню, как был одет в то серенькое утро, когда мы стояли на причале в облаке

сизого дыма, когда капитан приказал через рубку мотористу дать по газам дизелю. Но точно помню, что руки мои были в карманах, а карманы были порваны. А в ладони я сжимал камешек. Только с виду это был камешек, а на самом деле это был осколок звезды. То есть метеорит, упавший прямо мне в ту самую ладонь. Вот тут мне скажут, что я точно привираю. Но, несомненно, что я заинтересовал своим рассказом. Рассказать, как это было?

Я делал уроки за письменным столом, за тем самым, за которым сижу и сейчас. Стол был придвинут к балконной двери. Стояла осень, выпал первый снег, балкон был надёжно заклеен, и открывалась только форточка. На столе горела зелёная лампа с белым медведем, и я писал в тетрадку цифры и формулы. Не совру, что тогда я писал рассказ. Нет, я делал домашнее задание по алгебре. Плотные занавески были задёрнуты, чтобы сильно не дуло, оставалась только небольшая щель между ними. И вот в это самое время, когда я задумался над очередным примером на сложение, деление и вычитание, в окно и влетела звезда. Удар был такой резкий и сильный, что я сразу закрыл голову и оцепенел, застыл, не мог двигаться. Только смотрел перед собой, и увидел, что из щели в занавеске на стол осыпается мелкая стекольная пыль. Она серебрилась в свете лампы и засыпала мой учебник и тетрадь. И ещё долго висела в воздухе. Такая она была мелкая, что вскоре даже захрустела на зубах, потому что я дышал и она вместе с воздухом попала мне в рот. Не сразу я пришёл в себя и решился отдёрнуть занавеску, чтобы посмотреть что случилось. И стоило мне взяться за занавеску, как в мою ладонь свалился и обжёг её — камешек. Он был такой горячий, что я не удержал его, и он покатился на пол, в узкую щель между столом и балконом. Я открыл занавеску пошире и обнаружил, что стекло пробито. Стёкла обеих рам пробиты насквозь. Дырочки такие аккуратные и круглые, словно просверлили огромным сверлом. Я дотронулся до пробоины, стекло было тоже горячим. Если бы занавеска не смягчила падение камня, то он бы ударился в стол и, может быть, пробил бы учебник или мою тетрадь.

Да, тогда я писал не рассказ. Рассказы я стал писать намного раньше, чем стал изучать алгебру. Первый рассказ я написал, когда только научился выводить буквы. Мне очень хотелось писать. Но я не знал что. Мне сразу хотелось испробовать новые знания сложения букв, слогов и слов, которым я научился. Не пренебрегал я и новым умением — читать, которому тоже обучился в своё время. Я научился читать не слишком рано, но вовремя. А зачем учиться чему-то раньше положенного времени? Это было в школе, в первом классе, как и положено.

И я читал и читал одну книгу за другой, всё подряд, просто чтобы читать, и однажды, читая какую-то книгу о войне, неожиданно подумал, что могу написать намного лучше и интереснее. И не раздумывая, достал новую тетрадь и стал писать рассказ о войне. Я понял, что писать надо очень много, чтобы рассказать всё, что необходимо, всё, что есть в голове, тетради не хватит. И писал микроскопическими буквами, заполняя страницу плотно, не оставляя полей и пробелов. Это был рассказ долгий, потому что моё воображение настолько воодушевилось, что надо было искать и писать всё новые и новые слова и предавать бумаге всё то, что я уже вообразил.

Мой труд увидел отец, прочитал и очень похвалил меня. Но сказал, что так мелко не надо писать. Я ответил, что тетради не хватит, если писать крупно. Он успокоил меня, что тетрадей можно купить много. И действительно, на следующий день принёс мне несколько новеньких тетрадей по 12 копеек. Но тетради были в линейку, а писать я мог только в тетрадях в клеточку. Поэтому тетради долго валялись у меня в столе, пока не были использованы для бездарных школьных сочинений, которые я писал уже без вдохновения и наития. А просто по заданию.

Нет, не эти тетрадки были засыпаны звёздной пылью.

Аккуратные дырки в двух стёклах были пробиты под большим острым углом. Одна выше, другая ниже. У меня были треугольники, поскольку мы тогда уже начинали проходить геометрию. Один треугольник с углами в 45 градусов, а второй треугольник с углом в 60 градусов. А второй угол вы сами можете вычислить, если учились в школе. Вот этот угол и подходил к дыркам. Я поставил треугольник на раму и измерил относительное положение отверстий. Угол в 30 градусов наиболее подходил к ним. В комнату вошли родители. Оказывается, и они на кухне услышали грохот, звон стекла и мой вскрик. Я и не знал, что вскрикнул, настолько внезапно поразил окно удар. Они оценили ущерб, и отец успокоил меня.

— Мальчишки бросили камень.

— У нас пятый этаж! — вскричал я. — Кто добросит?

Я возражал, указывая на отверстия, что камень, судя по траектории, упал сверху, и даже показал, как я измерил угол. Потом достал из-под стола и сам камень.

— Из рогатки стреляли, — заверил меня папа, но не убедил.

— С такой силой сверху пробить два стекла? Это с луны выстрелили из рогатки. Это метеорит! Надо отдать его учёным!

На все эти мои речи папа только улыбался и радовался, что сын у него такой смышлёный фантазёр. Спорить он не стал. Но везти камень на исследование тоже не спешил. Так я и таскал этот «метеорит» у себя в кармане несколько лет. Пока он не порвал окончательно все подкладки и не упал

уже совсем на землю, куда и стремился, наверное, миллионы лет, и достиг цели, и затерялся. Был он величиной с мячик для настольного тенниса: пинг-понга — так мы тогда называли эту игру. Но форма у него была неправильная, с острыми углами.

С дырками в окнах мы прожили всю зиму. Так что я не раз исследовал их. Края у дырок были такие круглые, словно оплавленные, о них невозможно было порезаться. Рассказал я эту историю и учительнице по физике, а потом и учительнице по астрономии. Но их ответов не помню.

Наше окно выходило на юг, не знаю, какие метеоритные потоки пересекаются с орбитой земли в октябре, может быть, Дракониды. Вот такой дракончик и залетел ко мне на огонёк. Учился я тогда то ли в пятом, то ли в шестом классе. А значит, было мне лет 13. Самый подходящий возраст, чтобы мечтать о приключениях, искать клады и убегать из дома, чтобы добраться до моря и поступить в матросы. Ну а в моём случае, так в звездочёты. Свой рассказ я так и не дописал и вообще забыл о нём к тому времени.

Вот такой камешек лежал у меня в ладони, когда я на пристани поджидал начала посадки.

Зона

Первая остановка Трамвайчика, пока ещё булькающего у причала, называлась «Пляж». Хотя никакого пляжа на той стороне не существовало. Стояло несколько «грибков», да и только. Пляж этим самым и был обозначен. Стоял причал «Пляж» на другой стороне реки, примерно на том месте, где сейчас вбиты в берег опоры Строгинского моста. Тогда моста ещё не существовало. И даже строительство не начиналось. На зиму для отрезанных от Большой земли Строгинцев наводили здесь понтонный мост.

Деревня Щукино долго не сдавалась. Фундаменты домов, брёвна, долго ещё попадались на берегу. Только строительство комплекса «Алые паруса», уже в новом веке, поставило точку в истории деревни. Хотя, я думаю, если поискать как следует, и сейчас можно найти её следы.

Я не против «Алых парусов» — огромного жилого комплекса. Пусть живут люди. Только жаль, что теперь нельзя пройти по берегу Москвы-реки. А может быть, и хорошо, потому что те места, не дай Бог, ещё напомнят о детстве, ещё защемит ни с того ни с сего в груди. Пусть они будут закрыты, заперты, эти воспоминания.

Здесь всегда было много запретных зон, собственно, где их не было. Не исчезли они и сейчас. И сейчас берег оказался под запретом. Запретные зоны, видно, у нас в крови. И что бы мы не строили, получается какой-никакой, а ГУЛАГ. Жаль. И жаль тех, кто живёт там и может плюнуть из своего окна на 40-м этаже в речку. А если и не доплюнет, то можно прямо из комнаты бросить бутылку с запаянным письмом: «Спасите наши души». И указать координаты. Или что там теперь пишут, в бутылках. И если кинуть, то бутылка непременно проплывёт мимо Кремля. И там придумают план спасения. Хорошо, когда есть кого спасать. А ведь, возможно, придёт время, когда и спасать будет некого и нечего.

Не могу представить Сольвейг из деревни Строгино, которая смотрит на эти Алые паруса, с другого берега речки и ждёт прибытия капитана Грея. Это, должно быть, какая-то светская львица с накачанным бюстом, пухлыми губами, которая стоит, как пластиковый манекен, на месте бывшей деревни Строгино. И машет этим парусам рукой с растянутой резиновой улыбкой на лице.

Но тогда берег был открыт и даже не укреплён бетонными плитами. Однажды мы решили дойти по берегу до самого шлюза, но наткнулись на запретную зону. Зона была обнесена низким заборчиком, мне по колено, с устрашающими надписями на табличках. «Проход воспрещён», «Запретная зона», «Охрана стреляет без предупреждения». Сюда были нацелены и прожектора, для полной убедительности в серьёзности запрета. Стоим и смотрим на часового с винтовкой за плечом возле свежевыкрашенной полосатой будки.

— Смотри, у него ружьё.

— Это карабин, — поясняет отец.

И тут порыв ветра срывает с моей головы панамку и несёт в запретную зону. Я забываю про всё на свете и, перепрыгнув через заборчик, несусь за панамой.

— Стой! — летит окрик. И я застываю с протянутой рукой. Чуть не касаясь панамки пальцами. Поворачиваю голову к отцу. Он для меня главнее часового.

— Да оставь её, иди ко мне.

И я сгибаю оцепеневшую руку и возвращаюсь к отцу, бросая последний взгляд на свою драгоценную панамку.

— Ничего, другую купим тебе.

И мы уходим, ничего не сказав часовому. И он нам тоже ничего не сказал вдогонку. Панамка белым пятном так и остаётся лежать на запретной полосе, принесённая в жертву зоне. Я почему-то заплакал. Не от жалости, а от страха и обиды. Слёзы. Тоже моя бескровная жертва тому времени. Жертва зоне.

Вечером я рассказал пацанам из своего двора об этом случае, они решили ночью пробраться и забрать панамку. Ночью мне никуда ходить нельзя. Отбой в 10 часов. Наутро пацаны сказали, что панамки уже не было. Но и пробраться на охраняемую зону невозможно, потому что вся запретка ярко освещена прожекторами. И собаки уже не в вольерах, а бегают на длинной цепи.

Эхо войны, подумает кто-то. Нет, скорее эхо ГУЛАГА. Ведь этот канал, Москва — Волга, рыли

зэки. Не только зэки, но и вольнонаёмные. На другом берегу Москвы до сих пор можно найти фундаменты «Посёлка МВД», где они жили. А скорее всего, найти берёзы, которые были посажены жителями. Сейчас они разрослись и стали огромными. Берёзы построены строго в ряд, как по линейке. Наверное, они стояли вдоль забора или вдоль улицы, и до сих пор не дрогнули их ряды, хотя ни забора, ни улицы, ни домов давно нет.

Каналармейцы — таким, дошедшим до нас словом называли строителей канала. Конечно, зэки жили не в этом посёлке. Они жили, где им полагалось, в бараках, за колючей проволокой, под надёжной охраной. А это широкое, молодое, сумасшедшее слово охватывало, соединяло всех вместе. И зэков, и конвоиров, и вольнонаёмных, и инженеров, и руководство. Мучителей и мучеников. Так же неожиданно, как возникло это слово из мутных вод времени, так же оно и ушло в воды прорытого канала. Надеюсь, безвозвратно. А что за этим словом, и представить страшно. Каналармейцы.

Поехали

Рыбаки подходили по одному и ватагами, заполняя причал гомоном, своими вещами, снастями. Вот на косогоре показался новый взвод разномастно одетых рыбаков, приехавших нашим сотым.

Переглядываемся с отцом. Настоящие рыбаки уже тут!

Двое идут даже с ящиками для зимней рыбалки за плечами, только без пешней. На ящиках удобно сидеть и летом. Удобных складных стульчиков тогда ещё не придумали. Завидев Трамвайчик и пристань, полную сородичей, они бросаются бежать с крутой горы, машут нам кепками, фуражками, удочками и даже что-то кричат, пытаясь привлечь внимание и затормозить отплывающий, по их мнению, Трамвайчик. Первые, добежав, видели, что посадка ещё не началась, и замедляли движения, полезли в карманы за мелочью, встали в кассу, а задние, ещё не разобравшись, всё так же бежали, выпучив глаза, спотыкаясь на кочках и тыкая друг в друга удочками. Потом, ещё тяжело дышащие, появлялись вблизи нас, на причале, и занимали остатки деревянного неструганного настила. А Трамвайчик сладко пыхтел и безмятежно качался, словно и не спешил никуда, словно не понимал, как драгоценны каждые минуты зорьки. Упустишь их, и вся рыбалка насмарку.

Но вот очередь устала ждать, толпа настолько уплотнилась, что негде поставить ногу. Стали кричать капитану в открытое окно рубки.

— Эй, на палубе. Подъём!

— Хватит спать, капитан!

— Отчаливай.

Но никто не отзывается на крики.

В очереди разносится слух, что капитана нет на катере. Стали кричать сильнее, кто-то перелез через бортик, пытаясь зайти на палубу. Вышел матрос в тельняшке, отправил нарушителя назад. Тельняшка тогда уважалась. Лишних слов не требовалось. Но вот, наконец, появляется капитан. Оказывается, он действительно не на своём месте, а на берегу. Он пробирается не через толпу, а по краю причала, с другой стороны ограждающих перил, идёт ловко по тоненькому обрезу, перепрыгивая через опоры. Его легко узнать, он в светлой форменной рубашке с погонами и фуражке с якорями. В руках у него авоська. Бегал в магазин, не иначе.

— За водкой бегал, — кричит кто-то.

Толпа возмущённо гудела, но при слове «водка», настроение поменялось на плюс — заржали.

Открывается бортик, с грохотом выдвигается трап, начинается посадка.

Матрос в тельняшке проверяет билеты.

Посадка продолжается бесконечно долго. Проходы у кораблика узкие, и протиснуться тут с рюкзаками и ящиками нелегко. Сначала занимали все сидячие места внутри, на нижней палубе Трамвайчика, потом заняли и проходы, и верхнюю палубу. Зачем набились вниз, в закрытое помещение, совсем непонятно. На улице не холодно, и дождя не ожидалось. Наверное, по привычке быть готовыми к самым тяжёлым испытаниям, и чтобы всегда была крыша над головой. Хоть на пять минут, а все под крышей.

Потом заполнилась и кормовая, и передняя палуба. И это всё были рыбаки. Конечно, я знал, не все едут рыбачить, большинство едут, чтобы закинуть удочки и тут же устроить пьянку и до самого вечера пить водку, рассказать и выслушать пару небылиц, а потом и поспать на свежем воздухе.

Я сидел возле окна и смотрел на сизый дымок и слушал мирное похлюпывание выхлопа.

Но вот, наконец, моторист по команде капитана дал своему дизелю газ, матрос прошёл перед иллюминаторами по бортику и отцепил канат. И пристань, и наш корабль заволокло сизым дымом. Мотор взревел, всё задрожало. И мы поплыли.

Самое долгое время в нашем плавании на тот берег занимал разворот. Разворот вышел, наверное, метров на сто. А езды до другого берега с причалом «Пляж» не больше 50 метров. Так что приехали мы минут за 5, не больше. А ожидание и погрузка заняли не менее часа. Но другими путями проникнуть на сторону деревни Строгино невозможно.

Строгино

Медленно, в клубах сизого дыма отваливаем от Щукинского берега. Дизель ревёт так, что весь катер мелко трясётся, вот-вот развалится. Разворачиваемся, маневрируем, готовимся преодолеть реку.

И вот стукаемся о покрышки причала «Пляж». Это перед самым моим носом. Опять вылезает на бортик матрос в тельняшке, крепит канат. Тащит его, натягивает. Разгрузка идёт долгая. Высаживается весь Трамвайчик. Мы были первыми, а сейчас оказались последними. Эх, какая досада. Так хочется уже закинуть и, затаив дыхание, смотреть неотрывно на поплавок, а приходится сидеть и ждать в душном трюме. Вот, наконец, мы вышли. Кто-то, закинул донки и утвердился на самом причале. Ловить с причала, конечно, запрещено, на этот счёт есть даже табличка с восклицательным знаком. Но это какой-то старичок, сгонять его считают делом зазорным. И он уже поймал трёх ершей, которых я вижу в его игрушечном ведёрке. После нас Трамвайчик совершенно пустой. Остаются только три женщины с узлами и детьми моего возраста. Они едут в деревню Строгино. Эта деревня держалась дольше Щукинской.

Оглядываюсь по сторонам, где же рыбаки? Куда пошли? И никого не вижу. Пока мы выходили, вся это прорва народа уже разошлась, рассеялась и скрылась из вида.

Мы идём на озёра. Строгинские озёра — вот истинное чудо тех времён. Теперь их нет. На их месте так называемая Строгинская пойма, или Залив.

После реки нас встречает поле. Идём по тропинке, а справа и слева начинается большое поле ржи. Рожь совсем мелкая, куда ей до пшеницы. Низкорослая и остистая. И если растереть колоски между ладонями, то зёрнышки совсем маленькие. Наполовину поле уже убрано. Из земли торчат жёсткие остья стерни. Вдруг из поля ржи взлетает жаворонок, он взлетает невысоко и оказывается в лучах ещё невидного для нас солнца, и, словно приветствуя нас, начинает заливисто петь, мелко балансируя в воздухе своими круглыми крыльями. Мы идём ещё в тени, а жаворонок весь горит от лучей восходящего солнца. Я вижу жаворонка впервые. Но никакого сомнения нет, что это жаворонок. Ни на кого он больше не похож. Да и не жаворонок это был, а настоящая жар-птица.

Проходим поле, несколько совсем маленьких озерков, скорее похожих на лужи, в которых полно дафний, плавунцов, водомерок, лягушек и огромных жирных пиявок. Жизнь просто кишела тут. Говорили, что водятся даже тритоны, но мне не довелось их видеть.

Углубляемся в холмы. Холмы рукотворные, но насыпаны так давно, что все покрылись густой травой. Между холмами идёт тропинка, здесь начинаются настоящие озёра. Вот откуда и холмы. Землю вырыли и образовались озёра. Никакой экскаватор такие холмы, конечно, не мог насыпать. Скорее всего, это были землечерпалки. Озёра похожи на воронки. Такой крутой спуск к ним. Вокруг них протоптаны тропинки, но очень ненадёжные, надо держаться одной рукой за склон холма, чтобы не соскользнуть вниз, в воду. Берега озёр заросли камышом. И подойти ближе к воде, закинуть удочку невозможно. Озёра разные по размерам. От 5 и два больших озера до 25 метров. Я занимаюсь плаванием и что такое дистанция в 25 метров хорошо знаю. Озёра глубокие, но меньше моего бассейна. Те, что поменьше, все заросли камышом. Только посередине осталось круглое блюдечко воды. В больших я регулярно купаюсь, и сразу от берега уходишь на глубину с ручками. Я так сейчас оцениваю, что на середине до 3 метров глубина. Такую же мы устанавливаем и пору на удочках.

Вот мы и дошли до «нашего» озерка. Кажется, это пятое по счёту от начала. Тарасовы идут дальше. Двум рыбакам на одном озере не развернуться. Ведь закинуть сюда можно только с маленького, свободного от камышей и водорослей пятачка. Разворачиваем удочки. Надо спешить, закинуть поскорее. Со свистом вынимаю удилища из чехла.
— Тише! — делает мне большие глаза отец. Я застываю, сдерживаю дыхание. Смотрю на воду. Услышали там подводные обитатели этот свистящий звук вынимаемого из брезентового чехла удилища?

Начинаю всё делать медленнее и тише. У нас две удочки. Моя двухколенка и отцовская огромная трёхколенная. Тогда в магазинах только что появились бамбуковые складные удочки. Отец выбрал себе самую длинную. Но за длину пришлось расплатиться толщиной бамбука и весом. Я вообще не могу держать его удочку на весу. Самое толстое, третье колено (или первое, смотря откуда считать) толще моей руки. Я вынимаю свою, маленькую. И отдаю весь чехол ему. Пусть сам разбирается. Повязываю леску на кончик. Мода повязывать леску на колки пришла потом. Сначала просто привязывали к кончику, и всё. От этого леска делалась с каждой рыбалкой короче. Разматываю леску. И вечная головная боль, что насадить? Если насадишь червя, будут, возможно, клевать пескари, огольцы, а хочется поймать подлещика или плотву. Скатываю хлебный шарик и быстро кидаю под берег. Дальше никак. Берег крутой и подойти к воде ближе невозможно. Всё равно пора около метра. Нормальная глубина для пруда.

Я утвердился на берегу, присесть невозможно. И сразу первая поклёвка. Подсекаю, и у меня в руках маленькая, красноглазая плотвичка. Некуда её бросить. И некогда с ней возиться, надо скорее опять закидывать. Пока я вожусь с хлебом, плотвичка прыгает на тропинке, а потом скатывается к воде. Я скатываюсь за ней. И попадаю в воду. Дно очень мягкое, и меня засасывает. Черпаю сапогом, но плотвичка у меня в руках. В другой –удочка. И я медленно, но неуклонно погружаюсь в воду дальше. Отец грозно смотрит на меня. Он на значительном отдалении, помочь мне не может. Да и двинуться он особенно не может, потому

что земля сыпется у него из-под ног. Того и гляди, сам свалится. Я отвечаю ему сердитым взглядом. И потом ещё более сердито показываю хвостом плотвички на его поплавок-перо, которое уходит под воду. Он с опозданием тащит… И вытаскивает окуня.

«Червя насадил!» — первое, что мелькает у меня в голове.

Наконец я соображаю, что делать, не дожидаясь, пока отец начнёт читать мне мораль. Кладу удочку повыше на склон и, цепляясь одной рукой о траву, вылезаю из озера с плотвичкой в руке. Она меньше моей ладони.

Потом кладу её, скользкую, в карман, вытираю слизь с руки о траву и снимаю сапоги. Выливаю воду. За всем этим следит отец, что меня крайне раздражает. Я показываю ему, что надо давно закинуть. Но он и не думает закидывать, а всё смотрит на меня, а потом не выдерживает и говорит, совсем уже не по-рыбацки нарушая режим тишины.

Что он говорит, я сейчас не помню, но что-то очень неприятное и совсем неуместное. Наверное, так: ты сейчас простудишься, получишь воспаление лёгких, придётся навещать тебя в больнице. Пропустишь уроки, отстанешь в учёбе. Получишь осложнение, останешься на второй год. А может быть, и попадёшь в колонию для несовершеннолетних. Тогда всех пугали колонией. Как раньше, может быть, Бабой-ягой.

Наконец, инцидент исчерпан, я сушу носки и сапоги, босые ноги завёрнуты в свитер. И без свитера тепло, солнце уже высоко, и мы разделись до рубашек. Солнце высоко, это я вижу по вершинам холмов, но до нас солнце доберётся ещё не скоро. Мы в воронке, глубоко внизу. В тени. Мы смотрим на поплавки, но совершенно напрасно. Они стоят тихо и не шевелятся. Больше не клюёт. Распугали.

Впрочем, клевало здесь всегда очень плохо. И ловить было неудобно. Но зато вода всегда была спокойная, без ряби. Ветер сюда, в глубь воронки, не добирался. И главным моим занятием в эти часы безрыбья, становилось общение с миром насекомых и земноводных. Всяких тварей тут было видимо-невидимо. Если приедешь сюда весной, то тебя низким гудением окружат майские жуки. А потом носороги с виолончельным полётом. А у воды было полно стрекоз. У меня дома была детская энциклопедия, и я постепенно всех стрекоз атрибутировал. Очень много было голубеньких Коромысел. Всегда стремительно с шумом своих прозрачных крыл пиратствовали тут Большие Коромысла разных расцветок. Мой взгляд упёрся в неколеблемую ветром камышинку, на неё давно выползло из воды тёмное чудище, и из него постепенно вылезает *имаго* стрекозы. Это зрелище захватывает меня. Солнце, наконец, заглядывает к нам, и крылья стрекозы начинают радужно переливаться. И вот она уже вспархивает и исчезает из поля моего наблюдения. Тогда я смотрю на воду. Совсем у берега вижу стайки мальков. От каждого моего движения они уходят на глубину, а потом опять подплывают к самому берегу и собираются в следах, которые оставили мои сапоги. Здесь солнце просветило воду до дна. На мальков охотится настоящее чудовище с огромными челюстями. Это личинка стрекозы Большое Коромысло.

Нельзя сказать, что рыбы в озерках нет. Просто мы не умеем её ловить. Много раз я проделывал такой опыт. Бросал в воду кусочки хлеба, и они плавали на поверхности. Вскоре их начинали тыкать из глубины рыбки. Мелкие вообще не отплывали от хлеба, окружали его и целиком показывались мне. Но внизу виднелись, мелькали тени побольше. Когда хлеб отплывал, гонимый тычками, подальше от берега, всегда происходило одно и то же. Какая-то огромная рыбина разгоняла все стайки, от её нападения раздавался всплеск и по воде расходились огромные круги. Это была щука. Но поймать щуку мы никак не могли. Хотя часто забрасывали живца. Приходили к нам и спиннингисты с катушками «Нева», но у них тоже ничего не попадалось. Забрасывать блесну сюда было крайне неудобно. Немало лески и блёсен они оставляли в здешних камышах.

Оценить количество щук в этих озёрах нам пришлось следующей весной. Зима стояла суровая, и случился замор рыбы. Не думаю, что вода промёрзла до дна. Но дышать всё равно под водой было нечем. И огромные щуки все сдохли. Берега озёр были завалены их огромными разложившимися телами. Я уверен, что замор случился только среди щук. Маленькие огольцы, плотвички и карасики выжили.

Иногда мне очень жаль выловленную рыбку. А иногда жаль, что её не поймал. Вот тогда мне было жаль, что я не поймал щук и они все погибли напрасно. Зимой на озёрах никто не догадался провертеть прорубь. А, наверное, наловил бы и руками этих рыбищ. Не знаю, почему они не брали на плотвичек… Может быть, в обычае у них было питаться лягушками и головастиками, которых обитало здесь немыслимое количество. Когда вечером, мы покидали эти места, то неизменно слышали стройные хоры и оркестры этих лягушек. Провожали они нас с почестями. Причём у каждого пруда была своя отличная капелла. Я прекрасно помню эту музыку. Она волновала меня, захлёстывала воображение. Ветер носил звук этих хоров от одного озера к другому, соединяя их, уносил далеко, соединял с другими природными шумами, и получалось великолепие гимнов: свист ветра, шорох камышей и травы, стройные лягушачьи хоры, всё звучало вместе. Создавалось полное впечатление разумности этих существ. Казалось, что это пение обращено ко мне. И они

хотят мне что-то сказать. Их партии строились в удивительной гармонии.

Сначала издавала звук одна лягушка. Потом ей отвечала другая, и у них шёл диалог, потом неожиданно разом вступал весь оркестр. Я и до сих пор не понимаю, каким образом лягушки знают, когда им вступить. Нет, это не хаотичное кваканье. Вступают все разом, и у каждой я различаю свою партию. А ведь дирижёра нет. И некому взмахнуть палочкой, обозначив вступление. Пропев музыкальную фразу, они так же неожиданно, как и начали, разом смолкают. Это и создаёт впечатление разумности.

Я мгновенно выучился петь и квакать по-лягушачьи. Иногда подпевал им, пел вместе со всеми. Но никогда мне не удавалось вступить и окончить пение вместе с ними. Никогда не понимал, где надо окончить партию, а в каком месте начать. А лягушки знали. Откуда?

Я и сегодня умею по-лягушачьи. Когда карьер сгрыз все озёра, то вместе с озёрами исчезла и живность. И рыба тоже. Теперь не послушаешь лягушек. И когда я теперь бываю в этих местах, мне приходится квакать по-лягушачьи одному. Но никто не отзывается и не подхватывает.

Солнце стоит высоко и давно не клюёт. Тогда я раздеваюсь и залезаю в воду. Два взмаха—и я доплываю до кувшинок. Листья похожи на большие зелёные сердца. На них живут целые деревни. И жучки, и паучки, и мушки с радужными крылышками. Я переворачиваю лист, опрокидывая население в воду. Но они не тонут, не тут-то было, и даже не ругаются на меня, а плывут и перебираются на другой лист. Обратная сторона листа вся покрыта неприятной на ощупь лягушачьей икрой. На обеих сторонах—жизнь. Я глажу икряные кладки, они плотно склеены, не оторвёшь.

Иногда я завидую чужому таланту. Если бы ловил рыбу на этих озёрах Пришвин, или Бианки, или Казаков, как они здорово описали бы всё, что тут происходило. А иногда я завидую чужому успеху, есть такие особенные писатели, какую бы чушь они не написали, всё это тут же издано в толстых журналах и отрецензировано, и даже премии розданы. А иногда я завидую себе, что всё это чувствую, хотя и выразить не могу. И тем больше ощущаю связь с рыбами, а не с людьми, которые тоже, как я, молчат, не дано им право голоса. Рыбы, конечно, не молчат. Они тоже разевают рот. А если бы они и не молчали, а кричали, как лягушки или как жаворонки, их всё равно бы жарили на сковородках живьём.

Первые воспоминания о себе у меня связаны с водой. Наверное, поэтому меня так тянет в пруд. Сколько лет мне было, не знаю, может быть, года два или три, но помню своё погружение в лужу, в которую я зашёл почти по шейку. Грязная вода магнетически манила, и я медленно шёл, ощущая, как расползаются по телу её мокрые прикосновения. И наверняка скрылся бы с головой. Меня с трудом выловили, наверное, родителям пришлось зайти глубоко, выше колена, или даже по пояс, и поймать меня за шиворот, а потом они всю жизнь рассказывали этот эпизод, с тайной надеждой, что я открою причину своего нестандартного поведения водолаза. Но причину я не открыл, и вам не открою, потому что сам её не знаю. И если бы не рассказы взрослых о моём детстве, то, наверное, и это погружение я бы не вспоминал и осталось бы оно в моей памяти просто туманным бесформенным пятном.

Стрекозы

Как только солнце показывалось в нашей воронке, стрекозы окружали меня со всех сторон. Одна непременно садилась на кончик удочки. Словно специально, чтобы я смотрел не на поплавок, а на неё. И я смотрел на неё, угадывая, кто это? Кровяная стрекоза или болотная. У кровяной тельце покрыто как бы ржавчиной. У болотных тельце зелёное и глаза изумрудные. «Неравнокрылые» свои прозрачные крылышки держат ровно, параллельно воде, задние крылья у них короче и шире передних, их спугнуть легко. Совсем другое «равнокрылые», эти из семейства «красоток», совсем не пугливые, и избавиться от такой стрекозы, которая складывает синие крылья за спиной и отдыхает на твоём поплавке, нелегко. Когда я читаю об инопланетянах, то всегда думаю, что их «блюдечки» летают точно так же, как семейство «неравнокрылых» стрекоз. То зависают над землёй, то делают резкие, мгновенные перемещения вправо и влево, вверх, а потом опять неподвижно зависают. Их полёт непостижим, и я безотчётно, часами наблюдал, как они носятся над водой перед моими глазами. «Равнокрылые» стрекозы совсем другие—медлительные. И летят неровно, то вниз, то вверх, не летят, а порхают. Их полёт похож на полёт бабочек.

Когда, наконец, глаза уставали следить за этими зигзагами, я вытаскивал удочку, проверял насадку. Хлеб всегда бывал сбит, неизвестно кем, я заменял его на более надёжную насадку—червяка, и опять закидывал удочку. И часто вслед за червяком металась стрекоза и, несмотря на мой стремительный, со свистом заброс, успевала догнать червяка, зависнуть над ним, определить, что это для неё нечто несъедобное, и упорхнуть. Скорость стрекоз до сих пор никто не измерил. Может быть, она летит быстрее звука? Или быстрее света?

А иногда я случайно попадал кончиком удочки по стрекозе и сбивал её в воду. Я, конечно, мог бы без труда раздеться, залезть в воду и спасти её, но нет, я наблюдал с удвоенным вниманием, что будет дальше. И, действительно, вскоре её трепыхания замечали подводные жители…

Мелкие долго и безуспешно клевали её, выталкивая подальше от берега, и вот там её уже ждали более крупные хищники, и воздушную красотку неизбежно кто-то сжирал с шумным хлюпаньем.

Я, конечно, пробовал ловить на стрекозу, но проткнутая крючком, она сразу испускала дух и шла на дно. А там её никто не мог найти, или никто не интересовался ею. А если протыкаешь крючком бережно, то стрекоза взвивается вверх и летает вместе с леской над водой, а то и вовсе улетает в камыш и садится на острый лист, таща за собой лёгкий поплавок. На «перекидку» мы тогда не знали, как ловить. А когда освоили этот тип ловли, наши озерки уже исчезли в утробе грязной землечерпалки.

Не знаю, стрекоз каких семейств я любил больше: равнокрылых или неравнокрылых. Я любил их по-разному, но одинаково сильно. Равнокрылых, медлительных, поймать было легче, чем истребителей семейства «коромысел». Но сколь же чудны стрекозы «равнокрылого семейства». Это подлинные красотки, кстати, они так официально у энтомологов и называются, они любили садиться на мой выкрашенный нитрокраской поплавочек. Они ровно складывали красиво окрашенные крылышки за спиной и сидели, словно специально предлагая мне любоваться их красотой.

Детскую энциклопедию я начал читать намного раньше, чем стихи. И когда в 8 классе я открыл, наконец, Пушкина, то всякое упоминание о «наядах» повергало меня в недоумение. Ведь наядами назывались хищные, ужасные и безжалостные личинки стрекоз. Для меня это были совсем не мифические существа, танцующие на полянах с распущенными волосами. Огромные клещи моих наяд кусали мои пальцы и прокусывали до крови, пока я их брезгливо рассматривал.

Тарасовы

Отец отправляет меня узнать, как дела у Тарасовых. Обычно в это время мы соединяемся для общей трапезы.

Они часто меняют озёра, поэтому их надо ещё найти. Нахожу старшего Тарасова у дальнего небольшого озерка… Тарасов выглядит как учёный. Очки, книжные слова. Он и рыбу ловит по науке. И снасти у него уникальные. Всё сделано по-учёному, всё продумано. Крючки он меняет раз десять за рыбалку. Поплавки тоже.

Сообщаю ему о нашем улове и что уже давно не клюёт и надо уходить, менять места. Вижу опущенный в воду садок, значит, и тут есть улов, бесцеремонно поднимаю его. Там плещутся два карасика. Один красный, другой белый.

Озеро, на котором ловит старший Тарасов, естественное. Вокруг нет холмов из вынутого грунта. Оно мелкое, всё заросло и берега болотистые. Это собственно не озеро, а совсем уже болото, только посередине окошки воды, всё остальное заросло, заилилось. И глубина у него совсем не три метра, а метр от силы. Он сам сидит в грязи на каком-то стульчике. Вокруг него множество приспособлений. Садок, подсачек. Удочку он кладёт на две специальные металлические рогатинки. Я чувствую, что мешаю ему и он хочет, чтобы я ушёл. Но он не может просто так сказать, мол, уходи, мешаешь, Он подзывает меня и объясняет, почему я должен уйти как ему свойственно, по-научному.

Он говорит мне шёпотом на ушко.

— Утром я поймал красного карася. На тесто. Но красный перестал клевать. Теперь подошёл белый карась, я его ловлю на «бутерброд»,— и он показывает мне на деревянную мотыльницу и баночку с опарышем. Карась не выносит шума, поэтому иди, поищи Алика.

Я потрясён таким объяснением, таким количеством слов и насадки. И тихонько удаляюсь, взбираюсь на вершину холма, чтобы найти Алика, оборачиваюсь и вижу, как Тарасов берёт большой кусок грязи из-под ног, смешивает его с куском хлеба и швыряет в свой поплавок. Раздаётся такой «бултых», что не только рыба должна испугаться, пугаюсь я сам. Это настоящий взрыв мегатонной бомбы. Волны расходятся по всему озерку и бьются о берега, волнуют камыши. У каждого свои представления о тишине и о том, что может вспугнуть рыбу.

Потом он объяснит мне действие этой грязевой бомбы. Это особый приём ловли карасей. В мутное облако они с удовольствием входят и клюют взаглот, без опасений. А без такой бомбы, даже при обилии голодных карасей, они слизывают насадку так аккуратно, что и поплавок не шелохнётся. В мутной же воде они сразу глотают, наперегонки.

То есть старший Тарасов считал, будто у него насадку всё утро слизывали караси, а он не мог подсечь. Я-то знаю, как легко сваливаются с крючка маленькие шарики хлеба и теста. Но даже моё воображение не позволяет думать, что всё это склёвывают рыбы. Азарт у Тарасова ещё больше, чем мой. И он смотрит на мирно плавающий поплавок неотрывно и пристально. И, наверное, сутками бы смотрел, если бы не надо было идти домой.

Карьер

Взобравшись на гребень холма, я вижу карьер. На карьере мы не ловим, и никто не ловит. Близко к берегу стоит землечерпалка и мутит воду. Тут никакой грязевой бомбы не надо. Берег у карьера очень высокий. И неустойчивый, стоять на берегу опасно, потому что он всё время осыпается вниз, в воду. Пляжа нет, вода бьётся в этот высокий берег и подмывает его. И говорят, что там сразу глубоко. Может быть, метров 10, а то и больше. Свалишься и не выберешься назад.

На холмах гулял ветер. Здесь можно было не опасаться слепней. Всех насекомых сдувало вниз. Ветер дул всегда в одном направлении, в сторону Щукино. Ветер бывал здесь так хорош, что, стоя на вершине холма, мы с Аликом, часто опирались на него всем телом, и казалось, ещё чуть-чуть, ещё немного — и он поднимет тебя, и ты полетишь. Это было страшно, оторваться от земли, от привычного состояния бескрылого существа. И всё-таки хотелось, хотя бы немного побыть стрекозой, и я расправлял руки. Мы кричали от восторга, пока нас не окликали испуганные родители и звали спуститься с гор в долины. Они не говорили, что мы взлетим, они говорили — вас снесёт. Снесёт, как сухую траву, и покатит по земле и ударит о камни. И перевернёт лицом вниз, чтобы мы уткнулись в эту землю и не видели неба. И мы спускались, и мы бежали к ним. Но ощущение полёта осталось. И забыть его невозможно. И невозможно забыть, что хоть ненадолго я был когда-то почти крылатым и небесным.

Алика я увидел с вершины холма, он стоял на краю карьера с удочкой.

— Ну. Что, клюёт? — спросил я его, задохнувшись от бега.

Алик ничего не ответил. Я видел, как он весь напрягся, он весь превратился в одну стрелу. И вот он подсёк, и на его крючке затрепыхалась какая-то совсем не маленькая рыбина.

— Бычки клюют, иди скорее сюда, — воскликнул он, — снимая рыбку с крючка.

Бычка я увидел впервые, он как бы состоял из одной огромной головы. И огромного рта, всё остальное было как бы приложением. Пятнистый, лупоглазый. Он был немного похож на головастика, но намного больше, в десять раз больше его. Не знаю, не могу отнести тех бычков к какой-то группе. То ли это были бычки-гонцы, то ли бычки-цуцыки. Тогда для меня эта рыба казалась совершенной диковинкой. Я был уверен, что бычки водятся только в море. И заметил это Алику. «Ну, а кто это если не бычок?» — резонно ответил он мне, не отвлекаясь от поплавка. Да, вроде больше некому быть бычком, как только этой крутолобой рыбе.

И я мчался за удочкой и звал отца. И забрасывал в мутные воды карьера. И вставал на самом краю обрыва. И у меня тоже клевало, и я тащил бычка, который разевал огромный рот, лупил на меня выпученные глаза и расправлял огромные передние плавники, как крылья птицы.

Это уникальное место плохо было приспособлено для воскресного отдыха. Земля из насыпных холмов ещё не вполне слежалась, не всюду она была покрыта растительностью и постоянно попадала в обувь, даже в сапоги. Расстелить здесь подстилку и загорать, никому не приходило в голову. Тем более что на малейший обнажённый кусочек тела, сразу же слетались оводы и слепни. И для шашлыков, и для пикников место было неудобное. Может быть, именно поэтому здесь всегда было чисто и несколько дико.

И тем не менее с восходом солнца на холмах неизменно появлялись гуляющие семьи и обходили все прудики. Дети были безумно счастливы, гонялись за бабочками и находили забившихся в камыши уточек и пытались их кормить. Уточки стремглав бежали от летящих в них кусков хлеба. Но скоро разобрались, что не в них кидают, а для них кидают, и жадно бросались на плавающие куски. Рыбалке отдыхающие мешали капитально. Не знаю, пугали ли они рыб своим криком, но рыбаков пугали точно. С их появлением вся таинственность процесса ловли исчезала напрочь. И следить за поплавком совсем не хотелось.

Техногенность этих мест странно сочеталась с буйством биологической жизни. Столько живности я больше нигде никогда не видел. Может быть, как свидетельствуют путешественники, лишь в тропических лесах насекомых водилось больше. Только улиток было нескольких видов. Хорошо помню большие, тёмные, закрученные спиралькой, обитающие в иле, и жёлтенькие, маленькие, закрученные бубликом, выползающие на водоросли и камышинки.

Живность обитала во всех средах, во всех стихиях. Стоило мне, например, на бегу, при очередных поисках Тарасовых даже случайно, запнувшись о кочку, потревожить дёрн, как под ним оказывался огромный белый дождевой червяк, или толстенная белая личинка майского жука, с хищными клешнями, или, в крайнем случае, муравейник с белыми яйцами. Белых червяков я не собирал, мы ловили на красных.

Самая маленькая взрослая особь

Конечно, я мечтал поймать большую рыбину. Она жила здесь, она плавала под носом. Она давала о себе знать иногда шумными всплесками. Но моим уделом стала ловля самых маленьких рыбок нашей страны. Конечно, где-то на реке Амазонке, говорят, водятся ещё мельче. Но здесь, в Москве, в той стране, где я жил, самой маленькой рыбкой был оголец. Он был не многим больше аквариумных рыбок: гуппи, меченосцев и барбусов.

Когда я поймал первого огольца, то сразу хотел его выпустить. Рыбка была с мизинец, и непонятно вообще как такой малёк мог заглотить мой крючок и огромного червя, приготовленного для окуня. Но рядом находился ученый рыболов, Тарасов-старший.

— Ну-ка, ну-ка, покажи, что ты поймал. — И я неохотно, отдал ему добычу, приговоренную уже к свободе.

Рассмотрев рыбку, он и определил.

— Это не малёк, эта рыба называется оголец. Взрослая особь, больше она не вырастет.

И добавил, возвращая рыбку:
— И очень вкусная и удобная: ни чистить, ни потрошить не надо.

Тогда я стал рассматривать свой улов внимательнее. Действительно, у огольца не было чешуи. Рыба без чешуи! Казалось бы, совершенно необходимый для любой рыбы атрибут. Без чешуи и рыба не рыба. Всё равно, что курица без перьев. Если бы мне рассказали об этом сейчас, я бы никогда не поверил, что существует голая рыба. И не где-нибудь в дальних краях. Там всё может быть, а здесь, рядом. И убедить меня было бы невозможно, потому что огольцы давно перевелись в московских водоёмах. Однако оголец лежал в моих руках, совершенно гладкий и голый. Поэтому так и назывался. Я решил понять, как он мог заглотить моего червя. И раскрыл его рот. Его ротик вытягивался хоботком и уже был совсем не маленьким. Рот обрамляли шесть смешных усиков. Четыре на верхней губе, и два на нижней, а сама головка была немного с горбинкой. Оголец был тоненький, тощий и очень юркий. Его тело посередине нисколько не утолщалось, поэтому он немного походил на змейку. На мою маленькую удочку огольцы шли легко. У меня и поплавочек был соответственно маленький, а потом я перевязал и крючок двумя номерами меньше. И стал ловить огольцов уже вполне сознательно. И весьма преуспел в этом деле.

Когда я впервые принёс домой наловленных мной огольцов, мама всплеснула руками:
— Зачем же вы берёте таких маленьких, выпускали бы мальков назад, они же ещё должны вырасти.

Наученный Тарасовым-старшим, я изрёк.
— Это взрослая особь! — и сразил её.
— Да как же её чистить такую маленькую…
— А не надо чистить. Это же оголец! Он уже чищенный! — сказал я важно, как бы удивляясь такой темноте.

И я сразу вывалил рыбу на сковородку.
— Её и потрошить не надо, — добавил я, как бы ставя точку в дискуссии.
— Да в каком болоте вы её наловили, в какой луже… — не сдавалась, запричитала мама.
— В самом чистом болоте и в самой чистой луже возле деревни Строгино, — отвечал я. И отец победно посмотрел на маму, всем видом подтвердив, что я прав и что с охоты вернулись настоящие рыбаки, и они не отдадут свою добычу на посмеяние.

Огольцы озера Круглое

Огольцы водились на Круглом озере. И после бесполезно и бездарно проведённой зорьки на озерках мы вместе с Тарасовыми отправлялись направо, на Круглое. Это естественное озеро. Вокруг него не было холмов из вынутого грунта. Существует оно и сейчас, униженное, обесчещенное, превращённое в тренажёр по водным лыжам. А тогда оно было живое, окружённое вниманием рыбаков и отдыхающих. Подходов к воде было немного, и все они, как правило, оказывались ко времени нашего появления занятыми. Я аккуратно подходил к каждому рыбаку на берегу, не обращая особо внимания на негативную реакцию, рассматривал улов. Улов плавал в ведёрках или в садках. Обычно это были две-три плотвички, два-три окунька. Пойманных пескарей и огольцов обычно отпускали, не считая их достойным уловом. В садках они и не держались, уходили через ячейки. Некоторые рыбаки были доброжелательные и охотно вступали в разговор, другие раздражались и ругались. И у тех и у других уловы были одинаково мизерные, и к обеденному времени, когда мы меняли дислокацию, у них одинаково не клевало. Но одни были довольны всем тем, что имели, и озером и уловом, и своим местом на берегу, другие всем недовольны. Не только уловом и малорыбным озером, моими вопросами, но и самой жизнью и своим местом в ней.

Конечно, я очень извиняюсь перед американскими писателями, которые любят описывать лов колоссальных рыбин, за своего ничтожного, крохотного огольца, свои заметки я бы окрестил: «Оголец и малец». Большие рыбы мне не по росту. Я беру пример с нашего Аксакова, описавшего ловлю ершей на реке Воря. Но ёрш намного больше огольцов. И, кажется, в самый раз, мне по силам взяться за описание именно ловли огольца. Мой размер по всем направлениям.

Нет на всём свете рыбки более юркой, чем оголец. На её голой шкурке много слизи, и первая рыбка, которую я уже описал, всё же выскользнула из моих рук, пока мы рассматривали её с учёным рыбаком Тарасовым-старшим. Такая же юркая она и под водой. Это, наверное, вообще самая быстрая рыбка на свете.

Если в солнечный, погожий денёк тихо сидеть на берегу с удочкой, то оголец вместе с мальками непременно подплывёт к вам поближе, на мелководье. В отличие от мальков, искать взглядом его надо на самом дне. Различить его очень трудно из-за его защитного, тёмно-зелёного пятнистого окраса… Он абсолютно сливается с грунтом. Не знаю других придонных рыб, которые бы прижимались к грунту более плотно, чем оголец. Для этого он очень хорошо приспособлен. По вертикали его тельце никак не выдаётся. Он совершенно кругленький. И на дне стоит, опираясь на грудные плавнички, так же, как мы опирались на ладони, отжимаясь на уроке физкультуры. Если он долго стоит, то немного зарывается грудными плавничками в ил. И когда его спугиваешь, за ним поднимается, словно дымовая завеса, это облачко ила, и скрывает его побег. Голова у него немного уплощённая и глаза сидят не по бокам, а ближе кверху, на макушке, и к тому же они

немного выпуклые, так что он хорошо видит всё, что делается над ним и вокруг. А вниз ему и не надо смотреть, потому что ниже него ничего нет. Оголец не плавает, как нормальная рыба, как бы прогуливаясь, туда-сюда. Он шмыгает с одного места на другое быстрыми рывками. Он словно телепорт, исчезает прямо на глазах, настолько быстро он снимается с места. Смотришь на него, разглядываешь, как он дышит, как сидит на нём его маскировочный костюмчик, какие кругленькие у него плавнички, и неожиданно теряешь его из вида, кажется, что он просто исчез у тебя на глазах, но потом, присмотревшись, находишь его совсем недалеко, на новом месте и в том же камуфляже. Его узенькое тельце, одетое в военную пятнистую камуфляжную форму, идеально сливается с рельефом дна. И ведёт он себя совершенно так же, как вёл бы себя спецназовец на поле военных действий, перебегая опасные места рывками и потом опять падая на землю и прижимаясь к ней. Весь пруд для огольца — поле боевых действий. Нет такого хищника, который не хотел бы им полакомиться. Тело огольца у хвоста очень широкое. Оно к хвосту совсем не суживается, что придаёт рыбе змеиную форму. Это его самая мясистая и сильная часть. Мне кажется, именно эта широкая и мускулистая часть тела и является его основным мотором. Один взмах такого хвоста сразу придаёт рыбке огромную стартовую скорость, а обильная слизь помогает минимизировать сопротивление воды. Торпеда, а не рыбка. А ну-ка, догони.

Ещё не зная о 25 кадре в кино, который не замечает глаз, я увидел природного телепорта, который исчезал и появлялся в другой точке пространства. Я увидел этот таинственный кадр, за которым не поспевает глаз.

Заметив червячка, оголец мгновенно сигает к нему. Хватает и снова мчится с ним назад, в глубину, чтобы забиться в какую-нибудь щель и порадоваться вкусному обеду. Вот тут-то его и надо подсекать. А то, почувствовав леску, он может и выплюнуть червяка. Или, что тоже бывало, затащит крючок под корягу, зацепит за корень водорослей. И тогда беда, пропала снасть. Прятаться, забиваясь в щели, это оголец умеет прекрасно.

А иногда, и это непостижимо, он пристраивается рядом с наживкой и так лежит неподвижно. И кажется, что он вовсе не интересуется твоим червячком. Но нет. Стоит немножко пошевелить крючок, как оголец последует вслед за ним. Подсекать его напрасно в этот момент. Он червя не берёт в рот, а как бы облизывает его. Когда вынимаешь удочку и осматриваешь червя, то видишь, что он обсосан и даже высосан. Такая манера клёва очень неприятна. Подсечь такого вредного огольца неимоверно трудно. Нужно замечать неуловимые колебания поплавка, и как только он притапливается, вот тут помогает белая полосочка на поплавке, или клонится в бок, или просто немного шевелится, тогда и надо резко подсечь. Иногда оголец клюёт как подлещик, кладёт поплавочек плашмя. У него же, как и у подлещика, есть хоботок, вот им он и приподнимает наживку, и облизывает её. Червей он изводит необыкновенное количество. И терпение, чтобы его ловить, надо иметь неисчерпаемое.

Оголец очень похож на пескаря, но намного мельче его. Он более худой, и спинка не такая широкая, как у пескаря. У пескаря только два усика, в уголках нижней губы, а у огольца шесть, на верхней и на нижней. Усики, надо полагать, помогают ему ориентироваться в мутной воде. Повадки и места обитания у них одинаковые. Они больше всего любят песочек и обрывы с ямами. Иногда вместо огольца я вылавливал пескаря. Но это бывало редко. Поймать на нашем озере пескаря было труднее. Это было под силу только Тарасовым. Он клевал на более изысканную наживку, не на червя, а на мотыля. А где напастись на них мотылей? На мотыля и плотвичка идёт хорошо, и карась, зачем на какого-то пескаря тратить?

Круглое озеро было настоящим озером, а вовсе не прудом, не ставком и не лужей, как обозвала его мама, потому что это озеро соединялось с рекой Москвой. Это, пожалуй, в то время было единственным настоящим Строгинским озером, пока не появилось выкопанное озеро Чистое. Круглое озеро не имело названия, по сути, это был залив реки. Мы обходили его кругом, почти до конца, вокруг болота и камышей. На дальнем, правом его конце, уже в виду реки Москвы, у песчаного косогора останавливались и начинали ловить. Тут был крутой перепад глубины. Тут-то и клевали пескари и огольцы. Начинался второй этап рыбалки.

Пескари и огольцы клевали весь день до вечера. Близко от этой стороны озера находилась деревня Строгино. Вскоре я познакомился и с мальчишками, жителями этой деревни. Они всегда ходили стайкой, как мальки. Их сразу можно было отличить от городских. Хотя деревня уже была в черте Москвы, они оставались деревенскими. В то время я лето проводил в деревне и, несмотря на различия, хорошо понимал деревенских, бестрепетно подходил и общался. Сначала я познакомился с изделием Строгинских мальчишек — тарзанкой, закреплённой на берёзе, на косогоре. Папа прыгать с неё мне строго запретил. Потом и с самими мальчишками, которые бесстрашно с тарзанки прыгали, мне на зависть. Все они были в широких синих трусах, почти до колен и в синих майках с растянутыми почти до пояса лямками, отчего майки спускались тоже почти до колен. Видеть это было смешно. Иногда они заправляли майки в трусы и тогда становились ещё смешнее. Мы в Москве носили более миниатюрные трусики и маечки, а купались в настоящих плавках.

Накупавшись, напрыгавшись с тарзанки, мальчишки принялись за рыбалку. Вот это заинтересовало меня ещё больше, и я подошёл к ним поближе. Мальчишки заходили в воду по колено и забрасывали свои маленькие удочки себе под ноги. Удочки у них были меньше одного колена моей, бамбуковой. Это были не удочки, а прутики. Я был уверен, что с их помощью ничего невозможно поймать. Но когда подошёл ближе к ним и увидел трёхлитровую банку, полную огольцов, пришёл просто в священный трепет. Они таскали этих рыбок прямо у себя из-под ног. Причём они не то чтобы, как настоящие рыбаки, высиживали рыбу, боясь шелохнуться, нет, они своими ногами мутили воду и ещё разговаривали, перекликаясь между собой, и при этом время от времени подсекали и вытаскивали извивающихся огольцов. У них был и вожак, парень постарше, к нему я не стал подходить, а спросил у мальчика помладше.

— А на что вы ловите?

— На червя,—он показал мне банку с червями.

Задачей этого мальчика было брать выловленных огольцов из рук рыбаков и выпускать в банку с водой. Засиживаться ему не приходилось, он постоянно бегал к воде и назад. Иногда он носил и банку с червями.

Но ловили они совсем не на червя. В моём понимании, червь должен быть свежий, живой, и с кончиком, насаженный на весь крючок полностью. Они же червей никогда не меняли, да и некогда им было менять, так часто клевали огольцы. Они ловили на обгрызки червя. И насаживали новый кусочек, если от этого обгрызка ничего не оставалось.

— На сковородку есть!—сказал я мальчику.

— Не-е, это на живца, ответил он мне.—И добавил—на жерлицу

— На щук?

— Щука и окунь.

— А где вы ловите?

И мальчик показал мне в сторону Москвы-реки.

— Уже проверяли сегодня?

— Утром.

— И как?

И мальчик назвал мне цифру, которую я сейчас не помню, но хорошую. Я показал руками размер щуки. И мальчик развёл руки пошире.

Совсем не мужики в резиновых сапогах и с килограммами снастей в рюкзаках оказались настоящими рыбаками. Настоящие рыбаки были вот эти босоногие мальчишки с примитивными орудиями лова.

Поверяли они свои жерлицы, то есть намотанные на рогатинки лески с живцом, объезжая их на лодке, два раза в день. И каждый день у них было по несколько щук и окуней. Нет, они не высиживали, не сидели, не приваживали, не прикармливали. Ловили рыбу они примерно так же, как их отцы пахали на тракторе, сеяли, а потом косили урожай.

А почему они так же не ловили на озерках? Тогда бы, по крайней мере, щуки не дохли к весне и не устилали берега своими длинными, похожими на поленья телами. На озерках за жерлицами надо было следить, так я думаю сейчас, а то бы их утащили праздно шатающиеся отдыхающие. А на реке они ставили свои снасти в недоступных местах.

Я тут же рассказал все новости Тарасову-старшему. Но ловить щук он не стал.

— У нас лодки нет,—развёл он руками.

Я решил попробовать ловить огольцов новым, открывшимся мне способом. Зашёл в воду по колено, стал мутить пальцами. Мутить получалось хорошо. Я даже видел, как стрелами мчались в мутное облачко огольцы. Но подсечь их не мог. Пришлось полностью переделать снасть. И не просто следить за поплавком, а постоянно подёргивать леску. По сути, это была мормышка. Эти подёргивания придавали жизнь кусочкам червей, и одновременно они могли подсечь. Не с первого раза у меня это получилось. И всё равно, я этот способ освоил не до конца и ловил совсем не так успешно, как деревенские. Тут нужно было мастерство.

И всё же по тридцать-сорок огольцов я налавливал легко. Тарасов-старший с моим отцом за это время вытаскивали по два-три толстых, больших пескаря.

Деревня

Деревня начиналась почти сразу от Круглого озера. К ней вела деревенская разбитая дорога, настолько изрытая, что по ней и ходить было нельзя. Но рядом вилась аккуратная, хорошо протоптанная стёжка для пешеходов, вот по ней мы и шли. Вскоре начинались дома. Первые несколько домов, как помню, были совершенно разрушены. Потом стояли ещё целые, но нежилые избы. К середине деревня принимала вполне жилой вид.

По дороге попадались копающиеся в грязи и мусоре куры. Из труб вился лёгкий дымок. Дорога, разделявшая два ряда домов, была очень широкой, заросшей травой, с беспорядочными колеями и большими горами мусора. Самая обычная, впрочем, деревенская дорога, устроенная с бесшабашным размахом. Запущенная потому, что все уже знали, что доживают здесь последние годки. Сама дорога и говорила об этом. Деревня приговорена и будет снесена вместе с дорогой нездешней силой. На этой необъятной дороге разминулись бы и десяток телег и подвод. Усадьбы, огороженные штакетником, скрывали огороды и сады.

Мы ходили в деревню очень редко. Только ради причала Строгино. Сюда идти было намного ближе, чем назад, к причалу «Пляж».

Когда я стал писать свой рассказ о деревне Строгино, то специально решил поехать, найти

это место, которое не посещал 50 лет. И ничего не нашёл. Нашёл Круглое озеро, нашёл Москву-реку. Нашёл крутые обрывы высокого берега. Но никаких следов деревни. Уже хотел было отправиться восвояси, как наткнулся на несколько старых яблонь. Яблони были старее меня. И я понял, что это и есть остатки деревенских садов. Пробравшись через бурьян, погладил толстый, корявый, замшелый ствол. Половина веток засохла. А на других висело множество яблок. Как раз Яблочный Спас. Сбил несколько и попробовал. Не дичок, яблочки хоть и зелёные, и мелкие, но сортовые. Набрал сумку этих деревенских бесхозных яблок, отправился домой и сейчас откусываю и вспоминаю прежнее: и деревню, и безвестных, безымянных хозяев усадеб. Тех, кто их сажал и ухаживал. И благодарю их за то, что они были, жили. Для города привычно грабить деревню. И на этот раз я без проблем пограбил их яблони. И они покорно отдали мне свои последние плоды.

Тропинку, которая вела к строгинской пристани, не сразу и найдёшь. Она вилась в проёме домов, вдоль заборов, скрытая между деревьев. Потом по крутому высокому обрыву спускалась лесенка. Место необыкновенно живописное. Я очень хорошо помню эту высокую старую, узкую лестницу с перилами. Внизу, кроме пристани для катеров, был деревенский причал, у которого качались на воде лодки, а некоторые, что не на плаву, были вытащены на песчаный берег. Лесенка, деревенский причал — всё это было сделано не по-городски, не стандартно. Всё это делали деревенские руки, и это создавало совершенно особую, я бы даже сказал, сказочную атмосферу. И обрыв, и река, и огромные, клонящиеся к воде деревья, и деревня… После дикого карьера казались чудом. Карьер — это всё-таки насилие над природой, а не сотрудничество. Так лепить ландшафт, так лепить берега рек безумно. За дело брался не художник, а какой-то маньяк, костолом, который притворялся городом и прогрессом. И некому было его разоблачить и арестовать. В конце концов, и вышло нелепо. Залив цветёт, рыба дохнет, а грязь вокруг, по берегам, непролазная. На деревенском причале не было никакого мусора. Хотя и дворников не существовало. Не понимаю, как здесь всё очищалось, обновлялось. Словно по щучьему веленью. Мне казалось, что и вода здесь совершенно чистая. По крайней мере, с причала я видел дно у песчаной отмели.

Строгинская пристань отличалась от всех остальных тем, что она была не привозная, а стационарная, крепилась на сваях, а не на якорях и тросах. Она была старая, низкая и маленькая.

Я помню эту пристань летом. Деревья подступали к берегу близко, и пристань скрывалась в тенистой листве. Она казалась частью берега, естественной частью берега. Словно сами деревья, сам берег вырастили её. А пристань «Пляж» торчала на пустынном лысом берегу, как шишка на лбу.

Когда катер подходил к пристани, то ветки касались его, словно хотели помочь причалить, предлагая свои чалки, и просовывали свои зелёные руки через перила, словно хотели поздороваться с приехавшими пассажирами. Кто знает, что хотели деревья. Но ясно, что они хотели добра, и это было приветствие. Они радовались каждому катеру, и людям, которые сходили с него и сразу окунались в заботливо приготовленную для них деревьями тень. Они приветствовали нас шумным шелестом, качаясь над головами, и волны от катера подходили к берегу и подхватывали этот лепет, этот шелест листвы и ещё громче шумели, и даже рокотали, вспениваясь у берега, и живо подбрасывали сходящих по трапу, неумело качая их на своих речных руках. Здесь сходить по трапу было опаснее всего. И в то же время удобнее. Мы на причал просто прыгали. Бортика на причале не существовало, и выход с катера открывался широко.

Я помню, эту пристань ранней весной. Она сильно страдала от ледохода. На зиму её не увозили, как другие пристани. И она вмерзала в воду, а потом льды её нещадно кромсали. С одной стороны доски были сильно измочалены, а сама пристань немного скошена напором льдин. Деревянные сваи, углы — всё-всё было расщеплено и растёрто в мочало. Но пристань быстро приводили в порядок, меняя повреждённые части конструкции.

Я помню эту пристань поздней осенью. Мокрую, скользкую, покрытую листьями. Матросы в тельняшках мётлами сметали листья только с узкой полоски причала, куда мы выходили и прыгали. До остального им не то что бы не было дела, а просто руки не доходили. Разноцветной мозаикой листвы был завален и берег, и лодки, вытащенные на берег и перевернутые вверх дном. И волны от катера играли и шуршали, и пенили эти листья, утаскивая часть их под воду.

Описывая этот причал, я с удивлением обнаружил, что помню расписание движения катеров. Расписание несуществующих уже маршрутов. Это так странно, помнить то, чего нет. Сюда катер приходил каждые два часа. Его маршрут так и назывался: Щукино — Строгино. Катер ещё делал остановку и посередине, на причале «Пляж». Поскольку катер ходил редко, и можно было попасть на длинный перерыв и застрять на пару часов, то мы к этому причалу ходили редко, хотя к месту, где мы рыбачили на Круглом озере, причал находился намного ближе. Только если совпадало время. А я любил сюда ходить. Здесь с толстого дерева, над кручей, свешивалась ещё одна тарзанка. Только самые отчаянные могли прыгать с такой кручи.

Другой катер каждые полчаса курсировал между Пляжем и Щукино. И третий катер назывался

экскурсионным и ходил от Щукино к Серебряному Бору. Он всегда был полон празднично, ярко одетых отдыхающих, на нём гремела музыка, которую перекрывал смех и весёлые вскрики.

— Вася, иди сюда! Я тебе заняла место!

Катер, перевозивший людей в Строгино, назывался рабочим. Этот катер был тихим и молчаливым. В Москве не осталось больше рабочих катеров, то есть катеров, которые перевозят людей по делам. Например, на работу. Или в магазин. А жители деревни Строгино использовали катер именно для этих целей. Мы, рыбаки, тоже не на прогулку ездили, поэтому смотрели на отдыхающих с известным превосходством, как на людей праздных и пустых. Отдыхающие же в ответ, смотрели на нас, одетых в сапоги и телогрейки, пугливо, как на какой-то пережиток прежних страшных времён, о которых не хочется вспоминать, и сторонились нас.

Перечитывая описание пристани Строгино, я понимаю, что многое упустил. Не описал. Не смог выразить. С сожалением думаю, что фотографий этой пристани никогда не делал, хотя и брали мы с собой замечательный фотоаппарат ФЭД. А то можно было бы показать вам фото, и вы бы сами лучше узнали, как выглядела эта несуществующая ныне пристань несуществующей деревни, к которой чалились давно списанные катера, под названием «Речной трамвайчик». Но всё равно, думаю я, вы бы не узнали, как хороша она была для причала, для того, чтобы кинуть на неё рюкзак и спрыгнуть вслед. Всё равно вы бы не узнали, как весело бились о песчаный бережок волны от катера и как прочно стояла она, не качаясь, в отличие от «привозных» пристаней в Щукино и Пляже, потому что покоилась на сваях. А потом нас ждала и принимала старая, скрипучая, коленчатая лестница. И вдруг слышался крик петуха. И мы входили в деревню и поворачивали налево, на Круглое озеро, где я мастерски ловил несуществующих теперь огольцов.

Встречали нас петухи и жаворонки, а провожали лягушки, потому что уходили мы после заката мимо болотистых берегов озера, и лягушки пели нам хоры, прелюдии и фуги. Над болотами поднимался лёгкий туман, и звук пения носил ветерок от одного болота к другому. И хотя сейчас его уже давно не слышно, я-то помню, как пели лягушки.

Вскоре все куда-то разъехались и связь с ними пропала. И все они думают, что ничего интересного вокруг метро «Щукинская» на три версты быть не может и едут в Европу, и едут в Америку. А я решил остаться и отстаивать правду, и повсеместно проповедовать, как ловились огольцы на Круглом озере, в котором сейчас устроен механический транспортёр для водных лыж. Ещё живут на свете рождённые в деревне Щукино и в деревне Строгино. Они могут подтвердить, что я говорю правду.

Я проповедую, какая тарзанка была сделана из корабельного каната на крутом берегу у причала Строгино и какое расписание было у трамвайчиков. И как стойко стоял в тихой воде пруда мой неоновый поплавок с двумя белыми полосочками, и как пел жаворонок, и каким слаженным хором провожали меня лягушки по вечерам. Хотя вот об этом, действительно, некому рассказать, кроме меня. И никто во всём свете не сможет это подтвердить. Как и то, что мне в ладонь осенью 1965 года упала звезда.

Чистое и Бездонное

Карьер быстро расправился с озерками. Когда я перешёл в старшие классы, их уже не существовало, и рыбалка стала совсем иная. Мы стали ходить на вырытое озеро Чистое. От причала «Пляж» на этот раз надо идти налево. Чистое—это народное название. Сначала это озеро совсем не соответствовало своему названию. Посреди него стояла драга и мутила воду, и баржи, гружённые мокрым высосанным грунтом, подходили и отходили от огромной трубы, изрыгающей воду с землёй.

Это место мало кто знал, потому что идти сюда было далеко, и скрывалось это место за холмами, которые теперь не существуют. Не знаю, куда делись холмы. Не только холмы скрывали это тихое место, но и дюны. Да, настоящие песчаные дюны с соснами, тянулись на километр, словно на Рижском взморье, или в Пицунде, пока их почему-то не решили ликвидировать и засыпали мусором и древесными отходами.

Чаще всего ходили сюда мы уже не с отцом, а моим другом, соседом по квартире Юрой Кашириным. Шли по перешейку, который тогда был намного шире, по кромке воды, здесь, на большом карьере, на большой воде, тоже сидели рыбаки. Они ловили судаков. И ловили всю ночь, когда мы приезжали первым катером, у них в садках сидели уже по два-три килограммовых судака. Но мы судаков ловить не умели, да и редко они брали. Мы шли на Чистое ловить подлещиков.

Да, к этому времени тут, откуда ни возьмись, расплодилась большая рыба. Ловить подлещиков было бóльшим удовольствием, чем ловить огольцов.

К тому времени у меня уже было три трёхколенных удочки. Перебравшись через холмы, мимо уткнувшейся в берег драги, мы добирались до места и начинали разворачиваться. Я ловил на манную кашу, готовить которую меня научил учёный рыбак Тарасов-старший. Закинув все три удочки, наступала пора прикормить подлещиков. Прикармливал я пшеном. Пшёнка хлестала по воде широкими кругами и неспешно шла на дно. Кроме нас, на озере ещё много рыбаков, что же, всё правильно, значит мы на рыбном месте. И действительно, первая поклёвка. Поплавок оживает

и странно клонится ко сну. Валится на бочок, я дотягиваюсь до удочки и подсекаю. Есть. Сердце бешено бьётся, но действую я хладнокровно и точно. Без единого рывка, медленно, но очень сильно держу, натягиваю леску и вывожу рыбу на поверхность, не давая ей уйти ни вправо, ни влево. И вот, она показалась, глотнув воздуха, рыба впадает в шок, я кладу её на широкий бочок и веду быстро к берегу. Словно глиссер, скользит на боку ко мне в руки подлещик. Я не вытаскиваю его из воды, держу над водой только голову и слежу, чтобы он не сделал кувырок, тогда вываживать придётся заново. И вот он у самого берега, я наклоняюсь за ним и беру за поводок, и он уже рядом со мной. Подлещик не дёргается, только судорожно открывает рот. Напрягает и разворачивает сразу все свои плавники, показывая их во всей красе, словно думает, что я испугаюсь, увидев его всего целиком. Когда он расправляет все свои плавники, то выглядит действительно намного больше. Крючок зацепился за нижнюю, нежную губу. Я вижу, что ещё чуть-чуть, и он сорвался бы. И он, действительно, срывается, но прямо мне в сумку. И там шумно бьётся, распугивая тишину. И я мысленно хвалю себя, что не дал ему уйти и что так всё точно рассчитал. Но тут же ругаю, что забыл подсачек и что не взял за жабры, а за поводок. И если бы он дёрнулся в воздухе, то точно бы упал в воду.

Поднимаю голову и вижу, что поплавок второй удочки плашмя лежит на воде, и, как кажется, уже давно, и от него расходятся круги. Бросаю всё и стремглав бегу к удочке, два шага, и я подсекаю. Есть! На крючке опять кто-то есть. И так сильно упирается, что приходится прилагать и вторую руку к удилищу. Тащу добычу, но главное, ни в коем случае не дёргать и не отпускать. А вот сам подлещик—дёргается, пытается уйти вбок, на глубину, потом в другую сторону. И вдруг идёт легко, и надо срочно подобрать леску, не ослабив натяг, а то так упирается, что моих усилий не хватает, и движения нет, мы застываем на месте, споря, кто кого. Широким плоским, сильным телом подлещик встаёт поперёк. Это самый опасный приём, который в ходу у подлещиков. И удочка гнётся в дугу и дрожит у меня в руках. Но вот голова появляется над водой, подлещик глотает воздух и обжигает себе жабры—шок, и я бережно укладываю его движением вправо, на бочок. Этот намного больше, чем первый, и он опять скользит ко мне, как катер, тут уже можно тащить быстрее, а то он непременно перевернётся через бок, кувырнётся—и начинай тогда выводить заново. Я слышу, как он рассекает воду и тяну руку к нему, вот он, у кромки воды, но взять за жабры не получается, надо ещё переступить ногой, но тогда потеряется время, и я опять беру за леску и поднимаю его. Только полметра, чтобы перенести его на землю. И удачно, падаю на землю вместе с ним. Немигающий рыбий глаз смотрит не на меня, рыбака, а куда-то в небо, рот раскрыт, а когда я отпускаю натяжение лески, то рот судорожно начинает закрываться и открываться, хватая воздух. И при этом открываются жабры и губы при каждом движении издают мокрый звук.

— Пэ, пэ, пэ.

На этот раз крючок в верхней губе. Верхняя губа более прочная, тут уже никак не сорвался бы. «Я дал ему заглотить, не сразу подсёк, вот и зацепил более надёжно»,—думаю я, хваля себя. Из ранки течёт кровь.

И второй подлещик отправляется в сумку. Доставать садок некогда. Куда там. Насаживаю катышек манки и закидываю. Третья удочка стоит безмятежно. Никто не покушается на неё. Кладу удочку на рогатинку и берусь за первую. Скатываю манку и забрасываю на прежнее место. Тишина, поклёвок нет. На воде от подлещиков остаются дорожки пузырей. В хороший клёв, в безветренную погоду такое часто бывает. Вся поверхность воды покрывается пузырями. Может быть, это от слизи, которой покрыты подлещики. Вытираю руки о траву, пока не клюёт. «Надо ещё подкормить»,—решаю я. Запускаю руку в мешок с пшёнкой и рассыпаю полукругом полную горсть. И опять поплавок первой удочки клонится спать. Но я жду, не подсекаю. Но поплавок застыл и дальше никак не ложится. Кажется, что проходит целая вечность. И я жду, застыв в неудобной позе, весь пружина. Ну сколько можно, подсекаю в правый бок. И опять чувствую, кто-то бьётся, трепыхается на крючке, и опять тащу, и на этот раз я ближе к воде и удаётся взять за жабры, но совершенно напрасно, потому что крючок глубоко и надёжно засел в губе. И этот подлещик шёл, как глиссер, и от него ещё больше пузырей на воде. Вновь забрасываю.

Решаю проверить третью удочку. На неё почему-то совсем не клюёт. Вынимаю, но крючок не тронут, никто не слизал манку. Обновляю и вновь забрасываю.

И опять поклёвка посередине. Клёв не бешеный, а постепенный, равномерный, чтобы я успевал вытаскивать, насаживать и снова забрасывать. При таком клёве хорошо ловить на несколько удочек. Пока подлещики среди пшёнки подойдут, заметят твою манку, ты успеваешь и насадить, и забросить. А потом опять подсечь. Отдыхать не приходится, но и спешить ни к чему.

Клюёт только на две удочки, на третью почему-то не берёт. Вытаскиваю её, но насадка на месте. Манка сварена как надо, сама не спадёт. Её может только рыба сбить. Но и двух удочек хватает для такого клёва.

Когда перестаёт клевать, опять черпаю ладонью пшёнку и рассыпаю, целясь в поплавки. Пшёнка бьёт по воде с резким звуком шрапнели. И клёв

возобновляется. Подлещики все одинаковые, как по мерке. Только тот, что попался вторым, отличается. Все по 300 граммов, а тот, наверное, граммов на 500 будет. А то и больше. Почти лещ.

Вот это мгновение, когда кто-то водит леску под водой вправо и влево, разрезая леской воду. Кто-то живой, такой же живой, как и ты, с берега тягающий леску на себя. Такой же сильный, как и ты. И с ним ещё нужно посоревноваться. Это мгновение, когда бешено бьётся сердце и туманится самый трезвый мозг. Ради этого мига и ходят на рыбалку. Совсем не для улова, не для добычи. Бьют в голову все известные и неизвестные гормоны. Когда я в 10 классе в первый раз поцеловался в подъезде и бешено застучало в виски, и поднялась непокорная плоть, я вспоминал и этот миг. Попалась рыбка! Не уйдёшь. Но, увы, срывалась.

Рыбалка гораздо интереснее охоты, потому что тут соревнование двух сред. А это так таинственно. Мы вроде на одной планете, но в разных, взаимоисключающих средах. Нам, млекопитающим, непонятно, как это можно жить в воде и извлекать из неё воздух, кислород. А водные жители не понимают, как можно жить на берегу и тащат нас, рыбаков, к себе в воду.

Вот и перестало клевать, хотя я продолжаю подсыпать пшёнку. Начинаю озираться по сторонам, смотреть на других рыбаков, искать взглядом Юру Каширина. И вдруг поплавок на третьей удочке пришёл в движение. Я с удивлением смотрю на оживший поплавок, который мёртво стоял всю зорьку. И он бодро уходит под воду. Я так удивлён, что даже забываю, что пора тащить. И всё-таки тащу… и на крючке меня приветствует прекрасная, краснопёрая, красноглазая, золотистая плотвичка. Тут же забрасываю снова, и снова плотвичка в моих руках. И очень приличная, больше ладони. И ещё и ещё. Клюёт она бойко, не так, как подлещики, сонно кладя поплавки на боковую. Поплавок прыгает под воду, дёргается. И самое странное, на две другие удочки ничего не клюёт. Перебрасываю их поближе к моей ожившей удочке. Но всё равно никто не обращает внимания на мои кусочки каши. Только на одну удочку продолжает бойко клевать. Едва успеваю таскать.

И тут я вспоминаю, что учёный рыбак Тарасов, осмотрев мои снасти, сказал о моей третьей удочке, что это на плотву, потому что на ней плотвичкин поплавок. Как бы предсказав, что на этот поплавок будет клевать плотва. И действительно, клюёт плотва. И сейчас я понимаю, почему. Этот поплавок устроен так, что его трудно положить, а легко утащить под воду. Поэтому подлещики и обходят его стороной. Но откуда они знают это? Вот что непостижимо! Ведь сначала надо попробовать наживку, чтобы узнать, легко ли её употребить, приподняв кверху хоботком. Но они не пробуют, а просто обходят стороной.

Наконец и плотва перестала клевать. Юра ко мне не является, из этого заключаю, что у него ещё клюёт. И я отправляюсь к нему. Он сидит рядом, за кустом и берёзой. Вижу, что и у него не клюёт. И вообще, он поймал всего трёх подлещиков. Против моих тридцати. Он, чудак, не признаёт манной каши и подкормки. Ловит только на червя. И насаживает огромных белых червей целиком. Ждёт леща, как объясняет мне. Мои мелкие подлещики не вызывают у него зависти. И, правда, его подлещики немного покрупнее и потолще.

Интересно наблюдать, как рыбаки иногда не завидуют, а презирают улов друг друга. Когда мы возвращаемся и проходим мимо ловцов судака, я специально несу свой улов на виду. В садке. Рыбы много, килограммов пять-шесть. А эти рыбаки за всё время вытащили ну по два, максимум, по три небольших судака. Таких же, как мои подлещики. Я останавливаюсь и спрашиваю, как клёв, завидя мою рыбу, машут руками. «Таких мы выпускаем — вон смотри, тот, — и он показывает пальцем в неопределенную даль, на два килограмма вытащил судака только что. — А у меня утром на пять килограммов судак сошёл».

«Ну-ну, заливай больше. А у меня лещ всю удочку на дно утащил и с концами проглотил». Тот, кто ловит судаков, я уже знаю, глубоко презирает подлещиков и плотву, а я не люблю судаков. Невкусная и колючая рыба. Возни с ней не оберёшься. Чисто вычистить никогда не удаётся, всегда чешуя во рту.

Вот так мы, презирая друг друга, что помогает бороться с завистью, и ловили тут много лет, пока рыба не вывелась вовсе. Откуда она взялась вообще? Нарыли карьер, вот и приплыла на свежатинку со всей реки.

Мама к моим уловам всегда относилась недоверчиво и неодобрительно. Для неё это была дополнительная работа. И стирка и готовка.

Чистил рыбу я всегда сам. Но не для того, чтобы снять эту обязанность с мамы. Мне надо было обязательно посмотреть, что у каждой рыбины внутри, чем она питается. У плотвы я всегда находил зелёную кашицу. Она всегда, когда возможно, ест водоросли, а вот у подлещиков зелени не было. Питаются они придонным планктоном. И наличие таких вкусных рачков, как дафнии и циклопы, для них очень желательно, особенно они любят мотылей, которых раскапывают своим хоботком в иле. Этого добра в озёрах жило достаточно. А когда они перевелись, то и рыбы не стало. Вообще всё перевелось, даже такие противные создания, как слепни. Кажется, остались только мухи и комары. Да и комары какие-то странные. Сколько не ищи их личинок — мотылей, не найдёшь, а комаров много. Где прячутся мотыли? Или это комары другого вида, а не звонцы.

Чем старше я становился, тем меньше меня занимала рыбалка. В выпускном классе я уже

и забыл про свои удочки и про своё увлечение, целиком предаваясь учёбе. И только потом, уже в виде прозы, вернулся к своей первой любви.

Ледоход

Весной мы ходили на Москву-реку смотреть ледоход. Ледоход шёл долго, неделями. Главное, было успеть, когда лёд начинал трогаться. Это самое интересное, слышать треск с реки. Треск, гул и грохот. А кажется, что ледоход тихий и безмолвный. Притихает он только к концу, а сначала он рычит.

По льду ходили до самого последнего момента. Конечно, это были не старушки с котомками, а Щукинские пацаны. Не боялись и огромных промоин, где лёд просел и пройти было невозможно. В промоины они ставили плоты и переплывали на крепкий лёд. А потом опять шли по льду, перескакивая от одной трещины к другой.

Потом, наконец, лёд трогался, льдины наезжали друг на друга. И тогда я понимал, сколько мощи надо, чтобы сдвинуть весь этот лёд, всю эту замороженную змею реки с места.

С реки слышался треск, хруст и скрежет. Не знаю, какими словами передать эти непередаваемые звуки. Я почему-то считал, что так могут хрустеть, ломаясь только человеческие кости. Хотя никогда не слышал, как ломаются кости у людей. Просто резкое ощущение боли после каждого звука с реки, я воспринимал физически. И даже как-то бегло, на ходу осматривал себя. Ничего не отвалилось, не пошло вместе с ледоходом по течению? Всё было на месте, всё, кроме души. Она точно ломалась и куда-то летела, и страдала, и менялась.

Перемены, серьёзные, глобальные перемены, происходившие на реке, отражали какие-то более серьёзные и глобальные перемены в жизни.

Это сама планета с хрустом переваливалась с боку на бок, подставляя бока солнцу под разными углами.

Это был закончен очередной класс. И наступали каникулы. Эх, нет, разве это перемены. Оживала природа. Оживали семена и давали всходы. Как говорится в псалмах, «прозябали». Оживала сама земля и начинала родить. Земля вновь призывалась к плодородию. Это удивительное свойство. Можно прочитать, что не всегда так было. Когда-то земля была безвидна и безобразна, и только Дух носился над ней. А значит, когда-нибудь земля тоже потеряет свою способность рождать и питать. Это Дух, который животворит, снабдил, оделил её своими свойствами.

Я подходил ближе к вспухшей от напряжения реке и видел, какие глубокие борозды оставляют льдины у берега. Они буквально вспахивают дно, унося с собой отжившие растения. Ледоход представлялся мне вантузом, которым меня часто заставляли прочищать сливную трубу в ванне, где застаивалась вода. Я и не знал, что когда-то кровь в моих сосудах будет напоминать этот ледоход. И сгустки крови будут так же, как торосы льдин, застревать, и невозможно их будет прочистить.

Но то что ледоход изначально воспринимался мной как течение собственной крови, это уж точно.

Есть у природы свойство удивлять. Гроза, она пугает и восхищает, но молния — длится мгновение. Моргнёшь — и нет её. А ледоход производит впечатление молнии, которая длится неделями. Вообразить такую молнию невозможно, только увидеть. Ледяная тысячекилометровая молния на протяжении всего течения реки. Замороженная молния. Когда она появляется и сверкает, то даёт движение всем льдам на свете. И они идут прочищая русло и сметая всё на своем пути. Оторваться от этого зрелища невозможно. Оно никогда не приедается.

Кто-то скажет, да брось, не бывало на Москве-реке отродясь никакого ледохода. Как же, не бывало. Я-то помню.

Конечно, видели мы и другие ледоходы. Например, на реке Обь. Это мощь… Но детство на Москве-реке от этого нисколько не умаляется.

Ледоход — это очищение. Жизнь перед тем, как обновиться, должна очиститься. Я сравниваю ледоход с исповедью. Только чистые сердцем смогут Бога узреть. Ледоход — это метанойя. Перемена сознания. Перемена мыслей, покаяние. И как показательно, что сегодня на Москве-реке не бывает ледохода. От такого нечестия просто стынет в жилах затрамбованная кровь. Нет покаяния, нет исповеди, нет очищения. И появляется гниение. Гниение тёплое, оно и в холода прогоняет лёд.

Сколько всяких возвышенных слов сказано о море. Согласен, да, море… Но почему о ледоходе так мало?

Сначала появляются промоины. И лёд становится рыхлым. Он немного желтеет. Странно, но тогда даже в Москве лёд не чернел на реке. Чернота от копоти и гари ещё не покрывала его. Моста не было, откуда черноте взяться?

Лёд приседал, оседал, желтел, появлялись промоины… Река оставалась брошенной, по ней никто уже не ходил, кроме Щукинских мальчишек. Момент, когда лёд начинал двигаться, я никогда не мог засечь. Движения, может быть, и были небольшие, скорее судороги, а не движения, а на ночь река опять вставала. От тихой и замёрзшей реки, неподвижной и неживой, начинали доноситься странные звуки. Нет, это был ещё не треск. Какие-то стоны, вздохи. Звуки утробные и глухие. Звуки неожиданные в мёртвом и замороженном теле. Словно оживало какое-то чудовище, о котором раньше ходили только разговоры, легенды, и вот оно являлось, давало о себе знать.

Кто не наблюдал вскрытие рек, никогда не поверит во всеобщее Воскресение мёртвых.

Ловля на реке Лугань

В девяностые годы, когда не было никакой работы, и нечего было есть, я достал старые снасти и стал ловить рыбу, чтобы не голодать. Рыба и грибы меня спасли. Это стало моей работой. Рыбачить. Конечно, когда ты ловишь на удочки, а всё вокруг перегорожено сетями и нет рыбнадзора, то настроение совсем иное, если ловишь на водоёме один и не жалеешь упущенного времени, когда ничего не клюёт. Всё равно хорошо — природа. А дома тебя всё равно ждёт ужин — зарплата.

Для кого-то это забава. А мой сосед по общежитию в Астрахани на вобле заработал на машину. Просто каждые субботу-воскресенье он проводил на рыбалке, а не лёжа на диване.

В Строгино я ловил из азарта и любительского интереса, но потом навыки очень пригодились.

Корюшка, не промысловая рыба, стала символом жизни в осаждённом Ленинграде. В городе не осталось ни кошек, ни собак, ни голубей, ни крыс. Только корюшка, и только потому, что жила вольно. В другой среде… Можно по-разному довести человека до голода. Осада, может быть, не самое страшное. Реформы — вот чума. В осаде — один город, а под реформы попадает вся страна. Когда в 95-м мы решили на катере прокатиться по Азовскому морю, то не могли проехать. Всё море было перегорожено сетями, и не в один ряд. За 10 лет истребили поголовье осетровых, насадив на шампуры в зонах отдыха.

При советской власти весной, в путину, на берегу Волги стояли автобусы с инспекторами рыбнадзора и все рыбаки беспрекословно садились в этот автобус и платили штраф. Потому что ловить больше 5 килограммов было нельзя. А в путину, во время нереста воблы, меньше поймать было и невозможно. Я тоже сидел в том автобусе. И мог наблюдать смешную сценку, когда все места уже были заняты и автобус закрыл дверцы и тронулся, откуда ни возьмись, на дорогу выскочила целая группа рыбаков и стала изо всех сил махать нам руками. Их впустили. Не оставили на дороге одних. Как же они были рады такой удаче под конец дня.

— Ну как улов? — спросили их.

— Я килограммов десять поймал! Еле тащу, от это клёв. — Радостно сообщил самый возбуждённый мужик. Но в ответ тишина. Как эту тишину назвать? Зловещей? Иронической? Насмешливой?

Они ещё все довольные и возбуждённые, а в автобусе уже все мрачные и угрюмые.

Каково же было удивление, когда инспектор предъявлял удостоверение в открытом виде… Неподдельное горе отобразилось на обветренном лице, но никто над ним не смеялся, не подшучивал. Всё это только что пережили на собственной шкуре. Встать ещё засветло, весь день мёрзнуть на льду, чтобы вот так, в сумерках, улов, весь до чешуйки, сдать в рыбнадзор. Это ли не досада. Улов взвешивался, в протокол ставилась цифра, и рыба конфисковывалась. Кроме того, по домашнему адресу высылался штраф. Я сказал, что документов нет, назвал ложный адрес и таким образом избежал штрафа. Рыбак я или не рыбак? Ещё не хватало, чтобы рыбак не умел приврать. Но своих семи килограммов воблы всё же лишился. Снасти не изымались. Зачем, если ими рыбаки обогащали рыбнадзор?

В 2014 году меня занесло в город Луганск. Город был осаждён украинской армией. Не было воды, хлеба, электричества и газа. Я решил пойти посмотреть на речку Лугань, которая тут течёт и впадает в Северский Донец, по нему проходила линия фронта. Искал место, куда можно закинуть, пока не увидел, что по реке плывут трупы людей. Ловить расхотелось. А трупы плывут до сих пор.

Кто-то ещё думает, будто я пишу о рыбалке?

По-моему, это самый лучший финал, чтобы окончить мою повесть о том, как когда-то я маленький ловил маленьких огольцов.

Река не течёт без рыбака

Приведу пример самого экзотического лова, который случился на моей памяти.

Как-то я гостил в деревне у своего троюродного деда Семёна. И он пошёл готовить нам баню. Стал носить воду. Вода бралась не из колодца, а из ближайшего болота. Чистой, колодезной водой мы только обмывались, окачивались. А мылись болотной. И зачерпнув ведром воды из болотины, дед выловил щуку. Зачерпнув вторым ведром, выловил вторую щуку. Кликнули меня, стали черпать дальше, и выловили 15 щук, по полтора килограмма каждая. Вот такая может быть производительность заболоченных водоёмов. Лягушек только поубавилось. Не зная, что делать с ними, половину щук Семён скормил поросятам. Сначала он их варил в котле в русской печке почти сутки, потом смолол вместе с костями и крапивой. Поросята были счастливы.

Среди этих болот протекала маленькая, безымянная речушка, почти пересыхающая летом. При разливе отнерестились щуки, так что выводок оказался отрезанным от речки. И пришлось жить щукам в болоте. Но им тут было хорошо. За лето откормились, что твои поросята.

Зимой на этой речке ловились налимы. Ставили мерёжи на ночь. К утру мерёжи были полны налимами. Налимы так набивались в них, что одному человеку не по силам было мерёжу поднять. Так мы ловили в деревне Орлово, Калининской (ныне Тверской) области Торопецкого района. Вёдрами и корзинами. Ведь мерёжи сплетались из ивовых веток, как корзины. В конце семидесятых деревню ликвидировали. А через год это место вспахали. Так что от неё ничего не осталось. Даже старых яблонь, как от Строгино. А в той

безымянной речке теперь не водится рыбы. Ни щук, ни налимов.

Говорят, что человек заел природу. И что без человека природе лучше. Без человека природа вовсе не нужна, думаю я. Человека не будет, и природы не будет. Некоторые считают, если они ходят в набедренной повязке, живут в палатке и готовят на костре, то они близки с природой. А я считаю, что учёный у пульта управления коллайдера гораздо ближе к природе, чем они.

Природа без человека дичает. Вымершие деревни зарастают непролазным бурьяном. Поля вырождаются. Зарастают дурнолесьем. Откуда возьмётся, например, строевая сосна, если её не посадить? Расскажу об одном месте, оставленном человеком. Вымершая деревня Ахромово, родина моей мамы, стоит на берегу реки Торопы. Сколько огромных язей пришлось мне тут выловить на «перекидку», на стрекозу. Деревень тут было много, место населённое, и рыбы водилось много. И никогда она не переводилась. Недалеко от деревни сохранились остатки мельницы. Очень интересное инженерное сооружение. Сваи до сих пор торчат из воды. Русло реки искусственно сужено. Много гидротехнических работ тут было произведено ещё до революции. И в результате у мельницы расплодились раки. Раков было столько, что ведро можно было набрать за полчаса. И набирали сколько душе угодно. И поехал я туда, чтобы насладиться раками, потому что весь район вымер и деревни опустели, и некому ни рыбу ловить, ни раков собирать. Мне казалось, что только люди мешают, чтобы в реках водилась рыба, а под камнями раки, а в лесах—грибы. Приехал, раскинул удочки, оказалось, что рыбы в реке нет и раков среди свай и под камнями больше не водится. Вокруг ни души на много километров. Ни людей, ни жилья. А река течёт, как раньше. Вода чистая, хоть пей из неё. А на моей памяти чего только не было на реке. И лес сплавляли, и рыболовецкие колхозы ставили сети. И рыба не переводилась. И народ жил и работал в единстве с природой. Нет, не жить природе без человека.

Жаль

Я не представляю, как можно убивать диких животных, а потом ещё и есть их. Впрочем, домашних животных мне тоже жаль. Кто хоть раз погладил, почесал хавронью за ушком, ощутил её тепло, тот не может есть свинину со спокойным сердцем. Кто хоть раз пас коров, ухаживал за ними, может быть, дёргал за соски огромного вымени, тот не может спокойно жевать говядину, чтобы не ёкнуло однажды сердце. А ведь это может быть и та самая, наша Бурёнка…

Город отделяет человека от еды. И в наказание мы едим неизвестно что.

Много раз я слышал, в основном от девушек, осуждающие реплики по поводу моей рыбалки. Девушки не могли есть выловленную мной рыбу. Даже смотреть на неё не могли. И ругали меня, и презирали мою жестокость. Однако в магазине покупали мороженую и ели без смущения.

Это не только лицемерие. Тут психология.

Мне тоже жалко рыбу. И с годами становится всё жальче. И я уже давно не ловлю. Только наблюдаю и вспоминаю.

Некоторые рыбаки теперь, поймав даже большой экземпляр, выпускают его на волю. Кто-то считает, что вся рыба в реках сейчас заражена и есть её нельзя («звезда Полынь»), а кому-то жалко, и выпускает из жалости. Я не могу выпустить пойманную рыбу. Это моя добыча. Если я её выпущу, то смысла у ловли не будет никакого. Лучше вообще не ловить. И я не ловлю.

Моей маме первой стало жаль наловленных мной огольцов, и я запомнил это. Запомнил, что и такая реакция возможна. Но я с детства был приучен ловить, а значит, и убивать рыбу. Я видел, как из рыбы идёт кровь. Значит, рыба такая же, как я сам, и у неё есть маленькое сердечко. И всё же, я не убивал. Такое слово по отношению к рыбе употребляется только невежами. Рыбу не убивают. Выловленная рыба «засыпает». И это очень верное слово. Потому что «заснувшую» рыбу ещё можно «разбудить», опустив в воду. А «убивать» рыбу категорически нельзя. Не убивали рыбу и евангельские рыбари, поэтому и пошли за Христом. Есть такие охотники, которые, вытащив на берег или в лодку, бьют рыбу по голове, чтобы она быстрее престала прыгать. Они, действительно, «убивают». Но я хочу предупредить их, что такая рыба неизбежно будет горькой. Нет, настоящие рыбаки не убивают рыбу. А добывают. Убивают дичь, из ружья.

Не представляю, чтобы сейчас появились в нашей литературе новые «Записки охотника». Если и появятся, то назвать такую книгу можно только как «Записки живодёра». И, возможно, тогда она даже станет бестселлером. Мир изменился.

Мне не жаль уснувшей рыбы. Она меня радует. Это моя добыча, которая может помочь пережить осаду и реформы. Не жаль мне и деревень, которых не существует. Ни Строгино, ни Щукино, ни Орлова, ни Ахромово. Не жаль мне и стрекозы, которую я сбил, ставшую кормом для рыб. Вечная память. Но мне жаль, что возникают за неприступными заборами новые зоны, жаль алчные «Алые паруса», перекрывшие доступ к реке.

Фиалки

Залив озера Чистое, к моему удивлению, теперь мало кто посещает. Здесь, действительно, стало чисто. Наверное, предпочитают Анталию и Шарм-эш-Шейх. А я часто в компаниях рассказываю об

этом удивительном уголке Москвы. Сюда можно попасть и из Серебряного Бора, переплыв реку на катере. Сейчас здесь, замечательные, естественные песчаные пляжи. Есть пляжи на двоих, есть пляжи для компании, а есть пляжи и более широкие.

Я непременно рассказываю, что цветут здесь замечательные луговые гвоздики, нежным, сиреневым цветом. Можно собрать щавель. Попадаются в тенистых местах фиалки. Я рассказываю так увлекательно, что девушки тут же изъявляют готовность в следующее воскресенье посетить эти места, и мы отправляемся с ними под тенистые кущи, на берега Чистого озера.

Но одна девушка, как только услышала про фиалки, сказала мне такое, что теперь мне не хочется сюда ходить на прогулки. Услышав про фиалки, она остановила на мне взгляд и сказала тихо, что фиалки растут и в Бутово, и на Коммунарке. Она уверена в примете—фиалки растут на местах массовых расстрелов и захоронений. Там, где пролилась кровь. Эти захоронения каналармейцев на месте Строгинской поймы навечно исчезли в землечерпалках, вывезены на строительство новой Москвы. И найти их невозможно. Спите спокойно, москвичи. А если вдуматься, где же и хоронить их было? Не на кладбище же вести. Может быть, у Кремлёвской стены? Или на Новодевичье? Где работали, где отдали жизни, там и зарыли.

А по Лугани, по Северскому Донцу всё ещё плывут трупы. И куда они плывут, и кто их остановит… Наверное, к Кремлю плывут. И причалят к Кремлёвской набережной. А может, и к «Алым парусам».

Манка

А в бессонницу, по ночам, я мысленно вяжу крючки на резиновую донку. Надо сделать десять поводков, навязать десять крючков. Это долгая работа. Надо чтобы поводки не путались, были одинаковой длины, и на одинаковом расстоянии вязались узелки к основной леске. Но когда закончена и эта работа, а сна нет, я начинаю готовить наживку: варить манную кашу. Готовить её меня научил учёный рыболов Тарасов-старший. Готовят её так.

Надо вскипятить стакан воды и потом всыпать в кипящую воду стакан манной крупы. Огонь надо сделать самый тихий и высыпать медленно, постоянно помешивая, когда весь стакан высыпан, мешать получившуюся крутую массу ещё интенсивнее, не останавливаясь. Когда сухой крупы не останется, всё перемешается, комок этой каши переваллить в заготовленную заранее чистую холстину и завязать на тугой узел. А потом положить под подушку и укрыть одеялом. Через некоторое время каша готова. В таком виде, не развязывая, везти её на рыбалку. И только там, на берегу, развязать. Каша будет ещё тёплой. Теперь её надо как следует размять. Её легко мять, скатывать кругляшки, она не прилипает к рукам. От неё идёт приятный дух. И никакого постного масла не надо. Такая каша никогда не размокнет настолько, чтобы сползти с крючка под водой. Она вечно будет привлекать внимание рыб, и ждать поклёвки.

Вьюн

Огольцов я больше никогда в жизни не видел. Никогда больше не попадались они мне на крючок. Когда в компании рыбаки хвастались, какие они видели уловы и каких больших рыбин приходилось вытаскивать, я неизменно говорил, что больше всего с самого детства люблю ловить огольцов и вылавливал их не менее ста штук за рыбалку. Тогда все замолкали и никто не решался спросить, что это за рыба. Хотя никто и не знал. Только иногда спрашивали, где я ловил. И тогда я небрежно отвечал, что недалеко от дома водились. Где я жил, никто не знал, поэтому загадка оставалась загадкой. А загадка действительно была, потому что огольцов всегда путают с гольцами. А гольцы—это, конечно, очень завидный улов. Это большая, зубастая рыба. Только где их наловишь. Надо ехать на северные реки. С огольцами я прожил жизнь и ни разу не ударил в грязь лицом перед самыми заядлыми рыбаками. Всюду мне были уважение и почёт.

Но это не самая диковинная рыбка, которую мне довелось поймать. Самыми диковинными, и уже воистину сказочными, были вьюны. С вьюнов я начал свои рыбацкие подвиги. Было это задолго до рыбалки в Строгино. А значит, мне было совсем мало лет. Наверное, лет 10. И удочки у меня тогда не могло быть. Ловил я, значит, деревенской удочкой, привезённой с летней деревенской рыбалки, вырезанной из орешника. Носил я её всюду за собой и закидывал в любую лужу. Страсть к рыбалке захлёстывала меня всецело и не отпускала. На этот раз зашли мы с отцом очень далеко от дома. Через парк к платформе Покровско-Стрешнево. Перешли полотно и наткнулись на забор. Этот забор помню совершенно отчётливо. Был он выкрашен в зелёную краску, намного выше человеческого роста, и опутан колючей проволокой. Вокруг забора, в Глебовский парк, шла набитая тропинка. Но в одном месте забор был повален, доски держались и зависали только на колючей проволоке. И в нём открывалась щель. Заглянув в щель, я увидел, что забор перегораживает доступ к воде. Ну совершенно, как нынешние «Алые паруса». И у воды стояли люди с удочками. Я мгновенно пролез в щель, даже не спрашивая разрешения у отца. Отец поколебался и, перешагнув ржавую колючую проволоку, пролез за мной.

Я бы назвал то время временем порушенных заборов и затоптанных запретных зон. Люди осмелели, валили заборы и являлись всюду, где им не положено было находиться. Здешний забор

неизвестно что охранял и ограждал. Кроме лужи и редкого камыша, тут ничего не было. Никто не крикнул нам: «Стой!»

Рыбаков собралось довольно много, они обступили лужу и стоя ловили рыбу. Я тут же, у воды, отодрав дёрн, нашёл червяка, насадил его и забросил удочку в эту лужу. Удочка была маленькая, и забросил я у самого берега. Поплавок сразу утащило на дно. Вот тут я и выловил это чудо. Что-то узкое и длинное болталось на крючке. С перепугу от такой решительной поклёвки, я дёрнул так сильно, что рыба, а это была рыба, улетела далеко от воды. И сразу же отцепилась с крючка. Я сел на корточки, чтобы рассмотреть добычу. Добыча не скакала по земле, как обычно делает любая рыба, а извивалась. Скручивалась кольцами, она была настолько чудна, что я не решался взять её в руки. Разве захочется вам взять в руки змею. А это была настоящая змея. И как положено змее, рыба, извиваясь, поползла по земле.

— Смотрите, уползёт назад в воду, хватайте его.— Сказал соседский рыбак. Взрослый мужчина с огромной, толстой удочкой в руках. И на мой недоуменный, испуганный взгляд, добавил.—Это вьюн.

Вот тогда я впервые услышал его имя, так подходившее к нему. Это действительно был вьюн. Рыба вилась, изворачивалась и ползла. Брюшко у неё было желтоватое, светлое, а вдоль боков проходили длинные тёмные полосы, подчёркивая длину узкого тела. Вьюны жили в луже за колючей проволокой. Сейчас никто и не знает, никому и невдомёк, что в прудах Глебовского парка водились вьюны. Ловят здесь рыбу и сейчас, рыбаков собираются целые батальоны. Но вьюны, увы, перевелись.

Лужа эта была не чем иным, как сливом. Здесь ручеёк, образовавший пруды, уходит под землю, в трубу, чтобы через некоторое время слиться с Москвой-рекой.

Вняв совету опытного рыбака, я взял вьюнка в руку. И тут случилось такое, о чём я помнил всю жизнь. Рыбка запищала! Ну совсем как в сказке! Я испуганно отпрянул и тут же выпустил её из рук. Рыбак и мой отец засмеялись.

— Она пищит!—воскликнул я в ответ на их смех.

— Это из неё просто воздух выходит,—тут же ответил рыбак.

И они о чём-то стали разговаривать с отцом. Странно, мой отец всегда был нелюдим и трудно сходился с людьми.

А я стал общаться с говорящей рыбой. Рыба нисколько не терялась и, выпущенная из моих рук, ловко ползла по глине, потом по траве к своей родной луже. Сказку о Рыбаке и Золотой рыбке я тогда ещё не читал. Поэтому провожал свою рыбку молча, отпустив её безвозмездно, не прося взамен исполнить три желания, боясь даже к ней прикоснуться. А она ползла и ползла и наконец булькнула в воду. И след её простыл. Вот такое моё было первое знакомство с говорящей рыбкой, которая оказалась ещё и ползающей.

Да, вьюны, оказывается, пищат. В некоторых местах их называют «пискуны», а не вьюны. Они могут глотать воздух и пропускать его через желудочный тракт к самому анусу. Они так могут и дышать, не только через жабры. Желудок заменяет им лёгкие. Удивительно, что воздух не обжигает им жабры. И на воздухе, в другой среде, они ведут себя совершенно уверенно. Я всегда думал, что вьюны—это родственники угрей, оказалось, что это отряд «карпообразных», с чем я совершенно не согласен.

Когда берёшь их в руки, воздух выходит и раздаётся почти человеческий звук. Писк: «Отпусти меня, добрый молодец». Хотя связок у вьюнов, конечно, нет, но оказывается, что и без связок можно вполне внятно общаться с рыбаками. Что ещё рыбка может сказать, как не попросить отпустить её обратно, в родную среду обитания. Фразу: «Отпусти меня, старче, выполню любые твои три желания»—эта рыбка легко разучила, как выговорить без связок и языка.

Как бы я хотел сейчас загадать желание, как я корю себя за такую свою оплошность, за такую вопиющую безграмотность. Как можно было идти на рыбалку, не прочитав этой сказки? Как я корю своих родителей, что они вовремя не просветили меня, отправив на рыбалку без знания Пушкина.

Но делать нечего. Я ничего не просил, вроде бы исполнил тем самым заповедь «не пожелай» и всё равно оказался у разбитого корыта, и всё равно стариком, но зато к этому времени уже прочитал сказку. А зачем мне сказки? Я сам видел эту рыбку, и сам слышал, что она мне что-то пропищала! Для меня это не сказка. А водилась эта рыбка за стальными рельсами, за высокими заборами, за колючей проволокой, в луже Глебовских прудов, где теперь нет ни лягушек, ни пиявок, только мусор.

Там только мои воспоминания живут. И больше никаких говорящих рыбок. Нет там теперь ни забора, ни проволоки, но и тайны нет.

«Не пожелай»… Эту заповедь надо было исполнять всю жизнь, а не только в детстве. Самая последняя заповедь, десятая. Поэтому её все забывают и желают, и желают: «и осла и вола» и далее по списку.

Марина Саввиных

Пять дней без интернета,

или Февральские радости Москвы и Иванова

1.

17 февраля я приземлилась в Домодедово. Улетала — в Красноярске — (минус) 24. Прилетела — в Москве около нуля. Зато весь остальной странническій быт отработан до автоматизма: аэроэкспресс, метро, гостиница «Байкал» — недорого и удобно. Я бы сказала, по-домашнему. Постоянно там останавливаюсь, всю окрестность уже знаю, все коммуникации доступны… за исключением интернета (в этот раз) — ну и ладно! даже к лучшему) Всё равно — зависать в соцсетях было некогда.

Вечером — встреча ценителей поэзии по поводу выхода в свет новой книги стихов московского историка, поэта, педагога Александра Орлова. Саша — постоянный автор журнала «День и ночь», наш друг и соратник… Предисловие к книжке написала Галина Климова, поэт, зав. отделом поэзии журнала «Дружба народов». Вот тут мы с ней и познакомились лично — с ней и с Сергеем Александровичем Надеевым, новым главным редактором «Дружбы народов». Увезла с собой их подарки… книги, свежие номера «ДН»… и особое чувство радости и надежды… пусть дружба журналов состоится! Тем более мы так созвучны — «ДН» и «ДиН»).

Встреча прошла настолько тепло и мило, что я забыла об усталости — неизбежного груза бессонной ночи и перелёта…

Блистательные поэты — старой, волшебной закалки! — Владимир Костров и Константин Скворцов говорили о поэзии и читали стихи. Мы — Галина Даниэлевна, Серёжа Арутюнов и я — рассказывали о Сашиной книге и тоже немножко читали…

А Саша — тонко и грамотно выстроив вечер — подарил нам всем удивительную встречу со своей поэтической Вселенной…

А потом… потом было то, что русские люди уже нарекли «развиртуализацией»!))) мои распрекрасные ФБ-собеседники — пиршество духа! — Лена Костандис… Саша Евсюков… Катя Ливи-Монастырская… А ещё же — Наташа Тугаринова, Катя Ратникова… Оля Козэль…

В общем, счастье было полным и хлестало через край).

Вернулась в гостиницу уже почти ночью… пала на ложе — и… отключилась…))

2.

Суббота 18 февраля была посвящена встречам с друзьями. Поскольку проснулась я — как обычно и происходит в таких случаях — отнюдь не по московскому времени, а по красноярскому, снискать внимание бодрствующих москвичей мне в такой час даже и не мечталось. Поэтому, дождавшись семи утра, когда открывалось гостиничное кафе, я быстренько позавтракала и отправилась на ВДНХ — 5 минут бодрой ходьбы до желанной встречи с прекрасным)) захожу на территорию ВДНХ, так сказать, «с торца», с улицы Сельскохозяйственной — и гуляю по прямой «насквозь», до главного входа.

На ВДНХ удивило количество народа — в такую-то рань! группами и толпами — с экскурсоводами и без… при этом торговли практически нет. Разве что редкие павильончики с кофе и плюшками да сувенирные лавочки. Зато весьма и весьма цивильные — бесплатные! — туалеты на каждом шагу. Плюс ещё новшество — от метро «ВДНХ» до метро «Ботаническая» через весь парк ходит микроавтобус.

Но погода была не ах… серо, сыро… и, созвонившись на ходу с дражайшей и удивительнейшей Алёной Бабанской, я помчалась под землёй ей навстречу.

Алёна Бабанская — Художник. В том смысле, что Художник во всём. Чем бы она ни работала — камнем, стеклом, войлоком или словом, в результате получается нечто чудесное. У меня уже есть подаренные ею блокнот, брошь, ожерелье, зеркальце и сборники стихов. Алёна — феерический поэт! Все её стихи созданы чистейшим младенческим сознанием — но таким, каким обладает много переживший и перестрадавший, умудрённый опытом взрослый человек. Вечное дитя, мудрое и непосредственное во всём, чем заняты её ум и сердце, — вот кто она такая. Думаю, маленькие стихотворные «пьески» свои она сочиняет так же, как прелестные рукодельные вещицы, в которых сосредоточена такая энергия любви, что они всегда тёплые на ощупь… тёплые и очень удобные в руках — будто специально для тебя сделаны, для того, чтоб тебе было гладко, мягко, нежно и тепло.

И каждое стихотворение Алёны Бабанской—таково: печальное, но всегда иронично-грациозное: мгновенно ложится на память и живёт с тобой дальше, как волшебный ручной зверёк.

Вот с какой Алёной я встретилась нынче в Москве! И она снова подарила мне Чудо—повела меня в Аптекарский огород!

Боже мой! в центре Москвы, за ничем не примечательным фасадом—тропический лес, влажный, благоухающий и наполненный фантастическими цветами!

Представляю себе, каково тут летом!

Мы прошлись по застеклённым оранжереям—полюбовались пальмами, орхидеями, кактусами и лотосами. Посидели в очаровательном кафе за чашечкой кофе со свежей выпечкой… Алёна познакомила меня, заочно, с прекрасным поэтом из Кишинёва Татьяной Некрасовой (тоже особенность хороших талантливых людей—способствовать успеху другого таланта!)—и проводила к пункту следующей намеченной встречи…

3.

Вечер 18 февраля—у Наташи Слюсаревой, писательницы, искусствоведа, знатока итальянской культуры и переводчицы с итальянского языка. В 2010 году в нашем журнале был опубликован её роман «Мой отец—генерал», вещь документально-автобиографическая и в то же время глубоко лирическая… помню, прочла её впервые на одном дыхании. Так мы с Наташей и познакомились. Потом были встречи в Москве и Коктебеле, крепкая дружба, искренняя привязанность друг к другу…

Наташа подарила мне знакомство с удивительной семьёй Армена Зурабова и Анны Смирновой. Он—прозаик, драматург, сценарист. Автор знаменитой пьесы «Лика». И ещё, конечно, пламенный публицист. Анна—исполнительница романсов, песен, баллад на стихи великих поэтов. Умница и красавица. Я застала их уже на нисходящей волне их сил и славы. Но очарование разговоров с ними, этих дивных «старокухонных» бесед, не только незабвенно, оно до сих пор меня «держит и вздымает», когда становится совсем уже нечем дышать.

В прошлом году Армена не стало в нашем мире. Анна специально приехала к Наташе, чтобы встретиться со мной, подарить мне последние книги Армена и обсудить предстоящую памятную публикацию в «ДиН». Друг семьи Армена и Анны—Зинаида Миркина (надо ли её представлять?)—тоже написала о нём. Так вот и разъезжаю я по градам и весям—собираю свой мёд (даже не знаю, какой смайлик тут уместен, такой—)), или такой—(().

Как обычно, для того чтобы наговориться всласть, времени не хватило—за окном сгущались сумерки, а мне надо было успеть ещё на одну встречу)) но мои милые подруги зарядили меня такой энергией, что, кажется, я готова была к любым подвигам)) что, в общем-то, и подтвердилось в ближайшие часы.

Мне нужно было встретиться с двоюродным братом мужа. Там совершенно особая семейная история. Муж, Игорь, разыскивает родственников по отцу, которого не помнит—Игорю было около четырёх лет, когда тот умер, причём вдали от семьи. И вот чудом! обнаруживается целая ветвь родни по отцовской линии. Моя миссия—поскольку я всё одно в Москве—побывать у родственника, передать несколько семейных фотографий и соответственно записать информацию о родне и получить на руки аналогичные фото.

Я ещё успела заскочить в гостиницу, переодеться и дух перевести. Родственник долго объяснял по телефону, как к нему добираться. Но когда я—вплотную к факту—разобралась, что это значит: на метро (от «ВДНХ» до «Кантемировской»), потом на автобусе—4 остановки, потом пешком—уже по темноте, мне стало понятно, что я ни за что не справлюсь… недолго думая (уже!), я спустилась к портье и заказала такси. Оно прилетело минут через десять—под свежим таким февральским дождичком я выдвинулась ему навстречу и обрела «шевроле» под водительством молодого человека явно кавказской внешности.

Я сразу предупредила его, что понятия не имею, куда еду (а что? сумма ведь уже указана при заказе). И мы тронулись. Боже мой! я никогда так близко и долго не наблюдала ночную Москву. Что сказать? Она—ошеломительна… мы ехали странными зигзагами—как я поняла, по возможности огибая наиболее непробиваемые пробки—кажется, около часу… я ловила себя на том, что вот здесь—помню, узнаю́… а здесь—снова потеряла ориентир… главное же, я чувствовала к Москве—что-то почти интимное, совершенно родственное… чувство, которое—помните?—«сидело в ней пушистым котёнком»)))

Когда это случилось? Я полюбила Москву… Её, которая «слезам не верит», с которою надо ухо держать востро, которая «все соки из нас вытянула» и «во всё нехорошее нас втянула»))) и вот она—вся передо мной: тёплая-тёплая, родная-родная, моя-моя… и такая ошеломительно прекрасная!

А мой водитель… предварительно извинившись передо мной, он с кем-то изрядную часть пути изъяснялся по телефону на недурном таком (насколько я могу судить) английском)) А потом—слово за слово, уже со мной—выяснилось, что я из Сибири…

— А Вы откуда?—осторожно спросила я.
— А как Вы думаете?
— Ну… Дагестан?

Он засмеялся.

— Все так считают. Нас часто принимают за кавказцев. Нет. Я таджик. Только не с Юга, а с Севера.

Дальше пошёл уже чисто дорожный разговор. Он нашёл нужный дом и высадил меня у подъезда.

Я стала набирать код домофона. Не получалось. Слышу—голос таксиста: у Вас всё в порядке? Оказывается, он, чуть отъехав, не спускал с меня глаз…

— Посмотрите, пожалуйста, тот ли номер дома?— попросила я.

Пока таксист смотрел, я созвонилась с родственником, и он уже спускался меня встретить.

Мой расчудесный «мигрант» подъехал и снова поинтересовался—всё ли у меня в порядке.

— Да-да—сказала я—спасибо.

— Я могу ехать?

(Ничего себе!—подумала я.)

— Да-да, спасибо большое!

Он помахал мне своей утончённой персидской дланью—и уехал.

О, Москва!

Утренней «Ласточкой» я улетела в город Владимир, где меня встретили Ян и Надя.

4.

19 февраля, нежнейше распрощавшись с девушками на reception гостиницы «Байкал», быстрой «Ласточкой» я с Курского вокзала полетела во Владимир. Путь занял чуть больше часа и не был утомителен.

Владимир утопал в невообразимой снежнослякотной каше, но, когда я выплыла со своей двухколёсной сумкой на привокзальную площадь, мне навстречу уже спешил настежь распахнутый Ян Бруштейн. Мы не виделись… дай Бог памяти, с какого года? Да вроде бы с 13-го, когда я последний раз гостила у Владимира Алейникова в Коктебеле. Ян тогда был, пожалуй, самый задушевный и обстоятельный мой собеседник. Это притом, что народ у Володички (как, перешедши с ним «на ты», я с тех пор называю Алейникова) всегда собирается… я бы сказала, штучный)) Все талантливые (да что—гениальные!), яркие, иногда до того, что невольно щуришься, глядя… Ян—столь же яркий, талантливый, энциклопедически широкий в познаниях—притянул меня редкой в таком кругу способностью слушать и необычайной добротой. Когда градус эмоций в писательской среде начинал перерастать мои возможности, я прибивалась к Яну, и мы подолгу гуляли, разговаривали… он меня поразил своей не ведающей устали готовностью к ходьбе, всяческим прогулкам и путешествиям. Никто из моих знакомых в Коктебеле, кажется, столько не ходил, сколько Ян. Ежели учесть его больные ноги и вес, эта лёгкость перемещения в пространстве представляется и вовсе чудесной.

Он теперь говорит, что мы «сильно много» не совпадаем в воззрениях на литературные персоны и часто спорим… не знаю… я никогда не переживала эти «несовпадения» как предмет спора. Наоборот. По-моему, мы с Яном крайне редко не совпадаем во взглядах. Иначе—разве возможна была бы наша дружба? В чём он прав, так это в том, что я действительно в суждениях часто бываю резка. А Ян—это Ян. Сама доброта, лёгкость и щедрость. А ещё у него совершенно пленительная жена. Певица, актриса, продюсер, красавица и общественный деятель. Надежда Лукашевич, солистка знаменитого (некогда звёздного!) трио «Меридиан». Вот с ней у меня точно за всё время общения только раз возникло расхождение во взглядах… да и то, призадумавшись, я решила, что она, пожалуй, права. Бывают же люди, с которыми говоришь, говоришь—и наговориться не можешь… хочется ещё и ещё… говорить и слушать—сколько мыслей возникает в таких разговорах, сколько идей! а главное—в какой-то момент чувствуешь, что можешь абсолютно быть собой, не опасаясь брякнуть лишнее или сделать чего-нибудь не так.

Ян и Надя живут в старинном доме в центре Иванова. Настоящий артистический дом—картины, фотографии, всевозможные предметы изящного искусства… и—Ташка, этакий смешной чемоданчик на коротеньких ножках с огромными чёрными выразительными глазами и личиком… пожилой британской леди. На самом деле собачка (французский бульдог) не отличается крепким здоровьем и требует постоянной заботы и ухода, но хозяева в ней души не чают (есть причина!) и, по всей видимости, им эти заботы не в тягость.

Вечером Ян прокатил меня на своём красном Рено по достопримечательным местам Иванова. Жители жалуются на депрессивность города, на проблемность перспектив его развития, на безработицу, на стремление молодёжи покинуть родные места… но есть в «текстильной столице» Центральной России и плюсы серьёзные, такие, которые хочется другим территориям поставить в пример.

5.

Утро 20-го февраля. «Я поведу тебя в музей»,—сказал Ян. И мы поехали.

Иваново не только «текстильная столица» (с чем сейчас и наибольшие проблемы), не только город—памятник истории (первый Совет!), но и уникальный культурный очаг, в устройство и поддержание которого изрядно вложились, как бы сейчас сказали, «олигархи» конца 19—начала 20 века (ежели бы наши так же соображали, куда вкладываться!).

Например, такой предприниматель—Д. Г. Бурылин. О нём до сих пор ходят в Иванове триллероподобные легенды. А меня история купеческого рода особенно тронула ещё и потому, что я сама принадлежу к такому же родовому древу, только сибирскому. Ян сфотографировал меня на фоне бурылинского музея промышленности (ныне

краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина) и на фоне дома Бурылиных (замечательный образец русского модерна — изящный и выразительный).

Д. Г. Бурылин собирал редкости по всему миру, чтобы показывать их в Иванове. В Краеведческий музей мы не попали (выходной), зато попали в Художественный. Здешняя коллекция — великолепна! Особенно залы древностей и Серебряного века.

Дмитрий Бурылин знал, что приобретать! Подлинные египетские мумии и саркофаги, древнегреческие артефакты, подлинники Коровина, Бенуа, Врубеля, Борисова-Мусатова, Маковского… Ничего себе, да? Вот и я изумилась и восхитилась.

Как раз теперь в музее персональная выставка живописца и графика Бориса Павлова. Больше всего меня пленила его способность к тончайшим цитатам и отсылкам, эта чудная артистическая игра символами эпох и культур… Павлов в этом деле — виртуоз.

Не сразу, но нам удалось застать директора музея — Людмилу Владимировну. За чашкой кофе говорили о проблемах музея, о том, что необходим ремонт, что музею не хватает пространства… да просто средств не хватает, чтобы должным образом содержать сокровища всенародного значения… я слушала Людмилу Владимировну и понимала, что должна обязательно сюда вернуться — не наскоком, а всерьёз. Ибо культурный портрет Ивановской области может быть не только интересен читателям «ДиН», но и особенно поучителен. Хотя бы тем, что в Иванове и теперь есть предприниматели, которые — в непосредственной близости от столицы — удерживают рынок качественных продуктов питания, разводят породистых лошадей и много другого хорошего делают. Это очень трудно. Говорят, практически невозможно. Но есть. Есть здесь такие чудаки и подвижники, которые вкладываются в разумное, доброе, вечное и полезное.

Тем не менее о возможности вести дела в Иванове многие его жители высказываются крайне скептически…

Впрочем, те ивановцы, с которыми я познакомилась, благодаря Яну Брушетйну, производят впечатление людей, которые горы свернут, будь на что опереться.

Клуб «Август», которым руководит Ян, собирается с завидной регулярностью. Сам Ян так рассказывает о нём: «Пятый сезон в небольшом конференц-зале Ивановской областной научной библиотеки ежемесячно собираются люди разных возрастов только для того, чтобы слушать стихи, разговаривать с поэтами, испытывать радость общения за скромным чайным столом. Пятый сезон здесь активно действует Клуб литературных встреч „Август“. Выступают в клубе и ивановские стихотворцы из местных писательских организаций (без всяких противоречий между ними), и лучшие любители из районных литобъединений, и многочисленные гости из разных городов и даже стран. Анна Гедымин и Владимир Севриновский из Москвы, Миясат Муслимова и Тимур Раджабов из Дагестана, Наталья Крофтс из Австралии, Марина Саввиных из Красноярска… Да простят меня те, кого я не назвал, — список получился бы слишком длинным. Ярким и запоминающимся событием стала недавняя презентация в клубе „Август“ журнала „День и ночь“. Она превратилась в острый и заинтересованный разговор о российской поэзии, о судьбах писателей, о роли в литературном процессе таких современных и ярких журналов, каким безусловно зарекомендовал себя красноярский „ДиН“. Именно на этой встрече и родилась идея представить на страницах журнала ивановских литераторов разных возрастов и направлений. А объединяет их в том числе и наш клуб „Август“».

Так что — судя по всему — иногородние гости в «Августе» бывают нередко. Но меня так душевно встретили, что я чувствовала себя прямо-таки царицей бала. Больше всего меня поразило, что одна из участниц встречи задала мне вопрос о моём прапрадеде А. А. Саввиных… и не только вопрос задала, а ещё и рассказала о нём довольно подробно. Да, это так: духовная родственность купцов-меценатов предреволюционной России — факт положительный (если воспользоваться особенностями дискурса второй половины 19 века). Сейчас это назвали бы «движением». Тогда люди просто делали своё дело наилучшим образом и чувствовали ответственность за культурное развитие родных мест.

Вечером Ян и Надя угощали меня ужином в ресторане «Шеш Беш». И всё было так вкусно, мило, уютно и обходительно, что хотелось обнять и расцеловать и милейшего мальчика-официанта, и Яна, и Надю… и всё Иваново — во всю ивановскую))

Ну Яна и Надю я, конечно, расцеловала!

А утром следующего дня — микроавтобус с ивановского автовокзала повлёк меня в Домодедово к самолёту, на котором я точно в срок и без каких-либо приключений доставилась обратно в Красноярск.

И вот уже скучаю — и по Москве, и по Иванову, и по Владикавказу, и по Махачкале, и по Нальчику…

«Уже дуют весенние ветры…»))

20 февраля — 20 апреля 2017 года

Александр Роваев

Ненаписанный рассказ

— Саша, к следующей нашей встрече Вы должны написать о том, что Вы мне говорили. Помните? О своих дедушках, об ассирийцах! После нашего разговора я всё время только и думаю об этом. И молюсь за этот рассказ и за Вас…—Мира Наумовна в дверях, провожая меня, говорит с трогательной детской поспешностью.

Смущённо что-то отвечаю, обнимаю её, и прощаюсь, прощаюсь…

На улице ветрено. Сквозь февральскую хмарь проглядывает солнце. Продираюсь по нечищеным тротуарам, на ледяных горбылях, балансируя, вскидываю руки и шепчу: дорогая моя, Вы не знаете, о чём просите. Как рассказать о мучениках? А они мученики дважды. Как мне писать о них? В 14–18 годах прошлого века познавших «священную» ненависть турок к христианам, резню, потерю близких, ужасы, лишения и бегство через Персию в единоверную Россию и здесь замученных и убитых чекистами в 38-м. Мне. Из своего убогого комфортного существования.

Ветер забирается под ворот, за пазуху, шарит по карманам, выуживая слова, не сказанные на прощание.

Как рассказать о Муши, отце моей мамы, вымоленном, единственном… Представьте себе, моя прабабка, Гули, долго не могла забеременеть. Грех-то какой по тем временам. Почти старухой в возрасте тридцати лет она, как сейчас сказали бы, «совершила паломничество» в монастырь. Ассирийский монастырь Мар Авдишо на вершине горы в долине Тал. Это в горах Хаккяри на юго-востоке Турции, оттуда мои ассирийцы. Шла она несколько дней и, придя, вымаливала сына. И через время забеременела и родила. А после уже не рожала. Муши был единственный. Единственный, драгоценный—«яккяна» по-ассирийски. О нём ходили легенды. Говорят, в горах он, вооружённый лишь ножом, в схватке с медведицей вышел победителем. Вся сила рода, вся его страсть сошлись в нём. Но возможно ли мне, самому слабому звену, рассказать о роде? Нет у меня таких слов. Только глухой мутный ток крови. Но разве он передаваем?

А как передать, как рассказать о его подписи под протоколами допросов. После неоднократных отказов мне всё же было позволено ознакомиться с делами дедов. Свою фамилию САВВА он писал печатными русскими буквами и сбоку вязью по-ассирийски; под первым протоколом—подпись твёрдая, а под следующими—всё более неровная, съезжающая вниз. Как, дорогая моя Мира Наумовна, рассказать только об одной его подписи? Если даже приставленная ко мне сотрудница Серого дома, храни её Господь, отвернувшись к окну, не могла поднять лицо.

Слава богу, у деда по отцу, Джибу, был только один допрос… Его забрали в апреле. Вытащили из дома, оставив жену с четырьмя детьми на руках. Бабушка Настя вытянула детей через войну и послевоенный голод. И, выпив до дна белую русскую пополам с чёрной ассирийской, в сорок лет умерла. Вообще-то пришли не за ним, а за его старшим братом Крету. А забрали его. Жили они в разных половинах одного дома. Надо же было кого-то забирать. Крету не было дома, мылся в городской бане. Джибу так и проходил в документах под именем своего старшего брата. (Крету… Я помню его. Он жил до ста с лишним лет. Протягивал мне через забор конфеты и говорил: «Шашенька!» Мама говорила, что я похож на своего деда, его брата.) Да, слава богу, у Джибу был только один допрос. Толщина его папки не шла ни в какое сравнение с пухлой папкой Муши. Очень надеюсь, что в своей беспросветной работе чекисты поберегли натруженные мускулы своих рук и сердец. Допрос и справка о расстреле (не считая ордера на арест, анкеты и прочих протокольных бумаг). Их почти всех—мужчин ассирийцев—забрали весной 38-го, а последним, в ноябре, расстреляли Муши, как руководителя ивановской ячейки шпионской иранской организации. Он выпил полную чашу. Возможно ли, дорогая моя,—не рассказать о том,—а даже только представить и не свихнуться?

И что я могу написать о бабушке Зине, от горя умершей через год после смерти Муши? У меня нет этих слов. Что я могу знать о её тоске, тем более «рассказать», не оскорбляя её памяти? Только глухой мутный ток…

А о дяде Диме, старшем из четверых детей Муши, геройски погибшем под Ленинградом в 42-м… О дяде Дане, тоже герое, разведчике, вернувшемся с войны с контузией и орденом Славы… Что я умею сказать? Что дядя Дима до войны, говорят, удивительно хорошо пел, а дядя Даня

после войны — что не удивительно — хорошо пил? И что я умею сказать об улыбке самой младшей в семье — тёти Сони, умершей в послеродовой горячке в 17 лет. Она не была так красива, как моя мама, но была, говорят, необыкновенно обаятельна, улыбчива и приветлива, как ангел.

Лишь порой — или это только кажется мне — сердце моё открывается и читает по седым волосам судьбу моей мамы и видит истоки её благородства и печали. Но об этом разве расскажешь?

А я ведь давно хотел. И всё откладывал, дорогая моя. И всё откладываю. Я беспечен, словно у меня в запасе вечность. И иногда… иногда мне кажется, так и надо — пить свою чашу молча, не тревожа, не оскорбляя памяти о прошлом. Будто в запасе вечность…

Но.

Если бы не весеннее солнышко посреди февральской хмари, да не сердечная заноза, да не Ваши молитвы, разве взялся бы я за перо.

Семь дней с ангелом

День первый. Июль благословенный

Первыми каплями дождя, тяжело и торжественно, кровь с короной по периметру шлёпалась на белоснежную раковину. Платок, холодная вода, запрокинутая голова, равнодушный взгляд, упёртый в белый потолок.

Июль благословенный…

Последний раз у Павла Сергеевича Серебрякова… назовём его ПС (вам всё равно, ему — тем более, потому как выдуман с головы до пят, а автору, лентяю, — маленькая радость).

Так вот, последний раз у ПС кровь носом шла в детстве. Он отчётливо вспомнил это, когда вдруг резко поплыл потолок. Прежде чем на мгновение потерять сознание, он успел увидеть в зеркале свой торчащий намыленный кадык и смирённого ангела, стоящего справа.

Придя в себя, ПС вежливо сказал: «А я Вас давно ждал». — «Да я всегда с тобой», — почему-то трёхстопным ямбом ответил ангел. И, приблизившись к зеркалу, добавил прозой: «Только не видишь ни рожна». Он протёр рукавом забрызганное зеркало, явив блаженному взору ПС свой мирный затылок, загорелую шею с пушистыми мысиками и белой полоской шрама между ними.

— У Вас шрам…

— А? — ангел на миг повернул равнодушное лицо и вновь обратился к зеркалу.

— Это в битве… во славу Божию?

— Не, поскользнулся. Случайно.

День второй. На мосту

— Аллё, здравствуй!

— Привет. Пьяный?

— Не знаю. Иду вот от друзей.

— А… а я кино смотрю. «Территория». Не смотрел?

— Нет. И?

— Фильм — дерьмо, но там есть два момента… два алмаза, понимаешь?

— Два алмаза в дерьме?

— Ну, да. Ладно, шагай. Только — домой, никуда не заходи.

— А я хотел с тобой выпить. Ладно, пока.

На пути ПС встал Театральный мост. Мост по-кошачьи брезгливо выгнул спину под его неровным шагом. На середине ПС остановился и, перегнувшись через перила, вспомнил, как много лет назад, зачарованный, стоял здесь и мечтал прыгнуть вниз. Конечно, не прыгнул. Стоял и смотрел вниз в манящую бездну ночной реки. Как и тогда, ПС не то, чтобы жить не хотелось. Наоборот! От избытка жизни, странной смеси неприкаянного счастья и сладкого несчастья всё его существо тянуло в чёрную воду.

— От избытка дури в голове, — услышал он сбоку. Сидевший на перилах ангел опасно наклонился и тягуче сплюнул в бездонную темноту, добавив при этом: «Дешёвка!»

В ночи, отражая огни города, глаза его сверкали.

— Сами Вы… куча дерьма с двумя алмазами! — расстроился ПС. — Впрочем…

Проходящая мимо парочка ускорила шаг, косясь на тихого подвыпившего человека, беседовавшего с фонарным столбом.

День третий. В церкви

К началу ПС, как всегда, опоздал. Церковь встретила его солнечной берёзовой аллеей. Октябрь на прощанье забрал почти всю листву с верхушек, оставив ноябрю остатки золота на нижних ветках, и поэтому казалось, что купола, блестевшие за полуголыми берёзами, осыпались мелкими ясными хлопьями и, застыв, не долетели до земли. Сквозь запах ладана под плывущее с клироса двухголосое «Аллилуйя!» он пробрался среди молящихся на своё место к стеночке за вешалкой. «Господи, помилуй…», — доносилось с клироса тихо-тихо, так, что слышны были баюкающие молитвы батюшки за здравие и упокой. Заканчивалась Литургия оглашенных. ПС любил это место и в предвкушении праздника ждал начала Литургии верных, когда не ровные, но честные голоса церковного хора, состоящего из двух сестёр во Христе, начнут Херувимскую песнь. «Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь…». ПС закрыл глаза и увидел падающие золотые копеечки берёзовых листьев. «Яко да Царя всех подымем… Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Золото падает, падает и не может упасть.

— Господи, дай приблизиться к тайне Твоей! — он перекрестился в своём тихом углу.

Робко тесня молящихся, рядом встал старик. С ходу он начал широко креститься и кланяться,

распространяя вокруг резкий застойный запах мочи. ПС открыл глаза и с неприязненной жалостью посмотрел на его восковой профиль, грязно-жёлтую седину, старческий пух в ухе. Старик стоял, растопырив руки, время от времени разводя ими как бы в недоумении. От умиления ПС пропал и след. Будто в наваждении он смотрел на икону Богородицы, а видел замазанное стариковское бельё и возле—уронивших головы на лапы верных сторожей—нищету и заброшенность. Разные, разные картины встали перед его взором, пока он пытался вслушиваться в тихие молитвы священника, вдыхая при этом миазмы, усиливающиеся при глубоких поклонах старика. В неверных огоньках перед иконой увидел несчастный ПС, что это его бельё и его преданные охранники и что это его душа, готовая вот-вот погаснуть, колышется и трепещет. Странные фантазии овладели им, и он, глядя на Богоматерь, мечтательно пригорюнился. Ясно увидел он будущее своё тоскливое вдовство и одиночество. И ещё увидел он, как в слабости будет искать покой, но тело по ветхости своей не примет вина, а душа в страхе Господнем—петли. И ещё увидел он, что этот неровный зыбкий свет один только и одолеет его будущее отчаянье. И в дальние светлые и горькие дали уводил его мечтательный обморок, пока батюшка под конец Херувимской, поклонившись, не сказал: «Простите мои недостоинства». Очнувшись, ПС поклонился в ответ и почувствовал, как соль обожгла ему веки… Он долго стоял так в поклоне с закрытыми глазами, не зная, куда деть пустые ладони, не смея разогнуться. А разогнувшись, украдкой взглянул на старика и обмер. Тот смотрел на него краем внимательных и насмешливых глаз. Поймав взгляд ПС, старик, как ни в чём не бывало, отвернулся и почесал свою заросшую шею. Почудилось на миг, и не поверилось: из-под пятерни в седых зарослях забелела полоска шрама.

Когда народ, шаркая, потянулся к батюшке за причастием, старик неожиданно всем телом повернулся к ПС, поклонился, по-пингвиньи оттопырив руки, и, перекрестившись, вышел из храма. А ПС направился не к длинной очереди за Тайнами, а, передвигая застоявшиеся кукольные ноги, к малой неприкаянной кучке православных, обступивших сухонькую служку. Он накануне не исповедовался, поэтому вместо причастия в этот день довольствовался антидором, сухими хлебными крошками.

День четвёртый. Мирочка

«В дымке-невидимке выплыл месяц вешний…».

Всякий раз, когда ПС слышал этот романс, у него сжималось и холодело сердце. Уже отзвучали Чайковский, Аренский, Глазунов, рахманиновские «Вокализ» и романс на стихи того же Фета, но ничто не действовало на него так, как этот танеевский шедевр. Его грудь теснила каждый раз, а сегодня особенно, невыразимость божьего присутствия, такого близкого в этой вещи…

Весь концерт ПС смотрел на Мирочку. Она сидела в партере в первом ряду, маленькая и по-детски беззащитная. С балкона ему хорошо был виден её профиль, влажные глаза. Она, как дитя, доверчива, открыта музыке, и та не лечит, но утешает, омывает волнами её бедное сердце. Уходит её друг, много-много-летний, верный-верный, самый близкий. Он уже почти на том берегу. И удержать его нельзя. И как с этим жить? И как, Господи, моей Мирочке не услышать танеевские аккорды, Твоё дыхание, когда сама она, как подобранный воробушек на ладони?..

Весь концерт ПС, не отрываясь, смотрел на Мирочку. Без неё, без её лица, казалось, музыка была не полной. И даже, когда во время исполнения малеровского «Там, где звучит прощальный рог» он услышал знакомый шёпот над ухом: «Ты слышишь валторну?»—ПС, не оборачиваясь, только кивнул. «Какая валторна?!—гневно зашикали бы вокруг, если бы услышали,—вокал и фортепьяно…», но нет, ни валторну, ни вопрошающего в этом зале никто не увидит. ПС смотрит на Миру, смотрит, как она наклонила голову, едва зазвучал Малер. О, она, конечно, слышит этот голос, безумный голос валторны, непререкаемый голос судьбы. И если бы она повернула голову и взглянула наверх, то непременно увидела бы, как ангел, свесив через балконные перила ноги, что-то шепчет на ухо ПС, и услышала бы между ними тихие слова, плывущие, как лодочки, по волнам Грига.

—Все мы большие грешники.—Да? (С усмешкой.)—Да. Мы своим лепетом умеем только опошлить то, что невыразимо. Вместо благоговейного молчания блюём словами… Послушай, ты всё знаешь, почему он во второй круг ада поместил любовников?—Кто?—Данте. Они хоть в своём усердии молчаливом не грешат против красоты. Я на их место пригласил бы поэтов. Плохих и средних. А в первую голову тех, кто пишет поздравления на случай. Большей пошлости трудно и вообразить!—Не ругай его. Знаешь, он до сих пор пишет свою Комедию.

Концерт окончен. Сверху видно, как зал пришёл в движение, опустела сцена. Мира, Мирочка, дитя, опираясь на трость, в сопровождении друзей направляется к выходу.

В дымке-невидимке
Выплыл месяц вешний,
Цвет садовый дышит
Яблонью, черешней.
и льнёт, целуя…

День пятый. В лесу

— Вот ты всё знаешь,— внезапный порыв ветра загнул край покрывала и уронил уже лёгкую бутылку кахетинского. Лес вокруг поляны разом зашумел и неожиданно стих.— К какому вопросу *там*,— качнувшись, ПС поднял палец вверх и сделал страшное лицо,— мне быть готовым?

Ангел исподлобья посмотрел на ПС.

— Я думаю, с меня спросят… С меня спросят, не как я складывал слова и ноты… Весьма посредственно, кстати.

Помолчав, ПС достал из пачки папиросу, долго чиркал спичкой, затянулся и выдохнул с дымом:

— Да и что наши творения перед Ним? Смешно. А спросит Он меня, был ли я чист сердцем. Вот что. Любил ли кого больше жизни? Стало ли от меня кому-то теплее, сделал ли кого счастливее?

ПС говорил, чем дальше, тем тише, не поднимая головы. Пересушенный табак в папиросе сгорел в три затяжки, а переломленная бумажная гильза так и осталась меж пальцев.

— Что скажешь?

Ангел отвернул лицо и, закусив травинку, с мукой посмотрел на облака.

Ничего он не сказал.

День шестой. И ещё ПС говорил ангелу…

И ещё ПС говорил ангелу. До чего ж, говорил, люблю я наши церкви. Самые чудесные в России места— это где храм стоит. А внутри, даже у самого убогого,— покой и красота. И молитвы и пение прихожан,— ну это больше на отшибе, в убогих,— общие, тёплые, родные. В такую службу входишь замороженным, а выходишь с оттаявшим сердцем.

— Одно плохо,— ПС опустил голову,— на исповедь идти тяжело. И каешься батюшке в одних и тех же грехах, и глаза девать некуда, и чувство такое, будто опять украл на базаре, а тебя опять поймали. Будто берёзовым поленом бьёшь себя в лоб и в грудь, в грудь и в лоб; и чем сильнее бьёшь, тем спасительней и православней, что ли… Тошно…

ПС продолжал говорить, но слова его стали неразборчивы и глухи. Ангел прижал его голову к своей груди, укрыл белым крылом и тихо-тихо заплакал.

День седьмой. Сон

ПС приснился счастливый сон. Начинался он с неприятности. По узкому перрону с одинаковой скоростью, мешая друг другу, шли ПС и крепкий молодой человек. ПС надо бы уступить, но он, не имея в сердце ни злой решимости, ни духа состязательности, а одну лишь весёлую беспечность, не отставал. Когда бугаю это надоело, он схватил ПС за руку, развернул и кинул на землю. ПС видел, как парень отвёл назад огромный кулак, чтобы всадить его в опрокинутое лицо, но страха не было, беспечность не покинула его. Он мирно и даже весело сказал: «Не надо». И бугай растворился в воздухе.

А потом ПС нёс в руках счастье. Оно, прижавшись, обхватило его шею и, ещё не умея говорить, гукало в его ухо. Ничего особенного не происходило. ПС нёс на руках своего ребёнка, не понимая— сына или дочь, и волны тихого мягкого счастья, накатывая, омывали его лицо.

И была в этом сне мимолётно, по касательной, редкая гостья его сновидений— мама. Она была спокойна, красива, рядом с ним и в то же время далеко-далеко.

Проснувшись, ПС утёр слезу, не умываясь, в трусах прошёл в кабинет, сел за стол и набело записал стихотворение.

О, сладкая жизнь, как под полной луною
Мёд твой горчит!
Сахаром звёзд ты плывёшь надо мною
В бессонной ночи.
Сахарной пудрой припорошила
Желток фонаря,
Точки-тире от ножа или шила
Прошлого дня.
Я выпил почти до конца это зелье,
на дне.
Чтоб не было после тяжёлым похмелье,
Молись обо мне.

— Вечно ты начинаешь во здравие, а заканчиваешь за упокой,— легко и весело вздохнул за спиной ангел. И добавил:— К вечеру будет песня.

ПС обернулся, но никого не увидел. За окном пухом плыл снег, расстилая белый лист нового дня.

Виктор Соколов

Простор и воля

● ● ●

Яну Бруштейну

Пойдём, где весеннее небо
кипит в заливных лугах,—
дурачиться на потребу
над нами смеющихся птах.

Прошлёпаем—беспечальными,
босыми по хлюпкой траве,
расхристанными, изначальными,
без царя в голове.

Наивными новосёлами
дарованной нам земли,
вольготными, невесомыми,
как птицы и корабли.

Мы будем, как сновидение,
предутренний смутный клип,—
намёком на стихотворение,
где только лишь ритм и всхлип.

Поплачем, споём, попляшем,
забыв про вчерашнюю тьму,
как пред зачатием нашим—
неведомые никому.

● ● ●

Ивану Усенину

На исходе весны он вернулся с войны.
Ни двора, ни жены—сожжены.

На пустынной груди две медали блестят.
Соловьи, словно пули, свистят.

Он к соседу—бурьян,
он к другому—бурьян…
В чайной плачут, поют под баян.

Что, куда, для чего, почему—одному?
В чайной кто-нибудь сядет к столу твоему.

И шагнул, и заплакал, запел ветеран…
День за днём, год за годом—
как тяжкий туман.

…Венский вальс.
Победитель Иван…

● ● ●

Я вышел в поле—там простор и воля.
Я в лес забрался—лес себе и лес.
Прильнул к реке, зашёл в неё по пояс—
ни слёз, ни боли, никаких чудес.

Над головою облако простое.
Глаза не врут и видят то, что есть.
Всё ясно, всё реально, без обмана.
Ни сказок, ни заоблачных небес.
Но древнею купелью Иордана
смущает душу призрак Иоанна.

Рыбак, поймавший наши души в сети,
предвидел ли мои сомненья эти
и ереси—да только ли мои?
Ведь прокуратор—он в смятенной дрожи
терзался тоже: «Не себе ль дороже?»—
когда кровавой ночью Гефсиманской
над крестником купели Иорданской
умыл ладони грешные свои.

Я верую, я доверяюсь Богу,
хоть и с оглядкой, хоть и не убого—
чтоб лоб разбить с размаху у креста.
Я верую, томяще беспокоясь,
откуда в нас такое чудо—совесть.
И если есть о том одна лишь повесть,
мне внятная, то это—про Христа.

Но верую в извечное сомненье,
встающее у краешка крещенья,
где поле, лес, река и облака
даруют нам лечебное воззренье
на них как непонятное творенье—
с неведомо какого высока.

Июнь-1941

1.

Куда ж ты лезешь, мой курсантик,
с полуобоймой в этот бой,
с полвзводом, полулейтенантик,
с полуначищенной трубой?

В полшаге от сапёрной ямки,
с горячей пулей в голове,
ты лишь успеешь вспомнить мамку
в подёрнутой слезой траве.

2.

Я рухнул ниц на поле боя.
А медсестрёнка—в полный рост.
Прикрыть бы мне её собою!—
не довелось, не удалось…

Ах, Настя, Настенька, Настёнка,—
какая смертная тоска:
две дырочки на гимнастёрке
пониже детского соска.

3.

Сухие губы облизал. И по́днял
с опаской голову. Услышал—тишина.
Себя ощупал—цел. Заплакал. Понял,
что это вот и есть она, война,—

когда тебе, оглохшему, не важно,
кто победил в твой самый первый бой,
и лишь своею клеточкою каждой
ты салютуешь в небо: «Я—живой!»

* * *

Как ты спала!
Ни ангелов шуршанье,
ни звон луны, ни окрик тишины,
ни пчёл сердитых гулкое жужжанье
не в силах потревожить эти сны.

Как ты спала!
Рассвет играл на скрипках,
и кошка умывалась у окна,
гостей звала с загадочной улыбкой,—
всё это было просто тишина.

В такой тиши хватает полузвука,
чтоб сон развеять,—только я пройду
на цыпочках и не вспугнувши руку,
как рыбку, задремавшую в пруду.

Ты спи, ты знай, что я с тобою рядом,
твой сон храню—так в утреннем лесу
лелеет ландыш нежную прохладу,
роняя наземь зябкую росу.

Плыви во сне, улыбкою играя
в своих туманных призрачных лугах,
где я иду обочинкой, по краю
с тобою, невесомой, на руках.

Дмитрий Лакербай

Реки посередине…

…Реки посередине замёрзшей в поздний час
Надглазные пустыни, не морщась, ловят нас
В глубины глаз безлюдных, синей подводных льдин,
Алмазней копей рудных, пока бредёшь один.
Так трудновыносима душевным нагишом
Бездонная Цусима над ветхим шалашом,
Цвела индиго—стала кристалла звёздный ток…
И топчет снег усталый озябший бормоток:
«Труба горит над лесом под ручкою Ковша.
Смеялась и воскресла заблудшая душа.
Вихляет бок собака, а ей вихляет хвост.
Пуд шерстяного мрака от зоны и до звёзд.
Колючи наши кресла, но имя легион,
И жалит наши чресла нависший Скорпион,
Реки посередине—река умеет речь,
Пока плывёшь на льдине, но думаешь убечь».

Хрустят слова пустые, спит логово Врага.
Кругом стоят густые литые берега:
Так окна оригами, а там—собачий лай…
И снег хрустит ногами хрусталики стекла.
И снег хрустит глазами, ловящими дымок,
Что в отдаленье замер и выдумать не мог
Извечность мостовую, где мост—железный склеп—
Под спячку столбовую оледенелых лэп
Несёт свои вериги и скрылся в темноту…
Так нас читают книги, завидев за версту.
Что рассветёт, приказчик рассветного свинца,
Пока следишь за спящим, как смерть, лицом отца?
Бездонная Цусима, кристалла звёздный ток…
Настанет мост, вестимо, а за мостом—восток.
Но есть ещё монета дыханья и покой,
Планида и планета… Иди своей рекой.

…Реки посередине, пока бредёшь один,
Бормочешь: «господине…»—и чуешь: невредим,
Несёшь парок дыханья через порог курить,
За чудо мирозданья учась благодарить.
Вихляет бок собака, хрустит зима онлайн.
На знаках Зодиака висит колоколай…
Всей сигнатуры помесь, ожгись, как принцип прост:
Ты сам свой скорый поезд, стучащий сердцем мост.
Искрящею трубою под ручкою Ковша
Пылаешь сам собою—спешит сказать душа:
«Покуда жизнь в утробе жива, как сонный бред,
Покуда лжи и злобе есть что сказать в ответ,

Пока доступен воздух и милой быстрый взгляд,
Пока сияют звёзды, как тыщу лет назад,
Созвездье над сосною, как жилка на виске—
Ты, мой Господь, со мною на всей моей реке».

● ● ●

…Зимою быстро темнеет.
И Ты, не доехав до
нелюбимого города,
где я без Тебя с трудом
раскладываю поровну
время на динь и дон,—
Ты снова меня умнее…
Окно затянуло льдом.

Ты где-то вошла в рассказы,
свернула в ночную мглу.
Выполнив все наказы,
молчу в темноте в углу.
…Бродил посреди метели,
дома расставляя в ряд.
Весь день мне в уши гудели,
не зная, что говорят.

Когда под окном автобус
сворачивает, мигнув,
меня надувает глобус—
кружится, щёки надув.
Смеётся мышиной мордой
твой тапок из-под газет.
И мне остаётся гордо
состроить рожу в ответ.

Люди, дороги, ветер
со снегом, огни, душа,
машины—никто из этих
не знает, зачем дышать.
О стул споткнувшись, колено
ушибленное тереть.
На пламя горелки газовой
много часов смотреть…

Нос о стекло расплющив,
останусь навек с Тобой—
тьмою, в окне растущей,
снежной сухой гурьбою.
Снова глазами встречу—
там, где привык встречать.
Буду—придёшь под вечер—
дверь всю ночь открывать.

Лариса Щасная

Стою на земле

Воспоминания о Крыме

1. Зной

Даже на грани морской,
Даже предутренней ранью
Степь пересохшей гортанью
Воздух хватает сухой.

Мне и за далями дней
Чудится — в пекле прохладней.
К полудню небо бледней
И горизонт неохватней.

Память сужает зрачки:
Дикие жёлтые мальвы,
Красные солончаки
Скупо украсили даль вы.

Ветер, полынь и полынь…
Ястреб, летящий кругами.
Только текучая синь,
Только безмерность над нами.
Снова любви маета.
Чудная счастья тревога.
Жаркая вьётся дорога,
Но не ведёт никуда.

2. Полнолуние

Полнолуние. Море парное,
Отстраняя от берега зной,
Мирно дышит своей глубиною,
Мерно движет широкой волной.

И колышется, сонно вздыхая,
И заметно при яркой луне,
Как блестит чешуя золотая
На его маслянистой спине

Неподвижные светятся скалы.
Невесомый сияет ковыль.
Всё собою луна пропитала:
На дороге и камешек малый,
И дорожную нежную пыль.

Странный обморок южного лета…
День и ночь — иссушающий жар.
И луны — в довершение бреда —
Раскалённый качается шар.

Днём и ночью цикад монотонность.
От холмов, где подпалины, — гарь.
Августовского счастья условность.
И — прощанья внезапный сентябрь.

● ● ●

Правдивые станут ли лгать,
Гонимые станут ли лгать,
И честные —
        красть всласть,
Когда наступит их власть?

Этот горький вопрос
На опыте горьком возрос,
На облаках надежд,
На колпаках невежд,
На пролитой зря крови,
На ненависти
И любви.

Может быть…

Может быть, ещё будем мы живы,
Повторяясь как мысли чужие,
Притворяясь то светом, то мглой,
То огнём, то остывшей золой,
То цветами в листве изумрудной,
То травой на тропинке подспудной,
То бегущим в безвестность ручьём,
То тоской ни о ком, ни о чём,
То звездой, указующей путь…
Хоть когда-нибудь, хоть где-нибудь!

Марина Москалёва

Будни города Энска

* * *

Дети в кровати играют в котят в коробке
Младшие так похожи — почти зеркально…
У дочки волосы длинные, у сына — короткие.
Тычутся в бок мой, мяукают немузыкально.

Старший заглянет: «Ой, у тебя котята!
Мама, я в универ, но вернусь не поздно.
Помнишь, я тоже любил так играть когда-то.
Рядом с тобой лежать и смотреть на звёзды».

Помню, конечно, помню — худая спинка,
Конец девяностых, нет ни тепла, ни света,
Вьюга на улице воет дурной пластинкой.
Под одеялом мы говорим про лето.

Мчится с сиреной под окнами неотложка
Рушится жизнь вокруг, мир так хрупок и тонок.
А я представляю, будто я мама-кошка
И рядом со мною — тёплый, родной котёнок.

Где-то война, мой друг на второй чеченской,
Мама его чернеет лицом и тает.
Это такие будни города Энска.
Снегом измученный город наш заметает.

Нам же не плохо, нет-нет, нам совсем не плохо.
Вечер без света длится за разговором.
Сын засыпает посередине вдоха.
Мы с ним согрелись, папа вернётся скоро.

Голод нам не грозит, мы сварили гречки.
Сил мне хватает, тревога почти не гложет.
В детские локоны — ангельские колечки —
Я утыкаюсь и засыпаю тоже.
…
Дети мне лезут под руки: «Мама, мама!
Видишь, мы котики, мама, — погладь, погладь»!
Глажу, и думаю — чего тебе, дура, мало?
Мало ли тебе счастья, твою-то мать!

* * *

Как обидно дожить до победной весны
И упасть от случайной пули!
Словно ангелы, сдюжив года войны,
Напились, обнялись, уснули.

Словно кто-то сказал им — ребята, ша,
Скоро дома напьёмся чая…
И какая-то выжженная душа
Спину выцелила случайно.

И исход войны уже ни при чём:
Только месть, только боль и злоба.
«Вот, — он думал, приклад уперев в плечо, —
Вот он гвоздь вам всем в крышку гроба»…

А тебя уже дома, конечно, ждут,
Двигать стройки, поля готовить.
Но другие ребята с войны придут —
А тебе-то и так — везло ведь!

И не кланялся пулям, но был храним
Чьей-то волей, любовью чьей-то.
Что за музыка льётся к тебе сквозь дым?
Это флейта. Конечно флейта!

Плачет музыка, плачет, зовёт, поёт,
Отпевает тебя, упавший…
Скоро встретит тебя, твой небесный взвод,
Что позиции занял раньше.

Смыты порох и пыль, их лица свежи,
Светят взгляды, блестят медали.
А ребята ведь тоже хотели жить,
И их тоже, конечно, ждали…

Как обидно дожить до победной весны
И упасть от случайной пули!
Словно ангелы, сдюжив года войны,
Напились, обнялись, уснули.

Прабабушка

Как ни скрывай прабабушку-блокадницу,
Она наружу рвётся всё равно.
Блокадница не ходит в «Шоколадницу»,
Не выбросит прогоркшее пшено.

Когда меня кручина скрутит надолго,
Прабабушка—опора мне и твердь.
Она детей возила через Ладогу
И в шаге от себя видала смерть.

В промёрзшем детском доме—тени по полу…
Потом, она расскажет нам потом,
Как там чулки единственные штопала,
Покуда не проснулся детский дом.

И мне еду не выбросить—так знаково.
Подход при «олл-инклюзиве» нелеп.
Но я-то помню, как прабабка плакала,
Когда, случалось, вдруг кончался хлеб.

Потомки недостойные, беспечные
Не сохранили мы её наград.
Нерукотворны памятники вечные—
Те дети, что вернулись в Ленинград.

• • •

Моя Итака далеко
И там меня не ждут
Весёлым девушкам легко
Найти себе приют

Всё это верно, но потом,
Когда польют дожди
Меня потянет в отчий дом
К гадалке не ходи.

И я сама себя возьму—
Устала и слаба
В обитель грёз, в обитель муз
И брошенных собак

Я молча добреду туда
И сяду у ворот.
И дай мне Бог не звать, не ждать
Всех тех, кто не придёт…

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Вероника Алеева-Недоброво

Твой дождь

Хиппи

Дорогой мой хиппи, когда Вы своими чёрными очами
вглядываетесь в мои зелёные глаза и думаете,
что нам будет гораздо уютнее сидеть между свечами,
мне—на диване, а Вам—на ковре у моих ног, в той суете

долгих вечерних разговоров и стихотворений, и вздохов
возникает удивительное чувство необходимости
другому. Хочется бежать от наигранных «ахов» и «охов»,
окружающих нас в избытке извне. Хочется пойти в гости

друг к другу. Дружески поклониться. И поцеловать ладошку
измученной милой женщины. Погладить по голове и ус-
покоить Вас, дорогой мой мальчик. И впустить чёрную кошку
несмотря на то, что у того белого кота длиннее ус.

И быть не учителем-гуру, а глупой-преглупой девчонкой.

Александр Астраханцев

Хроника потерянных

Предисловие к настоящей публикации

«Хроника потерянных» пролежала в моём письменном столе 25 лет, и это не мистификация и не литературный приём, к коим иногда прибегают литераторы — тому, что роман закончен в 1990 году, есть свидетели: уже тогда его прочли несколько писателей, журналистов и редакторов. Да внимательный читатель и сам это поймёт — по некоторой робости, с какой я брался за слишком острые в то время ситуации, темы, идеи, бывшие в то время на слуху, теперь-то многие из них уже стали отработанными штампами (как, например, эпизод «медвежьей охоты» для крупного начальства).

Хочу объяснить, почему роман так долго пролежал.

Время, когда я его писал — конец 80-х годов XX века — было хоть и советским ещё, но уже перестроечным: шумным, митинговым, — и писал я его, помнится, легко, с удовольствием, пользуясь элементами сатиры и фантастики, а написав, тотчас понёс, ещё, можно сказать, горяченький, в местное издательство. Однако в издательстве, прочитав, мне его вернули с таким подтекстом: ты его нам не давал и мы его не читали; мы — не самоубийцы.

Я был обескуражен: ведь, окрылённый относительной перестроечной свободой слова, я решил дать в своей книге полный разрез советского общества, начиная с первого лица государства и кончая бомжами, обитающими в подземных тепловых камерах и подвалах; в сюжет были вовлечены крупные областные руководители, чиновники, писатели, архитекторы, рабочие, — это было своего рода социологическое исследование; я шёл своим собственным непроторённым путём и думал, что многим это будет интересно. Я, конечно, понимал, что в редакции, свободной от перестроечной эйфории, ещё витает дух осторожности и советской цензуры — но не до такой же степени!

— Да в Москве ещё и не то печатают! — пытался я защитить своё детище.

— Мало ли что Москва! Она нам не указ, — отвечали мне.

— Что вы нашли в романе крамольного? — недоумевал я.

— Как что? А африканские сцены, хотя бы? А взбесившийся танк в финале, который крушит и давит всё подряд, живое и неживое — на что это намёк? Не символ ли это всей советской системы, а?

— Но ведь его же подбивают! — попытался возразить я.

— Да, но что он штурмует-то? Самый неприступный бастион в городе, обком партии! Тоже, скажешь, не намёк?

Я ответил, что намёков не делал — писал, как писалось — хотя, конечно, лукавил: я надеялся на эзопов язык, на то, что этот взбесившийся танк в финале всё-таки проскочит через цензуру. Но редакторы были ребята неумолимые и дотошные: легко разгадывали любые иносказания. И время было ещё вполне советское, во всяком случае, у нас в городе.

Однако порядки постепенно менялись, и уже через 3 года в той же редакции мне сказали: неси свой роман, будем печатать, только найди спонсора, который оплатит издание.

И где я его только ни искал! Книга прозы среднего объёма стоит дорого, и никто из предполагаемых мною спонсоров не желал раскошеливаться. Или, может, я плохо просил и не слишком низко кланялся?

А «толстые» журналы в те годы были заняты печатанием эмигрантской литературы и накопившегося за 70 лет «непроходного» литературного материала — что им какой-то свежий роман малоизвестного сибиряка!..

Были, конечно, отдельные попытки публикации его. В 1993 году опубликована одна («африканская») глава в газете «Красноярский рабочий»... Далее, был такой «толстый» московский журнал — «Согласие»: редакция его соглашалась опубликовать большую финальную главу из романа — но я сам отказался от такой мизерной публикации, больше похожей на издёвку... В 1999 году с большим энтузиазмом его взялся, наконец, опубликовать, причём в полном виде, в альманахе «Енисей» тогдашний главный редактор альманаха Александр Бушков. Но опять осечка: в нём вышли только несколько глав — и тут кончились деньги, «Енисей» закрылся на несколько лет, а там сменился редактор, накопилось слишком много рукописей... Так что я махнул на свой роман рукой и положил

его в стол «до лучших времён» — меня уже интересовали другие темы и другие заботы.

Ещё несколько слов — о героях романа, о событиях и символах в нём. Некоторые из тех, кто читал его, высказывая мне свои соображения, говорили, одни с одобрением, другие, наоборот, с осуждением, о слишком прозрачных намёках на реальных прототипов, живших когда-то в Красноярске, а также о намёках на реальные события, имевшие место в нашем городе (например, строительство экскаваторного завода «Красмаш», побочной продукцией которого должны были быть танки, или строительство высотного здания «фаллического» типа, являющее собою одну из сюжетных линий романа), и их слишком сатирическую, так сказать, «героизацию». Неужели, спрашивали меня, в самом деле тогда было всё так уж плохо?

На это мне хотелось бы возразить следующее: город моей юности и моей учёбы — Новосибирск; возвращаясь иногда туда, встречаясь со своими однокашниками, инженерами-строителями, и слушая их байки про свой город и своих градоначальников, я удивлялся: как похожа жизнь во всех наших провинциальных городах! Тогда-то у меня и родилась идея этого романа: написать свою «Историю одного города», взяв за образец бессмертное творение несравненного Щедрина. Так что мой роман — своего рода «ремейк» этой повести. А уж прототипов и ситуаций, смешных и нелепых, у меня, проработавшего более 20 лет в строительстве, накопилась тьма-тьмущая.

Это — во-первых. А во-вторых, разве во времена Гоголя, с его «Ревизором» и «Мёртвыми душами», или Щедрина, с его «Историей одного города», не было в жизни положительных героев и привлекательных ситуаций? Просто такова природа сатиры — видеть всё уродливое.

Далее. Один коммерческий издатель, прочитав тогда рукопись этого романа, предлагал мне написать два-три тома продолжения его как один огромный роман-катастрофу, усилив именно катастрофическую сюжетную линию — под этим условием он согласился бы издать их «серией»; я тоже вынужден был отказаться, потому что твёрдо считаю: писать романы с продолжениями так же нелепо, как писать продолжение удавшегося стихотворения: это уже чисто коммерческое предприятие, к решению творческих задач отношения не имеющее. Я коммерцией не занимаюсь. В романе с каким-то кругом тем и идей, так же как и в стихотворении, автор обязан высказаться однажды и — полностью… А уж что из этого у меня получилось — хочется вынести, наконец, на суд читателей.

И ещё одно маленькое уведомление: некоторые читатели, даже профессиональные (из «толстых» журналов, например), почему-то поверили, что рассказчик-журналист, фигурирующий в романе от первого лица, это я, сам автор. Мне, конечно, льстит такое правдоподобие, получившееся у меня, но, уверяю вас, профессиональным журналистом я никогда в жизни не работал.

АЛЕКСАНДР АСТРАХАНЦЕВ
Красноярск, 2015 год

А притом позвольте ещё доложить: как мы, можно сказать, с малолетнего возраста промежду скоропостижных трагедиев ходим, то со временем так привыкаем к ним, что хоть и видим трагедию, а в мыслях думаем, что это просто «такая жизнь».

М. Салтыков-Щедрин
«Современная идиллия»

Зачинайся, русский бред…

А. Блок

Предисловие повествователя

Вы, конечно же, хорошо знаете наш так называемый *культурный центр*, тридцатипятиэтажный «небоскрёб», который одиноко высится над всей городской застройкой недалеко от центра города и в котором расположены всевозможные ведомства и многочисленные кабинеты начальников. Чем эти начальники там заняты, я не знаю — туда нужен спецпропуск, а у меня его нет.

Но суть не в этом, а в том, что слева от здания, если смотреть с проспекта — стоянка служебных машин, а под ней, согласно давнему слуху, ставшему в городе уже легендой и обросшему фантастическими подробностями, когда-то была заживо погребена группа людей, засыпанная рухнувшим особняком, и шофёры, что ставят здесь машины, будто бы летними вечерами, когда стихает шум, слышат глухой стук из-под земли и даже крики о помощи. Досужие горожане до сих пор ходят туда послушать, не стучит ли, действительно, кто, даже садятся на корточки, а самые любопытные прикладывают ухо к асфальту. Раньше тут дежурил милиционер и вежливо разгонял любопытных, а у самых настырных спрашивал документы, и настырных тотчас же как ветром сдувало, так что слухи сами собой почти сошли на нет, а теперь милиционер исчез и любители слухов опять оживились. Некоторые договариваются до абсурда: будто бы у нас в городе действовала подпольная группа борцов за свободу, а самые ретивые предлагают раскопать это место и назначить комиссию для расследования; другие предлагают поставить здесь памятник «жертвам эпохи застоя»; третьи пытаются спровоцировать на выступления писателей (особняк когда-то принадлежал им).

Нынче время стирания всех и всяческих белых (и чёрных тоже!) пятен в истории нашей страны; мне как журналисту хотелось бы не остаться

в стороне от столь благородного порыва и стереть это пятно в истории нашего города — рассказать, как всё было, причём не из досужих домыслов, а на основе тщательного расследования.

Должен предупредить, что обрушение особняка действительно было и в подвале оказались замурованными люди. Как это случилось, как они выбрались, почему потом молчали — это и явилось целью моих изысканий. Но я не желаю быть ничьим обвинителем или адвокатом — меня интересуют только факты, и если я где-то отклоняюсь от них, высказывая ту или иную версию или догадку, — так только затем, чтобы связать из фактов логическую цепь и прояснить суть дела. И пусть я всего лишь рядовой провинциальный журналист, пусть писал раньше в угоду сильным мира сего и хаживал на компромиссы — здесь я хочу остаться предельно честным, ибо стремление это лежит глубоко в сердце у каждого и каждый когда-то находит способ хоть однажды искупить вину за всю прошлую ложь, собственную и общую.

Часть первая

Глава первая

А начать надо не с того, как этот особняк рухнул, а по чьей воле он был заселён писательской организацией. И тут надо рассказать о человеке, который носил — именно носил, ибо уже несколько лет как скончался в своей московской квартире — украинскую фамилию *Хвылина*. Звали его *Стефан Маркаврелиевич*, и человек этот был в то время первым начальствующим лицом в области. Длинного названия его должности приводить здесь не буду из экономии места, тем более что Хвылину у нас ещё помнят и поминают иногда кто добрым, а кто и не совсем добрым словом.

Надо заметить, что, занявшись изысканиями, я столкнулся с загадочным феноменом: все руководящие лица наши никогда не оставались жить на пенсии в том городе, где работали; руководители областного масштаба непременно перебирались в Москву, успевая подготовить там условия для вполне безбедной жизни, а районные — соответственно в областной центр. Но *никогда* они не оставались там, где работали. Казалось бы, наоборот, гораздо приятней доживать век именно там, где ты трудился и где тебя хорошо знают, и пользоваться своими заслугами, уважением, репутацией — ан нет. Загадка? Да, и — какая! И в ней же — одна из отгадок того сурового и в то же время такого патриархального времени…

На севере нашей просторной области живёт маленькое коренное племя урупов, имеющее, кстати, язык, не только ни на чей не похожий, но и не входящий ни в одну языковую группу на земле, что говорит о древности и самобытности племени. Безусловно, язык этот в течение веков подвергся влиянию тюркского, монгольского и русского языков, но основа его — словно древняя гранитная платформа, на которых покоятся земные материки. Племя это мирно жило среди тайги, озёр и тундры разведением оленей, охотой и рыбной ловлей, как жило тысячи лет до этого и никогда не имело своей письменной литературы, но уже не столь давно сумело вырастить своего поэта, *Варфоломея Имангильдина*, который создал литературный язык урупов, разработал алфавит и словарь языка. В. Имангильдин жил и работал в нашем городе и был не только очевидцем, но и участником *события*, поэтому и о нём тоже пойдёт у меня речь, хотя следы его в дальнейшем безнадёжно затерялись в тундре, и теперь точно известно, что он тихо упокоился под безвестным холмом в недрах своей малой родины. А сородичи его продолжают, кочуя, пасти своих оленей, охотиться и ловить рыбу, жить в лёгких переносных жилищах из жердей и оленьих шкур — чумах — и петь его песни, успев позабыть, что их автор — Имангильдин.

Другого типа жилищ у них никогда не было, поэтому любое здание для них — чум; здание для начальства, соответственно, *Большой Чум*. А т. к. начальства у них никогда тоже не водилось — в их языке и слова такого нет, и когда у них объявились пришлые начальники, урупы стали называть каждого *Хозяин Большого Чума*, как бы условившись между собой, что начальник этот — хозяин только в своём доме, а не у них в тайге. И вот когда Имангильдин появился в нашем городе (кстати, почти одновременно с Хвылиной), то в кругу литераторов в шутку назвал Хвылину Хозяином Большого Чума, а резиденцию его на центральной площади, серое монументальное здание в стиле, который я называю *вампир* («вождистский ампир», помпезная, безвкусная эклектика со всеми мыслимыми излишествами: пилястрами, венками, снопами, звёздами, серпами и нишами для статуй) — Большим Чумом. С лёгкой руки Варфоломея, названия прижились, выпорхнули из узкого круга и разлетелись по городу. Правда, Имангильдин называл Хвылину и по-другому: «бай-тумен», например, что на урупском означает «начальник над тьмой людей», или Большим Шаманом, в отличие от просто Шаманов, каковыми ему казались начальники помельче, всегда очень строгие к нему, готовые в любой момент напустить на простых людей злых духов и при этом связанных меж собою какой-то мистической связью… Однако эти имена не прижились, а остались только «Большой Чум» и «Хозяин Большого Чума».

Кстати, серое это здание, Большой Чум, построено было на месте белоснежного кафедрального

собора необычайной стройности и высоты, который все мы видели, к сожалению, лишь на фотографиях. Собор этот возводили около двадцати лет и закончили перед самой революцией, а затем, уже в советское время, лет двадцать ломали — будто бы с целью добычи кирпича. Но собор был настолько прочен, что ни единого целого кирпичика от него не осталось. За это время сменилось около десятка Хозяев — это и понятно: период был смутный, и излишне объяснять, куда они все делись. Но все они занимались ломкой собора, все успели приложить к этому руку — можно подумать, что они родились, возмужали и выдвинулись только для одного: потратить свои силы на перетирание в пыль всего, что построено не ими.

Затем в центре города долго был пустырь с грудами битого кирпича, а потом ещё десять лет — чувствуете, какой неспешной поступью шло тогда время? — здесь строили это нынешнее здание, и снова за это время сменилось несколько Хозяев, так что Хвылина, можно сказать, стал его первым полноправным Хозяином. Строили его долго потому, что здание было огромно: целый городской квартал в плане, с внутренним двором, пять этажей ввысь с запутанной системой лестниц и переходов, да два этажа под землёй, с толстыми бетонными перекрытиями, складами и хранилищами, причём всё это делалось секретно, за колючей проволокой, чтобы враги и местное население (в те времена это были слова-синонимы) не знали внутренней планировки его, которая приравнивалась к государственной тайне.

Здание, несмотря на архитектурные украшения, получилось массивным, приземистым и унылым; зато оно скрадывало истинные свои размеры, и сколько человек там могло уместиться — неизвестно. Но там было всё, необходимое не только для работы, но и для автономной жизни. Вымри завтра вся область — а Большой Чум будет продолжать жить и работать, дожидаясь, пока подрастут новые поколения для подчинения ему…

Надо сказать, что Стефан Маркаврелиевич Хвылина имел характер деятельный и быстрый в решениях, оправдывая тем самым смысл своей фамилии (по-украински «хвылина» — «минута»), и многое сделал для области, пытаясь вывести её «на передовые рубежи», хотя деятельность его и носила несколько односторонний характер.

Чтобы понять тип этой деятельности, нужно, наверное, знать то время, во многом для нас уже непостижимое; ведь не человек избирает время деятельности, а оно само избирает его: выдёргивает из небытия, швыряет в людской водоворот и, как на контрастной фотобумаге, проявляет характер.

Наверное, я мог бы совершенно безнаказанно нарисовать Хвылину одними чёрными красками или сделать из него карикатуру. Легко и заманчиво идти по тривиальному пути, но моя цель — исследование… Меня интересовало, где и когда, в какой момент жизни он впервые почувствовал неодолимый вкус власти и подви́г себя на непомерные притязания к ней: в детстве ли, в студенческой ли юности, или будучи уже взрослым, когда появились у него в подчинении люди? Однако мои возможности проследить весь жизненный путь Стефана Маркаврелиевича оказались невелики: слишком много воды утекло; да и люди, бывшие некогда возле него и ныне ещё живые, со страшной неохотой открывают тайны своей и его карьеры — они даже слова такого, «карьера», не любят, предпочитая называть это «служением».

Итак, Стефан Маркаврелиевич Хвылина родился в селе Воронцовка Херсонской области на Украине; оттуда у него и непроизносимый звук «ф», который он произносил как «хв», так что слово «эффективный» у него получалось «эвхвективный», и глухое «г», с которыми он всю жизнь боролся.

В те времена (я имею в виду юность Хвылины) каждый с шестнадцати лет обязан был иметь паспорт, в котором содержалась исчерпывающая информация о владельце, и, кроме того, при поступлении на работу ли, на учёбу на каждого человека заводилось «дело» с автобиографией и анкетой в полсотни вопросов, причём по мере взросления человека каждое такое «дело» распухало в энциклопедию исчерпывающих данных о человеке. Так вот, в паспорте и анкетах, где была обязательная графа «социальное происхождение», у Стефана Маркаврелиевича неизменно значилось: из «крестьян-бедняков», что уже было мандатом в самые благополучные слои общества.

Раз уж зашла речь о паспортных данных — меня заинтересовала вычурность его имени и отчества, и вот что я выяснил: настоящее его имя-отчество — Степан Маркелович, но когда он, будучи юношей, получал паспорт, то, как потом признавался друзьям, сам переделал себе имя и отчество, считая их слишком плебейскими; себе он взял имя «Стефан», а отцово имя «Маркел» по недостатку образования посчитал исковерканным от имени «Марк Аврелий», которое и пожелал носить в виде отчества; уча историю кое-как, он решил, что это имя римского полководца. Но потом оказалось, что полководца звали Марк Антоний, а Марк Аврелий — император, а имя императора, да ещё такое сложное, ему, комсомольцу, носить было не с руки; однако дело уже было сделано.

О чём говорит этот факт? Не о том ли, что с ранней юности у него чрезвычайно развиты были гордыня и честолюбие?.. Впрочем, так объяснял происхождение имени-отчества он сам, но ведь всё могло быть и иначе? Не получилось ли так, что, сменив его, он хоть чуть-чуть, но отрекался от

своего родителя — ведь тогда всё имело значение? И чего там было больше, гордыни или осторожности, увы, никто уже не узнает.

Дело в том, что из бедных-то пребедных крестьян он записал в анкете своё происхождение, но, как я выяснил, во времена коллективизации родитель его Маркел вместе с семьёй оказался в местах не столь отдалённых — в Сибири, на Ленских золотых приисках, в Бодайбо.

Известно уже, что в те годы крестьян ссылали миллионами, причём в категорию ссылаемых кулаков попадали и середняки, и даже строптивые бедняки, так что сейчас трудно сказать, под какую именно категорию подпадал Хвылина-старший во время переселения в Сибирь, но как подхватил вихрь Великого Перелома нашего Стефана Маркаврелиевича в младенчестве, так больше уж и не отпускал.

Вышеупомянутый Маркел при всеобщих голоде и цинге в таких суровых местах, как Лена в те годы, сумел сохранить семью в живых; стало быть, мужик он был крепкий и изворотливый, которого не так просто свалить — судя по тому, какая наследственность досталась Стефану Маркаврелиевичу.

Молодой Степан тщательно скрывал факт высылки родителей, хотя наверняка где-то когда-то и всплывало несоответствие: родился на Украине, а учился в Бодайбинской средней школе… И, может быть, только этот факт высылки родителей и послужил подоплёкой небольшой фальсификации Степаном имени-отчества, подобно тому, как петляет, уходя от погони, заяц? И можно только догадываться, какими словами, делая этот маленький подлог, клял он в душе вслед за отцом советскую власть, коммунистов и Сибирь вместе с Леной и Бодайбо? А если даже и не клял, то уж подсознательное отношение ко всему этому было у него определённое. Хотя речей от имени советской власти и коммунистов он произнёс впоследствии предостаточно.

Между прочим, в те годы каждому, кто быстро рос по *службе*, было что скрывать и умалчивать — у каждого был недочётец в биографии с точки зрения «чистоты» происхождения: что делать, если ленивые тугодумы-бедняки остаются бедняками при любом строе, а государству всегда позарез нужны энергичные сметливые люди, вот им и приходилось кривить душой, и эта кривизна душ была в те годы нормой. Правда, наш Стефан Маркаврелиевич, выправляя себе биографию, уже чистосердечно писал: «родился в семье крестьянина-бедняка» — фиксируя тем самым истинное положение вещей: к тому времени отец его стал не богаче всех вокруг — жизнь подравняла; во всяком случае, единственное наследство, которое он оставил Степану — лишь могучее здоровье да деятельный и изворотливый характер.

Будучи уже в возрасте, родитель нашего героя Маркел Хвылина честно отвоевал на фронтах Великой Отечественной, и не только остался жив, но и вернулся с наградами, в звании сержанта и коммунистом, а после зацепился в маленьком городишке Воронежской области, где трудился на сытной должности председателя райпотребсоюза. Дела его тут шли настолько успешно, что он построил себе большой дом с обширной усадьбой, в свободное время выращивал свиней на сало и дал сыновьям образование — так что все они выросли дюжими хлопцами и все, как говорится, «вышли в люди», да ещё целой «стенкой»: все, цепляясь друг за дружку, стали руководителями крупного ранга.

Степан закончил Воронежский инженерно-строительный институт. Правда, успехами он там не выделялся — тому мешали два увлечения: футбол и девушки. Он играл в институтской сборной и уже много лет спустя, когда и раздобрел, и полысел, любил, расслабившись в домашней обстановке, похвастать перед друзьями былыми спортивными успехами, показывая тщательно сбережённые грамоты и призы; при этом глаза его, говорят, сильно увлажнялись; получалось, что это были самые дорогие для него награды — а не ордена и медали, которые сыпались на него потом…

Правда, один его бывший сокурсник рассказывал, что Степан на футбольном поле бывал груб и некорректен, но сам этот сокурсник, не добившийся в жизни заметных успехов, показался мне тихим и желчным завистником, так что иронии его относительно «футбольного» характера Стефана Маркаврелиевича я не доверяю… Сокурсник этот вообще считал Хвылину пройдохой и любителем «взять на хапок»: вовсю будто бы пользовался тем, что спортсмен, а им обычно в институтах поблажки, и если не получалось отлынить за счёт спорта — шёл к знакомым медичкам и, этакий бугай, беззастенчиво доставал у них справки о якобы свалившем его сердечном приступе.

Я спросил у этого сокурсника: «А что значит „взять на хапок“?» — и он пояснил: «Это когда, к примеру, взяли тридцать пирожков на тридцать человек, а один схватил и съел два, а потом улыбается и разводит руками: „Извините, ребята, поторопился!“ Что с ним делать? Вытрясать пирожок? Или по морде бить? Вроде неудобно из-за мелочи. Это вот и есть „на хапок“»…

Что же касается девушек — да, был ходок. Но сие уж, как говорится, от Бога. Или от чёрта? Прочими же талантами Степан в институте не блистал и выше комсорга курса не поднимался, хотя и выделялся в студенческой массе, сероватой и бледноватой тогда: рослый, крепкий, с румянцем во всю щёку; под кроватью его всегда стоял посылочный ящик с салом, которым он, впрочем, будто бы охотно делился с товарищами…

Глава вторая

Окончание им института по времени совпало с громким, под фанфары, началом Великих Строек Коммунизма. Как честный комсомолец, вместе с тысячами других комсомольцев, с дипломом инженера-строителя в кармане, он устремляется туда, и я не могу заподозрить, что он едет из какого-то низменного расчёта — нет для этого утверждения никаких фактов.

А теперь представьте себе сонный сибирский городок: домишки из почерневших брёвен полуметровой толщины, по окна утонувшие в завалинках, толстенный зелёный мох на тесовых кровлях, жаркие герани в оконцах, глухие ворота, вместо заборов — заплоты из толстых брёвен же, больше похожие на крепостные стены, зелёная мурава и коровьи лепёхи на улицах, цепные псы во дворах, старушки на лавочках. И этот вот патриархальный сон разбужен рёвом и грохотом экскаваторов, бульдозеров, самосвалов. На выезде из городка вознёсся в ещё не тронутую копотью синеву неба десятиметровой высоты алый фанерный щит, а на нём засияли золотом на солнце огромные буквищи: «Всесоюзная Комсомольская Стройка». Ударили в землю чихающие дизельным смрадом сваебойные агрегаты, взметнулись ввысь стрелы башенных кранов, заполыхали на ветру кумачовые лозунги: «Дадим стране крылатый металл!» и «Крылатый металл — металл будущего!». Тогдашние журналисты непременно связывали алюминий с успехами страны, с новыми невиданными скоростями, с мощной авиацией, сближающей материки, с космосом, ну и, конечно же, с безоблачным счастьем впереди, то есть с грядущим коммунизмом.

В этом-то городке, который срочно переименовали в Светлодольск, и появился молодой специалист Стёпа Хвылина, начав со скромной должности мастера-строителя, и первый объект, который он построил — не Бог весть какой сложности: гараж на сорок автомашин, тем более что вся стройка начиналась с бараков и подсобных предприятий, вроде этого гаража.

Кое-кто здесь ещё помнит его молодым — простого парня в сапогах, телогрейке и серой пупырчатой кепке на буйной шевелюре. Общительный, деловой, он, говорят, мог и побалагурить с любым встречным, и с женщиной полюбезничать, и потребовать с людей работы, приправив речь крутым матом, и перед начальством не пасовал — за словом в карман не лез и голос имел зычный. Такие на стройке быстро растут, тем более если в кадрах великая нужда, так что через год он уже был прорабом, а ещё через год — начальником участка.

И вот тут, на третьем году по приезде, у него произошли два важных события: во-первых, он женился; а во-вторых, стал начальником комсомольского штаба стройки, причём произошли они, можно сказать, дуплетом.

Важны ли были для него эти события? Для кого как, а для него — очень и очень, и мы вынуждены здесь расшифровать их подоплёку.

Во-первых, женитьба. В принципе, для молодого и очень занятого человека в то время и при том образе жизни событие это, можно сказать, было несущественным: подошло время, приглянулась девушка… Познакомились, разговорились. Проводил, обнял, поцеловал. Раз, второй, третий… Через некоторое время — неизбежная постель, признаки случайной беременности, серьёзное объяснение, слёзы, угрызения совести, и готово дело — вот вам новая советская семья. Затем комната в общежитии, первый ребёнок, ожидание квартиры.

Но Стефан Маркаврелиевич, как мы с вами успели выяснить, смолоду был самолюбив: ему, похоже, требовалась в жёны девушка самая красивая, самая эффектная — чтобы гордиться ею и уважать её.

Нельзя сказать, что у него до этого не было в том городке женщин. Да и ничего противоестественного в этом нет: парень здоровый, видный, общительный… Я, конечно, не стал бы ворошить сих интимных подробностей из столь давно минувшего, но ведь мы исследуем жизнь не частного лица, а государственного деятеля, вошедшего под конец жизни в первую десятку властителей страны, так что здесь каждая деталь и каждая мелочь имеют значение. Это во-первых. А во-вторых, та деталь, на которую я намекаю, имела существенное значение для развития нашей истории: у Стефана Маркаврелиевича к тому времени в городке уже был внебрачный ребёнок. Девочка.

Не хотел бы я выглядеть здесь праздным собирателем сплетен, поэтому, когда дело касается установления истины, приходится беспристрастно выслушать все стороны и все мнения, ничего не скрывая и не отбрасывая.

Дело в том, что родила ребёнка комсомолочка, приехавшая сюда неизвестно откуда, и никто сейчас даже не помнит, как её звали. Не очень приметная девушка, не ахти какая грамотная, работала то ли учётчицей, то ли нормировщицей у него на участке. Она, говорят, и посейчас живёт там, затерявшись среди жителей того городка. То есть теперь уже города средней руки.

Молодая мама дочку нарекла Анжелой. «Ангел!..» Остаётся только гадать, почему именно так: или ей просто звучное имя понравилось, или в том был скрытый смысл, что, мол, дитя — итог неземных, немеркантильных отношений?.. Отец будто бы сначала требовал, чтобы она не рожала, а когда родила — чтоб уехала. Но комсомолка оказалась упрямой. Кто говорит, что она сама отказалась от него, когда тот недостойно себя повёл, кто — что она будто бы надеялась, что он всё-таки женится на ней, а кто — что он вовсе и не

был уверен, что ребёнок—его. Не знаю, не знаю, история тёмная. Однако, по отзывам тех, кто знал её лучше, была она весьма скромна. Алиментов он не платил: неизвестно, то ли сам отказался, то ли она не требовала, хотя по закону имела право настоять на них, и хорошие бы алименты получала. Единственное, чем помог ей Стефан Маркаврелиевич,—выхлопотать однокомнатную квартиру, когда это стало в его силах, да и то окольными путями, чтобы об этом не догадалась не только ни одна посторонняя душа, но и сама молодая мать. Хотя всё равно многие об этом знали; причем, судя по её характеру, не сама же она разболтала! До чего дотошны люди, когда дело касается сильных мира сего!..

А женился он на дочери директора строящегося завода Людмиле Васильевне Быковой.

Я не буду касаться интимной стороны их знакомства. Если б я был сочинителем, художником пера—о, я бы не упустил случая живописать о стремительных сибирских вёснах, о белоснежной пене черёмух, которая тогда ещё заливала подолья окрестных ручьёв и захлёстывала городок, или о звёздных осенних вечерах, когда, скажем, честолюбивый молодой инженер мог познакомиться с горделивой директорской дочкой, провожал её после кино или концерта заезжей знаменитости и объяснялся ей в любви или читал стихи (которые, кстати, знавал, любил почитать в кругу друзей и читал, говорят, недурно), и как молодое, ничем не занятое сердце избалованной красавицы поддавалось его могучему напору, как она сопротивлялась и замирала в его объятиях, и отдавала свои холодноватые губы жадным нетерпеливым поцелуям молодого Степана!.. Но нет, я –журналист, и моё оружие, мой щит и мой Бог—Его Величество Факт; я б имел право рассказать подробней об истории их знакомства лишь в одном случае: если б кто-то из них двоих поведал мне об этом. Но у меня в руках нет подробностей, а гадать об этом в мои задачи не входит.

Я, кажется, уже давал понять, что Хвылина был хоть и не красавец (широкое грубоватое лицо, узко посаженные глаза), но парень видный: рослый, кудрявый, громогласный, общительный. Дочь же директора, говорят, была очень недурна собой; стройная сероглазая блондинка, она хорошо одевалась, носила драгоценности и ходила, высоко подняв голову и никого вокруг не замечая. В общем, пара заметная, и, кажется, ничего удивительного в том, что они нашли друг друга, да ещё в небольшом городке.

Так-то оно так, только есть тут одно большоепребольшое «но»…

Дочь директора, закончив к тому времени пединститут (на большее она, похоже, была не способна), вернулась домой и, не чувствуя тяги к учительству, не без помощи папы взялась заведовать районной библиотекой, получив, таким образом, спокойную, без нервотрёпки работу, двух тихих женщин-библиотекарш в подчинение, неплохую зарплату и кабинет с телефоном.

Хвылина же в это время, вкалывая начальником участка, не вылезал со стройки и бывать в той библиотеке поводов не имел. Жил он тогда в посёлке строителей, в девятиметровой комнатёнке общежития, да и в ней-то сумел освободиться от соседа только спустя два года, когда уже стал начальником участка, и был при этом счастлив безмерно!.. В этой комнатёнке ему приходилось, чтобы не терять времени в очередях столовой, жарить себе по утрам яичницу с салом и варить кофе; здесь же он устраивал постирушки, а потом сушил бельё на батарее; сюда же приводил случайных подруг или товарищей—распить «с устатку» бутылочку-другую, побалагурить, перекинуться в покер или преферанс. Зимой единственное окно комнатёнки приходилось завешивать одеялом, т. к. стоял собачий холод, и ещё устраивать на кирпичах и включать самодельного «козла», а летом окно нельзя было распахнуть, потому что оно выходило на главную улицу, а по ней с утра до ночи шёл и шёл, громыхая, бесконечный поток самосвалов и висела непродыхаемая пыль.

А директор будущего завода Быков с женой и дочкой Людмилой жил в коттедже с мезонином; из десятка таких коттеджей состояла тупиковая улочка на краю сосновой рощи в километре от посёлка—там жило начальство, был чистый асфальт, зелёная травка на газонах, клумбы во дворах, и свой, замкнутый круг общения.

Чтобы посмотреть кино или концерт, молодой Хвылина пёрся в поселковый дощатый дк, и если не было знакомых в очереди за билетом, толокся в этой очереди среди нетрезвых сквернословящих людей, да ещё—с риском нарваться на поножовщину: в посёлке жило несколько тысяч условно освобождённых уголовников, которые до конца своего срока наказания должны были работать на комсомольской стройке. А директор завода с семьёй ездил в кино или на концерт на служебной «волге» в город—там было спокойней и респектабельней, а если он, его жена и дочь, дружно взявшись под руки, появлялись в дк—их встречала услужливая директриса и забегала вперёд, расчищая проход и освобождая для них места.

Так что остаётся загадкой, где и как он смог встретиться с Людмилой, и не просто встретиться, а ещё и обратить на себя её внимание, заинтересовать, увлечь? Одно неоспоримо: ему потребовались для этого целенаправленные усилия. И усилия эти были вознаграждены. Но как, чем их объяснить? Мне сдаётся, только тем, что энергичный плебей, затерянный в толпе, видит девушку

из другого, кажущегося ему аристократическим круга: тут и зависть, и обида, и дух соперничества, и желание пробить все сословные преграды.

В общем, как бы то ни было, но он женился на ней. Однако жить в коттедже у тестя отказался. Говорят, долго находиться вместе они просто не могли — начинали спорить и кипятиться; тесть, привыкший к власти и лести, слишком давил на молодого упрямого зятя, а тот был самолюбив.

Есть предположение, что Хвылина очень разочаровался в тесте. Не имея достаточного житейского опыта и видя крупного начальника, властного и уверенного в себе, только издалека, он, видимо, думал, что чем крупнее начальник, тем он умней и интересней, что их элитарная среда должна быть весёлой, остроумной, интеллигентной, только интеллигентость свою они из скромности прячут от простых людей. Именно в такой среде ему хотелось бы жить — и как же глубоко был он разочарован, близко познакомившись с тестем, тёщей и их окружением. Тесть оказался в быту надутым болваном, с величайшей серьёзностью изрекающим пустые фразы, но требовал, чтобы внимали ему с почтением; у тёщи, правда, было одно приятное достоинство: умела вкусно готовить — была в молодости поварихой, однако была глупа, как индюшка, подстать своему индюку, и во всём его слушалась; он в своё время помог ей закончить торговый институт — вернее, просто получить по блату диплом учёного-товароведа, и она одно время даже заведовала универмагом, но когда переехали сюда — работу оставила: дом их и без того ломился от благ.

Молодой Хвылина, будучи упрямым, принципиальным максималистом: кое-что из принципов ему сумели привить школа, пионерия и комсомол, — хотел вырвать жену из этого царства приспособленчества и привить ей свои принципы. Причём он ничего не потерял, уйдя от тестя, — вскоре же получил трёхкомнатную квартиру и обставил её. Могут заметить на это, что он, видно, всё же пользовался положением тестя? Однако к тому времени он и сам был хорошим специалистом, на виду у начальства. К тому же сметлив, хваток, практичен, так что не знаю, не знаю…

Но начиная с этого времени его движение по служебным лестницам власти ускоряется. Что это, совпадение или начало действия скрытых пружин, данных женитьбой?.. Впрочем, мог иметь значение и образец перед глазами, звавший к энергичным действиям: его тесть, всем своим существованием доказывавший, что и в самом деле горшки обжигают отнюдь не боги.

Как уже сказано, почти одновременно с женитьбой он стал начальником комсомольского штаба стройки.

Скажем прямо, должность эта была не ахти какой серьёзной: не руководящая и не исполнительская, а, скорее, фискальная при руководстве стройки. Но, во-первых, он сменил профессию: из инженера и хозяйственника превратился в руководителя *политического*. Во-вторых, он вышел на другой уровень общения. Ведь начальник участка крутится среди рабочих и подчиняется начальнику чуть выше его самого, а начальник комсомольского штаба — один-разъединственный в городе, и крутился да заседал теперь Хвылина среди самого высокого начальства, а отчитывался напрямую перед ЦК комсомола.

Решимость переместиться на политическую орбиту принесла свои плоды: через полтора года, когда в разраставшемся городке от райкома комсомола отпочковался горком — он становится первым секретарём его, а ещё через два года, выйдя из комсомольского возраста, переходит на партийную работу: теперь он — секретарь парткома стройки. Затем — второй секретарь горкома партии, и, наконец, в тридцать с небольшим — первый, и довольно молод для «первого»!

Живёт он теперь по соседству с тестем, в таком же коттедже, и ездит на работу в чёрной «волге» с молодым исполнительным шофером за рулем.

Казалось бы, чего ещё желать простому человеку, которого вынянчила в убогой деревенской люльке сама История, дама жестокая и немилостивая к своим детям, особенно на Руси?.. Однако ещё слишком молод и честолюбив, нетерпелив и жаден он до жизни, чтобы останавливаться — он уже почувствовал терпкий вкус власти и понял, что этот городишко — для него не предел.

Да, в конце концов, его уже несла невидимая подъемная струя, и он кинулся в этот ветровой поток — только успевай, расправляй крылья!

А с другой-то стороны, ведь не один же он двигался по этим запутанным лабиринтам инженерной, комсомольской, партийной власти? Где-то в этой цепи перемещений можно было и застрять? Но нет, он не застревал!

Злые языки упорно твердят, что всё дело во влиятельном тесте. А я считаю, что Хвылина всё равно бы выдвинулся! Ведь продолжил же он двигаться и дальше, туда, куда тестева длань уже не доставала! Хотя тут, может быть, дело всё-таки в импульсе, который был дан? Но и в опыте, конечно, в огромном уже опыте, с которым он ориентировался в этих лабиринтах!

Не будем подробно останавливаться на его деятельности в роли первого секретаря горкома партии, т. е. первого лица в Светлогорске, скажем только, что вместе с ростом города и завода рос и его авторитет, причём авторитет этот постепенно подкреплялся и обрастал званиями и регалиями: он стал членом бюро обкома партии, делегатом

очередного партсъезда, депутатом облсовета, получил первый орден.

Знаем также, что он стал организатором строительства в своём городке ещё одного крупного завода, хотя многие и возражали против строительства из-за ожидавшихся слишком обильных вредных выбросов. Однако он со свойственными ему энергией и упорством настоял на своём. Да просто бы ему, наверное, скучно стало жить, если б кругом не кипела стройка — это, пожалуй, единственное занятие, которое он хорошо знал… В результате угасший интерес к городку со стороны печати снова разгорелся, а сам город по своей величине выкарабкивался на второе место в области после областного центра.

Надо сказать, что он хоть и любил, пока молод, блеснуть: встать на партийном форуме с томом Ленина в руках и поразить оппонентов цитатой (подыскивать их он заставлял библиотекарш), и это впечатляло, потому что Ленина в его кругу никто никогда не читал. Однако на самом-то деле в марксистско-ленинском учении, несмотря на произносимые цитаты, он был весьма беспомощен.

Так вот, для таких как Хвылина, молодых, перспективных и не ахти как образованных, в Москве при *Великом Курултае* (именно так небезызвестный нам Варфоломей Имангильдин назвал самый высший орган власти в стране) существовала Главная Академия Общественных Наук (ГАОН), и у Хвылины появилась возможность закончить её, а почему бы и нет: учиться всего два года, стипендия — на уровне зарплаты секретаря горкома, защита дипломной работы засчитывается как кандидатская диссертация, а это ого-го какая прибавка к зарплате аж до самой пенсии!.. Он, чувствуя пробелы в своём образовании, сам рвался в Москву на учёбу, но его долго не отпускали.

Отъезд ускорило одно обстоятельство. Однажды летним вечером он, сказавшись, что поехал по делам в подшефный совхоз, на самом деле отправился на дальние озёра с одной молодой женщиной, партийным инструктором из его же горкома (в таких случаях машину он водил сам). Неизвестно, каким партийным делом они занимались на тех озёрах, только какие-то шутники похитили у них там всю одежду, вплоть до нижнего белья. Можно только догадываться, насколько наши партийцы были разгорячены делом — что им пришлось, чтобы остыть, раздеться донага, и насколько заняты, что не заметили похитителей на пустом берегу. А что одежду у них украли не воры, а злые шутники, следует из того, что ничего больше украдено, будто бы, не было. Ну зачем, объясните, профессиональному вору такие мелочи (прошу прощения за подробности), как женский лифчик или мужские плавки? Так что нашим Робинзонам пришлось возвращаться в город в машине глубокой ночью в чём мать родила и искать кое-какую одежду у самых близких друзей… Однако выкрутиться из положения без скандала не удалось: слух расползся по городу со всеми сопутствующими подобным слухам преувеличениями…

О той молодой женщине у нас в области больше никто никогда и слыхом не слыхивал — исчезла. Думаю, ей просто подыскали место в другой области — такими кадрами эти ребята попусту не разбрасывались.

А что же Хвылина?.. Какой-нибудь рядовой инженер или партработник в те годы официально хранимой чистоты нравов если не навсегда, то надолго сломал бы себе карьеру, но не он, очень ценимый вышестоящим руководством уже тогда, потому-то он вскоре и оказался в Москве.

Потерпевшей в инциденте была ещё одна особа: жена Хвылины, Людмила Васильевна (если разобраться, она-то была самым пострадавшим лицом). Но она перенесла удар мужественно, правда, к супругу после этого она несколько охладела и, будто бы, сняла с себя на будущее некоторые супружеские обязательства перед ним, но ни расходиться, ни затевать скандал не стала, даже, наоборот, блюдя сословные интересы, постаралась замять его и всегда отрицала инцидент как грязную сплетню, придуманную злопыхателями, и когда Хвылина уже был слушателем Академии, регулярно, раз в месяц, прилетала к нему, и они проводили два выходных дня дружно, как и полагается супругам. Летала она бесплатно — эти ежемесячные поездки в Москву для жён слушателей оплачивало высшее руководство страны, заботясь о нравственном здоровье своей смены, т. к. бывали случаи, когда слушатели, здоровые и ещё молодые провинциалы, будущие Хозяева областей, находили себе в Москве новых жён, в роли которых оказывались гостиничные проститутки.

Но нашего Хвылину сия чаша миновала. Благополучно закончив ГАОН, он защитил диссертацию с весьма примечательной темой: «Коммунизм — реальное будущее советского народа», — и вернулся в нашу, теперь уже родную для него область-кормилицу кандидатом философских наук. Он уже не был политически беспомощным пловцом в океане власти, плывущим наобум — теперь он созрел для дальнейшего пути наверх.

По-прежнему извилист путь в длинных коридорах власти, по-прежнему много на пути преград, ловушек и конкурентов, но не для него: наш, уже опытный, закалённый и хитроумный, как Одиссей, Хвылина блестяще минует их и через восемь долгих лет, в сорок пять, становится полновластным Хозяином Большого Чума. Тут-то и настал его звёздный час!

Глава третья

В те годы в нашем городе, как и во всяком уважающем себя областном центре, сложилась своя, хоть и небольшая — из тринадцати человек, писательская организация. Число для суеверных людей несчастливое, а писатели — народ по преимуществу суеверный; да и время располагало к тому, что всего приходилось бояться, и они очень, говорят, боялись, как бы с ними чего не случилось. Так и вышло — они как в воду глядели. Вот и не верь после этого в приметы!

Поскольку писательская организация в нашем повествовании — как бы коллективное действующее лицо, то для начала рассмотрим внимательней, что она собой представляла.

Конечно, как вы заметите дальше, каждый писатель, сам по себе, вместе со своей личной судьбой — уникум, и презабавный порой уникум, однако всех их, как понял по некотором размышлении я, объединяет одно: что бы они в своей заносчивости ни заявляли о собственной независимости, неподкупности и прочих «не…», все они — рабы, прикованные к тачке своего времени и своего общества. Может быть или не быть рабом своего времени и своего общества инженер, учёный, врач, но писатель, увы, всегда раб: всегда он будет писать только про своё время, про своё общество и про себя самого; он может презирать или ненавидеть своё время, своё общество, свою тачку, себя, раба, может рваться всю жизнь из своего рабства в непомерные выси и глубины собственного разума, или безумия, если хотите, бежать в фантастику, в исторический роман, в формальные поиски, да, в конце концов, в природу, в пьянство, в секс, в чужую страну, может прятаться за своих героев и рядиться в чужое яркое тряпьё — но везде будут торчать его мидасовы уши, везде он будет писать только о себе, своём времени и своём обществе, будет его пророком, хулителем, песнопевцем, паяцем, клоуном, и будет катить свою тачку, будучи прикованным к ней и делая вид, что свободен ото всего… Трагическая, я вам доложу, роль. Не судите его строго.

Поскольку большинства тех писателей уже нет в живых, а остальные раскиданы по свету и разобщены волею обстоятельств, мне захотелось снова собрать их здесь под одной крышей, как это было тогда.

Итак, начнём с Владимира Ивановича Баранова, одного из первых руководителей писательской организации, «старейшины писательского цеха», как величали его тогда падкие до пышных титулов журналисты.

Его давно нет в живых, и мало кто его помнит, но когда я собирал материал, ещё была жива его вдова, Мария Ивановна, седенькая старушка с трясущейся головой; она доживала свой век в деревянном особнячке, заполненном фарфором, хрусталём, коврами, тяжеловесной мебелью, множеством старых книг в застеклённых шкафах, и любезно согласилась поделиться со мной эпизодами из творческой биографии Владимира Ивановича. Она рассказывала, надолго замолкая, как бы засыпая с открытыми выцветшими глазами, или, может быть, впадая в транс воспоминаний, из которых ей было мучительно возвращаться в тягостную для неё реальность, а я, записывая за нею, ещё успевал подумать о том, в какую пропасть низвергается время, без следа смывая собою память о людях, старательно пёкшихся о своей известности и обманывавшихся относительно собственной значимости. Как оно безжалостно даже к своим любимцам, ибо у каждого времени — свои любимцы. Не помогают и толстые книги в красочных переплётах, на которых, казалось бы, навечно впечатаны золотым тиснением их имена, — вороха книг становятся никому не нужным хламом. Сколь же самонадеянно человеческое самомнение, если даже хрупкие вещицы надолго переживают память о своих хозяевах!

По рассказам вдовы, Владимир Иванович представляется мне высоким, аккуратно одетым стариком; аккуратность во всём он сохранил с той поры, когда, до писательства ещё, работал бухгалтером в солидной конторе.

Свою первую книгу он издал в конце далёких, как страшная легенда, тридцатых годов, а расцвет его творчества упал на сороковые-пятидесятые, когда он написал семь романов: о металлургах, шахтёрах, строителях, железнодорожниках, колхозниках, а также о советской милиции и советской торговле, и все — в самых лучших традициях соцреализма, где хорошее всегда побеждалось лучшим; в каждом обязательно был отрицательный герой — он своими кознями мешал остальным счастливо жить и созидать, но путём сложной и напряжённой борьбы и разоблачений выводился на чистую воду.

Все женские же образы в романах, как с гордостью заверила меня Мария Ивановна, как две капли воды похожи на неё самое, потому что Владимир Иванович, по её словам, жил скромно, никаких интрижек с женщинами себе не позволял и уезжал из дома ровно на столько дней, сколько оплачивал командировки Союз писателей — только чтобы собрать материал для романа.

Последние годы он, говорят, жил до того уединённо, что даже не пошёл на похороны нечаянно погибшего взрослого сына, т. к. не хотел расстраиваться — он как раз дописывал роман о торговых работниках, пел свою лебединую песню и счёл, что похороны могут повлиять на счастливый финал романа.

В последние годы он был обижен на писательскую организацию, в которой, по его мнению,

захватила власть «эта наглая молодёжь», что пришла с фронта, быстро набрала силу, постоянно интриговала, потому что её было много и всем не хватало места, и оттесняла в издательстве его романы, которые объявила «порождением культа». И после эпопеи о советской торговле романов он больше не писал — лишь писал в Большой Чум обличающие письма о писательской организации, сетуя в них на узурпацию власти новым руководством и на оскорбительное к нему невнимание.

А кто же была «эта наглая молодёжь»?

На первом месте среди неё Баранов неизменно ставил сменившего его на посту *Антона Сидоровича Кулебякина.*

Был Антон Кулебякин полуудмурт с немного раскосыми карими глазами, но с чисто русским носом «картошкой», который со временем приобретал сначала розовый, потом багряный, а потом и сизовато-сливовый оттенок. Родился Антон в нашей же области в селе Нижняя Елань, ещё школьником писал стихи и даже публиковал их в районной газете.

Неизвестно сейчас, каковы были его дальнейшие планы — всё спутала война: подобно сверстникам, он ушёл на фронт со школьной скамьи, был ранен и после войны обосновался в областном центре, женился, продолжал писать и печатать стихи и, похоже, мечтал стать профессиональным поэтом.

Однако стихи плохо кормили. А надо сказать, он был широко одарён: пел, хаживал в театральную студию, имея при этом хороший рост и крепкое сложение. И он пошёл туда, где мог проявить все разом способности, — в актёры. Но литературные способности в нём пересилили: он написал повесть о войне, издал отдельной книжкой и стал с тех пор профессиональным писателем. А став писателем, взялся за монументальный труд: замахнулся на эпопею о гражданской войне в Сибири, по размаху подобную «Тихому Дону» — многим писателям тогда лавры Шолохова не давали покоя! Он изучал архивы, встречался со старыми партизанами, оставшимися в живых после передряг времени культа личности: по какой-то злой иронии судьбы именно старых партизан, завоёвывавших советскую власть, расстреливали в нашей области едва ли не подчистую… Пять лет изнурительной работы — и на свет появляется огромный роман Антона Кулебякина «Перепутья».

Но поскольку в каждом областном центре уже написан свой «Тихий Дон», а на что-то иное молодому Кулебякину не хватало ни культуры, ни широты кругозора, ни мастерства — «Перепутья» стали заметным явлением только в нашем городе. Окрылённый кажущимся успехом, Антон выкупил двести экземпляров своего романа и сто из них, начертав на каждом размашистый автограф, раздал местным руководителям всех рангов, смело входя в кабинеты, попадая иногда на какие-то совещания, с шуткой и балагурством, по-артистически свободно выходя при этом из неловкого положения, перезнакомился со всеми и каждому торжественно вручил своё детище. Остальные же сто экземпляров он разослал всем сколько-нибудь известным писателям и критикам страны.

Но поступил он опрометчиво: один из столичных критиков — или у того настроение было пропащее, или не на кого было излить свою желчь и эрудицию, а тут роман никому не известного провинциала! — в пух разнёс его в «Литературной газете», въедливо разобрав все его недостатки, вплоть до названия — оказалось, что на бескрайних просторах провинциальной российской словесности до него успело появиться ещё пять разных «Перепутий». Вот уж порезвился критик, поплясал на романе и его авторе, а заодно и на остальных пяти!

Но автор наших «Перепутий» не пал духом, благо, наш областной, не избалованный информацией читатель был простодушен и доверчив, о предыдущих «Перепутьях» и слыхом не слыхивал, а книги ценил главным образом по толщине и по добротности переплёта.

Старые партизаны написали в областную газету прекрасные отзывы о романе и требовали его переиздания, и в городе стало считаться, что книга принята читателями с восторгом. Автор сделал по книге сценарий для драмтеатра, по которому был поставлен спектакль, а также радиосценарий для местного радио. Написан был им по роману и киносценарий, но своей киностудии, на которую бы можно было воздействовать с помощью Большого Чума, у нас нет, а другие студии вежливо от сценария отказались. Молодой и энергичный автор предлагал роман и в несколько центральных издательств, но те его безоговорочно отклонили со ссылками на безнадёжную слабость и подражательность.

С тех пор Антон написал ещё несколько романов, но все они по размерам уступали первому; так что «Перепутья» его так и остались в истории области самым *крупным* романом.

Такой успех романа дал импульс счастливой звезде Кулебякина, ярко вспыхнувшей на местном культурном небосклоне. Он хорошо оделся, поставил на широкую ногу свой дом (куда часто приглашались теперь важные гости, и угощали их там с чисто русским хлебосольством), стал запросто вхож в Большой Чум, а также к директору местного издательства и прочим начальникам, где мог не только к слову ввернуть свежий анекдот или, с юмором обыграв увиденную в кабинете у другого начальника сценку, рассмешить до слёз и тем моментально разрядить обстановку, но в то же время и решить какое-нибудь дело. Так, он

сумел помочь выхлопотать квартиру непрактичному и к тому же пьющему поэту, чего не мог уже неспособный хлопотать за кого-то, кроме себя, Баранов. И на очередном собрании писатели избрали Антона Сидоровича своим руководителем.

Однако Баранов с властью добровольно расставаться не желал — он боролся: наведывался в Большой Чум с жалобами и писал обстоятельные письма в Москву, обличая в них всех писателей подряд, а больше всех — Кулебякина.

Это было долгое сражение — правда, тихое и бескровное. В то же время они, Владимир Иванович и Антон Сидорович, с присущей обоим выдержкой встречались, подавали один другому руки, хотя и с непроницаемыми лицами, поскольку были хорошо информированы о взаимных действиях, т. к. каждый имел сторонников и добровольных осведомителей не только в писательской среде, но и в Большом Чуме. Однако методы Владимира Ивановича и сама его фигура были уже одиозны. Молодость и напор Кулебякина победили — Баранову пришлось сдаться и уйти с гордо поднятой головой.

Что же давало Кулебякину руководство писателями, не считая столь эфемерной привилегии, как доверие коллег и жизнь на виду? Оказывается, ещё и чисто материальные плюсы! Ну, скажем, регулярная зарплата. Плюс преимущества в публикации собственных книг в местном издательстве: ими тогда были завалены все книжные прилавки в городе. И это ещё не всё.

Как известно, писатель тратит на создание добротной книги два-три года, а то и все пять, и чтобы он не пропал с голоду, им разрешались устные выступления перед «читательскими аудиториями», за каждое из которых платили, и каждому писателю позволялось делать до ста выступлений в год. Антон же Сидорович сумел планомерно довести количество своих выступлений до пятисот, а в отдельные урожайные годы превосходил самого себя — делал по семьсот. Причём выступал он не каждый день, а этакими десантными налётами, организовывая время от времени командировки по районам, и там поставил дело так, что в день у него выходило по восемь-десять выступлений. Как это выглядело, никто понять не мог; даже если учесть, что он завёл в организации «волгу», на которой теперь мотался — всё равно непосильно человеку объехать за день десяток деревень и в каждой организовать выступление… Но факт остаётся фактом: он много лет трудолюбиво, как пчёлка, собирал с области дань почти за всю организацию. И надо отдать ему должное, своим бархатным басом и прочими артистическими данными завораживал всех, от секретарей райкомов до телятниц; он не миновал ни единой фабрики и пекарни, фермы или бригады, а во многих бывал неоднократно, и везде его слушали с удовольствием, и многие, представьте себе, прекрасно помнят его до сих пор!

Чем же Кулебякин очаровывал, о чём рассказывал? Тема выступлений была условна: «литературное творчество», — но поскольку, как он считал, народ не готов к серьёзному разговору, да и сам он, по отзывам, теоретизировать не любил и не умел, поэтому он просто рассказывал байки, умея и сам войти во вкус, — и шофёры, и доярки слушали его с удовольствием и обязательно приглашали ещё, так что в каждом большом и малом селении нашей просторной области знали о существовании писателя с весёлой, вкусной фамилией — Кулебякин.

Поскольку сам он эти байки не записывал, мне хочется привести здесь некоторые из них как образцы его устного творчества — каждую я слышал от нескольких человек почти слово в слово… Вот, к примеру, его байка для мужской аудитории, под моим условным названием «Сибирский характер»:

«Я всё задаюсь вопросом: что такое сибирский характер? И в романах своих бьюсь над ним, и для себя решил: вот что это такое! У нас в деревне было два брата: Влас и Андрюха, оба здоровенные — как я, примерно, — и оба любители до медвежьей охоты! Вот однажды младший, Андрюха, нашёл берлогу и зовёт старшего: „Пойдём?“ — Влас ему, естественно: „Пойдём!“ Договорились с утра пораньше. А Андрюха проснулся ночью и думает: зачем же я брату сказал? Одному-то — интереснее!.. Поднялся затемно — Влас храпит. Собрался на цыпочках, взял ружьё, свистнул собак на улице, на лыжи — и в тайгу. Приходит, ружьё в снег поставил, вырубил шест, начинает осторожно в берлоге шуровать. Ну, рёв оттуда, естественно; собаки озверели. А он, медведь-то, как встаёт в таком случае? Никто не видал? Медведя из берлоги будто взрывом выбрасывает — вот примерно как двенадцатидюймовый снаряд взрывается! Тоже никто не видал? Ну и слава Богу… В общем, со страшным рёвом он встаёт, и — на дыбы сразу: вот такая, примерно метра в два, орясина подымается.

Собаки окончательно озверели: из глаз искры, рвут его за гачи. Андрюха поворачивается, чтобы ружьё-то схватить, глядь, а на него сзади ещё одно лохматое чудище из чащи выперло, уже наваливается, уже в лицо смрадом дышит. Ну, думает Андрюха, пришёл мне, бедному, каюк — доигрался! А чудище это его ещё и как звезданёт по зубам — тут нашего Андрюху, значит, жидкий стул и пробрал. Он, естественно, с копылков долой, лежит в снегу, весь в крови и жидком стуле, и ждёт конца. А кругом рёв, грохот, визг. Потом стихло, а конца у Андрюхи всё нет. Он приподымается, весь в крови и жидком стуле — и что же? Оказывается, это Влас! Подскочил в избе: Андрюхи нет — сразу всё понял, ружьё и нож в охапку, на лыжи — и бегом, бегом, следом, следом, злой, оттого что

ему удовольствия не достанется, да как раз и подоспел: и Андрюху изловчился по зубам съездить, и медведя сам уложил.

А теперь скажу вам по секрету: Андрюха-то — это я был в молодости. Не сумел я, друзья мои, в этой кутерьме брата своего признать. Видите: вроде и не худенький уродился, да? А брат-то поздоровее меня будет!»

А вот второй рассказ, «Как я женился» — его он предназначал женщинам:

«Мне читательницы часто пишут — они легче на руку — и я привык на каждое письмо отвечать. Переписка иногда затягивается: одно письмо, второе, третье… И тут — прозрачненько, как умеют только женщины — между строчек начинает появляться тонкий намёк: дескать, могла бы составить счастье творческому человеку… Так я сразу всех предупреждаю: я женат, и в третий раз жениться не собираюсь. Да-да, в третий! А почему в третий? О, это история!..

Я ведь раньше такой наивный был, что считал, будто писатель должен одним святым духом жить, и тут, думал я, немалую роль жена играет, его муза-хранительница. Но такая муза, чтоб не мешала творить, не дышала бы над ухом, не давила бы на психику: дай денег на хлеб, на платье, на пальто с соболями… А оказывается, женщина есть женщина — всем нужна любовь, цветы к празднику, ласковые слова на ушко…

Ладно, расскажу, так и быть (по секрету, конечно, чтоб жена не слышала, ну а вы, надеюсь, не разболтаете?), как я женился в первый раз… Дело ведь ещё и в том, что женщины часто ищут в будущих мужьях чего-то необыкновенного — завышают, так сказать, планку, через которую мужу ну никак не перепрыгнуть! А писатели тоже люди и тоже мучаются потом, женившись-то. Это я подсмотрел в жизни своих собратьев по перу, ещё когда холостой ходил.

Но, думаю, дудки: я так жениться не буду! Чтобы у меня была образованная жена? Ни-ни, ну их к ляду! И тут как раз я путешествовал по нашим северным районам, собирал материал для книги и встретил молодую красивую урупчанку Орхо: чернобровая, востроглазая, и, главное, руки всегда в работе! А какие лепёшки пекла, а какое душистое, с травами, мясо варила! И, главное, молчит. Улыбается и молчит. Ну, думаю: вот она, судьба — чего ещё надо? И решил взять в жёны — пусть, думаю, мясо варит и заботится обо мне, мне больше ничего и не надо! И изменять не будет, этакая-то простота… Уговорил, взял прямо из стойбища, привёз в город.

И вот она мне мясо варит, в мои дела не лезет: что хочу, то и делаю, мечта, а не жизнь! Приду среди ночи: молодому много где поспеть надо, — и говорю ей: „У меня работы ух как много было, еле сделал! Устал, притомился твой хозяин“. Она кивает и про меня, слышу, всем моим знакомым рассказывает: „О, мой муж шибко много работает, устаёт сильно“.

И, видно, потерял я всякое чувство меры — загулял как-то аж суток на трое, возвращаюсь под утро, а лето было, тепло, светло, душа поёт, иду, посвистываю, подхожу к дому и чувствую: что-то на меня давит — вот будто смотрит на меня кто-то сверху тяжёлым взглядом… Подымаю голову: господи помилуй, да это же моя Орхо стоит на балконе и из ружья в меня целится! У меня, верите ли, волосы на голове зашевелились: сейчас ка-ак жахнет — с неё станется! — и череп вдрызг, как спелый арбуз: она ж белку в тайге только в глаз била!.. Я как заору: „Стой, — кричу, — что ты делаешь! Я же с работы иду, трое суток не спал!“ А она мне сверху: „Шибко ты неверный мужик стал — я узнала!“ — и шарахнула. Да, видно, всё же дрогнула у неё в последний миг рука — промахнулась: пуля рядом с моей ногой — шмяк! Я взбегаю по лестнице, врываюсь в дом — опять на меня это дуло смотрит, а за ним — её глаз прищуренный. Я — хлоп с разбегу на колени: „Орхо, прости меня! Не изменял я — наврали тебе, я с друзьями был! Я люблю тебя, вот те крест!“ — и в самом деле хочу перекреститься — сразу вспомнил, как в детстве учили, а рука не подымается: как у паралитика, ходуном так и ходит! А она мне: „Не подходи, застрелю!“

Не стал я больше судьбу дразнить — стою на коленях, притих, молчу, жду, что дальше будет. А она, держа меня на мушке, мимо меня, боком, боком — прыг за порог. Так и ушла, в чём была, только ружьё свое любимое прихватила. Гордая. Вернулась в стойбище. Дала мне урок на всю жизнь».

Вот такие истории. Я нарочно проверил, насколько они правдивы, и что же? Во-первых, никаких братьев у Кулебякина не оказалось! Во-вторых, Нижняя Елань, откуда он родом (слово „елань“ в сибирских говорах означает поляну в тайге), уже в его детстве была окружена пшеничными полями, а о медведях только старики помнили. И, в-третьих, единственной женой его была солидная дама, директор большого книжного магазина. Так что истории эти как образцы его устного творчества я просто приобщаю к делу.

Но иногда он со своими байками нарывался на неприятности, особенно если повторялся в третий или четвёртый раз, да ещё перед аудиторией, которая ждала от него апостольского слова, каковое попривыкли ждать на Руси от писателя, какую бы гиль он ни нёс. Неудовлетворённые интеллигентные люди — а это были, видимо, они, с их вечным правдолюбием — садились тогда и привычным, отработанным слогом: „Доводим

до Вашего сведения…“—строчили на него жалобы, непременно коллективные, и непременно в Большой Чум. Но так как этих жалоб бывало столько, что Большой Чум не успевал отвечать—жалобы эти отправлялись к самим виновникам с резолюциями: „Дать ответ“; так что жалобы на Кулебякина к Кулебякину же для ответа и попадали. Не знаю, что он с ними делал, знаю только, что, искренне любя простой народ за то, что тот его терпеливо кормит, интеллигентов он терпеть не мог. А байки так и продолжал рассказывать—по-моему, он просто не знал, о чём говорить ещё.

Глава четвёртая

И о каждом из остальных членов писательской организации того времени можно рассказать не меньше—жаль, не располагаю местом, поэтому остановлюсь лишь на тех, кто стал вольным или невольным соучастником *события*. И первым здесь хотелось бы назвать *Алексея Афанасьевича Карманова*.

Сын волжского заводчика, разбогатевшего на строительстве пароходов, он, с младенчества имея тягу к словесности, начал своё образование в привилегированной гимназии, но после революции, подростком, порвал со своими частью оставшимися в живых, частью погибшими, частью разбежавшимися по заграницам родственниками и, искренне поверив в идеалы коммунизма, уехал в Петроград, поступил на завод рабочим и одновременно в вечернюю школу. Мечтал поступить в мореходное училище, стать моряком. Не взяли из классовой бдительности: фамилия была слишком известна. Когда подошёл призывной возраст, удалось стать краснофлотцем. Отслужив на флоте, возвращается на завод, ходит в поэтическую студию вместе с известными впоследствии ленинградскими поэтами. Появляется первая книжка стихов, в наборе—вторая. И попадает под репрессии за хранение у себя книг авторов, уже репрессированных. Десять лет проводит на лесоповале на севере нашей области и ещё семь там же—в ссылке, а после реабилитации оседает у нас в городе и начинает новый период своего творчества, уже прозаиком. Многие ещё помнят этого сухонького человека с измождённым лицом, с полным ртом стальных зубов и яркими лучистыми глазами, молодой блеск которых не загасили ни заключение и ссылка, ни нищета и скитания по городским углам, уже в роли писателя, острого на язык, нервного и общительного, крепко пропитанного матросским жаргоном и лагерной феней, бесстрашного и по-матросски удалого, несмотря на кажущуюся ветхость и наружную невзрачность. В то же время, говорят, всё в нем дышало некой старинной ещё, материковой культурой. Оттого-то, наверное, он и был так притягателен для пишущей молодёжи, кое-что перенимавшей у него по крохам и находившей в нём образец для подражания. А это задевало честь руководства писательской организации и раздражало Большой Чум.

Карманов, несмотря на это, успел издать у нас несколько книжек с рассказами о лесорубах, шоферах и матросах; ему бы с удовольствием запретили печататься вообще, но по иронии судьбы он, недобитый обломок капитализма, единственный из наших писателей хорошо знал жизнь рабочего человека, а тема эта была тогда самой лелеемой, да почти и единственной в издательстве—её искали, её поощряли и пестовали…

Тут я должен прервать рассказ о Карманове и ввести двух персон женского пола, имевших прямое отношение к нашим писателям.

Первая—это заместительница Хвылины по *идеологии* в Большом Чуме и, соответственно, шеф наших писателей (поскольку их причисляли тогда к ведомству идеологическому, как, скажем, врачей и радистов неизбежно брали всегда на учёт в ведомстве оборонном), некая *Клавдия Корнеевна Выжлецова*, женщина рослая, тщательно следившая за собой и, по отзывам современников, собою недурная, если бы её не портили крикливый голос, почти солдатская выправка и печатный шаг.

Кстати, в те годы министром культуры в стране много лет подряд была женщина, и по какому-то негласному правилу везде, от Большого Чума до самого захудалого района, руководителями всей идеологии и культуры—а таковой на каждом уровне обязательно имелся!—тоже были только женщины (может, быть кто-то рассудил так: женщина не столь жёстко будет мять в своих руках культуру, давая ей и некоторую слабину?). Этот женский корпус идеологических начальниц формировался, как правило, из директрис, командовавших школами, клубами и книжными магазинами, более склонных к власти, нежели компетентных в своей сфере деятельности, и недостаток собственной культуры, а также профессиональных и душевных качеств компенсировавших жёсткостью обращения. Эти бедные женщины постоянно путали слова «культура» и «зрелище» и потому предпочтительнее занимались организацией самодеятельных ансамблей пляски под гармошку с балалайкой, а также праздничным оформлением зданий и уличных демонстраций лозунгами и портретами вождей. Кроме того, они надзирали за газетами и типографиями, да ещё успевали сопровождать за рубеж группы спортсменов, художников и актёров, оберегая их от контактов с миром капитализма. Словом, должность хлопотная.

«Наша» Клавдия Корнеевна была из ткачих-ударниц, её долго помнили на фабрике и ласково называли «Клавдюшей». Она закончила десятилетку в селе, ей бы учиться дальше, но в это время был

объявлен призыв комсомола идти после выпуска к станку и на фермы. Клавдюша выбрала станок, уехала в город и поступила на ткацкую фабрику, выбилась там в комсомольские вожаки и двинулась вверх по лесенкам комсомольской, а затем и партийной власти.

Между прочим, по пути в Большой Чум она так же, как и Хвылина, успела закончить ГАОН с защитой диссертации на тему «Роль советской женщины в строительстве социализма», в которой легко доказала, что женщина наша не только догнала, но и перегнала мужчину во всех сферах деятельности, особенно в сфере тяжёлого физического труда, чего ни одно общество в истории ещё не достигало, благодаря чему сама Клавдия Корнеевна получила учёную степень кандидата философских наук и готова была теперь руководить культурой целой области.

Вторая персона женского пола — *Элеонора Ивановна Петрова*, главный редактор местного издательства. Женщина могучего сложения, характер она имела властный и держала издательство в «ежовых рукавицах», к полному удовлетворению Выжлецовой и всего Большого Чума. Директором там был бывший партийный работник, имевший слабость писать стихи, а т. к. вдохновение настигало его прямо на рабочем месте, то в партаппарате его держать не стали, а отдали ему, человеку пишущему, под руководство издательство. А ему того и надо: начальство над ухом не дышит — закроется в кабинете и строчит себе, а как напишет пухлую рукопись — тотчас вызывает редактора, и тот корпит над его книгой: правит, дописывает… Поэтому-то все вожжи там легко забрала в свои руки Элеонора Ивановна.

Однако многие писатели были ею недовольны — очень уж круто она с ними обходилась: быстро отделила хороших от плохих (в зависимости от того, улыбаются ли они ей и дарят ли цветы), сама выбирала, кого печатать, а кого нет, сама читала рукописи, вымарывая всё, что казалось ей недозволенным, а недозволенным ей казалось многое. И хотя при издательстве имелся ещё и цензор — ему после Петровой нечего было делать, и он подчистую спился.

«Плохих» писателей (тех, что писали «недозволенное») она считала личными врагами; те платили ей тем же и, поскольку её девичья фамилия была Шперлинг («воробей» по-немецки), распускали слух, что предки её отнюдь не воробьи, а немецкие кони-тяжеловозы.

И Клавдия Корнеевна, и Элеонора Ивановна любили регулярно беседовать с писателями и во время бесед имели обыкновение невольно стучать в такт речи кулаком по столу. Правда, у Клавдии Корнеевны была ещё одна характерная привычка: во время беседы она любила прочитать в назидание какое-нибудь известное со школьных времён изречение знаменитого писателя, ну, например: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и мысли», — однако записная книжечка у неё была крохотная и изречения записаны с сокращениями, так что зачитывала она их с ошибками, и каждый раз писатели, стесняясь её поправить, сидели, опустив глаза и краснея за классиков.

А почему я начал об этих женщинах? Потому что Карманов постоянно сталкивался с ними. Успев издать у нас несколько книжек, он главным детищем своим считал роман «Дорога в снегу» о временах культа личности и собственных мытарствах в заключении. Если же точнее, то, по отзывам читавших его, это был скорее роман о человеческом мужестве; через роман проходил сквозной образ зимней дороги как символ вечной красоты и неумирающей надежды — по этой дороге среди заснеженных гор и тайги приходится гонять свой грузовик главному герою, работавшему шофёром в «зоне», раскинувшейся на тысячи километров. Однако роман этот он издать не мог, хотя и предлагал издательству много лет подряд, т. к. Клавдия Корнеевна заявила однажды, что роман этот дискредитирует советскую власть, которая будто бы ассоциируется в нём с дорогой среди сугробов, ям и буераков, что это всё — замысел скрытого врага и что роман будет издан «только через наш труп». Причём, по убеждению писателей, сама она романа не читала, а судила о нём с подачи Элеоноры Ивановны, прочитавшей его с красным карандашом в руках, отчего рукопись пестрела красными пометками, словно залитая кровью.

Но что, интересно, Клавдия Корнеевна имела в виду под «нашим трупом»? Если бы она сказала: «через мой труп» — Карманов получил бы хоть какую-то надежду: никто ведь не бессмертен, даже идеологические богини. Вероятно, она имела в виду свою партию, свято веря, что, во-первых, власть партии бессмертна и надеяться на послабления бесполезно, а во-вторых, причастившись каким-то хитроумным ходом мысли к бессмертию её, она и себя чувствовала бессмертной… А роман в издательстве через некоторое время исчез бесследно — уже после гибели Карманова, и потерю его кое-кто считает неслучайной. Так что неправ писатель, сказавший, что рукописи не горят. Увы, горят, и ещё как! И исчезают без следа.

Расскажем и ещё об одном писателе старшего поколения — *Семёне Яковлевиче Финк-Червякове.*

Уроженец одного из наших районных городков, он ещё до войны, будучи восемнадцатилетним комсомольцем, начал трудовую деятельность в органах НКВД. А во время войны стал армейским политработником, закончив войну в чине полковника. После неё, продолжая военную службу, он сочинил и опубликовал роман о коллективизации и борьбе с кулачеством — подобные темы шли

тогда ходко. Как он умудрился его написать — непонятно: ведь надо, по крайней мере, знать, о чём пишешь, а он всегда был горожанином. Видимо, единственная возможность познакомиться с деревней была у него, когда он работал в НКВД, выезжая туда по заданиям *особого рода*.

Выйдя в отставку, Семён Яковлевич приехал к нам и начал энергично вживаться в писательскую среду, придумывая новые по тому времени формы литературной работы: «круглые столы», обмены делегациями, литературные «декады»,— фантазиям его в этом отношении не было конца. Поначалу писатели принимали дружное участие в «мероприятиях» — всё это было подобно камню, брошенному в стоячую воду — но потом потихоньку стали отходить: уставали от шумихи и болтовни, а главное — литературной работе это не только не помогало, а, наоборот, мешало.

Сам он был невысок ростом, усат, ершист и задирист, и — непомерно высокого мнения о себе и своём романе. Несмотря на то, что роман его позднее был безжалостно раскритикован в центральной прессе, он твёрдо считал, что недостойные современники не поняли его, а потому запаял один экземпляр романа в цинковую коробку и завещал положить с собой в гроб, дабы потомки через тысячелетие обнаружили этот экземпляр и вновь открыли Финк-Червякова как писателя. Вдобавок он заказал у местного скульптора собственный гипсовый бюст — облегчить в будущем воссоздание его бессмертных черт в бронзе.

По отзывам помнивших его, Семён Яковлевич обладал талантом говорить много и убедительно на любую тему, поэтому всегда был штатным оратором на писательских собраниях и поэтому же избирался бессменным партийным секретарём первички и представительствовал от писателей в различных инстанциях, вплоть до Большого Чума, где не преминул завести себе друзей.

Полюбил он также поездки с платными выступлениями в сельские районы. Однако Кулебякин, усмотрев в нём соперника во всех отношениях: и в отношении черпания районных денежных запасов, и в отношении возможной смены на посту руководителя, и в отношении популярности вследствие умения устно воздействовать на публику,— на всякий случай начал собирать на него компромат. В первую очередь его заинтересовала подозрительная часть его двойной фамилии — «Финк», из чего Кулебякин сделал умозаключение, что тот является проводником сионистских идей в нашей области. Далее, именно он раскопал в личном деле Финк-Червякова факт сотрудничества того в «органах» и стал распространять по городу слух, что «бывших кэгэбистов не бывает» и что тот по сию пору работает там штатным осведомителем, заслан сюда Москвой собирать «данные» на писателей и на всех работников Большого Чума.

У Кулебякина среди писателей были недоброжелатели, так что его происки быстро дошли до Финк-Червякова: донесли; тот в долгу не остался и принял ответные меры: сколотил группу из недоброжелателей Кулебякина и повёл против него планомерную осаду, надеясь, видимо, в будущем всё же свалить его. Эту осаду он именовал «борьбой за правду», утверждая, что всегда готов ради неё «идти на амбразуры», хотя сам пользовался в борьбе не открытыми сражениями, а письмами, которые относил в Большой Чум или отсылал в Москву, называя их «коллективными», поскольку склонял подписываться под ними всех недовольных Кулебякиным.

Да, Антон Сидорович почувствовал в Семёне Яковлевиче серьёзного противника; то был не Баранов: не уйдёт с обиженно поджатой губой, хлопнув дверью,— поэтому вынужден был предпринять новые меры.

Работа в «органах» сделала Семёна Яковлевича бдительным. А в те годы в народе ходило множество политических анекдотов, так что когда молодые литераторы начинали в писательской компании обмениваться свежими анекдотами — Семён Яковлевич, укоризненно качая головой, грозил им пальцем: «О-ох, Паша (или Петя, или Ваня), в тридцать седьмом бы тебя за такое по головке не погла-адили!» — и демонстративно отходил. Кулебякин же, слыша этот разговор, подходил затем и резюмировал: «Вот увидите, ребята, он вас ещё заложит и получит свои серебреники!»

Так что их организация выглядела тогда скорее военным лагерем, где хорошо вооружённые стороны находились в постоянной боевой готовности — писатели этого поколения как ушли на фронт молодыми, так всю жизнь потом и провели в непрерывных боях: война стала их потребностью… Или, может, виноват настрой, впитанный ими в кровь с песнями пионерского детства: «И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!..»?

Следующий писатель, хотя и придерживавшийся нейтралитета, но своим творчеством приблизивший *событие — Фёдор Матвеевич Зуев*.

Судьба его была настолько запутанной, что мне стоило большого труда распутать её, тем более что последние годы он жил замкнуто и мнения о себе оставил противоречивые.

Из его «личного дела» явствует, что происходил он из крестьян, однако, по сведениям, с малолетства (то есть, имейте в виду, с начала 30-х годов!) беспризорничал, а подростком сидел в тюрьме, так что причины кое-что скрывать о себе у него были (похоже, что и у него — точно так же, как и у Хвылины,—отец-крестьянин был репрессирован, причём, может быть, даже расстрелян!)… Старший сын Зуева, у которого я пытался выяснить некоторые детали жизни отца, тоже не мог ничего

толком рассказать — знает только, что дедушка со стороны отца пришёл в Сибирь каторжником… Между прочим, когда начинаешь выведывать родословную сибиряка — обязательно окажется, что кто-нибудь из его родовы попал в Сибирь не по своей воле, будь то в 18, 19 или 20-м веке, — а потому откровенничать по поводу семейных тайн своих предков у сибиряков не в почёте: а чёрт его знает, — осторожничает он: вдруг да прилетит с какого-нибудь боку за откровенность?..

Не смог я точно выяснить, и какое образование получил Фёдор Матвеевич. Во всяком случае, обременён он им не был — по-моему, не больше семи классов средней школы. Одним словом, писатель-самоучка.

Биография его проясняется лишь с той поры, когда он, будучи корреспондентом молодёжной газеты и выпустив детскую книжицу толщиной в дюжину страниц, приехал в Светлодольск на Всесоюзную Комсомольскую Стройку, где начинал и Хвылина, и поступил рабочим в бригаду, чтобы не просто увидеть всё своими глазами, но и своими руками построить завод и написать об этом правдивую книгу. Своего рода летопись времени.

Несколько лет проработал он, пройдя путь от землекопа до монтажника, и одновременно писал документальную историю стройки в виде дневника, не утаивая никаких производственных и бытовых трудностей. А поскольку стройка состояла почти из одних трудностей, книга получилась острой и интересной. Однако в областном издательстве печатать её отказались. И не только потому, что она была *слишком* документальной.

В своё время в том городке в ночь перед каким-то революционным праздником, когда все должны были ликовать и веселиться, на глухой стене одного дома появилась грубо намалёванная белой краской фраза, расценённая как идеологическая диверсия, что-то вроде: «Когда накормите рабочий класс?». С ног сбилась дюжина кэгэбистов, разыскивая автора. Подозрение пало на работягу, который вечерами что-то строчит в тетрадке, вместо того чтобы пить, как все, водку. Разумеется, это был Зуев. Пришли ночью в общежитие, где он делил комнату с тремя парнями, произвели обыск, потащили в «органы», а все тетрадки изъяли как вещдок. Однако всерьёз придраться ни к чему не смогли и отпустили. Но тетрадки вернули не все.

Фёдор Матвеевич этот факт тоже тщательно скрывал, зная, что любая связь с КГБ настораживает всех; однако слух об этом факте упорно всюду просачивался и неотступно за ним тянулся. Какими путями? Зуев долго ломал над этим голову и пришёл к единственному выводу: «органы» сами сеют этот слух… Информированное же издательство рассудило так: раз таскали — значит, было за что, а бережёного Бог бережёт, — и отказалось печатать книгу под благовидным предлогом: надо поработать над рукописью ещё.

Однако Фёдор Матвеевич, тогда ещё просто Федя, не сдался: поехал в Москву и сумел пристроить рукопись и в «толстом» журнале, и в издательстве. Книга вышла и там, и там, да большими тиражами, да на всю страну, да получила отклики. Федя, как говорится, в одно прекрасное утро проснулся знаменитым. И воспрянул духом. Был принят в Союз писателей, получил большую квартиру, хотя был холост. К нему повалили заказы на злободневные очерки, его имя замелькало в московских журналах… Короче, он первым из наших писателей получил всероссийскую известность, что весьма удручало и Кулебякина, и Финк-Червякова, и прочих писателей.

Известно, молодость не знает меры: зазвенело в карманах — и приоделся щегольски наш Зуев, стал ужинать в ресторанах, откуда-то сразу взялась компания друзей и подруг, стал неразборчив в связях. И подцепил венерическую болезнь. Не подозревая об этом, наградил болезнью случайную девицу, которой захотелось праздника, который всегда с тобой. А девица возьми и окажись дочкой высокопоставленного папаши. Тот поднял шум на весь город.

Тут-то и началось! Зуев и не подозревал, что, становясь известным, льёт масло в огонь… Во-первых, в областной газете появился фельетон, весь из грубых намёков, сквозь которые, однако, всё недвусмысленно и подробно прочитывалось и смаковалось. Во-вторых, Зуева разобрали на писательском собрании. Он горячо каялся — даже, говорят, плакал — и оправдывался тем, что не знал о своей болезни, что дочка того папаши сама была не на высоте, но что, несмотря ни на что, он готов искупить вину: жениться на ней. Трудно теперь установить, искренне он говорил или изворачивался: только чтобы не запретили писать! — однако, судя по всей его последующей жизни (да и предыдущей тоже), облегчённых вариантов её он не искал.

Однако Кулебякин с Финк-Червяковым, забыв распри и проявив удивительное единодушие и высочайшую моральную требовательность, настояли на исключении его из писательской организации, хотя и раздавались робкие возражения: что, мол, организация не монашеский орден, а всего лишь профессиональное объединение и что, мол, каждый может так обмишуриться, но Кулебякин с Финк-Червяковым этих шептунов слушать не стали. Потом размножили протокол собрания с описанием всех подробностей «дела» и разослали в центральные писательские органы, а также в редакции всех издательств и журналов. И Зуева после этого перестали печатать.

А что же он сам? Вылечившись, он женился. Поскольку ни одна интеллигентная девушка за

него бы теперь не вышла, так как уже весь город знал о его «деле» и страшно возмущался: «А ещё писа-атель!»—женился он на молодой рабочей-сварщице и сотворил вкупе с нею четверых ребятишек, бросая вызов всем, кто его осудил: а вот вы, моралисты, готовы совершить подобное? Но, мне кажется, эта демонстрация добропорядочного отцовства разозлила писателей ещё больше… Почему? Я специально интересовался этим вопросом: почему?—и пришёл к следующему выводу: наши писатели (точно так же, как и писатели всей страны) осваивали темы труда, строительства, освоения целины, тайги и Заполярья, которые заказывали им власти; при этом темы семейной любви и семейного тепла властями считались «мелкотемьем» и не оплачивались, поэтому темы эти из литературы той поры исчезли совершенно—или подавались слишком уж иронически. А ведь специалистам-филологам давно известно, что не жизнь дарит темы литературе и искусству, а, наоборот, литература и искусство навязывают людям свои правила жизни! Вероятней всего, из-за этого писатели наши по большей части жили уродливой бытовой жизнью: много пьянствовали и изменяли жёнам (считая всё это изысками творческого состояния души) и имели чаще всего единственного ребёнка в семье, да и того воспитать как следует не умели. Так что, где ж им было брать жизненный материал на темы семейных ценностей? А тут перед ними—демонстративный Зуев с его четырьмя детьми! Как было не впасть в раздражение?.. Причём, по-моему, раздражал он этой своей наглостью не одних только писателей—а всех вокруг…

Как его семья выжила тогда—непонятно: жена, естественно, не работала, и он ничего не зарабатывал. Старший сын рассказывает, как они всей семьёй с ранней весны уезжали в деревушку, занимали там пустующий дом, вскапывали заброшенный огород, засаживали его овощами и картошкой, а пока в огороде ничего не выросло, отец водил малышей на луг; они ползали по нему, искали съедобные корешки и травки и съедали—отец увлёкся вегетарианством и приучал к нему семью. А по мере созревания овощей они съедали поочерёдно редиску, огурцы, морковь, репу, картофель, капусту, так что осенью убирать было уже нечего, и налегке возвращались в город.

Зуев между тем стал молчалив, мало с кем общался, а если и разговаривал, то лишь намёками и полушёпотом, избегая бесед в закрытых помещениях, многозначительно прижимая при этом к губам палец и показывая глазами на выключатели, телефонные аппараты и висящие над головой плафоны, что больше смахивало на психическое заболевание, тогда ещё не описанное: фобию радиоподслушивания.

Через несколько лет он всё-таки начал понемногу публиковаться.

Писал он пока что на самые безобидные темы: о грибах, ягодах, травах, которые успел основательно изучить,—и на эти публикации его смотрели сквозь пальцы, но как только касался серьёзных тем—ему тотчас «перекрывали кислород». Он брал псевдонимы—его выдавал стиль. И если очерк его всё-таки проскальзывал, Большой Чум метал громы и молнии: «Да как он ещё смеет после всего *этого!..*»—и угрозы через третьих лиц передавались ему слово в слово. В местном издательстве рукописи ему упорно возвращали, требуя «дожать» и «довести», а тем временем утверждался план следующего года, и на его протесты разводили руками: «Помилуйте, но вы опять не уложились в срок!»

Сочувствующие говорили ему: «Ты ничего не добьёшься, потому что *там*,—при этом выразительно показывали глазами на потолок,—не хотят тебя печатать. Сходи, поклонись, поплачься—они это любят». И он шёл *туда*, в Большой Чум; однако настоящие Хозяева принимать его не желали, а принимал рядовой сотрудник; он улыбался, горячо жал Зуеву руку, расспрашивал о семье, о детях, потом о делах в писательской организации. Но поскольку Зуев теми делами не интересовался и ничего толком рассказать не мог, если б даже хотел (такое нежелание делиться истолковывалось *там* как *отсутствие гражданской позиции*), а интересовался лишь судьбой своей рукописи, сотрудник кивал, чмокал губами и обещал помочь, но только на следующий год: «Сами понимаете, план ушёл в Москву на утверждение, а нарушать порядок в нашем плановом хозяйстве,—сотрудник удручённо разводил руками,—мы с вами не имеем никакого права». На следующий год всё повторялось, с той лишь разницей, что принимал его новый сотрудник—прежний уходил на повышение.

Шли годы. Уже порядком забылась первопричина такого к Зуеву отношения, а привычка третировать и унижать его осталась.

А что же Зуев? Работая большей частью «в стол», «для потомков», он стал страдать новой фобией: страхом смерти,—и помня пушкинскую фразу: «В России писателю надобно жить долго»,—понимая её буквально: не менее ста лет,—стал много заниматься здоровьем по разным методикам: бегал трусцой, изнурительно голодал, грыз сырые овощи и жевал сырой овёс, пил травяные отвары и собственную мочу, спал на балконе, тряс себя на сконструированном им самим стуле с помощью особого моторчика, вытрясая из организма шлаки, работал, опутавшись проводами, чтобы отводить от себя вредные токи. Увы, ничего ему, к сожалению, не помогло…

Из старшего поколения писателей следовало бы назвать ещё *Елену Чернышёву* и *Ивана Пыхтеева*.

Елена Максимовна Чернышёва, детская писательница, курящая и пьющая дама с хриплым,

пропитым и прокуренным басом, с короткой стрижкой «под мальчика» из чёрных восстановленных волос и вечной «беломориной» в длинных сухих пальцах, была, по воспоминаниям современников, существом безобидным, хотя и ужасно сквернословила, когда бывала пьяна, и обожала рассказывать нецензурные анекдоты, причём не пренебрегала и политическими, а т. к. они расценивались только как диверсии, привносимые *оттуда*, и распространители их были как правило *на примете*, то она тоже числилась в неблагонадёжных.

Уже в те годы у мужчин остались одни воспоминания о лучшей поре Елены Максимовны, когда она ещё была «прекрасной Еленой», сбившей не одного с панталыку и неоднократно сбивавшейся с пути самой. Писала она мало — массу времени отнимало у неё утрясание личных дел: с мужем она давно развелась и в интересующее нас время жила с молодым спившимся журналистом, ровесником двух взрослых её сыновей, устройством которых (т. е. всех троих) она без конца занималась: те, несмотря на свою взрослость, были как-то по-младенчески неустроены и неухожены.

Иван Тихонович Пыхтеев же, по отзывам современников, наоборот, был милейшим, мягкотелым и мягколицым человеком неопределённого возраста, писал такие же мягкотелые, бесцветные произведения, которые можно читать, а можно и не читать, и именно поэтому его у нас в те годы печатали много и охотно. А среди писателей он был известен тем, что изучал и изобретал разные способы плодотворной работы и постоянно экспериментировал над собою: работал то ранними утрами, то ночами, пробовал разные стимулирующие лекарства и травы, проверял на себе влияние биоритмов, благоприятных сочетаний разных светил: Солнца, Луны и планет, — и вычерчивал сложные кривые собственной работоспособности. Но, к сожалению, никакие стимуляторы и графики не помогли ему написать ни одного талантливого произведения, и писатель этот у нас совершенно забыт, причём, как мне кажется, вполне справедливо; благодаря своей осторожности и благоразумию он имеет весьма косвенное отношение к *событиям*, и я рассказываю о нём скорее как о курьёзе.

Глава пятая

Это я рассказал о «наглой молодёжи» фронтового поколения. Но были в организации и действительно молодые, правда, мало: принимали тогда в организацию не без ведома Большого Чума и не с точки зрения таланта, а в первую очередь тех, кто зарекомендовал себя неучастием ни в каких сомнительных предприятиях. А ведь в молодости, даже в самые суровые времена, человек, да ещё склонный к писательству, подвержен соблазнам, бесу фрондёрства и авантюризма, поэтому моложе тридцати туда не принимали вовсе; кроме того, много талантливых молодых людей, не умевших выполнять условия компромисса с Большим Чумом и с Кулебякиным, не печатались вообще; они вынуждены были зарабатывать на хлеб кочегарами, дворниками и сторожами и притворяться, что к творчеству не имеют отношения — иначе их безжалостно преследовала милиция; большинство из них не выдерживало двойной жизни: спивалось, кончало с собой или попадало в психбольницу. Так что тех из молодых, кто миновал все преграды и в виде приза стал членом Союза писателей, нашлось в нашем городе только четверо, и первым среди них я назову *Вадима Ерохина*.

Будучи молодым учёным и начав писать фантастические повести, он создал в городе клуб любителей фантастики, где эти любители собирались вместе, чтобы, главным образом, обмениваться книгами, которые в те годы были страшным дефицитом и своеобразной валютой. Надо заметить, что ко всяким несанкционированным собраниям власти относились подозрительно, боясь как чумы крамолы; они засылали в этот клуб соглядатаев, а потом распускали слухи, что там занимаются оккультизмом, или гомосексуализмом, или антисоветской пропагандой, и на основании собственных же слухов собрания запрещали. Любители фантастики собирались тайком, с конспирацией, на частных квартирах, на пустырях или в лесу, но их выслеживали и там тоже и разгоняли, а активистов, в том числе и Ерохина, приглашали в «органы», интересовались мировоззрением и предупреждали, что при непослушании они как злостные тунеядцы будут высланы в леспромхозы, под надзор милиции, и там должны будут работать в принудительном порядке, а перевоспитанием их займутся условно освобождённые уголовники-лесорубы, а те миндальничать, как здесь, не будут — там интеллигентикам быстро рога обламывают, а самых строптивых, собравшись кучей, простите за грубость, петушат, и никакая власть их не защитит, потому что они вне закона: они тунеядцы!

Для тех кто уже забыл за давностью лет или не знает по молодости, я напомню, что слово «органы» обозначало не какие-то анатомические части тела, которые неловко называть вслух, а, объясняясь старинным юридическим языком, учреждение политической сыскной полиции; называлось оно тогда Комитетом государственной безопасности, или КГБ. Но поскольку эти три буквы вызывали у людей крайне неприятные ассоциации, то их и заменили эвфемизмом «органы».

«Органы» эти в нашем городе находились под боком у Большого Чума, распухая и разрастаясь год за годом, и, в конце концов, заняли целый квартал, ставши самым крупным учреждением — крупней

даже, чем Большой Чум. И называли их «органами», а не «органом», потому что «органа» было, собственно, два: КГБ и УВД,—и где кончался один и начинался другой, было непонятно, т. к. всё *это* срослось вместе и находилось под одной крышей, только с разными входами. Имело это здание очертания замкнутого квадрата с внутренним двором, или, выражаясь архитектурным термином, *каре*. Было оно пятиэтажным и серым, с узкими зарешеченными окнами, как бойницы средневековой крепости, и с чёрными стальными воротами, створки которых, лязгая и громыхая, автоматически открывались и закрывались, ежеминутно впуская и выпуская легковые и крытые грузовые машины—там вовсю кипела непонятная непосвящённому жизнь, страшноватая своей таинственностью.

Все тогда знали, что, кроме штатных работников КГБ, которые занимали бесчисленные кабинеты в том здании, были ещё и сексоты, т. е. секретные сотрудники, внедрённые во все городские учреждения. Были они и в писательской организации, и все знали об этом, хотя никто точно не мог сказать: кто?.. Это, кроме капитана КГБ, скромного молодого человека, прикреплённого к ней официально; он регулярно наведывался, всегда в сером штатском костюме с обязательным галстуком—чтобы посидеть на собрании, послушать, о чём говорят и шепчутся писатели, да побеседовать с руководителем и партийным секретарём…

Но мы отвлеклись от Ерохина. А тот после столкновения с «органами» приходил домой и всю молодую ярость выплёскивал на страницы фантастических повестей, где у него без конца стреляли и убивали, убивали, убивали—с помощью лазерного, фотонного, биоэнергетического и прочего оружия…

Кроме творчества, он с удвоенной энергией брался за отвоевание своего места в мире; он боролся со всеми: с теми «высоколобыми», кто считал фантастику второстепенным, трамвайным чтивом, и с теми, кто подозревал её в протаскивании не *наших* идеалов: герои её осваивают новые космические пространства?—явно захватническая идеология; без конца стреляют?—воспевание культа жестокости; носят краткие звучные имена?—нездоровые симпатии к Западу; попадают в космические катастрофы?—намёки на несовершенство *нашей* техники; и вообще, не состоит ли вся фантастика из сплошных намёков, а потому не стоит ли всю её раз и навсегда запретить?

Поскольку писатели старшего поколения неохотно впускали Ерохина в свои ряды, чуя в нём плодовитого и напористого соперника, он объявил им войну, переняв их же оружие: длинные письма в Большой Чум и распространение слухов, обвиняя в них Финк-Червякова в сионизме, Кулебякина—в угро-финском национализме, главного редактора Петрову—в немецком засилии, а остальных—в бездарности и завистливости, и пользовался этим оружием с присущей ему изобретательностью.

Потеснив с помощью такого бешеного напора местных писателей и запугав дирекцию издательства, он сумел издать две книжки, а затем обратил взоры на Москву. Не знаю, каким образом он завоёвывал московские издательства, но только после издания там ещё двух книжек, примерно к сорока годам его, успокоившегося и научившегося мало-мальски в своём, не менее буйном, чем он сам, творчестве вписываться в плавные берега соцреализма, местные писатели признали, наконец, за своего и приняли в свои ряды.

Во время приёма он устроил коллегам традиционную выпивку, а подвыпив, слёзно каялся во всех гадостях по отношению к ним и просил прощения; однако подвыпившие коллеги его, будто бы, в долгу перед ним не остались: крепко отмутузили за всё сразу, так что он потом недели две ходил с синяками, хотя жаловаться никуда не стал, приняв их как должное—даже, наоборот, после этого жил со всеми в мире и согласии.

Остальные трое были поэты: *Аркадий Светлый*, *Гоша Худяков* и упомянутый ранее Варфоломей Имангильдин.

Не в моей компетенции раздавать им места; это даже не компетенция литературоведов, а только Времени, да и оно приступит к своей обязанности не ранее, чем все будут в равном положении, т. е. на кладбище… Дело в том, что один из поэтов, Аркадий Светлый, до сих пор жив. Правда, живёт он теперь далеко от нас, на родине, где родился и вырос, пока судьба не занесла его, молодого специалиста с университетским дипломом, к нам, чтоб он родился здесь уже как поэт. «Светлый», как вы, верно, догадались—псевдоним.

Псевдоним, в сущности, раскрывал содержание его стихов, бодрых и светлых—комсомольских, одним словом, которые он обильно публиковал и у нас, и в Москве—такие стихи в то время поощрялись и имели спрос. В общем, благополучный поэт, да к тому же и характера золотого: добрый, общительный, имел полгорода друзей, со всеми на «ты», для всех Аркаша или Аркан, свой в доску парень. От девушек отбоя не было, как от мух на патоку, пока не женился и не остепенился. Чего ещё желать от судьбы?

Но, оказывается, хотелось ещё чего-то… С некоторых пор, а точнее, когда он решил, что защищён известностью и комсомольским лауреатством—ибо человек он был, по-видимому, всётаки осторожный—начал он развлекать друзей эпиграммами на известных в городе лиц, в т. ч. и на «хозяев» области; а поскольку жанр этот из-за всеобщего страха был крайне редок, эпиграммы

его, благодаря бойкости их, остроумию и лёгкости рифм, быстро запоминались и разлетались по городу.

Ну и что, казалось бы? Попробовал бы кто-нибудь припереть его за это к стенке, пригласить на беседу—уж он бы ответил достойно! Да для начала докажите хотя бы авторство!.. Но никто его никуда не приглашал, к стенке не припирал, и стихи его, другие, «правильные», по-прежнему шли ходко. «Не то время сейчас!—задиристо отвечал он тем, кто советовал быть осторожней.—Слабо им мне рот заткнуть—они теперь нас боятся!»

Но с некоторых пор вокруг него стали случаться странные вещи.

Однажды кто-то залез среди бела дня в его квартиру. Правда, ничего не взяли, только что-то искали, а больше того напакостили: расшвыряли по полу всю библиотеку, рассыпали архив, рукописи… Причём соседка видела воров: вышли, говорит, из квартиры двое молодых ребят в спортивных костюмах; особого внимания она на них не обратила, потому что у Светлых постоянно гости. Тогда они посмеялись с женой: экий нынче эстетствующий вор пошёл: не хотят к богатеньким лезть—поэта им подавай!

Но когда он вышел однажды в весёлом расположении духа из одной дружеской компании, где и выпил-то всего два бокала шампанского, поскольку торопился домой, его подхватили под белы ручки четыре молодца в милицейской форме, запихали в серый «воронок» и отвезли в медвытрезвитель, причём схватили единственного, в то время как через пьяных в тот вечер можно было переступать; а в вытрезвителе над ним произвели все унизительные процедуры, вплоть до насильного раздевания догола и ледяного душа, и потешались над тем, как он в крайнем возмущении протестовал и доказывал, что совсем не пьян, что он известный поэт и что стоит ему позвонить заместительнице Хвылины Выжлецовой—и они будут наказаны за самоуправство… Вот тут-то, по их хамским улыбкам, а особенно по одной реплике: «Да-да, тот самый!»—он вдруг понял, что они поймали того, кто им нужен.

Но самое-то удивительное произошло наутро, когда он, вернувшись в ужасном состоянии духа домой и развернув областную газету, прочёл гнусный фельетон о себе, совершенно несоразмерный деянию: известный-де в городе поэт (фамилия не названа, но легко угадывалась), занятый, главным образом, производством распускаемых по рукам грязных стишонок, порочащих честных советских людей, а стало быть, и весь советский строй, сам оказался не на высоте: пьянствуя, попал в заведение, созданное к услугам таких вот, с позволения сказать, «поэтов», но даже и там успел напакостить и оскорбить людей, которые так заботливо ухаживали всю ночь за ним и ему подобными… Но удивился он не самой стряпне—она, видно, была обязательным финалом в этом фарсе—удивился иному: хорошо знакомый с газетным производством, он прикинул по времени: чтобы эта газета вышла утром, её начали распечатывать в типографии часов в восемь вечера, почти одновременно с тем, как его привезли в вытрезвитель. Но он ещё не успел там ни с кем поругаться! Вот это оперативность! А ведь фельетон надо было ещё написать, сдать в набор… Судя по тем потугам на сарказм и иронию, какие выжимал из себя автор, скрывшийся под фамилией «А. Петров» (среди журналистской братии в городе такого не числилось—всю её он знал в лицо), над этой стряпнёй трудились не один час… Стало быть, она была готова задолго до злополучных бокалов шампанского, в расчёте на то, что когда-нибудь он да попадётся. А раз не попадается—надо устроить, чтоб попался? Надо держать начеку «воронок» с четырьмя молодцами, выследить, скрутить, потом сообщить в редакцию, а в редакции запустить материал?.. Это что же: чтобы дискредитировать его, работала целая команда?.. И когда это выстроилось в его голове в ряд—он понял: они могут *всё.* И стал осторожнее. Сатирические стихи и эпиграммы писал он теперь редко и ещё реже показывал.

Но, оказывается, тогда он понял ещё не всё. А вот всё-всё-всё, до самой последней точки, понял только после одной встречи в переулке.

Он сразу почувствовал тогда: те двое, что появились сзади и нагоняют его, будут с ним что-то делать, потому что один из них негромко окликнул: «Эй, погоди-ка!» Он огляделся: темновато; редкие прохожие идут мимо, да что толку—никто ведь, в случае чего, не поможет, и эти двое своё дело всё равно сделают. Он, конечно, и не подумал ждать, но и не побежал трусливо—решил, что может и сдачи дать, пусть их даже двое: когда-то, в студенчестве, занимался в секции бокса, так, может, именно для сегодняшней встречи и занимался, и не всё ещё забыл? И вот они, торопливо похрустывая снежком, догнали, отнюдь не пьяные, как ему сначала показалось, деловито заглянули в лицо, будто желая убедиться, что он—тот самый, кто им нужен, и он, хоть и в темноте, а увидел, что это *двое молодых парней в спортивных костюмах*: отчётливо вспомнилась фраза соседки про тех, что залезли в квартиру, и успел ещё удивиться точности совпадения… И тут его, не дожидаясь, пока он станет в боксёрскую стойку, ударили по голове чем-то таким, что не оставляет следов, и он упал.

Потом его лечили от сотрясения мозга… Господи, как он каялся тогда, что не переехал в Москву! Хотелось оставаться поближе к жизни, к друзьям… Вспоминал своих московских друзей с их жалобами на душную атмосферу; их нытьё казалось ему отсюда таким смешным и наивным…

Вылечили его хорошо—обошлось без осложнений. Но именно с тех пор он действительно всё понял, а про эпиграммы и думать забыл.

Что Варфоломей Имангильдин—урупский поэт, мы уже говорили. Но поскольку у урупов ещё не сложился свой национальный культурный центр, Варфоломей вынужден был жить и работать здесь, у нас, в областном центре.

Был он невысок ростом и из-за щуплости своей похож скорее на подростка со смуглым лицом и буйным чубом из жёстких, как сапожная щётка, чёрных волос, закрывающих лоб, так что глаза его, две узких щёлочки, оставались в тени, и было непонятно, насмешничает он или серьёзен.

О нём у нас ходило много легенд. Одна из них—что он сын и внук настоящих шаманок (в его роду, будто бы, шаманство передавалось по женской линии), хотя мать его занималась шаманством, боясь советской власти, уже тайком и в самых крайних случаях: только если надо было вылечить человека; однако её, в конце концов, забрали и увезли куда-то, и шестилетний Варфоломей, оставшись с бабушкой, больше её не видел…

Поговаривали, что он сам хранит секреты камлания, и когда у него спрашивали: в самом ли деле?—он отвечал с достоинством: «А я и так всю жизнь камлаю!»—и было непонятно: в переносном или прямом смысле он говорит?..

Чтобы придать своему образу экзотики, он носил куртку с нашитыми на ней бубенчиками и бахромой из цветных ленточек; ленточки при ходьбе развевались, а бубенчики позванивали. Кроме этой куртки, носил он ещё, исключая лишь жаркое лето, лохматую россомашью шапку.

Следующая легенда—о том, как его, восьмилетнего, какие-то чужие взрослые люди отняли у бабушки: будучи своевольным, он при этом кусался, брыкался и сбежал от них в лес, но его всё же поймали, усадили в лодку, увезли в районный посёлок и сдали в школу-интернат…

Однако учиться ему понравилось, хотя он и скучал по бабушке, по чуму, по дикой тайге, по кочевым оленям, белкам и бурундукам, по рыбам, гуляющим в холодной быстрине рек, по диким гусям, летящим в небе; и, может быть, именно от этой тоски он полюбил русские стихи о природе, звучные и всегда почему-то грустные, а потом и сам стал слагать их, только на урупском—ими пела его душа, и он даже не понимал, откуда они у него: то ли слыхал их когда-то в виде материнских песен, то ли бабушкина колдовская душа посылала их ему через леса и реки как заклинания, то ли сам их сочиняет?..

Эти стихи помогли ему к восемнадцати годам не стать ни воришкой, ни попрошайкой у магазина, как его сверстники из интерната… А поскольку бабушка к этому времени умерла, мать пропала бесследно, а отец замёрз пьяным в тундре так давно, что Варфоломей его не помнил—ему некуда было деться, и его отправили в Ленинград, в Институт народов Севера.

Третья легенда—о том, как он попал к нам в город.

Науки в Ленинграде давались ему трудно. Особенно политические; в них надо было уметь абстрактно мыслить и учиться ненавидеть, отнимать и перераспределять. Душа его противилась этому, не принимала, и вот на излёте третьего курса, когда по Ленинграду брела холодная дождливая весна, после нескольких попыток сдать очередной экзамен, устав от сражений с преподавателями, он напился, а напившись, вспомнил родину, тайгу, бабушку—и заплакал; а заплакав, выломал в своей комнате с десяток паркетных клёпок из пола, с помощью конспектов разжёг из них костёр и запел горловым, надрывающим душу голосом давно сложенную песню… За сей хулиганский поступок его изгнали из института, а поскольку денег на обратную дорогу не нашлось, он пришёл к нам из Ленинграда пешком, покрыв за лето расстояние в четыре с лишним тысячи километров.

Прямо с дороги, грязный, оборванный и голодный, в разбитых кедах и с котомкой за плечами, он попытался пройти в редакцию молодёжной газеты, чтобы показать тетрадку сочинённых дорогой стихов и попробовать продать несколько из них, но не смог проскользнуть мимо вахтёрши, не желавшей впускать оборванца. Не зная, что делать дальше, он пошёл ночевать на вокзал, в этот вечный приют бездомных; милиция, знавшая там каждого бродяжку, задержала его, занялась выяснением личности, выудила из его котомки тетрадку стихов и пригласила самого популярного в городе поэта Аркадия Светлого совершить над ними суд, поскольку Варфоломей безнадёжно пытался доказать милиционерам, что стихи—его собственные.

Светлый, прочитав, удивился их первозданной и вместе с тем изысканной наивности и чистоте: поскольку ни урупского литературного языка, ни урупского алфавита ещё не существовало, Имангильдин записывал как бы русские подстрочники своих дорожных стихов и песен, и подстрочники эти звучали на русском как великолепные верлибры!.. Аркадий выпросил Варфоломея у милиции «под свою ответственность», привёз в свою, тогда ещё холостяцкую, квартиру, заставил отмыться в ванной, дал ему свои штаны и рубаху, и они несколько суток подряд общались; много пили, но и говорили много, читали стихи, рыдали над ними от восторга и пьяного умиления, и опять говорили—то был для них прекрасный праздник общения и братства душ, обильно омываемого сухим вином, портвейном, вермутом и водкой—всем, что имелось в винных отделах ближайших магазинов.

А потом Аркадий сам отпечатал его стихи на машинке и побежал с ними оповещать редакторов газет, что в мире родился поэт — чтобы они поторопились скорее открыть его городу и миру.

Это уж потом, когда Варфоломей прижился в городе, в одной из дружеских компаний, он назвал Большой Чум Большим Чумом, а Стефана Маркаврелиевича Хвылину — Хозяином Большого Чума, и с тех пор никто по-другому их уже и не звал. И когда вокруг возмущались тем, что Хвылина не делает того или этого, то Имангильдин возражал им на это, что настоящий Хозяин и не должен ничего делать! Единственное, что он должен — это мешать всем жить, иначе кто ж будет принимать его всерьёз? При этом щёлочки Варфоломеевых глаз были настолько узки и непроницаемы, что оппоненты терялись: смеётся он над ними — или это он серьёзно?

Летом он пропадал на севере области среди соплеменников, а на зиму возвращался в город и подрабатывал в котельной кочегаром. Там же он и жил, и пописывал свои стихи. Стал издавать книжечки. Его даже поощряли издаваться: это оказалось престижно для издательства — развивать литературу *малого* народа: во всех докладах и отчётах, вплоть до Москвы, все, кому это было нужно, отчитывались теперь о создании в нашей области литературы урупов, которые до революции были дикими и неграмотными, а теперь у них есть даже собственный поэт!.. Его стихи стали появляться в антологиях, а его имя — в справочниках. Совместно с одним учёным из нашего города, специалистом по языкам малых народов, Варфоломей стал разрабатывать алфавит и словарь урупского языка и переводить свои стихи с русского на урупский.

Казалось, всё складывается прекрасно. Уже и однокомнатную квартиру ему дали. Да вот беда: кроме стихов, он начал однажды писать ещё очерки о положении своего маленького народа, который именно в советское время стал вымирать от непривычного образа жизни: от мучной и консервированной пищи, от водки и безделья, оттого что леса вырубали, а реки забиты гниющим лесом, и урупам не на кого стало охотиться, рыба исчезла, моховые оленные пастбища испорчены вездеходами и буровыми вышками геологов, круглый год ищущих нефть, золото, медь, железо, уголь, уран; дети урупов, живя в интернатах, отвыкали от природы и забывали родной язык, а полуграмотные национальные руководители превратились в тупых чинуш… Однако от этих очерков редакторы шарахались — от него ждали другого: как мудрая политика партии принесла, наконец, его народу счастье, освободив от вековой темноты.

Был у него один маленький порок: любил выпить и легко потом пьянел: не хватало в его первозданно здоровом организме какого-то фермента, перерабатывающего алкоголь. Напившись от гонораров за стихи, он приходил в вестибюль Большого Чума, махал рукописью очередного отвергнутого очерка и требовал, чтобы его допустили к самому Хозяину. Дежурный милиционер, охраняющий беломраморную лестницу с красной ковровой дорожкой, ведущую куда-то высоко вверх, в гулкие апартаменты, очень вежливо усаживал Варфоломея в солидное кресло возле себя и говорил, что сейчас позвонит, и Варфоломея примут, а сам тем временем, зайдя за стеклянную перегородку, звонил в медвытрезвитель. Воронок прилетал молниеносно; входили молодцы в милицейской форме, брали щуплого Варфоломея под руки и буквально выносили его, а если он сопротивлялся — так ещё и поддавали ему, но — уже внутри воронка: «Ах ты, обезьяна узкоглазая, и ты туда же!..»

И последний поэт — Георгий Худяков, или попросту — Гоша. Причём «последний» не значит, плохой — просто рассказывать о нём трудно: Гоша был сущим наказанием для писательской организации. Да и для города тоже…

В истории мировой литературы веками сложился устойчивый образ поэта как пьюхи и праздного гуляки.

Седая глубина времён: Будда, пока ещё и не Будда вовсе, а лишь принц крови Сиддхартха сидит под деревом, мучительно постигая Истину; ещё безмятежно качается в люльке и глубокомысленно сосёт палец будущий отец диалектики грек Сократ, а в это время другой грек, поэт Анакреонт, уже вовсю дует вино и прославляет в стихах пьянство, закладывая под него, под это самое пьянство, на тысячи лет вперёд крепкий фундамент простой и весёлой мудрости, «анакреонтики»: «Что же сухо в чаше дно? Наливай мне, мальчик резвый…»

Лет 500 спустя (медленно тогда время катилось!) римский поэт Катулл (1 в. до н. э.) вторит ему: «Наливай мне вино покрепче в чашу… Ты же прочь уходи, вина погибель, ключевая струя, ступай к суровым…»

800 лет спустя после Катулла, уже на другом конце света, ему вторит китаец Ду Фу (8 в. н. э.) — заметьте, сколь интернационален образ пьюхи-поэта, как размашисто шагает он по дольнему миру и как заметно крепчает в стихах вино: «Обычай этот мне судьбою дан — закладывать кабатчикам одежду: уже с утра лелею я надежду, что к ночи буду совершенно пьян…»

А вот вам, пожалуйста, перс Омар Хайям (11 в., 300 лет спустя после китайца Ду Фу): «Хочу упиться так, чтоб из моей могилы, когда в неё сойду, шёл винный запах милый…»

А вот Пьер Ронсар (француз, 16 в.) — уже Ренессанс в расцвете, уже рукой подать до нас: «Лей в бокал вино хмельное, чтоб забылся сном разлад, что во мне яриться рад, душу бедную терзая, словно кролика — борзая».

Восемнадцатый век; с каким удовольствием подхватила знамя пьянства молодая русская поэзия!.. Пунш, шампанское, пирушки — не последние слова в поэтическом словаре у патриарха русской анакреонтики Державина…

Не будем ворошить хрестоматийных строк на эту тему у блистательного нашего Александра Сергеича, который вместе с благословением Гаврилы Романыча принял из дряхлеющих его рук и эту тему…

А «анакреонтика» пушкинской плеяды?.. А — чуть особняком — насыщенная брызгами шампанского хмельная поэзия его современников Дениса Давыдова и Николая Языкова!.. А надрыв «Цыганской венгерки», этого гимна пьющих людей, Аполлона Григорьева: «Что за горе? Плюнь да пей! Ты завей его, завей верёвочкой горе…»

А вот уже и 20 век на дворе. Зачинатель его, печальный и одинокий А. Блок отнюдь не чурался алкоголя ни в жизни, ни в стихах… Тема загулов в стихах С. Есенина стала притчей во языцех и ещё у всех на слуху…

На тему «Поэзия и пьянство» можно написать диссертацию, не менее чем докторскую. Выводом её, думаю, будет, что воспеваемое в стихах пьянство скорее всё-таки поэтический образ отрешённости от суеты или, наоборот, от размеренного быта, символ желанной и недостижимой праздности поэта — ведь все перечисленные классики алкоголиками отнюдь не были, потому как алкоголизм и серьёзный вклад в поэзию несовместимы.

Наши же местные поэты, не имея, к сожалению, достаточной культуры и образования, понимали заповедь пить вино слишком буквально: как инструкцию к исполнению. И самым истовым исполнителем этой заповеди был Гоша Худяков. Даровитый от природы, пил он, говорят, просто зверски, не зная меры, недели, месяцы и годы подряд, не просыхая ни днём, ни ночью, пропивая свои и чужие деньги, причём, по большей части, всё-таки чужие, занятые в долг, пропивая здоровье, безжалостно разрушая свои сердце, печень и нейроны головного мозга. На занятые им у приятелей и знакомых тысячи рублёвок, трёшек и пятёрок можно было, наверное, построить дом и купить впридачу самую дорогую в те годы машину — «волгу»!

Впрочем, активно помогали ему стать таким сами приятели и знакомые. Да и их ли то вина, если в те времена, скудные на развлечения, каждый развлекался как мог; в обычае были кухонные застолья, в которых сходились за бутылкой друзья и единомышленники; в комнатах не пошумишь: за перегородкой спят дети, за стеной всё слышат соседи, а в тесной кухоньке, во-первых, всё под рукой, а во-вторых, кругом защита: тут — окно, тут, за перегородкой — своя же квартира; остаётся, правда, потолок, но, в крайнем случае, можно и шёпотом говорить, да ещё при этом включить радио… Когда же общение в узком кругу приедалось, приводили новенького. И пока у Гоши были острая память и приличный вид, его приглашали с гитарой в разные интеллигентные компании, и он там пел, или, точнее, читал нараспев под гитару свои и чужие стихи.

Ему нравилось быть бродячим поэтом-бессребреником, беспутным и свободным — это был такой милый, не увядающий веками образ Поэта, певца Красоты, который уже тысячи лет бродит по земле, кочуя из страны в страну: в доброй старой Англии то были «барды», в прекрасной Франции — «менестрели», в добротной Германии — «ваганты» и «галиарды», в старом романтическом Провансе и солнечной Италии — «трубадуры»; они скакали на лошадях песчаными тропами Персии, Аравии и Бухары, уходя от немилости одних тиранов и ища милости у других, брели в монашеском одеянии с дорожным посохом в поисках всё той же Красоты по дорогам Китая, со смиренным видом «слепцов» месили пыль украинских шляхов… Но Россию все эти тысячи лет почему-то обходили они стороной: то ли здесь не до них было, то ли слишком чёрствым и горьким казался этот огромный, на полсвета, ломоть земного каравая?.. И вот пришёл черёд России, опоздавшей, как всегда, ко всеобщему пиру, и пришёл именно в те времена, о которых речь; словно спящий вулкан задышал, словно встрепенулась от сна душа народа — из самых недр его стало выносить массу «бардов» и «менестрелей», поэтов, певцов, гитаристов, знаменитых на всю страну — или известных лишь в своём околотке… И Гоша был одним из них.

Он мог ночи напролёт читать под гитару стихи, под звон, разумеется, стаканов, и больше всех зелья доставалось ему, потому что компаний было много, а он один; слушатели, размазывая по лицу пьяные слёзы восторга, щедро наливали и чокались с ним: «Какие таланты на Руси пропадают! Выпьем, Гоша, за твой талант!» Но именно от такой жизни он и пропадал: стал опускаться, пообносился, почернел лицом, стал ходить по гостям абы только напиться, а напившись, хамил и куролесил, обзывал хозяев «жлобами» и «сытыми мордами», и в приличные компании его больше не приглашали.

Его знали в городе все забулдыги и вся милиция; его знали во всех пивных, закусочных и распивочных; он переспал на всех скамейках города; в обоих городских вытрезвителях он был завсегдатаем; в конце концов милиция перестала его туда отвозить ввиду его вечной несостоятельности; поскольку вытрезвители были учреждениями хозрасчётными, а потому жульничали: забирали у милиции клиентуру посолидней, а когда та привозила бомжей — отказывалась брать: «Мест больше нету!», — и тогда милиция подбрасывала

бомжей коллегам в другой район, или просто не замечала в упор—как, например, Гошу, когда он, уже не в состоянии добраться до своей конуры, сам набивался к ним, витиевато их понося.

Впрочем, когда ночами у них было мало работы, а он не настолько бесчувственен, чтобы возиться с ним—они увозили его к себе в участок, и он развлекал их анекдотами и похабными частушками, которых знал превеликое множество, частью сочиняя сам, а частью—коллекционируя…

Да, в конце концов, отбросив ханжество, что такое вино и водка для человека? Не есть ли оно наименее вредное лекарство от стрессов, заторможенности, чувства угнетённости от бесконечных запретов, которые накладывает на тебя кто только может? И уж кому как не поэту хочется освободиться от проклятых запретов—поэтому, видимо, все наши местные поэты, мягко говоря, не чурались этого лекарства. Да в те годы всё население области лечилось главным образом только им, и употреблялось оно в изрядных количествах: согласно статистике, употребление его составляло у нас около 36 декалитров в год на душу населения, или по литру в день, включая немощных стариков, старушек и невинных младенцев; сколько к этому на душу населения приходилось ещё и самодельного зелья—статистика, разумеется, не знала. Лечиться этими простыми средствами предпочитали все без исключения, начиная с бомжей и кончая Большим Чумом…

Кстати, к этому времени относится и один примечательный случай в нашем городе, подчёркивающий, как необходим был сей продукт.

Поскольку хозяйство было плановым, в областном плановом управлении при перепечатке ведомости расчёта на следующий год в графе «спирто-водочные изделия» простая машинистка ошиблась и не допечатала нолик… Всего-то! Ведомость в таком виде подписали и отправили в Москву. Москва, не вдумавшись в цифру, соответственно, спланировала производство и поставку в нашу область упомянутых изделий ровно в десять раз меньше.

Что тут началось!.. Как только миновал Новый год, уже к Рождеству, винные отделы в магазинах опустели; с утра и до глубокой ночи возле них стояли раздражённые толпы, готовые в любой момент начать громить витрины или—что самое страшное!—хлынуть демонстрациями по улицам, так что вокруг этих толп дежурила милиция; на всякий случай введены были войска в полной боевой готовности; город фактически оказался на военном положении. Рабочие на заводах бросали работу и устраивали сидячие забастовки; городской транспорт ходил с перебоями; владельцы частных машин и шофёры государственных, плюнув на работу, кинулись искать остатки спиртного по сёлам, а наиболее решительные помчались в соседние области. Началась дикая спекуляция: за трёхлитровую банку самогона отдавали костюм, пальто, телевизор. Стали исчезать годные для перегонки продукты, причём в следующей последовательности: сахар, мука, крупы, соки, томатная паста; затем настал черёд овощей: картофеля, моркови, свёклы… В парфюмерных магазинах исчезли одеколоны и духи, потом лосьоны и дезодоранты, потом кремы, пудра и зубная паста, в хозяйственных—аэрозоли и мебельные лаки, политура и тормозная жидкость, в аптеках—все жидкие настойки, вплоть до корвалола и бриллиантина… В городе вспыхнули воровство и грабежи; милицейские участки и кпз были переполнены, растерянная милиция не знала, что делать, как успокоить народ… Ситуация грозила перерасти в неуправляемую и перекинуться на соседние области.

Большой Чум превратился в боевой штаб, заседавший сутками, спасая положение. Среди жителей был пущен слух (поскольку слухи работали лучше газет и радио), что ситуация—результат происков западных подрывных сил; и, будто бы, в подтверждение этого, «Голос Америки» и в самом деле объявил о крупных беспорядках в нашем городе и—чуть ли не об организованном сопротивлении народа засилью коммунистов. Какая чушь!..

Спасти ситуацию можно было, только наполнив винные отделы магазинов, а наполнить их без помощи Москвы наш Большой Чум был бессилен. Медленно раскручивала свой тяжкий маховик плановая система, исправляя ошибку; долго ползла улита, пока доползла до Великого Курултая, который наконец уяснил, насколько серьёзна обстановка в области, и посвятил сложившейся ситуации чрезвычайное заседание. Пока это были нагруженные железнодорожные эшелоны, и эшелоны эти поползли по направлению к нам… Говорят, Великий Курултай всерьёз рассматривал вариант срочной проброски спиртопроводов из соседних областей для перекачки к нам спирта; вариант отклонили: спирт до нас, конечно бы, не дотёк—его бы растащили на первом же десятке километров… В конце концов, ситуация была спасена—винные магазины снова забили доверху вином и водкой. Славу спасения города и области, как всегда, взял на себя Большой Чум…

Итак, я представил здесь почти всех членов тогдашней писательской организации, не считая творческой молодёжи, которая хаживала туда, приобщаясь к тайнам писательской кухни, да несколько женщин-литературоведш из местного пединститута, которые подвизались на ниве литературной критики: изредка писали рецензии на книги и ещё реже издавали собственные книжицы. Кое-какие из них я разыскал в надежде выудить

живые детали той литературной атмосферы, но — дохлый номер: рецензии были или не меру — чисто по-женски — восторженными и сладенькими, или уж вовсе уничтожающими; возможно, и то и другое им заказывалось кем-то, и они — ни на шаг в сторону от заданной темы; или уж накручено столько наукообразных словес на голом, можно сказать, месте, что книжек этих, похоже, никто не в состоянии был осилить, так что женщины эти, уверен, никакого влияния на литературный процесс не оказывали.

Как вы, должно быть, уже обратили внимание, почти все наши писатели и поэты не были ни знаменитыми, ни пробивными, скорей, наоборот, по-провинциальному смирными и запуганными, в чём-то неудачливыми и робкими, хотя каждый из них и был по-своему индивидуален; но почти все они каким-то образом, а иногда и самим фактом своего существования были полны всяческих напряжённых состояний и конфликтов: они конфликтовали и между собой, и поколениями, и, наконец, все вместе задевали интересы Большого Чума — они просто мешали ему заниматься своим делом и быть самим собою! А поскольку конфликты обычно имеют тенденцию к развитию, то они чреваты были и серьёзными последствиями… Уж, казалось бы, на что далёк от Большого Чума Худяков — настолько был он простодушен и безобиден; ведь горько пьющий поэт для любой власти — благо: как правило у неё своих проблем по горло… Однако и Худяков оказался едва ли не на остриё конфликта.

Глава шестая

Итак, следя за судьбой Хвылины, мы остановились на том, как сорока пяти лет от роду он взошёл в Большой Чум полновластным Хозяином. Не «назначен», не «выбран», а именно «взошёл» в результате процедуры не менее сложной, чем церемония интронизации Папы Римского.

Правила этой процедуры ни в каких анналах истории письменно не зафиксированы, поэтому я постараюсь их здесь, по возможности, изложить, хотя постичь их во всех тонкостях не могли даже современники, несмотря на то, что тайные правила всё-таки были и даже имели силу обычая.

Как я понял, Хозяин *подбирался* его предшественником, восходящим *наверх*, из ближайшего своего окружения в порядке живой очереди при молчаливом согласии остального окружения; затем кандидатура согласовывалась на *самом верху*, в Великом Курултае…

Надо сказать, мы легко переняли у Варфоломея его язык потому, наверное, что все мы тут: русские, украинцы, татары, урупы,— сибиряки, одним словом, стали, можно сказать, одной нацией: у всех и глаза стали слегка раскосы, и кровь наша, и миропонимание смешались, и потому нам кажется, что тем не столь давним формам правления как нельзя лучше подходят эти названия, созданные неторопливо мудрыми народами Северной Азии — вот будто специально для нашей недавней истории эти названия придуманы: «Большой Чум», «Великий Курултай» и сама государственная религия «Шаманизм» во главе с «Верховным Шаманом». Как это точно, кратко и недвусмысленно звучит, в отличие от нагромождения пышных титулов, какими эта власть величала сама себя, от самой малюсенькой до самой центральной, в Москве! Хотя москвичи в те времена, возможно, и считали эту центральную власть вполне европейской — точно так же, как сами себе они тоже кажутся европейцами, но наше-то провинциальное, чуть-чуть со стороны и снизу, зрение куда денешь? — мы-то видим всё немного по-другому; точно так же и граница между Европой и Азией, как нам кажется, проходит вовсе не по Уралу, а где-то в районе канала им. Москвы или даже западнее — кто её устанавливал и кто её видел? А может, она лежит в сердце каждого из нас, рассекая нас пополам, лицом — европейцев, а душой и сердцем — урупов?..

Итак, кандидатура Хозяина согласовывалась на самом верху, а уж потом в Большой Чум стекались выборщики от Малых Курултаев, и на этих выборах им вменялось единодушно проголосовать за Хозяина при догляде представителей Курултая Великого… Описать ритуал точнее я не в состоянии: всё происходило в строжайшей тайне от врагов и местных жителей. Но как астроном по положению планет на небе высчитывает их орбиты и как физик по ряду косвенных признаков разгадывает строение невидимого глазу атомного ядра, так и я, по слабым намёкам очевидцев могу объяснить, как Хвылина прошёл в Хозяева.

Большой Чум видел до Хвылины много Хозяев, и каждый из них, несмотря на серьёзность, имел свой норов. Да оно и понятно: человек без норова туда бы попросту не добрался. Но при твёрдом и властном характере все они были живые люди со своими привычками и слабостями. Разумеется, все они должны были заниматься всеми делами сразу, однако предпочтение отдавали какому-то одному, любимому делу.

Так, один из Хозяев больше всего любил командовать сельским хозяйством: что ни день, у него заседание, секретариат, пленум — по посевной, по сенокосу, по уборочной, по подготовке к зиме, к весне, к лету, а потом ещё до глубокой ночи он проводил время у телефона, на селекторе, на радиосвязи с Хозяевами Малых Курултаев, с председателями колхозов и директорами совхозов, которых ловил в любое время суток по телефону или по радио и требовал немедленных сводок. Карта области в его кабинете, испещрённая флажками,

напоминала карту театра военных действий; это был вечный бой, а весь огромный штат Большого Чума, вплоть до отдела культуры,—его войском, которое по мановению его руки отправлялось в «глубинку», где с весны до осени в виде уполномоченных сидело, изнывая от тоски, по конторам или моталось по полям и покосам, пытаясь выполнять директивы Хозяина, т. е. попросту внося бестолковщину и мешая людям работать.

Другой имел слабость к промышленности, третий—к лесному хозяйству, четвёртый—к торговле и распределению вещей: ни одного списка распределения не пропустит, не откорректировавши с красным карандашом в руке в меру собственных понятий о справедливости: кому что получить из дефицита, будь то ковры, мебель, легковые машины, телевизоры, норковые шубы или пыжиковые шапки, так обожаемые начальством…

Был даже один, который любил спорт. Сам по себе здоровяк, он посвящал ему всё свободное время, будучи любителем экзотических для нашей провинции видов спорта: большого тенниса, яхт и верховой езды,—и только благодаря его любительству, да разве ещё подхалимству директоров заводов, специально для этого Хозяина были выстроены в нашем городе теннисный корт и конный манеж; а один из директоров так всех перещеголял: построил для Хозяина на диком озере яхтклуб с баром, бильярдом, камином и сауной, и при нём—одна-единственная яхта, причём дорогу на озеро принципиально не строили, чтобы там не толклись посторонние, а сама яхта, всё снаряжение и стройматериалы были доставлены вертолётами… Этот Хозяин не только любил спорт, но и обласкивал наши сборные футбольную и хоккейную команды, а от директоров заводов требовал главного показателя: 100%-ного охвата рабочих кроссом, лыжами, стрельбой, считая, что только спорт повысит производительность труда, снизит пьянство, преступность и улучшит в «массах» здоровье и рождаемость.

Разумеется, всем Хозяевам приходилось заниматься и другими проблемами, а проблем всегда было невпроворот, но деятельность этих Хозяев, с их слабостями и хобби, бывала, в конце концов, замечена на *самом верху*, и как все мы, смертные, уходим в землю, так все они неизбежно уходили в Москву, и каждый въезжал в неё на своём «коньке»—Москва была для них, как океан, велика и безмерна, и все находили в ней место. Даже «спортсмену» нашлось место—начальником главного спорткомитета страны.

У Хвылины не было нужды изобретать «конька»: он любил руководить стройками и знал в этом толк. Причём больше всего он любил начинать их; окончание строек—это столько докучных мелочей, которые надо решать, так что ему уже некогда было ими заниматься, а вот гул взрываемой земли, рёв могучих машин, запах дизельной гари, вид полощущих на ветру красных лозунгов его одурял, кружил голову и напоминал о молодости. Он затевал одну стройку за другой; только скажет Верховный Шаман в очередной речи: «Нужен металл!»—Хвылина тут же затевает стройку металлургического завода; скажут: «Нужна Большая Химия!»—затевает химический завод; скажут: «Нужна электропромышленность»—снова откликается.

Старый комсомольский штабист, он первым делом организовывал штаб, назначал себя начальником его и раз в неделю до глубокой ночи руководил им: приедет, соберёт начальников (до сотни «волг» съезжалось возле штаба), и все докладывают о ходе дел, а он поправляет, угрожает, наказывает, и всё, что накомандовали без него,—отменит и скомандует по-своему: чтобы знали, кто тут главный! А то прервёт заседание и во главе штаба пойдёт ревизовать стройку и делать «накачку». Ему и грязь нипочём—сам заранее переобуется в резиновые сапоги, а остальные тянутся за ним след в след и тонут в своих городских туфельках, а он, будто в назидание им: почему такую грязь развели на передовой стройке?—погрязнее места выбирает. А то подойдёт к бригадиру и балагурит с ним, а свита ёжится вокруг на холодном ветру в шляпчонках да плащиках… Но строители—народ грубый, демократизма его по достоинству не ценили и с наглыми насмешками окрестили его «главным погонялой», а его штабы—«собачьими свадьбами».

И ещё одна особенность была у этих строек: при штабах, рядом с приёмной, организовывался оснащённый всеми средствами связи корпункт, куда регулярно привозили корреспондентов и поощряли их писать о стройке. И они в самом деле много о них писали, а больше всех—наша областная газета. Журналисты тихонько шутили (правда, все тогда шутили тихонько), что она стала филиалом центральной «Строительной газеты».

Главным редактором её был тогда старичок Дубов, которому перевалило за семьдесят, и более сорока из них, с ужасных тридцатых годов, он оттрубил главным редактором, пересидев дюжину Хозяев Большого Чума. Это был уникум, величайшая редкость на весь Союз, т. к. при малейших дуновениях коварных политических ветров первыми вылетали из своих кресел главные редакторы газет—как листья с осин при первых заморозках.

Кто сказал, что самый исполнительный народ—немцы? Я своими глазами видел настолько усердных исполнителей среди своих соплеменников, что им позавидует любой немец! Именно таким, из покладистых покладистым, был легендарный Дубов. Так и умер в рабочем кресле в свои семьдесят с чем-то, сухонький старичок без лица—лишь огромные очки в роговой оправе над воротничком,

да шелестящий голос. А после смерти его долго ставили в пример молодым: вот как надо исполнять долг — умирая на посту!

Кроме репортажей со строек, которые часто занимали в эпоху Хвылины всю газету, в ней публиковались статьи бойких кандидатов различных наук о фантастическом будущем нашей области; в них расписывалось, каким она будет центром мощной индустрии, каким индустриальным будет сельское хозяйство, в каких светлых городах и суперсовременных посёлках будут жить наши земляки. Но прогнозы кандидатов не оправдывались; Великие Стройки с величайшим напряжением сил заканчивались, но светлого будущего не только не приближали, а наоборот, отдаляли: чем больше строилось, тем хуже становилось людям — это был жестокий парадокс.

И вправду: приходила тысяча строителей и возводила завод, на котором работало уже десять тысяч рабочих. И тут оказывалось: чтобы завод мог работать, нужен ещё один завод, а чтобы следующий мог работать, нужен ещё один… А сырьё, а энергия, а транспорт?.. Всего требовалось больше и больше! А специалистов? А рабочих?.. Свободных людей нет — надо привезти; а десять тысяч рабочих — это десять тысяч семей, целый новый город, и опять проблема за проблемой: обеспечь их жильём, школами, детсадами, обогрей, накорми, одень.. А где теснота и неустроенность — там недовольство и ропот, пьянство и хулиганство. Так что новые города сразу же становились рассадниками пороков и преступлений…

Работать на заводах съезжалась молодёжь из окрестных сёл, в результате сёла глохли и в новых городах нечего было есть; теперь в село везли из города рабочих на посевную, сенокос, уборочную. Посылали, естественно, самых нерадивых — те работали там ещё хуже, чем в цеху, и своим бездельем и пьянством разлагали остатки сельских жителей.

Чтобы покончить с проблемой питания, Большой Чум организовывал строительство огромных молочных и мясокомбинатов с заграничной технологией, с десятками тысяч голов скота, собранных вместе; и опять росли корпуса и жилые городки при них, и росли новые проблемы, а комбинаты эти не давали ни молока, ни мяса — хвалёная иностранная технология работать у нас не желала, оборудование ломалось, не было хороших кормов, и их заменяли всякой дрянью; от этого породистый скот издыхал или вырождался в хищников, поедавших собственное потомство. Теперь надо было ломать голову, чем кормить рабочих этих комплексов.

Проблемы роились и множились… Ежедневно решая все эти тысячи вопросов, Хвылина между тем всё надеялся, что ещё немного — и его рвение и заслуги оценит Великий Курултай во главе с Верховным Шаманом и его позовут в Москву — сколько уж этих Строек Коммунизма наворочено! — и он освободится наконец от этих бесконечных тысяч вопросов — пусть их решает новый Хозяин!..

Но Москва с приглашением не торопилась.

Глава седьмая

Итак, перед нами оказались две силы: Хвылина и скромная наша местная писательская организация. Силы, не сопоставимые по мощи, хотя история столкнула их в роковом поединке, который и стал основой *события*.

Но чтобы проследить, как развивался между этими двумя силами конфликт, нужны свидетельские показания.

Автор одного из свидетельств — личность колоритная и характерная для своего времени, недавно скончавшаяся в возрасте восьмидесяти двух лет, *Виктор Дмитриевич Таратутин*. Это был могучий старик с красным (как говаривали раньше — «апоплексическим») цветом лица, с пунцовым, как бутон тюльпана, носом и со снежной белизны седой шевелюрой. К чисто внешнему портрету этого здоровяка надо добавить неизменное добродушие и словоохотливость — таким я увидел его, персонального пенсионера, в прошлом, во времена Хвылины, заведовавшего отделом культуры в Большом Чуме.

Нашёл я его одиноко живущим в просторной квартире громадного девятиэтажного дома. Намолчавшись в одиночестве, он чрезвычайно мне обрадовался и нашёл во мне благодарного слушателя.

Сидели мы в просторной, хорошо оборудованной светлой кухне; я пришёл с коньяком, сразу, с порога давая понять, что пришёл на неофициальную встречу, чтоб разговор наш был доверительным и откровенным, и после второй рюмочки он не без бахвальства начал расплетать передо мной узоры собственной жизни, из которых следовало, что работал мой персональный пенсионер сначала охотоведом лесхоза в одном из северных районов, потом директором лесхоза, потом секретарём райкома в том же районе. Меня позабавило такое сочетание профессий: охотовед — и партийный руководитель, однако самому ему это сочетание странным отнюдь не казалось:

— А что тут такого? Кого *первым* ставили? Самого знающего! А кто — при этом он стучал в свою тугую грудь кулаком — знал северный район лучше меня, охотоведа? То-то же, хе-хе-хе!..

Странным показалось мне и сочетание охотоведения с культурой; однако ему и это сочетание казалось вполне естественным:

— Нет, ну сколько можно было трубить на Севере? — экспансивно пояснял он, захлёбываясь слюной и хлопая себя по ляжкам. — Стаж выработал, здоровье, понимаешь, потерял, — это его

слово-паразит «понимашь» ловко вплеталось едва ли не в каждую фразу.— Болезни, понимашь, одолевать стали. Меня — переводить сюда, а вакансий — ни одной, кроме этой самой культуры. Ну, говорю, и хрен с ней, ставьте на культуру: чёрт не выдаст, свинья не съест — это ж не промышленность, не сельское хозяйство, за госплан голову не оторвут, как раз по моему здоровью!

— А что у вас за болезни были? — поинтересовался я — уж больно не вязался с ними его цветущий вид.

— Да как тебе сказать?.. — помялся он, но тут же решительно продолжил: — Север, понимашь, снег девять месяцев в году, тоска, а ни вина хорошего, ни водки — один голимый спирт. Печень — она же не железная — барахлить начинат; машинка тоже,— ласково похлопал он себя по гульфику.— Если по-простому — не стоит, значит. Ну что это за жизнь, понимашь?.. Но и погужевались — есть что вспомнить! Рыбёшки хорошей сколько съедено, оленины-строганины! А соболей сколько через эти вот руки прошло!.. — с тяжким вздохом он потряс перед мною ладонями с растопыренными пальцами.— Жена, помню, копается-копается, ничего себе подобрать не может — подавай ей самых тёмных, с синей искрой, и шабаш! Мешками сюда, в город, понимашь, привозил: всем надо!.. Э-э, да что говорить! У этих урупов, бывало, за бутылку спирта двух соболюшек выторговать можно — во какие времена были! Они же, урупы — тёмные; это сейчас мы их к свету маленько приучили! А теперь требуют чего-то! Неблагодарный, между нами, народишко…

Разумеется, Виктор Дмитриевич интересовал меня главным образом как живой свидетель *события*. Однако даже по прошествии стольких лет он всё норовил увильнуть от прямых ответов, и только когда я слишком наседал с расспросами — позволял себе чуть-чуть раскрыться и кое-что поведать. Причём писателей он не переносил, как, впрочем, и других творческих работников, и я так и не понял: или это личная неприязнь, или корпоративное неприятие культуры, заложенное во всех сидельцах Большого Чума вождями-основателями их могучей корпорации? Однако, поддакивая ему, я сумел раскрутить его на большой монолог о писателях; этот его шедевр экспромта хотелось бы привести тут полностью.

«Уж такой противный, такой, понимашь, зловредный народ эти писатели — в жизни не видал хуже! Моя б воля, я бы их всех, как вредных насекомых, ногтем бы давил, честное слово! Ну в самом деле: выдернешь их по одному к себе на беседу — уж он так юлит, пока сидит перед тобой, так трясётся от страха, что вот, кажется, цыкни на него — он со страху, понимашь, в штаны намочит. И смотреть-то противно, не то что разговаривать с ним, а надо: я лицо официальное, призван им руководить. Так и хочется сказать ему прямо в рожу: ну чего ты боишься-то? — никто ж тебя не тащит никуда, не те времена — давай по душам, как мужик с мужиком!.. А сказать нельзя — сразу наглеет. И уж он всё-то про своих товарищей выложит: и кто что говорит, и кто что думат, и сотрудничать-то с нами готов, как юный пионер. Да что там — тятю родного продать готов, только чтоб его от этой литературы не отлучали. А отпустишь — тебе же фигу в кармане кажет и все кары небесные на твою голову у чёрта вымолить готов за своё унижение перед тобой — вот чувствую, по глазам вижу! Такой противный народишко… И вот вам ситуация: партия наша работат, не покладая рук, базу коммунизьма, понимашь, закладыват — не без недостатков, конечно, а у кого их не быват? Только у тех, кто ничего не делат! Но зачем же кричать о них, партию, понимашь, дискредитировать? Ты приди ко мне и скажи, если тебе что не нравится — разберёмся, доложим по инстанции. Зачем же я приглашаю вас к себе, беседую, время трачу? Так нет же, он, у меня сидя, расцеловать меня в задницу готов, а потом, глядишь, где-нибудь в центральном журнале его статейка появилась, а в ней комок грязи на свою область бросит, ведро помоев походя выльет: и строим-то мы плохо, и урожаи-то у нас низкие, и те собрать не можем, и природу-то губим, леса истребляем, землю, воздух, воду травим, и есть-то у нас нечего! Смотри-ка, совсем, бедного, голодом заморили: пуговицы на пиджаке не сходятся, ходит в наш же закрытый магазин, полные сумки каждый месяц домой тащит, понимашь, и всё ему мало, всё о голоде орёт, никак не заткнётся. А чей хлеб-то жрёшь, не народный, что ли? Зачем над народом, падло, который своё будущее строит-старается, пуп рвёт, понимашь, издеваться?.. Или рассказ тиснет, или повесть, и тоже обязательно какие-то намёки нехорошие — у них же всё с намёками — прямо-то в глаза сказать боятся! И сюжетец-то остренький, и какого-то начальника-негодяя непременно в нём выведут — и где они их находят?.. Да что же это такое! Ему повыпендриваться: какой он молодец,— вот что ему надо! Правда, тут-то, в области, они не слишком пырхались, тут у них всё было перекрыто, а до Москвы у нас руки, понимашь, не всегда дотягивались; вот они накропают такой пасквиль — и в Москву! А Москве что — она-то нажралась, ей клубничку подавай, ей это в самый раз. И вот для всего Союза — ржатина-кобылятина, а наши, местные, читают — и всё-всё узнают один к одному, потому что белыми же нитками шито, из местных слухов да сплетен состряпано. Ну что за безобразие! Это же мешат трудящимся трудиться на благо коммунизьма, отвлекат выполнять пятилетние планы! Вся область под нашим руководством трудится, понимашь, а какие-то бездельники над плодами их рук возьмут

и посмеются, всё, понимашь, оплюют и опошлят! Вот как трава пырей всё равно—ты его прополол, все-все росточки выдрал, а они, проклятые, опять наружу лезут… Стефан Маркаврелиевич Хвылина, помню, не то что видеть, слышать не хотел об этих писателях, его просто трясло от них. Как только напечатают что-нибудь в Москве эти писатели, да пойдут от этого мутные круги—сейчас это он меня к себе на ковёр, и—грозно так, темнее тучи: „Опять?“ Ни больше, ни меньше—одно только слово. „Опять,—соглашаюсь и руками развожу.—Не доглядел, Стефан Маркаврелиевич! Ну а что я могу, если они у нас такие?“ И тогда уж он даёт волю гневу: „Что ж ты ими так руководишь, почему распустил? Мы тебя для чего поставили? В бирюльки с ними играть, любезностями обмениваться?“—да кулаком по столу, да матерным словом оттянет. Это он уме-ел! На людях-то крепился, а со своими—без церемоний! Ох, с тяжёлым сердцем, помню, уходил от него после таких оттяжек! Выйдешь вот так и думаешь: ну всё, прощай, моя персоналка—у-ух, как бы этих стервецов покрепче ущучить!.. Не-ет, с журналистами проще: те ведь два раза в месяц в кассу ходят—знают, от кого зарплата зависит; а эти, писатели, они ж регулярно денег не получают, привыкли голодом сидеть, и у них иллюзия складывается, что они свободные люди—забывают, понимашь, у кого на шее сидят. А я ведь предлагал, и в Москву предложения посылал: всех писателей на оклад посадить,—насколько бы легче ими управлять стало—они бы как шёлковые тогда!.. Да ведь знают же, дурачки: их и без того прижать можно: и жёны их у нас работают, и дети у нас учатся, но ведь не будешь же каждый раз напоминать, взрослые же люди, сами понимать должны… И до чего ж поганый, понимашь, народ, я тебе доложу: начнёшь им напоминать—так ещё и обижаются… Нет, есть, конечно, и умные, но самые наглые—двое-трое у них там всегда были такие, фамилии их я вечно забывал, но они у меня в блокноте были на всякий случай записаны—так те ещё имели наглость заявлять: это, говорят, неизвестно, кто на шее у народа! В наш, значит, огород камушек… Каково, а? Это о нас-то, когда мы дённо и нощно о благе народа думали, лишь бы ему хорошо—самим-то нам ничего не надо… Вот только бы оплевать всё, только бы опошлить! Бездельники! Почему это, интересно, один должен с восьми до семнадцати у станка или у штурвала, за кульманом, за пульманом, понимашь, стоять, а эти—не выходя из дома, как баре всё равно, в креслице, или в лесу на пенёчке в записную книжечку пописывать? Это каждый так может! На шее, вишь, у народа сидим!.. Если ты пишешь для тружеников города и села—так создай положительный образ для подражания! Создай мне Павку Корчагина на трудовом фронте! Нет, ты, поганец, норовишь, где что плохо сделано, описать! А если начальник—так он у тебя непременно дуб! Где ты их, интересно, видел? Кто тебе эту идейку подбросил? Пушкин? Или Лев Толстой? Нет, они учили хорошему: «Я помню чудное мгновенье», понимашь… А не можешь писать про трудовой подвиг—пиши про природу, про любовь. Хотя про природу и так много написано: Фэт, Пушкин, опять же: „Люблю грозу в начале мая“. Но не всё, не всё ещё написано. Правда, и про любовь тоже кое-что уже есть, читали: Мопассан, к примеру; или в „Тихом Доне“ про берёзовой белизны ляжки у Аксиньи—ох и здорово написано!.. Так что работать мне, конечно, приходилось засучив рукава—ну так тогда же все трудились, не жалея сил. А почему? Потому что мы верили тогда в коммунизьм! В коммунизьм верили, понимашь!..»

Глава восьмая

Теперь надо напомнить ещё об одной особе: внебрачном ребёнке, оставленном молодым Хвылиной в городке Светлогорске, где началась его карьера,—о девочке, которую мама нарекла Анжелой, «Ангелом». Пока её отец рос в должностях—она тоже росла и в конце концов превратилась в шуструю девицу, нервную и импульсивную, какие вырастают при дефиците родительского догляда на чахлой почве унылых кварталов, коими постепенно был застроен весь тот городок. Дитя панельной застройки. Цветок на асфальте.

Росла она отнюдь не бестолковым ребёнком, а, наоборот, способным и сообразительным; но слишком уж много было у неё проблем, мешавших ей хорошо учиться, при одинокой-то безмужней маме: обед себе разогрей, посуду вымой, за хлебом и молоком сбегай, воротнички-фартучки себе постирай и выглади, платьишко заштопай, а вымотанная работой и собственными проблемами мама, придя домой, всё равно ворчит и ругает, не за то, так за другое, часто мелочно и несправедливо, как бывают мелочны и несправедливы отчаявшаяся бедность, одиночество и бессилие перед судьбой. Ладно, рукам волю редко давала, а давала—так сама тут же и разревётся вместе с дочкой… В общем, наглоталась Анжела, пока подросла, и слёз, и обид, и зависти к более везучим и счастливым девочкам.

А подросла—совсем матери с ней сладу не стало: улица, подворотня, тёмная лестница, грубые подружки, подозрительная шпана вокруг. Эта шпана даже прирезать её однажды грозилась… По лезвию ножа ходила. И выросла бедовой. Знала уже, конечно, и про отца. Не мать рассказала—нашлись доброхоты. Она винила мать непонятно в чём. И отца винила и мечтала с ним встретиться когда-нибудь, только не как попрошайка с вельможей. Как и когда это будет, она не представляла: так, туманная блажь, мечты… В общем, бедность, гордыня, отчаянность и робость при полном

отсутствии сдерживающих начал регулярного воспитания корёжили её юную душу, не давали покоя и звали куда-то в мятежное будущее.

И что, интересно, при такой жизни могло из неё выйти? Да мать не нарадовалась, что среднюю школу закончила и поступила в институт.

Это был самый не престижный тогда институт: педагогический. Шли туда, если уж совсем некуда, а диплом получить хочется, и шли в основном девушки. И факультет самый не престижный — филологический: в сознании вчерашних школьниц, измученных плохими учителями, отложилось навсегда, что филология — это всю жизнь долбить про крепостников-помещиков, про соцреализм да про партийность литературы, поэтому учились там или чокнутые, помешанные на литературе, или уж дуры набитые. Правда, Анжела была ни то, ни другое, а пошла туда только потому, что сочинения у неё получались неплохими.

Учась в институте, она стала ярко одеваться, пользоваться косметикой, научилась уверенно держаться, выглядела, говорят, весьма эффектно и неизменно пользовалась успехом среди однокурсников. Импульсивная и бедовая, она сумела освоить там ещё ряд наук, чисто житейских: пить вино, курить, ходить с ребятами в рестораны, — и имела при этом целый хвост сверстников-ухажёров, которых, однако, не жаловала, помыкала ими и называла «слюнявыми»; её интересовали взрослые, самостоятельные мужчины.

Вот такой Ангел сформировался.

Никакой учительницей в село после института она не поехала, а вынырнула журналисткой-стажёром в областной молодёжной газете и за работу взялась с таким жаром и серьёзностью, что когда кончилось стажёрство, её зачислили в штат… Была она при этом настолько вызывающе одинокой и жгуче красивой, что к ней сразу ринулось подступаться всё молодое и зубоскалящее журналистское шобло, однако подступиться не могло — та всем своим неприступным видом давала понять: какое мне дело до ваших сексуальных забот, когда у меня другое на уме!..

Воистину сказано: неисповедимы пути господни. Но не менее неисповедимы пути молодой отчаянной женщины. Потому что год или чуть больше спустя оказалось, что у неё уже есть своя крохотная квартирка, которую она принялась энергично обставлять. А потом родила дочку.

Ох, и посудачила между собой на её счёт журналистская братва, взбаламученная таким решительным шагом этой дивы: «А ну, признавайтесь, кто счастливый отец?» Только бы и всего. Если бы вслед за этим событием не разразилось следующее: один солидный человек, ответственный работник из окружения Хвылины, оставив семью, прихватив лишь пижаму и электробритву, в один прекрасный день (или вечер?) ушёл из дома и оказался в той маленькой квартирке у Анжелы, демонстративно заявив права на отцовство над новорождённой. Говорят, это был рыхловатый и порядком отупевший от чиновничьей службы мужчина раза в два старше избранницы. Но чем-то же он сумел прельстить свою молодую и довольно разборчивую подругу?..

Что тут началось! Законная, но разгневанная его супруга, борясь за поруганное счастье, пустилась во все тяжкие, начав с головомойки, устроенной ею ни в чём не повинному редактору молодёжной газеты. Но уж таков был обычай: в подобных ситуациях виноват оказывался прямой начальник: не доглядел!.. Когда этакая солидная женщина, сама какой-то ответственный работник, начинает скандалить, выказывая бездну филологических знаний в области непотребных выражений, она тотчас же преображается в базарную торговку, каковой, видимо, и пребывала под личиной солидной начальствующей дамы. Затем она нанесла ещё несколько визитов подобного рода в разные — по возрастающей — инстанции и, в конце концов, к самому Хвылине, где предстала плачущей брошенкой, молящей о заступничестве — нет, не для себя, а для бедных её деток (кои, кажется, уже учились в институтах).

Неизвестно, понял ли тогда Хвылина, кто такая эта Анжела, и терзался ли какими-то угрызениями совести? –но есть любопытный факт: закрытое разбирательство над самозваным гражданским мужем Анжелы в Большом Чуме всё-таки состоялось. Однако Хвылина от участия в разбирательстве уклонился, что весьма несвойственно ему, ретиво исполнявшему *все* свои обязанности, — сел в машину и укатил на весь день в дальний район.

«Поступок» упомянутого лица был признан на том разбирательстве безнравственным, поскольку нарушал нормы партийной этики, и потому сурово караемым: в учётную карточку ему был вписан выговор, сам он лишён годовой премии «на лечение», а также путёвки в закрытый санаторий и бесплатного проезда туда и поставлен перед альтернативой: или должность, служебная машина, государственная бесплатная дача и прочие блага, связанные с должностью, или эта девица». Напрасно тот пытался возражать: а почему, собственно, «или-или», почему не «и-и» и какое кому дело до его личной жизни, когда он уже дал слово молодой одинокой женщине? Но ему объяснили, что симпатии — симпатиями, а партийная этика — партийной этикой, и не та он фигура, чтобы безнаказанно её нарушать. В общем, стал неотвратимый выбор, и выбор им был сделан в пользу должности. А Анжеле, сдаётся мне, он был интересен в первую очередь всё-таки как лицо должностное — для каких-то её далеко идущих замыслов: просто так из своих рук она бы его не выпустила — не мамин у неё был характер.

И наша Анжела опять осталась одна с ребёнком, да ещё с «волчьим билетом»: лишённой всяких средств к существованию, поскольку редактора молодёжки на том разбирательстве обязали, в нарушение КЗОТа, Анжелу уволить; пусть жалуется куда хочет и пусть попробует устроиться в другую газету — аморальной журналистке не место в советской прессе!..

Но не так-то легко было её изничтожить, как того, похоже, кое-кто тайно желал. Конечно, временами она падала духом и отчаивалась и, чтобы не пропасть с голоду и не уморить ребёнка, бралась за любую работу: гида, почтальона, шила и вязала за деньги, и пробовала устроиться журналисткой где только можно, вплоть до заводских многотиражек и ведомственных издательских отделов, куда, как ей казалось, власть Большого Чума не проникает. Кое-где что-то неопределённое ей обещали, просили позванивать. Поняла: водят за нос и брать не хотят только потому, что она — Анжела Иванова. И, наверное, говорила себе, сжав зубки: «Ну погоди, дорогой папочка, ты меня ещё узнаешь!..» И, кажется, именно в это трудное для неё время ей пришла мысль собрать компромат на Хвылину как на руководителя области.

Собирать, тем более в её положении отверженной, было трудно: компрометирующая, минусовая информация ни в газеты, ни на радио и телевидение, ни сквозь бодрые данные статотчётности не просачивалась (о том, как эта отчётность подтасовывается, Анжела тоже собиралась писать).

Когда она работала в газете, вся эта, пусть и не пропускаемая нигде, минусовая информация гуляла, подобно сквознякам, по коридорам редакции, впитывалась и вдыхалась Анжелой сама собой в шутейном трёпе в коридорах, в буфете, в курилке. Но как только её выключили из этой жизни и превратили в рядового человека, бьющегося за кусок хлеба — после того, пусть и скудного, усечённого, но живого потока информации, который имела в редакции, она чувствовала себя брошенной в колодец с крохотным квадратиком неба в недоступной высоте, где даже солнышко не показывается, кричи не кричи, бейся не бейся. Она старалась не отрываться от журналистской братии, забегала «на огонёк» в редакцию, но это было совсем не то…

Наконец, использовав скромные связи, она сумела найти работу в заводской многотиражке: может, кто-то из тех, кому положено было следить за ней, потерял бдительность или снизошёл, решив, что хватит девчонку мурыжить: поди, научилась уму-разуму на горьком-то опыте?

Материала у неё на Хвылину набралось достаточно; получился большой, на целую газетную полосу, очерк, и в нём — только факты, факты и факты, плотненько увязанные, и никаких выводов: выводы делайте сами! В ней вызревала матёрая журналистка; она была довольна собой и не торопилась поскорей отделаться от очерка, снова и снова выверяя его и поправляя.

Однако же надо было что-то делать с ним дальше!

Показала друзьям в молодёжке. Её сдержанно похвалили и сказали: «Знаешь что, старуха? Давай договоримся: мы его не читали. Забери и больше не показывай — у нас тут не клуб самоубийц!»

Решила действовать сама… Выбрала странички три на пробу, переписала, разбавив оборотами в духе писем в редакцию своей многотиражки старого рабочего-жалобщика, подписала «А. Степанов» и отдала в набор под рубрикой «Нам пишут». С готовой вёрсткой поехала в Лито.

Никто так и не смог растолковать мне точного смысла слова «Лито». Под таким названием мимикрировало тогда цензурное ведомство, выполнявшее ещё и функцию штатного осведомителя Большого Чума в делах печати. Руководило этим ведомством, по словам тех, кто с ним сталкивался, некое ничтожество, нечто среднее между человеком и рыжим тараканом; никто не смог воспроизвести словесный облик этого цензора, как я ни бился — только рисовали в воздухе неопределённую фигуру и пожимали плечами.

Я об этом потому так подробно, что Анжела на этом Лито споткнулась; она прекрасно знала, куда везёт вёрстку, но проскочить мимо не могла: никакая типография под дулом пистолета не взялась бы печатать тираж без цензорской подписи.

Она просто надеялась на чудо — или хотела обаять цензора? Но чуда не произошло: заметку не пропустили, о ней было доложено в Большой Чум, и через несколько дней её уволили из многотиражки «по сокращению штатов». Да, в те годы существовала такая игра с подвохом: «сокращение штатов», по её правилам каждой организации предписывалось раз в год уволить одного-двух работников. Только самый тупой начальник не пользовался таким удобным поводом отделаться от неугодных, в то время как остальные трепетали в страхе перед ожиданием: на кого нынче падёт перст начальника? «Сокращения» подгадывали почему-то на 1 апреля, так что получалось что-то вроде первоапрельской шутки: уволенному и обижаться-то грех…

Анжела подала в суд на администрацию завода, но суд лишь развёл руками: в любом другом случае — пожалуйста: защитить одинокую мать с ребёнком — святое дело! Но сокращение штатов — случай безнадёжный, и завод даже предоставить другую работу по специальности не может; вот если бы она согласилась стать станочницей!.. А через три месяца должность редактора восстановили, но уже без неё.

И больше устроиться журналисткой она не могла; все, кто имел хоть какое-то отношение

к печати, знали: «замарана», «под колпаком», в каких-то скандальных отношениях с *самим*…

В те годы велико было упование на *чудо*. Его с неимоверным терпением ждали отовсюду: от природы, которая когда-нибудь смилуется, даст урожай, и все наедятся досыта; от неземных, сверхъестественных сил («есть, есть Правда и Справедливость, не может быть, чтобы не было!..»); ждали и верили, что наступит коммунизм, что новое поколение людей вырастет добрым, честным и трудолюбивым, что придёт умный, честный начальник и всем всё даст: бесквартирным—квартиры, бедным—денег, а все обиженные получат удовлетворение у обидчиков. Особенно ждали чуда от Москвы: что-то когда-то там обязательно изменится, и уж тогда непременно всей стране станет хорошо.

Не избежала соблазна надежды на Москву и Анжела: ей, исчерпавшей все возможности, стало казаться, что если поехать *туда* и встретиться с *кем надо*—ей повезёт: её выслушают, её очерк одобрят и опубликуют в Самой Главной Газете, а её главного врага и антагониста Хвылину снимут с работы, *поставят* нового Хозяина, и жизнь в области расцветёт, так что она, подобно Жанне д'Арк, станет спасительницей своих земляков! И решилась однажды: отвезла ребёнка матери и поехала.

Москва встретила её неуютно: ни друзей, ни родственников; мест ни в одной гостинице нет; ночевать пришлось на вокзале, сидя на скамье, среди каких-то подозрительных мужичков и широких баб с тугими сумками и плачущими детьми; но что значат две-три таких ночи для молодой выносливой женщины, не лишённой авантюрной жилки, выросшей в рабочем квартале и жаждавшей возмездия и справедливости—если б только у неё не было там, в Москве, разочарований горше!

Первым делом она отправилась в приёмную Великого Курултая в надежде добиться встречи с кем-нибудь из самых-самых, который был бы главнее Хвылины. Однако встречи не получилось. В вестибюле её встретил вежливый милиционер и, выслушав, отправил её к окошечку. Теперь надо было объясняться с женщиной в окошечке. Женщина выслушала её, даже чисто по-женски посочувствовала и дала для дальнейших объяснений номер телефона какого-то значительного лица; телефоны висели тут же, на стене. Когда в трубке отозвался бархатный баритон, она стала сбивчиво объясняться (сбивчивость объяснить просто: приходилось повторять одно и то же, да теперь ещё и в трубку, в пустоту, и запал слабел).

Невидимый собеседник нельзя сказать чтобы внимательно её слушал: негромко разговаривал там с кем-то ещё, а потом прервал на полуслове, предложил изложить претензии на бумаге и оставить бумагу в «общей приёмной». Ничего не оставалось, как отдать женщине в окошечке экземпляр своей статьи и уйти восвояси. Однако её это не удовлетворило, и она решила попасть ещё в редакцию Самой Главной Газеты.

Но и там дальше вестибюля её не пустил милиционер; её журналистское удостоверение никакой силы здесь не имело. И тут тоже ей предложили отправить материал самотёком, по почте… Нет, это уж было слишком! Отступать она не желала и решила во что бы то ни стало поговорить с каким-нибудь серьёзным и влиятельным журналистом—и сумела договориться по телефону о встрече с одним из руководящих лиц Газеты.

Руководящее это лицо выписало Анжеле пропуск и пригласило для беседы в свой кабинет. Оказалось это лицо моложавым дородным мужчиной, вежливым и доброжелательнейшим в обращении, хотя и несколько слащавым. Мужчина этот внимательно её выслушал, бегло просмотрел статью, пообещал сделать всё, что в его силах, чтобы материал увидел свет, хотя и не в таком первозданном виде: «Вы ж понимаете: необходимы сокращения и доработка!» (хотя она этого не понимала)—для чего ей надо будет задержаться в Москве. Посочувствовал, что у неё здесь никого, и пришёл в ужас от её ночлегов на вокзале. Предложил пожить на его подмосковной даче и, когда она не без колебаний и не без его заверений о гарантиях согласилась, отвёз её туда после работы на своей машине.

Что там, на даче, тогда произошло, неизвестно: не то этот человек изнасиловал её (почему бы не использовать добро, которое само идёт в руки, а с другой стороны, не получить от неё аванса в возмещение за труды?—такое, видимо, решение созрело в уме этого интеллигентного человека уже по ходу общения с нею), не то только пытался, а она, вырвавшись из рук незадачливого насильника (именно так интерпретирован был этот эпизод ею самой, но ведь женщины склонны скрывать свои поражения), убежала от него и остальную часть ночи проплутала в дачном посёлке (была ещё ранняя весна, и она, слава богу, не простыла и не была, в довершение всего, снова изнасилована хулиганами), пока не вышла наконец на железную дорогу и не вернулась ранней электричкой в Москву… Что ей теперь оставалось? Жаловаться на того негодяя? Кому?.. Нет, не смогла она преодолеть этой стены—проиграла вчистую по всем статьям… Неужели до конца суждено ей теперь торчать на галёрке жизни и терпеть унижения? Ну, папочка, спасибо за такую перспективу!..—так примерно должна была она думать, глотая обиды и трясясь от холода и страха пережитой ночи в полупустой электричке…

Вечером села в дальний поезд и поехала восвояси домой. А статья её ни в какой газете так и не вышла.

Вернувшись, отчаявшаяся Анжела предпринимает следующий авантюрный шаг: знакомится с другой, «законной», дочерью Хвылины Ларисой. Кстати говоря, единственным ребёнком четы Хвылин, взрослым уже.

Мне, конечно, трудно судить, почему их законный ребёнок был единственным, причём девочкой?.. Этот вопрос давно не даёт мне покоя: почему во все времена правители на Руси пренебрегали проблемой наследников? Может, они мнили себя бессмертными, или им было всего лишь недосуг—или лень?—заниматься этаким пустяком за важными-то государственными делами?.. Но на этом и горели—все они просто обязаны были заботиться и о собственном потомстве тоже!.. Кстати, ведь и Хвылинина супруга была единственным ребёнком своего отца, директора завода!.. Такое впечатление, будто они делали всё, чтобы извести на нет свою семью, свой клан, свой класс какая-то была в этом трагическая закономерность, какой-то рок висел над ними. Древний, трагический, неизбежный рок. Да-да, и над Хвылиной тоже!..

Но пойдём далее: как, каким образом Анжела смогла познакомиться с Ларисой? Тоже вопрос. Ведь сделать это было не так-то просто: в магазинах и кинотеатрах Лариса, естественно, не бывала, по улицам не ходила, в общественном транспорте не ездила.

Конечно, совершенно оградить её от простонародья родители не могли; как раз в то самое время она училась в институте, том самом, который закончила Людмила Васильевна, её мать, и ей приходилось посещать лекции (правда, для сдачи экзаменов и зачётов Людмила Васильевна частенько приглашала преподавателей домой или на дачу). В институт же Лариса ездила в «волге» и, подражая матери, «волгу» заказывала в гараже Большого Чума цветом в тон пальто или платью, и шофер, он же работник кгб с рацией на поясе, высаживал её у самого входа в институт, а затем торчал неподалеку от аудитории, где она находилась. А если ей и случалось быть среди людей, она, говорят, любила выделить себя: закидывала голову и не без гордости заявляла: «Я дочь Хвылины!»—хотя, если перевести слово «хвылина» с украинского, получался смешной каламбур: «Я дочь минуты!».

Похоже, именно там, в институте, Анжела её и выследила, окликнув в характерном для неё грубоватом тоне: «Эй, сестрёнка, притормози-ка—словом перекинуться надо!..» Но ведь прежде чем это сказать, ей надо было проделать ой-ой-ой какую работу: навести справки, уточнить портретные данные, найти нужную группу, аудиторию, узнать её в толпе студентов…

Какой разговор состоялся между ними при знакомстве, неизвестно; «законная» дочь Лариса была девица взбалмошная и своенравная, её надо было заинтересовать в первую же минуту, и, похоже, Анжеле это удалось. А после знакомства они забурились в фешенебельный ресторан «Север» и под долгий разговор так крепенько там набрались, что нечаянно разбили один или два фужера, над чем дружно сами и посмеялись: «Вот так развезло нас!»—и, обнявшись, немного дурачась и эпатируя публику, спели нестройным дуэтом жесточайший старинный романс «Не говорите мне о нём!..».

Лариса выглядела всегда очень эффектно: с иголочки одета, каждый день причёсана парикмахером; Анжелу же заботы и хроническое безденежье начали изнурять и понемногу делали своё разрушительное дело, хотя она ещё вовсю старалась выглядеть в полном порядке, так что к столику, за которым пировали две заметные собою особы, потянулись толстопузые торгаши с жирненьким блеском в глазах, а подгулявшие «сестрёнки» небрежными взмахами рук шугали их: «Отвали, сытая морда!»

Потом около их столика откуда-то взялись и стали фланировать молодые люди в пиджаках спортивного покроя, пытаясь растащить сестёр: Ларису они зазывали в директрисин кабинет, а Анжелу один из молодых людей приглашал танцевать; но Лариса остерегла её: «Не путайся с ними—это менты!» (и где, интересно, она успела набраться уличного жаргона?)—а тем ребятам кричала на весь зал: «Валите отсюда—я вас отпускаю: рабочий день кончился!»

При расставании «сестрёнка» дала Анжеле свой телефон, просила звонить и ставить в известность «если что» и обещала помочь…

Протрезвев наутро, Анжела спохватилась: «акция» получилась слишком «масштабной», чтобы не иметь последствий. Побежала к автомату, пробуя дозвониться до «сестрёнки», но телефон у той упорно молчал.

На всякий случай—чёрт их знает, чего от *них* теперь ждать?—она увезла ребёнка к матери, а вернувшись, затаилась дома. Ей даже любопытно стало: предпримут *они* что-нибудь в ответ или нет?.. Но чувствовала женским нутром: что-то будет!

Беда пришла к ней в образе тихой соседки: та позвонила в дверь и робко прошелестела: «Анжелочка! Ты спичками не богата, не займёшь коробочку?» Анжела распахнула дверь—за порогом стояла соседка с виноватыми глазами, а за её спиной—вот они, два «товарища» в штатском! Один сразу отодвинул соседку, вежливо осведомился, она ли Анжела Степановна Иванова, и предложил одеться и проследовать с ними.

В городском отделе внутренних дел какой-то чин в милицейской форме показал ей акт, составленный прошлым вечером в ресторане и подписанный тремя официантками, о том, что она, гражданка Иванова А. С., будучи в ресторане пьяной, хулиганила, оскорбляла посетителей,

била посуду и называла себя дочерью Хвылины, и объявил, что вынужден дать бумаге ход: подать на неё в суд за нарушение общественного порядка. Анжела начала протестовать: это—чудовищная липа и несусветная ложь; во-первых, она хоть и пила вино, но что была пьяна—слишком сильно сказано, а во-вторых, посуду не била, а если нечаянно опрокинулся и разбился фужер, так за него заплачено и претензий ни у кого не возникло; а в-третьих, она была не одна; почему об этом ни слова?.. Однако милицейский чин на основе показаний официанток настаивал, что именно она была пьяна, что разбит не один, а два фужера и что именно она оскорбляла ни в чём не повинных молодых людей, которые пришли отдохнуть—их тоже можно привлечь в свидетели...

— Во-первых,—упорно оправдывалась Анжела,—к нам нагло приставали! А во-вторых, почему в акте нет Ларисы Хвылины?—поначалу не желая впутывать сюда «сестрёнку», она, наконец, решилась назвать её имя.

— Но официантки показывают на вас, вам и отвечать, и не надо перекладывать на других!—начиная нервничать, чин понемногу повышал голос.

— Хорошо, я найду официанток, и мы составим новый акт!

— Не валяйте дурака; другого акта они не подпишут!—угрожающе возразил ей чин.—А если подпишут—их нужно будет судить за лжесвидетельство, потому что один из актов будет фальшивым!

— А вы уверены, что фальшивым будет именно мой?..

Тогда чин повернул разговор по-другому: никто не собирается раздувать из акта целое дело, но эти, уже не первые, сигналы о её будто бы родственных связях со Стефаном Маркаврелиевичем Хвылиной, порочащие первое лицо в области,—не слишком ли это для неё?

Вот она где, подоплёка: чину известно и про злополучную, не пропущенную цензурой статейку, и про её поездку в Москву—у него в руках был огромный материал на неё! Поэтому он, видите ли, вынужден направить её на медицинскую экспертизу. Потому что ну не может заявлять с бухты-барахты нормальный человек, что он родственник первого руководителя области, женатого, солидного человека... Проверка в психдиспансере совершенно безвредна, даже полезна каждому: страх перед психиатрами необоснован и держится на предрассудках; где, скажите, грань между психически здоровым и больным человеком? Как уверяют врачи, её нет—у каждого можно найти те или иные, пусть даже самые незаметные глазу отклонения в психике, так что каждому необходимо пройти не только проверку, но и небольшой курс лечения—назовём это, точнее, профилактикой; да будь его воля, он бы каждому—каждому!—настоятельно советовал её пройти!..

Она слушала его тусклый, без интонаций, монолог и цепенела от ужаса. Мало того, что на неё давила гнетущая обстановка в кабинете—ужас вызывало намерение этого типа упечь её в психушку: она ведь уже наслышана о каких-то спецбольницах, где залечивают до умопомрачения. Собирая остатки самообладания, она стала хитрить и притворяться, разыгрывая перед ним целый спектакль, стараясь обмануть его бдительность:

— С чего вы взяли, что мой отец—Хвылина? Я бы, конечно, очень гордилась им, но... Уверяю, кто-то вас вводит в заблуждение! Если б вы знали: моя мама—серенькая мышка: ну как на неё мог польститься такой серьёзный человек? Вы его просто в неловкое положение ставите! И зачем мне ваш Хвылина, когда мой настоящий отец—рабочий, сварщик с комсомольской стройки Степан Иванов, и я горжусь, что я дочь рабочего!..

Но, наверное, отречение её прозвучало без должной убедительности, с явной долей лукавства, и тот милицейский чин ей не поверил; или уж участь её была предрешена, а весь спектакль заранее срежиссирован, и им обоим отведена в нём роль статистов?

— Приятно слышать трезвые слова,—сказал он, и лицо его при этом нисколько не изменило сурового выражения; на нём лишь появилось ещё выражение досады.—Но вы же не застрахованы от того, что снова не попадёте в ресторан или в какую-нибудь компанию, не выпьете лишнего и снова вам захочется побыть дочерью Стефана Маркаврелиевича? Поэтому, голубушка, надо, надо провериться у психиатра!

— Но я не хочу!—с отчаянием воскликнула Анжела.

— Ну, знаете!—даже обиделся тот.—Подумайте сами: как мы можем отпустить вас с гарантией, что вы полностью здоровый, социально не опасный человек? Вы ведь журналистка и должны быть осведомлены, что такое социально опасный человек и какую ответственность это на вас налагает!.. Зато, когда проверим вас и вы окажетесь здоровой, уверяю вас, вы снова сможете работать журналисткой! Разве вам не хочется?

— Хочется,—тихо призналась она.

— Вот видите, как всё просто: пройдёте проверку и мы больше никогда не вернёмся к этому вопросу!..

Он бился с нею ещё два часа, пока не сумел полностью её сломить. Те же самые мужчины, что привезли её сюда, на той же самой машине—похоже, они просто ждали, пока кончится эта бодяга с уговорами,—препроводили её в дурдом. И рук не закручивали—сама поехала.

Принял её довольно молодой врач. Бледный, пухлый, с неопрятными блёклыми волосами, висящими сальными прядками, с тяжёлым взглядом серо-болотных глаз из-под припухлых век.

Всё здесь вызывало в ней страх и брезгливость: и сам полутёмный холодный кабинет с пустыми стенами и зарешеченным окном, и покрытая скользким пластиком табуретка; даже сидящая напротив врача медицинская сестра, высокая, жилистая, ярко крашенная блондинка стервозного вида, которая смотрела на Анжелу немигающим змеиным взглядом.

Анжела страха своего старалась не выказать, выдержкой и учтивостью пытаясь произвести впечатление на молодого врача и одновременно доказать, что никакая она не дура и не псих. А тот, будто невзначай,—да она уже и ждала этого—набрёл на вопрос: кто же всё-таки её отец? И она терпеливо, хотя и не без чисто женской колкости, ответила:

— Я знаю, чего вы от меня ждёте, но не дождётесь. Мой отец—Степан Иванов, рабочий-сварщик с комсомольской стройки! Вы удовлетворены?

И, конечно же, ни от врача, ни от медсестры, заполнявшей бумаги, эта её колкость, предвестница нервного срыва по поводу отцовства, не укрылась; врач, правда, скрыл своё удовлетворение, а вот у сестры, словно у следователя, нащупавшего на допросе ниточку преступления, глазки прямо так и вспыхнули: раскололась подследств… то бишь пациентка!

Конечно, Анжела всё это примечала, хмурилась, нервничала и замыкалась. И когда врач задал явно провокационный вопрос: как она оценивает собственные умственные способности?—потупилась и заявила:

— Я больше на ваши вопросы отвечать не буду.

Врач посидел, тяжело и, казалось, сочувственно покачав головой, отослал куда-то медсестру, а когда та вышла, обратился к Анжеле напрямик, без околичностей—наедине с нею он сразу грубо перешёл на «ты»:

— Вот что: ты здесь дурочку не строй—будешь делать то, что тебе скажут, иначе мы тебя будем держать, сколько сочтём нужным. Поняла?

— Зачем держать? Меня прислали обследоваться, а не держать. Я не больная—надеюсь, вы это поняли?

— Ничего я не понял. Психически нездоровому человеку не дано знать, болен он или нет. В любом случае мы тебя подержим.

— Зачем? От чего вы меня собираетесь лечить?

— Я не обязан отчитываться перед пациентами,—он разговаривал с нею как со вполне здоровой.— Значит, так: подержим немного, поделаем уколы. Предупреждаю: уколы болезненные.

— А если я не позволю?—сжимаясь вся, падающим куда-то голосом спросила Анжела.

— Что значит «не позволишь»? Мы позволения не спрашиваем, придут два санитара—и всё!

Анжелу брезгливо передёрнуло.

— Я могу освободить тебя от уколов,—продолжал врач, и на его бесформенных бледных губах появилась тусклая усмешка.—Вместо них я могу предложить тебе либидо-терапию. Вот на этом диване,—насмешливый кивок в сторону топчана, покрытого зелёной клеенкой.—Согласна?—видимо, её недавнее кокетничанье с ним вызвало в нём совсем не ту реакцию, на которую она рассчитывала.

— Нет!—её опять непроизвольно передернуло и от этой его усмешечки и от его жирных волос, от его тяжёлого взгляда и сытого потного тела, казалось, сочащегося спермой, и от этой зелёной клеёнки на топчане.

— Ну тогда… Уколы начнём сейчас же,—монотонно произнёс он, неспешно достал из стола и открыл поблескивающую никелем гремучую коробку—там блеснули шприцы и ампулы—и надавил кнопку в столешнице; в дверях выросли два санитара, корявых, длинноруких каких-то, в серых с рыжими пятнами халатах.

— Подержите её,—негромко сказал врач.

— Не надо! Не хочу!—взвизгнула она и задрожала вся.

— Согласна сама лечиться?

— Со… со… согласна!

— Умница! Значит, скоро выздоровеешь. Идите,—кивнул он санитарам.

Те, ухмыляясь, вышли.

— Раздевайся.

— Как?

— Детский сад, честное слово,—досадливо проворчал он.—Совсем!

— Сколько вы меня будете тут держать?

— Да ведь не торговаться же мы с тобой тут встретились!

— Неделю?

— Ну, базар, ей-богу,—усмехнулся, скривив рот, врач.—За неделю, милочка, только насморк лечат. Давай быстрей, мне некогда,—нетерпеливо пробормотал он, подходя к двери и запирая её на защёлку.

— А с-сколько?—заикаясь от страха, всё же упрямо спрашивала она, непослушными пальцами пытаясь расстегнуть на себе пуговицу.

— Будешь умницей—раньше выйдешь. И каждый день после обеда—ко мне «на укол»…

Через две недели она вышла из больницы и первое, что сделала, купила большую бутылку портвейна, пришла домой и выпила всю сразу. После этого брала портвейн регулярно и понемногу прикладывалась, чтобы перебить постоянное чувство омерзения к себе самой, какой-то заторможенности и отсутствия всякого интереса ко всему на свете.

Кроме того, лицо её с тех пор приобрело постоянную гримасу обиженной, и появился тик: сама собой подёргивалась иногда голова, хотя из лекарств ей давали там только самые мягкие, щадящие психотропные средства.

Итак, в борьбе за своё «я» она потерпела сокрушительное поражение, исчерпав все небогатые возможности защиты. Оставалось теперь только незаметное, серенькое полунищенское прозябание неизвестно зачем… Она даже тщательно следить за собой и хорошо одеваться перестала — так после всех этих передряг ей хотелось забиться, спрятаться, стать незаметной.

С мужчинами ей тоже не везло: попадавшиеся на её пути, они были или законченные эгоисты, или вовсе негодяи, беззастенчиво использовавшие её тело, молодость, её крохотную квартиру — даже её крохотные заработки. И всё же она была из тех двужильных женщин, которые не сдаются, не ноют, не перекладывают беды на других и не только готовы тащить до конца свой крест, но норовят ещё и подставить хоть одно плечо под чужой.

Накрутившись «по жизни» и намаявшись, она однажды столкнулась с поэтом Худяковым, горьким пьяницей, однако и джентльменом на свой лад, не лишённым своеобразного шарма; привела его, пьяненького и грязного, к себе, отмыла, накормила, обстирала, да и оставила у себя. И вот случайная связь обернулась судьбой.

Снова и снова я готов удивляться и повторять: дела и помыслы женские, как и господни, воистину неисповедимы. Чего она хотела от Гоши, когда оставила его у себя? Когда на свои жалкие гроши сама приодела? Когда покупала ему книги, красивые ручки и записные книжки? Когда бегала по городу, разыскивая его и чуть не на плечах вытаскивая из пропахших мочой и пивными дрожжами подвальных забегаловок, если он, пресытившись её заботами и трезвым образом жизни, снова впадал в загул вместе с любезными его сердцу ханыгами? Когда она водила его в театр, на концерт, на выставку, чтоб приобщить к творческой атмосфере, к интеллигентному окружению, к которому, быть может, и самой хотелось через него приобщиться? Когда сама носила его стихотворения по редакциям, а потом всячески раздувала его честолюбие при виде напечатанных стихов и полученных гонораров? Когда разжигала в нём огонь борьбы, состязательности, гражданственности, которых так не хватало ни ему самому, ни его вяловатым, бесстрастным, хотя и певучим стихам?.. Потому что трудно поверить, что с её стороны это был всего лишь бескорыстный бесконечный подвиг.

Но факт есть факт — её героические усилия возымели действие: Гоша стал меньше пить, глотал какие-то пилюли, спасающие от запоев, снова приобрёл мало-мальски приличный вид (хотя совсем вытравить на его лице и во всем облике следы вечной помятости и ущербности было уже невозможно), стал больше писать и печататься, причём стихи его на новом витке жизни зазвучали звонче и увереннней — ему и в самом деле не хватало твёрдой женской руки: это бывает с нашим русским затюканным мужчиной.

И что характерно, теперь он писал не только стихи, но и эссеобразные размышления и раздумья, не лишённые определённой остроты и злободневности. Злые языки поговаривали, что эти эссе пишут они вместе, или даже пишет их за него она. Но это — злые языки, не более того. Я думаю, у него хватало толку и самолюбия писать их самому, хотя благотворное влияние Анжелы вполне реально.

Но имея на него влияние, в какую, интересно, сторону она могла на него повлиять? Конечно же, в одну-единственную: и в стихах, и в эссе его стали проклёвываться и набирать силу гневные, обличающие ноты.

Может, в этом-то и был сокровенный смысл их несколько неожиданного для многих альянса: она хотела по-женски коварно мстить всем, кому хотела отомстить, только теперь уже посредством Гоши Худякова, вылепливая это орудие мести собственными руками?.. Так что и безобидный Гоша в конце концов тоже оказался в конфликте с Большим Чумом.

Глава девятая

Подступаясь к причинам *события*, а также менее заметных событий, предшествующих ему, необходимо рассказать ещё об одной стезе деятельности незабвенного Стефана Маркаврелиевича Хвылины: о том, как он, окончательно утвердившись Хозяином, самолично взялся за перестройку города — тому остались свидетельства как в виде документов, так и в *натуре* (почему-то все наши Хозяева, жаждущие перестройки, по простоте своей понимают всякую перестройку по-своему — сломать несколько старых зданий и построить на их месте новые: такая перестройка, на их взгляд, наиболее убедительное доказательство их кипучей деятельности)…

Но перед тем как начать перестройку, Хвылина с тремя спутниками: городским архитектором, председателем горисполкома и начальником строительного отдела из Большого Чума — объехали в чёрной «волге» весь город, постояли, интенсивно жестикулируя и рисуя руками в воздухе воображаемые горизонтальные и вертикальные линии, на перекрёстках, на набережной, на мосту через реку — в общем, осмотрели его критически на предмет коренной реконструкции.

Прежние Хозяева Большого Чума тоже любили всякие перестройки, но они застраивали главным образом окраины, а в центре лишь рушили церкви да изредка возводили на месте совсем уж безобразных развалюх новые конторы — на сплошную застройку не хватало ни средств, ни мощностей строительных организаций, и центр долго хранил почтенный вид купеческого и чиновного

губернского города царских времён: каменные дома с лавками в первом этаже, с вычурной, кирпичик к кирпичику, кладкой, которой нет износа, да бревенчатые особняки с затейливой резьбой карнизов и наличников, с башенками и флюгерами.

Стефан же Маркаврелиевич, с первых своих шагов на поприще Хозяина дав всем понять, что он, и только он, полновластный Хозяин здесь, будто бы заявил перед тем, как поехать со спутниками осматривать город: что же это за областной центр, в котором нечего показать гостям: ни тебе приличного небоскрёба, ни дворца, ни перворазрядного ресторана — не показывать же эти развалюхи, когда везде уже давно строят дворцы из стекла и бетона, а Хозяева получают за них солидные премии и становятся знамениты на весь Союз!.. Приход Хвылины в Большой Чум, надо сказать, совпал со временем, когда в набравший инерцию период Великих ГЭС и Ударных Строек Коммунизма гармонично вплетался период бурного городского строительства, настоящего строительного бума, и Хвылина, естественно, не мог быть не вовлечённым в него, дабы не чувствовать себя в арьергарде этих веяний.

Однако, по воспоминаниям небезызвестного нам Таратутина, знакомого с этими событиями не понаслышке, в той ехавшей по городу чёрной «волге» городской архитектор, бесцветный человек в очках и с тихим скрипучим голосом, щеголявший какими-то заграничными именами: Корбюзье, Нимейер, ван дер Бильд, — стал вдруг возражать Хвылине (что само по себе уже было вызовом): что, мол, это совсем и не развалюхи, что среди них есть истинные шедевры безымянного народного творчества и эталоны удивительного строительного искусства, на которых не худо бы поучиться и нам, что многоэтажная застройка из стекла и бетона не впишется в будто бы сложившийся архитектурный ансамбль центра, что новой застройке место на пустырях и окраинах, а центр надо бы оставить, что они, группа архитекторов, предложили городу создать на память потомкам мемориальную зону из этих старых домов в границах хотя бы нескольких кварталов, отреставрировавши их, что это, мол, и будет тем самым местом, которое с гордостью можно показывать, и что они, архитекторы-энтузиасты, без всякой оплаты уже проделали большую работу: обследовали кварталы, выявили шедевры — и готовы работать дальше.

Однако Хвылина с присущим ему чувством юмора и безапелляционностью Хозяина высмеял этого выскочку, этого бесцветного очкарика с его неподражаемой слабостью к трухлявым деревяшкам с купеческими вензелями, с полным непониманием момента, с его безымянными шедеврами и эталонами как примером высасывания из пальца идей в кабинетной тиши.

Обиженный архитектор тут же стал взывать о поддержке к председателю горисполкома и начальнику строительного отдела, намекая, что они же обещали поддержку! Но, увы, этой поддержки он от них во время той поездки не получил: те, втянув головы в плечи и избегая смотреть ему в глаза, подхихикивали Хозяину. Осмеянный архитектор хоть и остался в одиночестве, однако всё ещё пытался возражать Хвылине, доказывая достоинства старой застройки.

Но Хвылине это наконец надоело: он простонапросто усмотрел в возражениях того борьбу старого с новым, т. е., в конце концов, борьбу идеологическую, а там, где пахнет идеологической борьбой, он, ощущая себя рыцарем на поле боя за марксистские идеалы, оппонентам спуску не давал, прихлопывая их, как мух, правда, не в открытую, а через подчинённых. Поэтому, как только они вернулись из поездки, он отпустил архитектора, а остальных двоих пригласил к себе и задал им нагоняя из-за этого архитектора, который оказался не на уровне поставленных перед ним задач:

— Безобразие! — метал он громы и молнии. — Какой-то недотёпа будет нам диктовать, что и как строить? Он даже не понимает, о чём ему говорят! Что хотите делайте, но чтобы и духу его на этом месте не было! Подберите толкового!

Председатель горисполкома, чувствуя, видимо, какие-то угрызения совести, пытался, было, дипломатично встать на его защиту: зачем, мол, пороть горячку, когда можно и новой застройкой заниматься, и старую потихоньку реконструировать? — на что Хвылина горячо возразил:

— Не морочьте мне голову — знаем мы эту старину! Как только влезешь — затянет так, что не будешь и знать, как выпутаться! А время, а деньги? Хватит мне тут демагогию разводить! Нашей задачей должно быть: при минимуме средств максимум эффекта!

И начальник строительного отдела поддакнул, повторяя последнюю фразу Хвылины как заповедь, как лозунг к действию:

— Да, да, минимум средств — максимум эффекта! Как точно сказано!..

Через несколько дней неуступчивый архитектор полетел со своей должности. А Хвылина со свойственными ему хваткой, энергией и напором сразу же организовал штаб реконструкции города, по обыкновению назначив себя начальником штаба, и дело со скрипом, но стронулось: проектировщики начали проектировать новую застройку и чертить графики строительства, экономисты подсчитывали экономический эффект от новой застройки; в Москву, в Ленинград полетели гонцы за суперсовременными проектами, а один из кварталов в центре города — Хвылина торопил и наседал — стали огораживать дощатым забором, украшенным ярким кумачовым лозунгом:

«Всё—во имя человека!», привезли экскаватор с подвешенным к стреле чугунным шаром, а к крыльцам двух крайних домов подогнали грузовики, чтобы быстренько переселить жильцов в новый дом на окраинном пустыре.

Однако быстренько не получалось: жильцы негодовали, грозились написать жалобу в Великий Курултай и уезжать не хотели. Нетерпеливые начальники в раздражении: ведь для них же, сукиных детей, во имя их же блага стараешься—а не ценят!—вызвали милицию. Жильцы забаррикадировались в своих квартирах, отправив для начала ходоков в Большой Чум за советом и помощью: они думали, что это пакостит начальственная шушера—там, наверху, просто не знают, что она здесь творит.

Но помощь из Большого Чума мешкала, а мелкие злые начальники тем временем отключали упрямым жителям последовательно воду, отопление и электричество—их выживали, как вредных насекомых. Высидев двое-трое суток в холоде, темноте и собственной вони, жильцы поквартирно сдавались на милость победителей, выходя из-за забаррикадированных дверей; какие-то люди помогали им перекидать барахлишко в грузовики, и их отвозили к огромному дому в чистом поле. Жители уезжали с твёрдым намерением «искать правду» (о, эти многовековые поиски русским человеком таинственной и непостижимой «правды»!), но дело уже было сделано: два-три двухэтажных дома, согласно графику, освобождены и экскаватор с чугунным шаром начал с хряском и тучами известковой пыли ломать и крушить квартал.

Кстати, архитектор тот, несмотря на свою внешность невзрачного интеллигента, оказался человеком настырным и самолюбивым и после снятия с поста главного архитектора, перейдя работать в проектный институт рядовым архитектором, попытался под эгидой Общества Охраны Памятников организовать кампанию против безоглядной реконструкции города, сумев вовлечь в неё журналистов, учёных и нескольких писателей.

Кое-какую информацию о предстоящем сносе городских кварталов это Общество сумело опубликовать в областной газете. Несмотря на то, что и газетой, и тем обществом руководили надёжные, с точки зрения Большого Чума, люди, однако Большой Чум столкнулся с хорошо организованной оппозицией; надо было срочно принимать нечто решительное, чтобы не дать заразе перерасти в эпидемию, в полыхающий пожар неповиновения.

Были подвергнуты проработке редактор газеты и председатель Общества, но что с этих рохль возьмёшь—только знают руки по швам, и головами кивают: «Да, виноваты, больше не допустим!»

Пробовали достать того архитектора через первичную парторганизацию института, снабдив секретаря первички компроматом, запрошенным в КГБ (архитектор как лицо, в прошлом должностное, был коммунистом). Однако компромат оказался слабоват, а в институте нашлись говоруны, которые встали на его защиту и взбаламутили коллектив; началось глухое брожение и противопоставление коллектива института Большому Чуму.

— Да что это такое—не можете справиться с одним человеком!—раздавались окрики из Большого Чума в адрес дирекции института.

Выходов из ситуации было несколько. Самый простой—инспирировать уличную драку, наподдавать хиляку-архитектору и забрать в милицию, где ему поддадут ещё; затем—компрометирующая статейка в газете, возбуждение уголовного дела, исключение из партии, увольнение с работы, а там пусть жалуется хоть в ООН… Но где-то ребята могут перестараться, а противостояние архитектора Большому Чуму стало слишком гласным…

И тут кто-то толковый надоумил: зачем терять ценный кадр—его приручить можно! В Брюсселе намечается международный симпозиум по архитектуре—кто у нас туда едет? Ах, директор института! А понимает он что-нибудь вообще в архитектуре?.. А пускай-ка туда поедет ещё и наш архитектор, да подышит воздухом Европы, да посмотрит, чем люди на гнилом Западе занимаются, да наберётся свежих градостроительных идей—может, поумнеет?—а потом поручить ему спроектировать новый квартал, да дать ему за это премию!.. Ведь это же так просто—суметь заинтересовать человека!..

С остальными «протестантами» из архитекторов и журналистов тоже легко управиться: все ведь дважды в месяц в кассу наведываются; чуть пережать трубочку—только через неё интеллигент и питает свои хилые душу и тело—сразу шёлковыми станут! Вот с писателями—хлопотней: нет у них такой кассы; от этой нерегулярности—и вольтерьянство…

Кстати, в одной из статеек в газете, касающихся предстоящих «варварских» разрушений в городе, подписанной и несколькими писателями тоже, речь впервые зашла об одном приметном особнячке, который попал в зону первоочередной реконструкции, а стало быть, разрушения; а ведь он, если всмотреться в фасады сквозь плесень и потёки, прорехи на крыше и заросли побегов в трещинах, построен, видимо, очень хорошим архитектором, с большим вкусом, в лучших традициях так называемого ложнорусского стиля конца 19 века с тактично вплетёнными в него элементами сецессионного модерна: прихотливо изогнутые и ломаные линии карнизов и выступов, кованые узорчатые решётки на балкончиках; на крыше—фигурные водосточные воронки, вычурные башенки с флюгерами…

И когда после энергично принятых Большим Чумом экстренных мер шум вокруг этого старья приутих — одни писатели ещё продолжали волноваться и выступать, и самыми упрямыми из них были Зуев с Кармановым.

Чего им было мало? Неприятностей на свою голову?

Тогда-то в Большой Чум к Таратутину и были приглашены руководитель писательской организации Кулебякин и партсекретарь Финк-Червяков.

Таратутин почти по-приятельски (да они с Кулебякиным и в самом деле были приятели), но одновременно и по-хозяйски попенял им:

— Что же это, друзья мои, ваши писатели совсем не ценят дружбу с нами? Им что, нечем, понимашь, больше заняться, кроме как порочить нашу градостроительную политику?

Хитрован Кулебякин отвечал витиевато, жалуясь на свою судьбу начальника (ныть и плакаться на судьбу перед начальством было тогда своеобразным правилом хорошего тона):

— Что же я, Виктор Дмитриевич, в извилины писателям лезть буду, что ли? Да ведь нам даже собраться и поговорить этак по душам — за самоварчиком бы да за рюмкой чая — негде.

— Ну а ты, Семён Яковлевич, наша правая рука среди писателей, что молчишь? — обратился Таратутин к Финк-Червякову.

И тот выказал удивительное единодушие с Кулебякиным:

— Да, да, Виктор Дмитриевич, я полностью согласен с Антоном Сидоровичем — негде, совсем негде собраться!

А ведь и вправду писательская организация ютилась в двух небольших комнатёнках здания, принадлежавшего областной газете; причем сама газета со всеми потрохами принадлежала Большому Чуму.

— А разве ничего нельзя решить? Почему тогда молчите? — напустился на них Таратутин.

Кулебякин незаметно толкнул Финк-Червякова локтем; оба прекрасно знали: Таратутину об их положении говорено не однажды; старые интриганы, они сразу почуяли: наклёвывается какое-то решение, и, чтобы не спугнуть его, лучше помолчать.

— Согласен, — продолжал между тем Таратутин, — вам надо собираться вместе. Какие же вы, понимашь, инженера человеческих душ, если не общаетесь? И не обязательно за рюмкой чая! — менторски проворчал он…

Именно тогда и зашёл разговор об идее передать тот особняк писателям: вы, дескать, ратуете за сохранение памятников архитектуры? — вот вам особняк, владейте им и сохраняйте, дайте всем пример!

Возможно, вариант этот был уже решён в недрах Большого Чума и брошен писателям, как кость, чтоб одним взмахом руки удовлетворить их и заставить молчать. Вариант беспроигрышный: сумеют привести в божеский вид — городу меньше хлопот; не сумеют — легче заткнуть им рот: кричите, других учите, а сами-то что же?..

Продувной Финк-Червяков заподозрил подвох, смысла которого раскусить пока не мог, и заикнулся было: зачем, дескать, писателям лишние хлопоты с ремонтом? — но не менее продувной Кулебякин нетерпеливым жестом его остановил — у него были свои соображения; он быстро прокрутил их в уме и тут же стал ставить условия и торговаться с Таратутиным: что в этом случае дадут и чем помогут Большой Чум, горисполком и строители?

И решено было освободить особняк от жильцов, передать писательской организации, изыскать средства на реконструкцию и включить в план строителям… Тут же, в кабинете Таратутина, ударили по рукам.

Глава десятая

Кулебякин понимал, на какие шёл трудности.

Тут пришла очередь рассказать ещё об одном человеке, Мише Новосельцеве, начальнике так называемого «бюро пропаганды советской литературы». Деятельности этого бюро я уже касался: это он, Миша Новосельцев, помогал Кулебякину забираться в самые глухие районы и брать деньги там, где, казалось, их и быть-то не должно. Вот на этого Мишу, или, как все по-приятельски звали его, Мишаню, и делал ставку Кулебякин, когда согласился взять на баланс особняк, или, вернее, то, что от него осталось.

Меня всегда поражало нескончаемое разнообразие человеческих генотипов — эти невообразимейшие сочетания типов лиц, характеров, поведенческих линий. Неправда, что их четыре или двадцать; их даже не сотни или тысячи — не бывает двух идентично похожих людей, как бывают похожи между собой животные. Похоже, природа закладывала этот океан человеческого разнообразия только затем, чтобы помочь человеку во что бы то ни стало выжить среди непредвиденных ситуаций и катаклизмов, которые он сам себе бесконечно громоздит своим неразумным разумом… Вот о чём думаешь, когда хочется рассказать поподробнее об этом Мише… Причём надо сразу предупредить, что, несмотря на простецкую — до карикатурности! — внешность толстяка-флегмата, личность эта была продувной и авантюрной.

Итак, была у него внешность придурковатого увальня-коротышки, у которого всё толстое и короткое: ноги, руки, пальцы, нос, губы; даже штаны и пиджак на нём всегда были широки и кургузы.

Рот при этом идиотически полуоткрыт, а в уголках губ — ещё и готовая низринуться вниз капелька тягучей слюны, когда он начинал говорить, быстро и шепеляво. При этом буйная, русой масти кудрявая шевелюра и голубые глазки, светящиеся простодушно-плутоватой улыбкой. Такая вот внешность, достойная, скорее, снисхождения и жалости, нежели серьёзного отношения к нему: ну что, дескать, поделаешь, раз таким уродился?

Но вот, к примеру, Миша входит в компанию малознакомых людей, где говорят о чём-нибудь сугубо своём, да ещё рявкает при этом по-тележному: «Здоровеньки были, мужики!» — и суёт всем чуть не насильно свою потную короткопалую лапу; его принимают, естественно, за шута горохового: перемигиваются, насмешничают, похлопывают с чувством превосходства по плечу. А Миша, поддерживая эти смешки, начиная неназойливо прощупывать атмосферу шуточкой, каламбуром, свеженьким анекдотцем, через час там уже свой парень, а через два — полностью завладел вниманием и теперь может говорить о чём угодно, куда его понесёт на волнах экспромта, и уже он снисходительно похлопывает по плечам собеседников, а когда уходит, ибо уходит он всегда первым — в компании остаётся некий вакуум, будто он выдышал весь кислород, а что не успел выдышать — унёс с собой. Уж не говоря о том, что если в этой компании есть достойная внимания женщина — тогда Мишу, как токующего тетерева, не остановить: его просто распирает тогда от избытка красноречия и града сомнительного свойства острот, и плохо будет тому, кто окажется в этой компании его соперником — только крепкие кулаки и могут тому помочь. Так что Миша, как видите, был большой балагур, и при этом балагур опасный. А ведь это ещё не весь Мишаня.

Когда я стал интересоваться его образованием, оказалось, он учился на журфаке университета в своём родном городе, далеко от нас, но был замешан в каких-то студенческих волнениях и выгнан. Естественно, его сразу же призвали в армию, а поскольку он был недоучившимся журналистом, сочинял стишки и рисовал, в армии тут же стал «художником»: оформлял стенгазеты, лозунги и плакаты, очень стараясь в этом амплуа; как он потом признавался, всё это он делал затем, чтобы втереться в доверие к замполиту, своему прямому начальнику, вступить в партию и получить хорошую характеристику, чтобы восстановиться после армии в университете.

И, видно, перестарался. В партию его приняли, но в виде партийной нагрузки предложили выполнять кое-какие обязанности щекотливого свойства. Дело в том, что он имел в части ценную для солдата привилегию — сравнительно вольную жизнь: сам ездил в город закупать краски, кисти, бумагу… Как-то раз его попросили заодно свезти запечатанный пакет; свёз, вручил кому надо, доверие оправдал… И тут замполит свёл его с одним капитаном; этот разговорчивый и не без интеллекта капитан запросто, без субординации поболтал с Михаилом как с приятелем, а потом, вроде бы нечаянно, признался по секрету, что он из контрразведки и никак не может выполнить одну задачу: поймать «птичку» из залётных «оттуда», — он многозначительно показал большим пальцем куда-то за спину, так что Миша сразу всё понял.

Тайна эта, нежданно свалившаяся на него, его взволновала: как, в их неприметном городишке — и шпион?.. А капитан только усмехнулся над Мишиной наивностью, подождал, пока Миша не унял волнения, и спросил напрямик, раз уж проболтался: не поможет ли он им обнаружить эту «птичку» — ведь он бывает в городе, видит массу людей, коммунист теперь… Миша, распираемый гордостью от такого доверия, согласился немедленно.

Капитан показал фотографию мужчины, попросил хорошо запомнить лицо и проинструктировал, как себя вести, если обнаружит шпиона: незаметно пройти к ближайшему телефону-автомату, набрать номер и, назвавшись, тотчас доложить обстановку (кажется, набрать надо было №008, а самому ему был присвоен №12), а затем продолжить преследование и по возможности регулярно докладывать…

Бывая теперь в городе и невольно шаря глазами по толпе, где бы он ни был: в автобусе, в магазине, в кинотеатре, куда успевал зайти, выкроив полтора часа, — он неотступно искал этого человека.

И человек этот ему скоро на глаза попался, и Миша действительно следовал за ним, сколько было возможно, ведя себя так, как научил капитан: и по телефону доложил, и продолжил преследование, пока тот, заподозрив что-то, не вскочил в трамвай. Миша поймал такси, догнал через три остановки трамвай и ворвался в него, но шпион словно испарился… В эти минуты Миша пережил неповторимую остроту момента, ощущая себя сыном Родины, исполненным чувства ответственности перед нею!.. А на следующий день капитан нашёл его, горячо поблагодарил за исполненный долг и выдал небольшую, но так всегда необходимую солдату сумму денег.

Однако, как Миша потом догадался, случай со шпионом был, скорее всего, проверкой на честность, а может, просто учебным занятием. Потому что следующее задание оказалось куда прозаичнее… Поскольку он, человек весёлый и общительный, успел завести приятельские отношения со многими молодыми лейтенантами, в том числе и лётчиками из соседней части — тот капитан подсказал Михаилу, на какие темы стоило бы ему поговорить с лётчиками: капитана интересовало, слушают ли они зарубежные голоса, увлекаются ли западной музыкой и употребляют ли такие словечки, как «джинсы», «доллары», «Америка»?..

По рассказу самого Миши, он решил на свой страх и риск поскорее выпутаться из этой истории и, будто бы, недолго думая, предупредил лётчиков, что они «под колпаком», а затем, притворившись простачком, доложил капитану, что встретился с лётчиками, но они его подпоили, и он проболтался. «Ты, надеюсь, не такой дурак,—спросил, будто бы, капитан,—чтобы сказать им, что следишь за ними именно ты?»—и Миша подтвердил, что он—именно такой дурак. И тогда капитан, будто бы, произнёс роковую фразу: «Учти, ты пожалеешь об этом и долго будешь об этом помнить!»

Только и всего-то? Миша, сильно переживавший, что влип в историю, даже обрадовался, что так легко отделался, и угрозу капитана всерьёз не принял: слабо, мол, будет тебе меня достать, когда дембельнусь!—а душа пела: разговор происходил за тысячи километров от родного города, притом что скоро дембель…

Но когда, демобилизовавшись, он вернулся домой и с нескольких попыток попробовал восстановиться в университете, ни одна попытка не удалась… Конечно же, он тогда ещё не знал, что стукачество—это сложная система, пронизавшая общество насквозь, словно шампур бесформенную груду мяса, для того чтобы оформить её в известное блюдо, и что система эта всемогуща… Впрочем, эта тема ещё ждёт своего исследователя.

Наш Миша и без диплома начал работать журналистом в газете. Год работает, второй, вроде бы, получается, а серьёзной работы, кроме как «кто куда пошлёт», не дают. Покрутился несколько лет, бросил, переехал подальше от дома: к нам, в Сибирь. Снова—в журналисты, и снова—как заколдованный: другим—и серьёзная работа, и повышение, и платят лучше, а он опять—«кто куда пошлёт». Надоело, перешёл в «культпросветчики»: возить по сельским клубам концертные бригады от филармонии; сам подвизался в роли конферансье и чтеца-декламатора, пописывал юморески на злобу дня. Тут-то его и нашёл в занюханной районной гостинице Кулебякин, оценил организаторские способности и переманил к себе в бюро пропаганды.

Как сложились дальнейшие отношения Новосельцева с *органами*, я судить не берусь; знаю только, что кое-кто из писателей поговаривал, что связи его с ними продолжаются, только писатели никак не могли разобраться в тайнах этих связей: то ли Кулебякин попался на удочку с этим Мишей на крючке, то ли в этих стратегических планах Кулебякин был с ним заодно? Однако фактов у меня—никаких.

Во всяком случае, Кулебякин не жалел, что принял его. Уж на что сам был ловок по части устраивать дела, но и он дивился Мишиной ловкости: умению заехать с группой писателей в такую глухомань, где уже много лет не ступала нога начальника и мздоимца, и взять деньги там, где их и быть-то не могло; или выступить один раз, а документы оформить за два, а по пути ещё раздобыть тушу барана на шашлык, флягу мёда, устроить пикник на природе с местным начальством или случайными дамами. Но и глаз за ним был нужен: клюкнет лишку на обеде у председателя колхоза, зазвавшего их к себе домой или в закуток местной столовой, громко называемый «банкетным залом» (и сытный обед бесплатно, и водочка к обеду, а самый обычный гость там—секретарь райкома, но зато уж заезжих писателей потчуют не по обязанности, а от души, и обед тот медленно перетекал в ужин); а вечером в колхозном клубе после такого обеда Миша вместо того, чтобы скромно предварить выступление писателей при некотором стечении народа, пришедшего «похавать культуры», как начнёт сам говорить—не остановишь, и думает деревенская публика, что он-то, Миша Новосельцев, и есть наиглавнейший писатель; да ещё как гаркнет в память о своём прошлом культпросветчика: «Итак, друзья, начинаем концерт!»—и сколько Кулебякин его ни поправлял: «Да не концерт, а литературный вечер: мы же не клоуны—мы писатели!»—долго, несколько лет, наверное, всё объявлял, как клюкнет: «Начинаем концерт!» И количество выступлений самому себе он мог больше всех насчитать, а то и вовсе прихватить компанию дружков, рвануть с ними под видом писателей по районам и собрать чужую дань. Глаз да глаз за ним был нужен, и держать его надо было в твёрдых руках—это Кулебякин знал и регулярно устраивал ему головомойки, но, как это у нас на Руси заведено, и восхищался его ловкостью, и держал возле себя за ценнейшего работника.

Ему-то он и доверил хлопоты, связанные с приобретением и ремонтом особняка. И Миша с головой, как в стихию, ещё неведомую, окунулся во все эти заботы: отчуждение от прежнего владельца, выселение жильцов, составление проекта и сметы, выбивание денег, поиски подрядчика, дефицитных материалов и деталей: фанерованных дверей, деревянных панелей, паркета, красивых обоев, люстр, мебели и т. д. и т. п. Эта суетливая хозяйственная работа, наверное, и была настоящим его призванием, к которому он так долго, кружными путями шёл…

Так кто же он всё-таки был, этот Миша: бес ли в человеческом обличии, по мнению некоторых, сгубивший писателей, или своего рода апостол добра, под маской лукавого увальня посланный судьбой скрасить нашим писателям быт в те годы?.. И был ли он стукачом? Если да, то это был такой изощрённый план извести писателей, и столько на это понадобилось усилий, что этого, пожалуй, не позволило бы никакое начальство. А если не стукач—так, значит, это злой навет? Или чья-то двойная игра, чтобы отвести подозрения

от кого-то другого?.. Признаюсь, ответов на это я так и не нашёл.

А между тем не так всё просто и быстро получалось с реконструкцией, как того хотелось Кулебякину и тому же Мише. Казалось порою, она растянется на годы, а то и вообще из затеи ничего не выйдет, когда они столкнулись с инертной, как глина, системой передачи здания, которую надо было с неимоверными усилиями преодолевать.

А выселение жильцов! Одно оно растянулось на месяцы… Но вот особняк был освобождён, и взглядам хозяев предстали интерьеры его во всей неприглядной уродливости, не так бросавшейся в глаза, пока жильцы заслоняли их своим скарбом: дощатые клетушки с засаленными обоями, со следами от мух, клопов и тараканов, с закопчённой побелкой и облупленной штукатуркой, с прогнившими полами и, наконец, кучами бытового хлама, который жильцы бросили, брезгуя тащить в новые квартиры. Всё это надо было выбрасывать, ломать, отчищать, менять! Но ни Кулебякина, жаждавшего нового просторного кабинета, ни Новосельцева, жаждавшего деятельности, уже ничто не могло остановить…

А через год въезжали в сверкающие, просторные кабинеты, остро пахнущие краской и лаком, с высокими, белоснежными лепными потолками, с широкими двупольными дверьми, с большими стрельчатыми окнами, с новенькими паркетными полами. Втаскивали и расставляли столы, шкафы, кресла, диваны, раскатывали дорожки, расставляли цветочные горшки на окнах, развешивали шторы, а также картины и эстампы, подаренные по такому случаю художниками. И особняк приобрёл полудомашнюю атмосферу, какую приобретают нестандартные небольшие конторы.

Но особняк был отреставрирован не весь: на весь денег не хватило; остались не отреставрированными светёлка на втором этаже и подвал.

Глава одиннадцатая

Есть старый военный афоризм, изречённый, кажется, Суворовым: плох солдат, который не мечтает стать генералом. Я согласен: да, в самом деле плох. И всё же сомневаюсь в том, что каждый солдат мечтает о генеральстве — очень уж далека мечта; я больше склоняюсь к тому, что всякий солдат разумно оценивает свои возможности и чаще мечтает стать прапорщиком. Но я не сомневаюсь в том, что любой Хозяин области мечтал в те годы стать Верховным Шаманом или хотя бы одним из его приближённых и находил в себе самом уйму достоинств для этого. Потому что на том неимоверно длинном пути от первой должностной ступеньки молодого специалиста человеку, ставшему руководителем области, до вершины власти было уже рукой подать.

По многим признакам, и Хвылина подумывал об этом всерьёз, и знаем уже, что он имел своего «конька», на котором мог победоносно въехать в Москву — эту его приверженность к развёртыванию Великих Строек. Однако шли годы, за одной Великой Стройкой разворачивалась ещё более Великая, о них писали газеты, не только местные, но и центральные, мелькали фотографии строек, и в некоторые попадал сам Хвылина в белой монтажной каске и резиновых сапогах, однако годы активной молодости и даже зрелости уходили, а в Москву его пока что не приглашали. Сложное для него было время (а когда и для кого оно бывает несложным?).

Впрочем, его усилия совсем даром не пропадали: разумеется, Москва считала его своей главной опорой на востоке страны и ордена за эти стройки вручала ему регулярно; даже область нашу наградили орденом; а когда её наградили — тут уж полился дождь, ливень, водопад орденов: только успевай, кто бойчее, подставляй грудь!

Хвылину со временем продвинули (да-да, в те годы было характерно выражение *продвижение кадров* — словно кто-то невидимый играл ими в шахматы) в Члены Великого Курултая, а Член Великого Курултая (будем для краткости называть его просто *членом)* — это уже ого-го! Заветная Москва, хотя и медленно, но приближалась: теперь Хвылина бывал там чаще, живал подолгу. И, соответственно, благ вкушал (вместе с семьёй) больше; не будем обманываться лукавыми заверениями властителей всех времен, что власть — это одни обязанности, власть — это ещё и блага, и весьма ощутимые, так что даже трудно и сказать, чего там больше: благ или обязанностей…

Членов старались натаскивать в Большой Политике, готовя к государственной службе на верхних этажах Центральной Власти, и одним из видов такой натаски были поездки за рубеж в составе партийно-правительственных делегаций.

Напомню, что главной доктриной Большой Политики Великого Курултая были похороны мирового капитализма и построение на его вселенской могиле коммунизма. В соответ-ствии с этой доктриной Великий Курултай поделил земной шар, словно шахматную доску, на белые и чёрные клетки, на «социалистический лагерь» и «капиталистический мир», на друзей и врагов.

Друзей полагалось любить, а врагов ненавидеть — это естественно. Но была одна противная закавыка — вражеские товары: они всегда были качественнее, красивей и разнообразнее наших. Причина явления, конечно же, легко объяснима дьявольской хитростью врага и диалектикой борьбы; но наш народ этой диалектики не понимал и безобразно сходил по вражеским товарам с ума. Понятно, стало быть, что незачем пускать туда

всех; пускали сознательных, причём поездка к врагам приравнивалась к самой высокой награде… С дружественными странами было проще: порядки были почти наши, и жили там или чуть хуже, или чуть лучше, но похоже.

Хвылина вместе с супругой успел побывать почти во всех дружественных странах, и всё, что можно оттуда привезти, было привезено, а музеи, архитектура и духовная жизнь тех стран их как-то не интересовали. Когда же он стал Хозяином, необходимость привозить вещи вовсе отпала; к их услугам были теперь все торговые склады города, и жена его, Людмила Васильевна, которая хоть и работала (ей подыскали должность, достойную её статуса *хозяйки*: возглавить Областной Комитет Советских Женщин), однако как супруга столь значительного лица, обеспечивая ему необходимый уют, большую часть рабочего времени проводила дома, а потому имела больше возможностей посещать склады, для поездок туда заказывая в гараже Большого Чума «волгу» с «нулями», которую благодаря «нулям» беспрепятственно пропускали везде без пропуска и досмотра. При этом Людмила Васильевна изобрела оригинальный способ не покупать себе ни шуб, ни обуви, ни драгоценностей (без которых не могла обходиться): брала на складе вещи, с неделю носила их, а потом возвращала, меняя на новые, никому этим не причиняя убытка: возвращённая вещь шла в продажу.

Правда, тут была ущемлена та безликая покупательница, которая эти вещи покупала как новые, но ввиду малости величины этой покупательницы она в расчёт не бралась; ну в самом деле, разве станет она возмущаться, если найдёт, что купленное ею модное пальто чуточку поношено? Да она просто счастлива будет, что достала его — при величайшем-то дефиците!

Так что необходимость ездить в дружественные страны у Хвылины с супругой полностью отпала; теперь они ездили туда разве что на курорты, и то редко — Людмила Васильевна жаловалась, что к ним там относятся «ужасно», принимая за рядовых советских людей.

Став полновластным Хозяином, под давлением своей супруги, пожелавшей побывать в «настоящей загранице», в «самом Париже», Хвылина уступил ей; да ему и самому хотелось, чтобы жена его пообтёрлась немного в этих самых Парижах да набралась европейского лоска. Большим Чумом изысканы были для этого на разных предприятиях средства и организована поездка в Париж целой группы жён руководящих работников области в виде делегации Областного Комитета Советских Женщин — для обмена опытом с француженками, которые, как известно, много чего знают и умеют.

Однако француженки, хоть и женщины, а вражеский лагерь, поэтому и сами жёны Хозяев, и их мужья отнеслись к идее поездки серьёзно. Лучшие портнихи города, отставив прочую клиентуру, целый месяц днём и ночью шили им наряды. Во-вторых, поскольку визит наших дам во враждебный стан был официальным, то, дабы на встречах и приёмах наши посланницы-сибирячки не осрамились перед насмешниками-французами, решено было дать этой группе жён уроки хороших манер; для этого расторопные ребята-кэгэбисты (ну вот как без них было обойтись?) отыскали в городе древнюю старушку дворянского происхождения, ещё до революции, девушкой учившуюся в Смольном институте благородных девиц и бывавшую с родителями в Париже. Однако в роковые тридцатые её, уже вдову строптивого расстрелянного профессора, выслали из Ленинграда на лесоповал, на север нашей области; она чудом выжила, и, поскольку никого из близких родственников у неё уже не было, так у нас и прижилась.

Старушку вырвали прямо из очереди за колбасой, посадили в «волгу», и когда привезли в Большой Чум — она, бедная, тряслась не то от страха, не то от ветхости и долго не могла сообразить, чего от неё хотят. Ей втолковывают: покажите дамам, как нож и вилку правильно держать, да чем и как едят мясо, рыбу и птицу, да как вино правильно пить! — а старушка только трясёт головой и — про своё: что она-де очередь за колбасой заняла с ночи, и номерок у неё триста второй — вот, на ладошке чернилами написанный, а ей опять не достанется… Такая, право, тупая бабка! «Да дадим мы вам этой колбасы!» — кричат ей в ухо, чтобы успокоить, и приносят из буфета такой ворох колбасы, что ей и не унести, и — снова пытать… Наконец допёрла старая: поскребла в своих старческих потёмках да как давай что-то лопотать: вроде бы и по-русски, а никто ничего понять не может: всё про гармонию какую-то, про этику; Пушкина приплела… Ей втолковывают: да вы нам не про это — Пушкина мы в школе проходили, вы нам — как вилку и нож правильно держать, да что сначала, а что потом!.. Такая тугоумная! А когда наконец поняла — как давай смеяться, тоненько так, словно мышка попискивает, и лопочет при этом: «А нас не учили нож и вилку держать!»

— Да как же так? — спрашивают её строго, будто она военный секрет утаить собралась. — Чтобы в Институте благородных девиц — и не учили ножи-вилки держать?

— А вот так, — просто уже насмехается над ними старушонка, — и не учили! Как все держали, так и я, никто не ломал себе над этим голову. Разве в этом дело? Дело в том, что… — и опять про душу да про этику.

Отступились от глупой бабки: увезли домой с сумкой колбасы — пускай советскую власть благодарит! Привезли из главного ресторана официантку — её в Москве на спецкурсах обучали, та сразу

поняла, чего от неё хотят, и всему за два часа обучила—хоть в Париж теперь, хоть в Лондон…

Но были и «третьи» страны. Там, в этих странах, жили одновременно и друзья, и враги. Они между собой там, естественно, боролись за власть, т.е., попросту говоря, убивали друг друга с оружием в руках; но иногда они меняли направление: друзья становились врагами, и наоборот, и порой трудно было разобраться, кто же там настоящий друг, а кто враг, потому что политические программы у тех и у других были как две капли воды похожи: благосостояние народа, демократия, социализм, и попробуй разберись, «наши» там демократия и социализм или не «наши», если страна находится на другом конце света и еле видна на карте, а народ там нищ, забит и неграмотен, да если ещё социализм вводится под тёмным покровом джунглей, на девять десятых покрывающих страну? Но Большая Политика Великого Курултая в том и состояла, чтобы уметь отличать среди десятков оттенков демократии и социализма «наши» от «не наших».

Поскольку краеугольным камнем нашей политической доктрины считалось, что настоящий социализм должен вводиться с помощью революций, то друзьям Великий Курултай постоянно помогал оружием и обучал войне. А чтобы не оконфузиться и не всучить оружие врагам, для завязывания регулярных контактов и поднятия у друзей революционного духа он посылал к ним на революционные праздники партийно-правительственные делегации.

Конечно, поездки туда были менее престижны, чем в страны европейские, к капиталистам, поэтому в отношении поездок существовало правило: начинай набраться политического опыта с третьих стран.

И одну такую поездку в африканскую страну *Кондомею* совершил в составе партийно-правительственной делегации Хвылина. Мы бы не стали заострять внимания на этом эпизоде его биографии—мало ли куда он ездил за свою жизнь, но, по-видимому, именно она имела самое непосредственное влияние на *событие*, которое мы избрали предметом исследования.

Итак, представьте себе маленькую африканскую страну, образовавшуюся после развала конгломерата французских колоний. Много лет в ней бушевали пожары освободительных, племенных, гражданских войн, но наконец войны утихли—народ устал, да и поредел числом от войн, голода и эпидемий. Из наших газет того времени невозможно установить: или тогдашний политический лидер Кондомеи, победивший всех в кровавой борьбе и возглавивший временное революционное правительство, уже воевал под знаменем марксизма, или только после победы объявил себя марксистом и руководителем марксистской партии? Во всяком случае, хорошую службу в его победе сослужило наше оружие. А когда победил, сразу стал просить помощи ещё и хлебом, одеждой, машинами и нефтью.

Поговаривают, что Людмиле Васильевне тоже хотелось побывать в Африке и посмотреть на африканцев: молва доносила, что Кондомея—одна из самых неразвитых стран, зато жители её статны и ходят почти нагишом, и что у тамошних мужчин весьма мужественный вид; но Хвылина, будто бы, только развёл руками: партийная дисциплина! Да и после недавнего переворота в Кондомее было ещё неспокойно, а потому делегация состояла из одних мужчин. Людмила Васильевна же подозревала, что они просто сговорились съездить в Африку без жён—поразвлечься. Женщина—что с неё возьмёшь?..

Хвылине Кондомея понравилась: всё не верил, что он в Африке, и удивлялся: эк, куда его занесло-то—в этакое уютное карманное государство, раза в полтора меньше области, которой руководил он сам! Понравился и синий океан, и белая кипень бурунов над рифами вдали, и голубизна лагун, будто подкрашенная купоросом, и ослепительно-белый песок огромных пустынных пляжей, и стройные пальмы, с сухим шелестом колышущие опахалами из огромных ажурных листьев, и преследующий всюду приторно-сладкий запах тропических цветов и фруктов… И среди этой экзотики, неправдоподобной, словно детский сон, когда начитаешься книжек про дальние страны,—современный европейский город, единственный, кстати, в Кондомее, её столица: особняки с белыми пышными колоннами и портиками, небоскрёбы из стекла и бетона, асфальт, оживлённое уличное движение…

И всё же, если всмотреться,—нет, не Европа, не сытая, холёная Европа: кое-как одетые, а то и вовсе полуголые чернокожие люди, крикливые пёстрые базары, разбитые, перегруженные, чудом умудряющиеся катиться машины… В пышных заброшенных особняках, если заглянуть внутрь сквозь разбитые стекла окон, видны провалившиеся потолки, светится небо и ползут по обломкам ввысь дикие зелёные побеги; а чуть подальше от центра—скопища фанерных и глинобитных хибар и нищая, голодная, многодетная голытьба…

Всё это Хвылина, разумеется, замечал, обо всём потом рассказывал друзьям, и его заворожённо слушали—о том, что он рассказывал, нельзя было прочесть ни в одной газете: странам, что ступили на «наш» путь, начисто было отказано нашими газетами не только в нищете, но даже в самых невинных деталях живого быта, а позволена только борьба и ожидание счастья… Но самое главное, что поразило его в Кондомее, о чём он неоднократно вспоминал с восхищением и что, наверное,

часто потом видел во сне: это ультрамариновая синева неба и океана и белые небоскрёбы на их фоне. Вот поди ж ты: полудикая, нищая Африка, а небоскрёбы, небось, имеет!..

Делегацию встречал глава государства, широкоплечий, склонный к полноте негр-крепыш примерно одного с Хвылиной возраста. Симпатичный, в общем-то, негр: толстощёкий, курносый, лысеющий — ни дать ни взять какой-нибудь выдубленный солнцем, дождём и ветром русский колхозный бригадир Иван Иваныч; разве что лицом потемней. И имя похожее — Жан, почти Иван, Ндбула. Только вот глаза не нашенские: фиолетовой, глубокой черноты, и лукавые одновременно, и какие-то, как красиво сказал один бывший с ними маститый московский писатель, одновременно и Член Великого Курултая: «полные, — говорит, — древней африканской печали».

По случаю первой годовщины захвата власти нынешним главой государства Ндбулой состоялся парад войск, на котором маршировали босоногие чернокожие воины с суровыми лицами, обвешанные оружием разных систем; но более всего, как с удовлетворением отметили члены нашей делегации, на них висело всё-таки *нашего* оружия.

Потом — официальный приём во дворце, принадлежавшем ещё не столь давно какому-то финансовому магнату, а теперь — резиденции главы государства. А вечером — ещё и большой банкет для ограниченного круга приглашённых, где у нашей делегации были особенно почётные места.

Банкет был с размахом: по-нашему, по-сибирски! — как оценил его Хвылина. Правда, в этакой духотище довольно быстро все одурели от обилия заздравных тостов и сытной мясной, с острыми приправами пищи, а одурев, принялись друг с другом объясняться в любви и клясться в вечной дружбе, обниматься и целоваться, в том числе и с самим Ндбулой, который поначалу торжественно восседал во главе стола с какой-то рыжей белотелой девицей с зелёными глазами, некой юной искательницей приключений не то шведского, не то датского происхождения, как шепнул «своим» наш консул; Ндбула сидел, держась, как император за круглую «державу», за золотистое колено своей пышнотелой подруги, крепко, как рак клешнёй, впившись в него короткими чёрными пальцами с синими ногтями.

Наша делегация, проинструктированная о возможных инсинуациях со стороны враждебных сил, влитая, как в панцири, в чёрные костюмы, держалась на приёме мужественно, но под конец не выдержала в этой по-африкански и одновременно по-нашенски тёплой и простой атмосфере, расслабилась и уже торопливо навёрстывала упущенное, пробуя редкостные напитки, доставшиеся Ндбуле от магната, и экзотические блюда.

Когда пиршество достигло зенита, выступил национальный танцевальный ансамбль: мускулистые негры, полуодетые в яркие одежды (Хвылина не мог не вспомнить своей жены, которой так хотелось взглянуть на этих мужчин!), наяривали на дудках и барабанах огневую ритмическую мелодию, а гибкие грудастые девицы в коротких, раздражающе пёстрых: красных, жёлтых, оранжевых — юбчонках в отчаянном танце соблазнительно вертели задами, и их тела сверкали и ходили ходуном, и колыхались перед осоловелыми взглядами гостей тёмные обнажённые груди, и поднабравшийся по этому случаю Хвылина, щуря для твёрдости взгляда глаза, грешным делом, будто бы, подумал: «Э-эх, согрешить бы хоть разик с такой!..» И в это самое время кто-то из гостей — нет, не наши: наши бы себе такого первыми не позволили! — будто прочтя мысли Хвылины, не вытерпев этого бешеного ритма и плеска красок в глазах, сорвался с места и пустился в пляс, ухватив одну из девиц за горячую обнажённую талию, и все гости вслед за ним, повинуясь уже только стадному инстинкту, развязанному добрыми порциями напитков, превратившихся в адскую смесь из шампанского, виски, коньяка, водки и рома, повскакивали и, похватав девиц, пустились с ними в пляс!.. Что было дальше — об этом Хвылина рассказать даже самым близким друзьям не решался. Когда рассказ его доходил до этого места, он, говорят, только крякал, качал головой и издавал междометия.

Остаётся дорисовать в воображении, как схлестнулись российское буйство и неистовость с африканскими жаркими ритмами и как по эмоциональной выразительности и экспрессии сцена эта должна была походить, скорее всего, на «Похищение сабинянок», каким его изображали в старину скульпторы и художники, где в роли сабинянок оказались юные чернокожие дочери Кондомеи, а в роли неистовых юных латинян — соответственно гости Ндбулы, в т. ч. и наш земляк Хвылина.

Но самое-то экзотическое на том банкете было не это. Когда на следующее утро они проснулись в своём консульстве с тяжёлыми от адской смеси головами, наш консул, одетый в лёгкий гражданский костюм полковник вездесущего КГБ, сообщил им, что местная газетёнка, принадлежащая филиалу независимого французского издательства, в утреннем выпуске в колонке светской хроники дала сухую, из самых, будто бы, достоверных источников, информацию, что в резиденции главы временного правительства Жана Ндбулы в честь годовщины переворота вчера был дан банкет, на котором присутствовали члены делегаций стран, поддерживающих режим Ндбулы; хозяин резиденции угощал своих гостей изысканнейшим блюдом, приготовленным из его любимой наложницы — так велит древний закон гостеприимства

в племени, к которому имеет честь принадлежать глава государства. А в финале этой насмешливой заметки совсем уж издевательски добавлено: «Чем только не пожертвуешь, чтобы получить одобрение дорогих гостей!»

Уж не от того ли, действительно, были на этом празднестве так печальны глаза главы правительства, нашего чернокожего марксиста?

Как вы понимаете, трудно описать состояние, и без того весьма плачевное после вчерашней адской смеси, в которое ввергло членов нашей делегации это сообщение. Как только они вспомнили о вчерашних экзотических блюдах, о пряных филе под острыми соусами, их стало судорожно, конвульсивно выворачивать наизнанку, и выворачивало до тех пор, пока их желудки не изошли зелёной слизью—до удушья, до синюшности на лицах, до безумия в глазах, вылезающих из орбит.

Правда, вящей справедливости ради должен добавить, что этот глава временного правительства Ндбула оказался в скором времени и не марксистом вовсе, а ренегатом: стал просить помощи и у французов, и у американцев, обещая быть сторонником политики всех сразу. А вскоре Кондомея вообще лопнула как мыльный пузырь: Ндбула был убит, вспыхнула новая гражданская война, и всё оставшееся немногочисленное население было или перебито, или умерло от голода, или разбежалось, а опустевшая Кондомея разделена между соседними государствами, каждое из которых, разумеется, предъявило на неё свои неоспоримые права, и между ними опять вспыхнула война… Но это уже к делу не относится.

Конечно же, Хвылина, как, впрочем, и другие члены делегации, изрядно повредил своей дальнейшей карьере из-за той скандальной поездки. Впрочем, что ему было до других, когда вот она, собственная жизнь, давала сбой! Казалось, близкий уже перевод в Москву затягивался, отдаляясь на неопределенный срок.

Он, конечно, оставался уверенным, что перевод рано или поздно состоится—он был *номенклатурой* Великого Курултая! Но пусть бы этот перевод состоялся раньше, чем позже, ведь он должен ещё успеть показать свои способности и свои возможности в масштабах страны! О, он бы смог возглавить в Великом Курултае строительную политику, он бы сумел превратить всю страну в строительную площадку—он бы многое ещё успел!..

А пока надо было крепко ломать голову, чем бы таким—новым, ярким, неожиданным—наполнить свою деятельность, чтобы поддержать свой слегка пошатнувшийся в Великом Курултае авторитет, а то ведь злые языки там уже анекдоты о нём распускают! Самое простое—изобрести новый почин, но как его придумать, когда, кажется, уже всё на свете придумано?..

И всё же в его воспоминании о Кондомее осталась одно прекрасное видение: ультрамариновая синева неба и океана и белые небоскрёбы на их фоне… Всё-таки он был настоящий строитель в душе! Ведь и негритянки были роскошны, и всё остальное, в общем-то, прекрасно, за исключением того злополучного филе (тьфу ты, гадость какая!), но эти белые небоскрёбы, чудо строительного искусства, всё волновали и волновали его уязвлённую душу: почему это, интересно, *они* могут, а мы—нет?

Глава двенадцатая

Когда Миша Новосельцев увидел во всей неприглядной наготе подвал писательского особняка, очищенный от кладовочек, хлама и многолетнего слоя грязи под ногами, он поразился прочности его каменных полов, грубой, незыблемой кладке стен, низким сводчатым потолкам и гулкой тишине под этими сводами. Умели, черти, строить—на века устраивались!.. Может, тот золотопромышленник, которому, по слухам, принадлежал особняк, сундуки с золотом здесь хранил?—разыгрывалось воображение при виде мрачной, средневековой какой-то живописности помещения. Однако подвал свои тайны выдавать не торопился.

Буддисты уверяют, что мысль—нисколько не продукт длительных рассуждений и споров: она настигает мгновенно, как молния среди чёрной ночи, в долю секунды высвечивая пространство на десятки вёрст вокруг.

Так и Мишу, как только он увидел этот подвал пустым, мгновенно осенило сделать его писательским кафе, тем единственным, неповторимым местом, где бы писатели могли свободно и безбоязненно посидеть за столиками, поговорить по душам, пошушукаться, заказать чего-нибудь в буфете и выпить без оглядок, а то и уединиться отрешённо над блокнотом, и может быть, суровый вид подвала навеет кому-то гениальную строку или замысел романа?.. Он уже успел насмотреться на писателей и хорошо знал, что, несмотря на всю разность их, их не то что бы объединяли и сплачивали, но всё же превращали в какой-то степени в братьев по духу две извечные слабости русского человека, частенько стыдливо таимые: склонность к душевному общению и склонность к алкоголю.

Писательские собрания обычно созывались два-три раза в год, и когда такое собрание заканчивалось и официальные лица (из Большого Чума и КГБ) удалялись, писателям, насидевшимся по своим углам без общения, расходиться не хотелось: кучковались, дообсуживали уже обсуждённые вопросы, обменивались анекдотами и литературными сплетнями и чего-то всё ждали; тут кто-нибудь восклицал: «А не послать ли нам гонца?»—и сообщество в ответ одобрительно жужжало, а Кулебякин с Финк-Червяковым многозначительно крякали; один из них осведомлялся,

все ли «чужие» ушли, второй высказывал сомнение: «Вообще-то Большой Чум запретил—опять недавно журналистов с выпивкой накрыли». На это кто-нибудь обязательно возражал: «А художники собирались—и ничего!» Но клич, как птичка, уже вылетел из клетки… Пускалась по кругу шапка, и двое молодых людей—тех, что готовились в профессиональные писатели, а пока что старательно перенимали традиции и были под рукой—мчались с портфелями в магазин.

Затем портфели появлялись нагруженными, и на обширный руководящий стол, застеленный газетами, выставлялись водка, рыбные консервы, томатный сок, маринованные огурцы, буханки хлеба, толстая безразмерная «палка» варёной колбасы… Кулебякин доставал из стола два мутных стакана; у кого-то имелся перочинный нож, с помощью которого кромсались ломтями хлеб и колбаса, откупоривались банки и бутылки; «банкомёт» разливал водку, а остальные, устав от ожидания, потирали руки.

Пили быстро, большими порциями—чтобы скорей освободить и передать соседу стакан. После первой же оглушительной дозы—будто бензину в костёр плескали, чтобы ярче горел—языки развязывались и разговор вспыхивал с новой энергией.

Кулебякин сетовал, что давно собирается купить дюжину стопок, чтобы, наконец, выпить, не торопя друг друга, да всё недосуг. Он даже делал пометки в своём календаре, но так и не собрался. А может, не хотел?

Вилок тоже не было: огурцы и помидоры вылавливали из банок руками, консервы зачерпывали перочинным ножом и клали на хлеб; однако перочинный нож был мал, и кусочки консервов падали на пол; их, чтобы не растоптать, поднимали и складывали на отдельную бумажку, а потом, когда всё было съедено, а разожжённый водкой аппетит ещё не умерен, съедали и их, успокаивая себя: «На фронте вон, бывало, и дохлых лошадей ели».

И Мише, глядя на них, возмечталось, чтобы все они смогли когда-нибудь собраться вместе и пообщаться не как бомжи в подворотне, боясь быть кем-то застигнутыми, а как свободные люди—с чувством собственного достоинства… Он сам мне потом рассказывал, как ему хотелось, чтобы они поняли, что есть кто-то, кто бескорыстно хочет им добра; как он жалел их, изверившихся, что на свете есть любовь и товарищество, а не одни только эгоизм, зависть и окрики начальства; рассказывал, как любил их, потому что сам пописывал немного, знал цену написанному и умел не путать личности писателей с их творениями, пусть не всегда гениальными, и всё же отмеченными и болью, и страданием, и держал их, таких вот, слабых духом, изверившихся, за отмеченных Богом в этом сволочном и грубом мире, и различал невидимые другим нимбы сияния над их седыми и плешивыми головами и хрупкие, словно стеклянные, крылья за их сутулыми спинами. Не знаю, правду ли он говорил, что любил и жалел их? Я, однако, склонен ему верить, хотя, может быть, любовь его была и не совсем бескорыстной, потому что он ведь всё-таки кормился с их помощью и надеялся сам стать со временем в их ряды? И при этом, как бы то ни было, он доказывал свою любовь делом.

Конечно же, как он и ожидал, Кулебякин ни о каком кафе и слышать не хотел: боялся прогневить Большой Чум; и потом, надо было опять хлопотать, кому-то что-то доказывать, изыскивать средства—а зачем? Кабинет у него уже есть. Вслух же объяснял Мише своё несогласие так:

—Тебе что, делать больше нечего? Привадишь писателей—колом потом оттуда не вышибешь, скандалов с жёнами не оберёшься!—и грозил пальцем:—О-ох, и куркуль ты, Мишка! Дай тебе волю—уж ты бы развернулся, а?

—А почему бы и нет?—пожимал плечами Миша—он уже был из другого поколения, не затюканного революционной ненавистью к выгоде и личной инициативе.—Дайте мне волю, я тут не только кафе—ресторан открою!.. Да если всем нам дать волю—мы бы, наверное, все по-другому жили?

—Но-но!—одёргивал его Кулебякин, будто их подслушивал кто-то третий.—Тебе что, наша власть не нравится?

—Нет-нет, что вы, что вы! Власть хорошая,—торопливо заверял его Миша.—Только почему нельзя сделать её ещ1 лучше?

—О-ох, нали-им!—осуждающе качал головой Кулебякин.

И всё же Миша не оставил своего намерения. Но решил действовать постепенно. Во-первых, заставил уборщицу до блеска вымыть подвал. Во-вторых, перетащил туда всю старую мебель из старого помещения: диваны, кресла, журнальные столики. И в-третьих, купил несколько настенных бра под старинную бронзу и подрядил электрика установить их и подвести свет. Подвал—при минимуме средств—сразу преобразился, и в него потянулись писатели—спрятаться от суеты, распить взятую в магазине бутылочку и покалякать; Миша прекрасно понимал тягу людей того времени забиваться в закутки и подвальчики, чтобы их никто не видел и не слышал. Одним словом, писатели голосовали за кафе ногами, а после очередного застолья, организованного по окончании собрания именно в подвале, Кулебякин сдался: ведь это действительно удобно—закрыли наружную дверь, погасили наверху свет, спустились в подвал—и гуляй себе, а то ведь сплошные заботы: окна светятся, под окнами какие-то тени, а пьяные писатели орут всё, что взбредет в голову…

Порешили, что прикрытием для кафе будет «поэтический клуб» под названием «Посиделки» и выхлопотали в Большом Чуме разрешение на это.

Миша тут развил бурную деятельность; и вот уже какой-то столяр-умелец соорудил в подвале внушительный, во всю стену, буфет и обнёс его высокой стойкой, покрыл её сверху белым пластиком, а сбоку оббил вишнёвого цвета дерматином под натуральную кожу, да с блестящими латунными заклёпками — форсистая стойка получилась. Потом появились несколько столиков, и окружили их мягкие, вишнёвого же цвета креслица. Потом появился каменщик и выложил там настоящий камин, а по окончании камин протопили. И наконец, в один прекрасный вечер в буфете засуетился молодой парень-буфетчик (важно величавший себя «барменом»).

Любопытно, что уже на третий день после открытия — хотя не было ещё ни вывески, ни рекламы — про существование кафе узнала и бесцеремонно попёрла туда весьма демократическая публика: какие-то потасканные мужчины, нагловатые парни, накрашенные развязные девки… Пришлось принимать меры — пускать только «своих»: журналистов, художников и актёров, причём «своим» розданы были пропуска.

Когда в кафе стали сиживать писатели, то в их разговорах слово за словом начало выясняться, что особняк этот хранит больше тайн, чем поначалу казалось. Кто-то уверял, что ещё до золотопромышленника в этом здании было губернское полицейское управление, и подвалы эти сохранились с тех пор; стало быть, здесь сидели воры, разбойники и убийцы, которых, вопреки мифотворчеству ревнителей старины, водилось тогда предостаточно, и можно только догадываться, сколько видели и слышали эти стены; но, будто бы, после постройки нового полицейского управления дом этот и в самом деле купил золотопромышленник и перестроил по своему вкусу, а подвалы сохранил — очень уж они ему приглянулись своей прочностью: и, наверное, эти стены слышали звон золота — кто знает, зачем нужны купцу крепкие подвалы?.. А кто-то из знающих вообще ошарашил всех, заявив, что в гражданскую войну особняк занимала сначала белогвардейская контрразведка, а потом — чекисты, и, будто бы, те и другие успели перестрелять здесь уйму народу, так что та грязь, на которой жильцы потом возвели свои жалкие кладовочки — не есть ли это кровь их земляков и собратий?..

После таких мрачных сообщений писатели осматривали и изучали шероховатости стен, сложенных из природного камня, ища следы пуль. И простым большинством вынесли вердикт: легенда о расстрелах — выдумка: и те и другие расстреливали свои жертвы не здесь, а в карьерах за городом, а если даже и здесь, то та жирная склизкая грязь — вовсе не кровь, иначе бы не было здесь той атмосферы уюта, которая теперь витает над ними: души замученных непременно давили бы на их сверхчувствительное подсознание… Хотя нет-нет, да кто-нибудь из писателей, хватив лишку, вспоминал некстати про расстрелы и, саданув по столу нетвёрдым кулаком, роняя посуду и юродствуя, орал: «Что, ребята, на крови благодушествуем? Не берёт нас, паскудников, совесть?..» — однако его утихомиривали: «Успокойся, ну благодушествуем, так чего убиваться?.. Иди, дорогой, иди домой — проспись!..»

И всё-таки Миша Новосельцев имел право гордиться своим детищем. Торговля спиртным в буфетах и кафе города по разным причинам то запрещалась, то вновь разрешалась; кроме того, частенько исчезали из торговли то одни, то другие продукты, поэтому Новосельцев и молодой буфетчик Игорь, оба заинтересованные в процветании своего заведения, имевшуюся в подвале тёмную угловую комнату оборудовали под склад и постоянно держали там запасы спиртного и кое-какой съестной дефицит: копчёную колбасу, ветчину, сыр, хорошие консервы…

И всё бы складывалось прекрасно, если б не одно обстоятельство, которому Миша не придал поначалу значения, но которое, развиваясь на его глазах, беспокоило его всё больше.

Однажды он заметил странное оживление вокруг особняка: из стоящих рядом старых особнячков, заселённых городским людом, стали однажды этот люд активно выселять, а особнячки — ломать экскаваторами. Миша попытался узнать у рабочего-экскаваторщика: что здесь собираются делать? — но тот ничего не мог ответить. Не потому, что был нетрезв, а просто ничего не знал.

Тем временем, разрушив десятка два особнячков, обнесли образовавшийся пустырь дощатым забором, причём забор прошёл совсем рядом с писательским особняком, слава богу, оставив его снаружи огороженной территории. Чувствовалось, что намечают строить что-то большое; однако плотники, ставившие забор, тоже ничего про это не знали.

Чтобы разузнать о предстоящей стройке, Миша ходил к всезнающим знакомым журналистам, но и они ничего не смогли прояснить.

Потом на пустырь привезли мощный экскаватор, от рёва которого звенели стёкла в рамах, и начал он, рыча и плюясь гарью, остервенело вгрызаться в землю, покрытую толстым слоем красного битого кирпича, выворачивая из земли брёвна, глыбы фундаментов, а где не мог взять ковшом — бил о камень стальным сверкающим клином, от ударов которого тряслась земля и испуганно вздрагивал писательский особняк; Миша с опаской осматривал стены и потолки, замечая разбегающиеся, как паутинки, сеточки тончайших трещин…

Но особнячок устоял, а котлован наконец был вырыт. Широкая и, главное, глубоченная дыра в земле получилась; когда человек стоял на дне котлована и кричал оттуда, голос его едва долетал наверх, а сам человек казался лилипутом. Теперь Миша часто туда наведывался — посмотреть, что там делается, и всё удивлялся: зачем такой котлованище выбухали?

Потом на площадку пришла бригада строителей во главе с шустрым молодым прорабом, двинулась туда армада автомашин, автокранов, тракторов с прицепами, и закипела стройка!

Тогда только туман секретности немного рассеялся — Новосельцев наконец узнал от прораба: начали возводить Культурный Центр, хотя никто ещё не догадывался, в том числе и сам прораб, об истинных масштабах стройки, потому что когда Миша спросил, сколько этажей будет иметь Центр, прораб ответил, что проект надземной части ещё не готов: стройка срочная, выдали только проект фундамента. И уж совсем никто не понимал её смысла — только пожимали плечами: «Значит, так надо». Впрочем, дух таинственности витал тогда над любой стройкой. «А может, под видом Культурного Центра строят секретный объект?» — высказывали догадки некоторые. Такое не однажды случалось: начинают строить макаронную фабрику, а когда закончили — это оказался завод взрывчатых веществ; строили цех расфасовки печенья, а там теперь гранаты начиняют…

Беспокойный Миша поинтересовался у Кулебякина:

— Антон Сидорович, что это за Культурный Центр рядом строят?

— А х… его, Миша, знает! — ответил ему Антон Сидорович, активно используя ненормативную лексику. — Я тебе так скажу: начальству виднее. Если надо — само скажет, а нет — так и ну их!.. Нам-то с тобой зачем головы ломать? — и, вполне доверяя Мише, добавил ещё несколько крепких слов, убедительно подтвердивших его искренность. Мише же стало грустно от этого равнодушия ко всему и Кулебякина, и всех-всех вокруг: провались завтра всё в тартарары — никто не вздрогнет и ничего не спросит — только скажут: да пошло оно!.. — и тут же забудут.

А Культурный Центр — или что уж там такое? — между тем медленно, но неостановимо рос.

Целый год, наверное, в котлован, в котором всё тонуло без следа, лили бетон, опускали доски, арматуру, кирпич; казалось, это отверстое чрево земли никогда не насытится. Но вот серый бетонный фундамент наконец вылез из земли, затем над ним постепенно вырос первый этаж, потом второй, третий, четвёртый, и, казалось, конца этой махине не предвидится — она медленно и неотвратимо лезла вверх, затмевая собою небо этаким серым коробчатым столбом, словно стебель фантастического, чудовищного злака.

Миша опять наведался к прорабу, с которым успел скорешиться:

— Так что это за Культурный Центр? Ты узнал?

— Нет, — спокойно ответил тот, не вынимая изо рта папиросы.

— А сколько этажей будет?

— Ой, много! Этажей, наверное, под сорок.

— Нич-че-го себе! — изумился Миша.

— А ты как думал! Самый высокий в Сибири! У нас в Сибири всё должно быть самое-самое! — с гордостью добавил прораб.

— Почему «наверное под сорок»? А точнее?

— Ты это не у меня спрашивай — начальству виднее. А тебе-то что?

— Как бы у вас что-нибудь не упало да нас не придавило, — уклончиво ответил, рассмеявшись, Миша.

— Не бойсь, не упадёт! — заверил прораб и растоптал окурок. — Ладно, забегай, а мне щас некогда, — махнул он рукой и убежал.

«Ну и секретность!» — качал головой Миша, глядя ему вслед и совершенно не веря лукавому прорабу. Ну зачем, спрашивается, Культурному Центру сорок этажей? Абсурд! — возмутился практичный Мишин рассудок. И разговор с прорабом его беспокойства не рассеял.

Глава тринадцатая

Но что же всё-таки за здание строилось?

Теперь-то вы, дорогие мои земляки, хорошо его знаете, и нет нужды о нём рассказывать, а вот что касается предыстории его…

Начать надо с самой идеи Культурного Центра, и тут придётся вспомнить Клавдию Корнеевну Выжлецову, третьего заместителя Хвылины, ведавшую обширной сферой идеологических вопросов.

Мы уже рассказывали о том, что в партийной иерархической пирамиде тех лет идеология доверялась женщинам, и правило было твёрдым. Однако, как известно, женщины-руководительницы вкладывают в работу гораздо больше, чем мужчины, болезненных амбиций и эмоционального накала. Не была лишена этих черт и Клавдия Корнеевна; конечно же, и она мечтала о продолжении карьеры, которая, как бег всех рек в Мировом океане, должна была закончиться в вожделенной Москве. Как о царствии небесном после смерти мечтает христианин, об объятиях сладкотелых гурий в садах Эдема — мусульманин и о нирване — индус, так каждый руководитель районного масштаба вожделел о Большом Чуме, а областной руководитель — о Великом Курултае, и не в будущей, конечно, жизни, ибо все они были бескомпромиссные материалисты и ни в какие блага, радости и награды после смерти не верили — они жаждали всего здесь, на грешной земле.

Но Клавдии Корнеевне первым лицом в области стать не светило — не было до сих пор подобных прецедентов не только в ближайшей, но и в отдалённой отечественной истории, чтобы женщина стала первым лицом в области или губернии; да Клавдия Корнеевна, видно, и не ощущала в себе сил переломить инерцию и создать прецедент. Поэтому надо было прыгать в Великий Курултай через голову Хвылины. Но для этого нужен не просто «конёк», а могучий конь; надлежало придумать и осуществить такую из ряда вон выходящую затею (на жаргоне её коллег — «почин»), чтобы звон пошёл по всей стране и стало слышно в самой Москве! А её, нашу первопрестольную, удивить во все времена было делом трудным. Однако «наша Клавдюша» такую затею придумала! Оставалось действовать напористо и наверняка.

Затея была проста и грандиозна, и в ней было всё: размах, гражданственность и, что самое существенное, лозунговая броскость и доступность широким массам: «Сибири — высокую культуру!»

Почин был одобрен Хвылиной и Большим Чумом, запущен в «массы», и разработано обширное «обращение» ко всем сибирякам, которое пронизывала главная мысль: сибиряки не могут прийти к коммунизму без «завоевания» высокой культуры, поэтому пора начинать сейчас (правда, непонятно было, где и у кого сибиряки должны были её «завоевать»?).

Затем в Большой Чум пригласили группу передовых рабочих, а также по одному представителю от писателей, художников, артистов, научных работников и инженерного корпуса; обращение было единодушно ими подписано, и материал запустили сразу в нескольких центральных газетах и на Центральном Радио; ну а местные газеты, радио и телевидение, открыв рубрику «Сибири — высокую культуру!», не умолкали лет пять кряду. Это было как непрерывное извержение вулкана, как неостановимый лесной пожар.

В книжном издательстве под этой рубрикой выпускались книги и брошюры, причём автором нескольких книг была сама Клавдия Корнеевна.

Каждый теперь торопился выпустить своё произведение под этой рубрикой (под рубрикой всё пропускалось легче и быстрей): поэты — стихи и поэмы, художники — картины; в театре под этой рубрикой шли спектакли, а в концертных залах — концерты; даже фотографы умудрялись под нею наводнять фотографиями котят газетные киоски и магазины.

На крышах домов и общественных зданий по городу заполыхали кумачом, вспыхнули метровыми огненными буквами в ночном небе лозунги: «Превратим Сибирь в край высокой культуры!», «Высокую культуру — в массы!» и т. д.; как уверяют очевидцы, впечатление от этого было такое, будто город наш и в самом деле превратился в ярко вспыхнувший факел, вознамерясь осветить не фигуральным, а самым что ни на есть физическим, неоновым светом лозунгов всю Сибирь разом, до самых глухих углов, претендуя на звание не более не менее чем культурной столицы целого континента.

С той поры как в человеческом сознании выкристаллизовалось слово «культура», сонмы умов бьются в надежде найти всеобъемлющую формулировку её, среди которых есть осмысления философские, исторические и гуманистические; есть формулировки иронические и парадоксальные; целая отрасль науки явилась на свет, культурология, и всё же всеобъемлющей, по-моему, так никто пока и не нашёл, хотя каждый, кто хотел найти, по-своему прав — понятие это, как и само явление, настолько глубоко и необъятно, содержит столько значений и оттенков, что искать и спорить придётся, видимо, до тех пор, пока будет существовать само явление. Так что же удивительного в том, что «наша Клавдюша» понимала слово «культура» по-своему, в меру собственного уровня этой самой культуры?

Во-первых, она как-то умела отличать «высокую» культуру от «средней», как, например, товаровед умеет отличить первый сорт товара от второго. Во-вторых, превращение Сибири в «край высокой культуры» виделось ей в виде списка «мероприятий» из ста пунктов, каковой и был под её руководством сочинён, где против названий самих «мероприятий» были вычерчены и заполнены графы: «срок исполнения! и «ответственный», и самый последний срок там был 5 лет, так что ровно через 5 лет, по исполнении сего списка, наша область должна была стать стопроцентно охваченной «высокой культурой», чтобы остальные области могли «подхватить» готовый «почин».

К чести Клавдии Корнеевны, кроме умения провести пропагандистскую кампанию, она умела ещё и организовать «охват», и он, разумеется, принёс свои плоды. Так, она сумела выколотить в Великом Курултае на свой «почин» большие средства, и в разных районах области было построено несколько новых клубов; на сельских сценах чаще стали появляться артисты в ярких одеждах с мишурой и блёстками (эта одежда считалась «народным костюмом»); артисты пели частушки и играли на балалайках (это был главный элемент «высокой культуры»); в сёла ездило выступать теперь больше городских посланцев, словно пчёлки, собиравших там свою дань деньгами и натурой.

Во время этой кампании также построено в нашем городе несколько спортзалов и огромный Центральный Стадион (серьёзным элементом высокой культуры должны были стать массовые спортивные зрелища), а также громадный Дворец Спорта, причём дворец этот легко

трансформировался в концертный зал для выступлений эстрадных знаменитостей (ещё одним элементом высокой культуры Клавдия Корнеевна считала эстрадные зрелища).

Конечно же, эта программа не обошлась без издержек. Так, однажды, когда на только что открытом Центральном Стадионе был устроен футбольный матч между сборной нашего города и знаменитой приезжей командой и не всех болельщиков смог вместить новый стадион, наши изобретательные земляки, чтобы всё-таки увидеть матч, догадались влезть на крыши окрестных домов; когда же их число на крышах стало критическим и шиферные кровли начали угрожающе потрескивать, бдительные милиционеры решили согнать их оттуда. Оттесняемые ими упрямые болельщики стали скапливаться на дальних участках крыш; шиферные кровли не выдержали, начали с треском рушиться, и люди с воплями сыпались в прорехи, как горох сквозь дырявые мешки. К счастью, погибших не было; лишь с полсотни человек увезли в больницы скорой помощи с переломами рук, ног, рёбер и ключиц.

В это время — при оглушительном-то треске крыш и воплях падающих — приезжие знаменитости на футбольном поле недоумённо остановились, а наши земляки-футболисты, которых удивить ничем невозможно, в той заминке воткнули в ворота гостям лишний гол, что обеспечило им успех, на что гости заявили протест и уехали обиженными.

А в новом Дворце Спорта на первом же выступлении заезжей эстрадной дивы ажиотаж среди молодёжи достиг такого накала, что при выходе возбуждённой толпы из зала после концерта случилось непоправимое: задавлены и растоптаны насмерть три девочки-подростка.

Это не считая недоразумений не столь драматических: ведь стадионы и спортзалы строились на месте ветхой застройки, и в редакцию областной газеты и к самой Клавдии Корнеевне рвались какие-то люди с сумасшедшим блеском в глазах, намереваясь помешать строительству. Хорошо, что милиционеры в Большом Чуме всегда начеку — но люди эти иногда прорывались сквозь их заслоны; бия себя в грудь, они называли себя краеведами и с пеной у рта доказывали, что развалюхи ломать нельзя, потому как там, видите ли, жил то какой-то поэт, то учёный, то революционер, а также слёзно молили не жечь, а отдать им бумаги, найденные строителями на чердаках ломаемых развалюх. Странно это было и вызывало подозрение: чего им надо на самом деле?.. Поэта того нет ни в одной советской энциклопедии, а учёный в своё время был репрессирован — стало быть, его и помнить незачем; революционер и вовсе оказался на поверку эсером, врагом ленинизма.

Когда же всё было сломано и сожжено, эти самые зачумлённые краеведы отыскали, наконец, какие-то старые книги с ятями, которые современному грамотному человеку и прочесть-то невозможно, и, упрямцы такие, всё же доказали, что тот поэт в 19 веке всё же существовал, что знаменитый сибирский учёный хоть и не реабилитирован, но на его труды ссылаются современные учёные и продолжают, таким образом, его дело — стало быть, он всё равно как реабилитирован, и доказывали с документами в руках, что с тем известным ссыльным эсером переписывался сам Ленин, и у того эсера среди бумаг на чердаке вполне могли оказаться ещё никому не известные письма Ленина, и всё погибло!..

Обрушенная на Выжлецову информация казалась ирреальной — будучи сама сибирячкой, она свято верила, что Сибирь до революции была дикой и тёмной, ходили здесь в нагольных тулупах и жили в избах по-чёрному, пока не пришли коммунисты и не перековали сибиряков в современных людей, и страшно удивилась, узнав, что Суриков, Менделеев и поэт Ершов родились в Сибири — так же, как сотни других, составивших славу России художников, писателей, музыкантов, учёных, государственных деятелей, и что русская история Сибири насчитывает почти столько же лет, сколько история Америки; а о том, что Сибирь имеет сотни тысяч лет человеческой истории и огромные напластования культур, что в земле её по сию пору лежат сокровища этих культур, подобные, может быть, сокровищам Древней Греции, Египта и Вавилона, что именно отсюда уходили племена осваивать пространства Европы, Азии и Америки — об этом она, похоже, так никогда и не узнала. Однако, чувствуя свою неправоту по отношению к настырным краеведам и желая хоть в чём-то потрафить их самолюбию, она пообещала, когда Центральный Стадион будет построен, разрешить повесить на его парадном фасаде мемориальную доску: здесь-де жил поэт 19 века имярек, — и пусть краеведы проявят инициативу с доской!

И договор был в самом деле исполнен: на серой бетонной колонне Центрального Стадиона под звуки оркестра, при небольшом стечении интеллигенции была торжественно открыта мемориальная доска с профилем забытого поэта; говорились речи о безнадёжном мраке, в котором жил поэт, и о ныне бурно расцветшей в Сибири культуре, чему все они свидетели; затем прочитаны вслух стихи поэта и возложены на деревянную тумбочку под доской цветы... Всё это было немного грустно, а в то же время и смешно, потому что не мог же полузабытый ныне поэт 19 века жить под трибунами современного стадиона!.. Но не будем слишком строги к тем, кто вешал доску, и сочтём, что культура, несмотря ни на что, восторжествовала.

Похоже, Хвылине не давали покоя воспоминания о той знойной африканской ночи с банкетом

в Кондомейской столице, о чёрных и горячих, как вороные кобылицы, негритянках и, конечно же, о белых небоскрёбах на фоне ультрамариновой синевы неба и океана; и всё это вместе: огневые негритянки и белые небоскрёбы — со временем сплавилось в его мозгу в одно целое, далёкое и неповторимое, из-за чего он и погорел тогда, застрявши в Большом Чуме, словно одинокий моряк на берегу, тогда как его сверстники, такие же, как он, Хозяева Больших Чумов, но более удачливые, плывут себе дальше, причаливают один за другим в столице и расхватывают посты… Уж на что жена его — умница, верный товарищ и подсказчик, а всё чаще не выдерживает, корит ими (устала ждать), а он всё сидит и сидит сиднем, и неумолимое время уходит водой в песок; надвигается, как тяжкая туча, предпенсионный возраст с его хворями и недомоганиями — то тут уже кольнёт, то там схватит; всё меньше сил и изворотливости, уже и до пенсии рукой подать, а никаких пока подвижек к Москве! А тут ещё молодая нахрапистая Выжлецова наступает на пятки, тарахтит дни и ночи на весь Союз со своей культурой. Ей-богу, утрёт ему нос — и туши тогда свечи, собирай манатки: кончен бал, притчей во языцех станешь, посмешищем у всех, кому ведомы тайные пружины восхождения: простофиля, растяпа, слабак, баба обошла!..

Но шансы у него ещё есть. И не всё использовано.

По-моему, именно в это время у него и рождается прозрение: да ведь культура — это же ого-го какой конёк: на нём и ему места хватит! Вот на что надо ставить! Не сельское хозяйство, не промышленность, не строительство, даже не спорт (ты спортсменам стадион, а они тебе ни рекордов, ни славы, и миллионы — псу под хвост!), а именно культура — вот гигантское поле, океан деятельности! Делай там что хочешь — никто не одёрнет: не туда, мол, гнёшь! Хитра Выжлецова, ох, хитра! Но и хитрость перехитрить можно…

И он присоединяется к её «почину», но привносит туда свою идею, в которой слились воедино его прошлое кадрового строителя и его полувидения-полумечты о небоскрёбе в лазурном небе: он предлагает построить в городе Культурный Центр в виде сорокаэтажного небоскрёба, чтобы был он самым высоким зданием в Союзе и выдающимся произведением строительного искусства, чтобы о нём, захлёбываясь, писали газеты, чтобы фотография небоскрёба обошла страну и стала символом современной Сибири и нашей области; чтобы каждый, кто приедет сюда, сразу узнал издалека его силуэт и воскликнул: да-а, уме-ют здесь и смело мыслить, и строить с размахом! А если об области говорят и пишут, то кого при этом имеют в виду? Не Хозяина ли?.. Да ещё на Госпремию подать!.. Дух захватывало от такой перспективы.

По этому поводу в Большом Чуме созвано было большое совещание всех-всех, кто мог оказаться причастным к этой затее: архитекторов, проектировщиков, строителей, экономистов, представителей городских властей, работников культуры, начиная, разумеется, с Выжлецовой и Таратутина.

Идея была слишком нова, чтобы её сразу приняли на ура. Возражения сыпались густо, и возражения серьёзные. Однако Хвылина отбивал их так же легко и артистично, как, бывало, футболистом-защитником отбивал атаки, насмерть защищая свои ворота.

Первыми возразили архитекторы:
— Сорокаэтажный небоскрёб с его вертикальной доминантой нарушит силуэт города. Существуют законы эстетики, и мы их не вправе нарушать!
— Чего вы цепляетесь за свои консервативные законы? — парировал Хвылина. — Весь мир строит небоскрёбы, а у вас сразу всё нарушится!..

У проектировщиков были свои возражения:
— У нас в стране нет опыта проектирования сверхвысотных зданий.
— А Москва? — спросил их Хвылина.
— Москва вслепую, «методом тыка» строит. И слишком дорого — нам так никто не позволит! — возразили опять.
— Дадим вам командировку за рубеж — поезжайте и изучите их опыт!..

И те умолкли — кто ж возразит против зарубежной командировки?
— Мы тоже совершенно не готовы к сверхвысотному строительству: ни специалистов, ни соответствующей техники! — привели свои доводы строители, тоже, видно, разинув рты на зарубежные командировки.
— А вы создайте эту технику и научите специалистов — время у вас ещё есть! — срезал их Хвылина. — Как говорят в народе, под лежачий камень и портвейн не течёт!..

Следующими возразили экономисты:
— Это удовольствие — иметь свой небоскрёб — выльется во многие миллионы — кто их даст? И содержать дорого. Кто разрешит возводить сверхнормативную махину?
— Найдём миллионы — пусть у вас об этом голова не болит! А разрешение беру на себя! — заверил их Хвылина.

Возражали и представители городских властей:
— Чтобы возвести такое здание, надо столько бетона, стали, труб, стекла, проводов, что придётся сократить строительство жилья, школ и больниц.
— Вы за кого нас держите? За дилетантов? — высмеял их Хвылина. — Зачем вы нас шантажируете школами и больницами? Мы что, в первый раз собрались и не знаем, как выкручиваться? За счёт экономии будем строить! Возьмём обязательства, встречный план, да мало ли разных форм? Но культуру останавливать мы не будем!..

Однако представители культуры имели на это свою точку зрения:
— А зачем нам сорок этажей? Если даже все наши учреждения культуры собрать вместе — едва ли займём половину.

Вы всё меряете вчерашним днём! — решительно ответил им Хвылина. — Первые три-четыре этажа займём киноконцертными залами, библиотеками, театр устроим, кафе, выставочные залы — мы такие карусели завертим! Главное, будет ориентир, куда устремятся люди, молодёжь, дети!
— Но трудно бывает собрать в одном месте много тысяч человек! Транспорт, эвакуация…
— Ну так грош цена вам как работникам культуры, если не сможете собрать! Учитесь работать по-новому!..

В общем, на том совещании Хвылина выбил из рук оппонентов все козыри, и совещанию предложено было коллективное решение: в связи-де с бурным ростом культуры в области и влиянием её на культуру всей Сибири необходим мощный Культурный Центр… И все до единого — как миленькие! — подписались, так что решение получилось как бы плодом коллективного разума и объективной необходимости.

И машина закрутилась. Отдел конструкторов проектного института и целая архитектурная мастерская под руководством лучшего архитектора города засели за разработку «поста № 2», как тут же окрестили меж собой будущий Культурный Центр эти интеллектуалы от строительного искусства, намекая на то, что «пост № 1» — это мавзолей на Красной площади и что Хозяин вознамерился воздвигнуть себе собственный мавзолей, равный по высоте пирамиде Хеопса!

Шутить-то шутили подчиненные, а дело делали споро: за это платили, да и не хотели они увиливать, втайне надеясь потом на премии, всякие звания и продвижение по службе: объект действительно был уникален.

И уже полетели в Москву по разным ведомствам расторопные посланцы из Большого Чума и проектного института — согласовывать на разных стадиях детали этого грандиозного проекта, и везли с собой пухлые портфели, а в них, под строжайшим секретом, кроме документации — традиционное наше богатство, «мягкое сибирское золото»: шкурки соболей, песцов, норок… Сколько этого «золота» улетело в портфелях и саквояжах в Москву по тому или иному поводу, откуда оно бралось и к кому попадало — так, видно, и останется навсегда интимнейшей тайной всех, кто к этому причастен, а я смог поймать этот уходящий в небытие факт лишь за самый кончик, заплатив за него обещанием не выдавать тех, кто делился со мной секретом; ведь и Бога свергли, прокляли и растоптали, а всё что-то мешает людям и требует покаяния… И — каяться страшно: как бы чего не вышло?..

Когда Хвылина узнал, что Верховный Шаман любит охоту и во всех областях уже приготовлены для него охотничьи угодья и построены охотничьи домики, он тоже стал строить, причём с истинно сибирским размахом; в далёком таёжном урочище с небольшим озером посередине силами военных был огорожен забором участок гектаров в пятьсот и устроен заповедник: завели несколько ручных медведей, прикормили сибирских косуль и маралов, развели лебедей и диких уток, построили «охотничий домик» с огромной кухней, просторными залами и каминами, с импортной мебелью, винным погребом и хорошей посудой, развесили по стенам картины лучших местных художников на охотничьи темы, а также головы лосей и маралов, украшенные огромными рогами — всё в избытке, всего чересчур! А рядом построены «русская» баня и ещё один дом, попроще — для обслуги, где, кроме начальника «хозяйства», причисленного, кстати, к вездесущему КГБ, жили несколько егерей, солдаты охраны и связи, штат поварих, уборщиц, официанток и кастелянш.

Внутри «охотничьего хозяйства» имелась вертолётная площадка, а в городе на аэродроме постоянно стоял в полной готовности тщательно проверенный «правительственный» вертолёт. К «охотничьему хозяйству» вела от шоссе бетонная дорога, в начале которой стоял закрытый шлагбаум, и на нём — грозная трафаретка: «Стой! Запретная зона!» — а рядом в будочке томился солдат-автоматчик.

Трудно представить себе, что же там, за глухим забором (тоже с развешанными по нему трафаретками: «Стой! Запретная зона!») за компания собралась и чем занималась в отсутствие хозяев; только жители окрестных деревень по сию пору рассказывают об этом «хозяйстве» чудовищные истории, что там вытворяли солдаты и компания молодых девок в придачу, пересказывать которые здесь у меня нет ни места, ни желания.

Но Верховный Шаман всё не ехал.

Сам Хвылина не был охотником и дикой природы не любил, но чтобы как-то понять Верховного Шамана и проникнуться его страстями, да и для личной инспекции своего «охотничьего хозяйства», вынужден был посещать хозяйство один-два раза в год, прихватив для компании парочку генералов; они садились в «правительственный» вертолёт и улетали туда на несколько дней, а прилетали с набрякшими под глазами мешками от суровых мужских забав, на нетвёрдых ногах вылезая из вертолёта. Бравые генералы снисходительно похлопывали Хвылину по плечу, поддерживали под локотки и подмигивали: «Ничего, всё нормально! Всё — между нами!..»

И всё-таки Верховный Шаман однажды нагрянул.

К этому событию — чтобы повысить собственный авторитет и значимость управляемой им области — приложил немало усилий сам Хвылина, ибо он уже имел достаточно влияния, чтобы в какой-то степени и управлять подобными событиями: в Великом Курултае у него к тому времени сложился определённый круг знакомств; знакомые эти — или, может быть, даже друзья? — уже делали ему некоторые услуги (так же, как и он им, помня о взаимности, ибо кто ж не знает, что пробиваться к власти в одиночку — предприятие безнадёжное: слишком велик соблазн, лаком кусок, огромна конкуренция, и никому не хватит сил преодолеть этот путь одному).

День прилёта его к нам был строго засекречен, поскольку, по твёрдому убеждению властей, население, если не принимать к этому мер, только и может, что пакостить и мешать работать. Хотя население, конечно же, прекрасно видело, что до приезда Верховного остаются считанные недели, потом дни, а потом и часы — по всё ускоряющимся, а под конец и вовсе судорожным усилиям властей навести кругом порядок.

Во-первых, по всем путям следования высочайшего гостя дорога без конца приводилась в надлежащий вид и очищалась ото льда и снега (дело было зимой); когда же дорогу, никого не спросясь, перекопали ночью строители, чтобы срочно проложить трубу, этим строителям приписали вредительство, а траншею засыпали, так и не успев проложить злополучной трубы, а т. к. засыпали пополам со снегом — пришлось для прочности залить её ещё водой, а когда она заледенела, положить поверх льда асфальт. А ветхие домишки по пути следования загородили заборами, заборы покрасили в зелёный цвет, а поверх зелени пустили самое красивое, по мнению Большого Чума, оформление — кумачовые лозунги, и самый яркий среди них: «Дадим Сибири высокую культуру!».

Затем вездесущие работники КГБ осмотрели все чердаки домов по пути следования кортежа и фасадные балконы, ломясь в квартиры и топоча по лестницам. Что они там искали — неизвестно, однако страху нагнали.

В кабинетах Большого Чума стелились новые ковры, а по коридорам — новые дорожки; в «правительственный корпус» на территории Большечумовских дач за городом завозили новую мебель, новые ковры и гардины, новую чайную и столовую посуду.

За день до приезда Верховного были остановлены все химические заводы в городе, хотя остановка их вела к убыткам. Зачем остановили — никто не объяснял; одни предполагали — во избежание случайных взрывов, другие — во избежание диверсий и соблазна изготовления рабочими бомб. Видимо, поэтому же закрыли и опечатали химлаборатории в прочих организациях. Даже в школах. Было похоже на то, как город разоружали, словно врага, перед въездом победителя. И город затаился в ожидании.

В день приезда высокого гостя отменили занятия в школах и институтах и с самого утра вывели школьников и студентов с флажками в руках на улицы по пути следования кортежа. Ребятня и молодёжь, весёлая по случаю однодневных каникул, краснощёкая на морозе, резвилась, как могла, а потом, часа через четыре, поскольку никто в городе не знал точного времени прилёта, стала расползаться; однако бдительные воспитатели следили за питомцами, ловили и водворяли на место, а фамилии дезертиров записывали для принятия в будущем мер и выводов.

Хвылина, разумеется, неоднократно встречался с Верховным Шаманом в Москве, в Великом Курултае, однако всегда был там в массе себе подобных, часто более нахрапистых и говорливых, чем он, и ему трудно было выделиться там и показать себя Верховному с лучшей стороны; шанс показать себя был предоставлен ему только здесь, поэтому понятно, с каким сложным чувством в душе, с лицом, светящимся доброжелательнейшей улыбкой и неподдельной радостью, нетерпеливо переступая ногами, без шапки, несмотря на мороз, встречал Хвылина вместе со своими заместителями Верховного в аэропорту, у самолётного трапа с красной бархатной дорожкой.

Верховный Шаман, когда-то, вероятно, крупный мужчина с могучим голосом и надменным видом (какой и надлежало иметь Верховному Шаману, чтоб устрашать врагов и свой народ), был уже очень стар; таким его видел Хвылина в Великом Курултае, таким его видели на фотографиях миллионы соотечественников. Но когда он увидел, как четыре дюжих парня в серых пальтецах буквально вынесли его из самолёта, а затем по трапу вниз и поставили на красную дорожку, всё равно поддерживая, ибо тот валился, и помогали вложить его непослушную руку в протянутые ладони Хвылины — тут только Хвылина осознал, до какой степени Верховный дряхл: год-два ещё протянет, а там!.. Страшно было представить себе, что будет потом… Придёт новый Верховный Шаман; значит, нужны новые усилия, чтобы как-то примениться к нему… Но главное — время, которого у Хвылины уже нет. Поэтому всё, что можно — надо делать сейчас: другого раза не будет!.. Примерно такие мысли должны были промелькнуть в мозгу у нашего Хозяина, пока он горячо жал руку Верховного, старательно выговаривая затверженные велеречивые слова приветствия. Затем он представил ему по очереди всех своих заместителей, которые, в свою очередь, не менее тепло улыбались и не менее преданно ловили глазами блуждающий взгляд Верховного, а руками ловили его непослушную

руку; а между тем свита Верховного всё выходила и выходила из необъятного чрева второго самолёта, прилетевшего следом, и Хвылина разрывался между вниманием к самому Верховному и к людям его свиты: ведь от них тоже зависело многое.

И когда наконец Верховный, отдуваясь, повалился на подушки заднего сиденья в лимузине, а Хвылина расположился на переднем, в то время как свита Верховного и Хвылинины заместители набились в остальные полсотни машин, и когда наконец кавалькада тронулась в путь и под вой милицейских сирен понеслась в город, чтобы, минуя центр с пустыми проспектами, с остановленным по всему городу движением, умчаться в правительственную резиденцию на территории Большечумовских дач к уже сервированному столу, Хвылина, как только тронулись, повернулся к своему высокому гостю и спросил с подобающей улыбкой (Верховный Шаман за два дня до этого принимал делегацию из африканских стран):

— Ну как у нас дела с Африкой? Налаживаются?

Верховный Шаман, будто бы, подвигал бровями на анемичном лице, безо всякого, впрочем, выражения, и хрипло, но внятно произнёс:

— А какое твоё… дело до этой… Африки? Ты лучше… у себя наводи порядок!..— причём многоточия мои означают, что краткая эта речь была искусно насыщена матерщиной, долженствовавшей обозначить, что он, Верховный, всё ещё в силе и легкомысленные разговорчики с ним не пройдут. Хвылина поперхнулся, на доверительный тон больше не сбивался и даже подобострастную улыбку подавил, хотя блеск преданности в его глазах по-прежнему светился — но это, видимо, было уже помимо его воли.

Многочисленная команда, прилетевшая вместе с Верховным и занявшая не только Большечумовские дачи, но и лучшие гостиницы города, не только много пила и ела и мигом смела все запасы, заготовленные по распоряжению Большого Чума для гостей (так что пришлось организовать бесперебойную работу спеццехов на молочном и мясокомбинате, на рыбокоптильном заводе и кондитерской фабрике и перетрясти все продовольственные склады, выбрав квартальную норму, оставив город на скудных остатках до лета),— команда эта и много работала, изучая возможности размещения в области нескольких новых заводов, которые будто бы нельзя разместить в центре России из-за большой вредности производства, поскольку там близки границы и другие государства могут возмутиться тем, что мы, видите ли, отравляем им землю и воздух; здесь же, в Сибири, слава богу, до других государств далеко, да и не позволит им никто сюда сунуться. Команда также изучала возможности сдачи в централизованные фонды дополнительных объёмов пиломатериалов, зерна, масла и мяса сверх того, что уже было сдано по плану. Взамен команда предлагала финансирование нового просторного жилого дома для работников Большого Чума, некоторое количество импортных товаров для спецраспределения и поездку самому Хвылине в ближайшее время за рубеж, теперь уже не в бедную африканскую, а в богатую европейскую страну.

Всё было прекрасно, но не было главного — гарантии: когда же наконец Хвылина будет переведён в Москву? Одни туманные намёки на то, что Великий Курултай высоко ценит его заслуги и его согласие на новое ответственное задание строить новые «грязные» заводы.

Перевода Хвылины в Москву терпеливо ожидали и его заместители: всех их ждала последующая передвижка по старшинству, и каждому из них Москва становилась на ступеньку ближе. Кроме Выжлецовой, эту выскочку, которая несколько лет тарахтела насчёт культуры, уже забирали — правда, всего лишь в министерство культуры, и можно бы над ней и позубоскалить, что сменяла хрен на редьку, если б её не брали на должность замминистра по зарубежным связям; теперь она так дорвётся там до работы, что не будет вылезать из загранкомандировок! — и она вся светилась, разодетая и завитая, распуская перья перед фертами из команды Верховного Шамана и глядя сверху вниз на своих.

Сам же Верховный Шаман на заседаниях сидел молча и подрёмывал, доверяя вести дела своей зубастой команде, и ободрялся, только если надо было подписать только что выработанный документ или если Хвылина и его команда начинали сопротивляться слишком большому нажиму — тогда Верховный выходил из дремоты и начинал возмущённо материться. Обе стороны замолкали, внимая ему со всей серьёзностью, утвердительно кивая и торопливо записывая что-то в записные книжки.

Но иногда Верховный задрёмывал настолько основательно, что начинал издавать некое горловое бульканье вместе с носовым свистом. Тогда личный секретарь его просил всех ненадолго прервать заседание, т. к. «шеф переутомился», и приглашал из приёмной рослого краснощёкого блондина в полковничьих погонах; упругим шагом молодцеватый полковник проходил через зал, садился возле Верховного Шамана, привычно закидывал ногу на ногу в туго обтягивающих икры щегольских сапожках, вытаскивал из кармана бриджей золотой, с монограммой в завитках портсигар, вынимал из него папиросу, от которой по залу проходила волна табачного аромата, и умело разминал её — всё это при почти ритуальном молчании полусотни человек: ни кашля, ни скрипа стула,— казалось, даже никто не дышит, зачарованный виртуозностью движений полковника. Затем полковник аппетитно вкладывал папиросу в свои сочные губы, вынимал из нагрудного кармана кителя тоже,

видимо, дорогую зажигалку, лихо высекал факел огня и прикуривал от него, очень тоже вкусно и аппетитно, затем набирал полную грудь дыма и, слегка придвинувшись к спящему Верховному Шаману, пускал в лицо ему ровную струю дыма. Однюбит, у, вторую, третью…

— Врачи запретили ему курить, но табачный дым он л—негромко пояснял личный секретарь Верховного Шамана непосвящённым.

Верховный после нескольких затяжек полковника просыпался, открывал глаза, шевелил бровями и крылышками носа: заметно было, что табачный дым ему нравится и приводит в бодрое состояние.

А полковник меж тем докуривал папиросу, пускал в лицо очнувшемуся Верховному Шаману последнюю струю дыма, вставал и молча удалялся, унося в пальцах своё орудие труда и одновременно доказательство тщательно исполненного государственного долга: пожелтевший окурок.

И всё-таки Хвылина вырвал у них твёрдое обещание, что они возьмут его в Москву, как только он развернёт строительство новых заводов и сдаст в централизованные фонды сверхплановое количество продуктов…

Итак, в течение двухдневных непрерывных совещаний обо всём было договорено, и уже свозили Верховного Шамана на завод для обязательной встречи с рабочим классом, где опять четверо молодцов во главе огромной процессии, куда входило, кроме официальных лиц, ещё много репортёров и кинооператоров, долженствовавших осветить важнейшее для рабочего класса страны событие, завели его в образцовый цех, и он пожал наконец руки нескольким заводским партийным работникам, одетым в рабочие робы, с касками на голове, и эти работники, стоя, в свою очередь, среди молодцов в штатском, но уже местных (было впечатление, будто в цеху встретились две команды КГБ, местная и центральная, двигая перед собой фигуры), рапортовали о том, что готовы выполнить любые ответственные задания, наложенные на рабочий класс Верховным Шаманом, и понимают эти задания только как доверие и почесть. По-старчески сентиментальный Верховный при этом прослезился и хотел расцеловать этих симпатичных ребят за преданность и горячую любовь к нему, но т. к. протоколом эта процедура не была предусмотрена, молодцы в штатском целования в цеху не допустили, и получилась неловкая заминка, когда Верховный вырывался из рук, а его крепко держали и махали репортёрам руками, чтоб не смели этого снимать.

Остался один несогласованный пункт: разрешение на строительство Культурного Центра. В общем-то, он был уже ни к чему: Выжлецова уезжала, бросая сибирскую культуру на произвол судьбы,— теперь её жёсткой опеки ждала культура всей страны; Хвылинино продвижение в Москву тоже решено; но ведь он раструбил о Культурном Центре на весь свет, отступать поздно—не хотелось, чтобы над ним торжествовали эти хлыщи из Госплана, Госстроя и Минфина в Москве; не хотелось давать им пищу для зубоскальства; он должен доказать, что у него есть и власть, и сила, и влияние…

Однако команда приближённых к Верховному, когда Хвылина стал осторожно зондировать возможность высочайшего разрешения на строительство, отнеслась к проекту скептически: слишком дорогой объект, Верховный, мол, уже несколько подобных зарубил и сейчас тоже не подпишет—он не в духе, слишком раздражён своей немощью, государственными и международными нескладухами, и вообще сорокаэтажный монстр в такой провинции—дело никому не нужное, чистый каприз.

Но упрямый Хвылина, к его чести, решительно отказывался с этим соглашаться—ему хотелось построить небоскрёб! Он, пожалуй, с трудом смог бы объяснить, зачем это ему: возможно, чтоб доказать всем, что он всё может, а возможно, чтобы сорокаэтажный этот колосс всегда маячил потом перед горожанами, заслоняя небо и раздражая взгляд, чтобы помнили, что Хвылина—из всех Хозяев Хозяин! А может, и действительно хотел порадовать земляков, только не знал—чем?

Поэтому последняя надежда у Хвылины осталась на хорошую охоту.

Правда, консилиум академиков от медицины, прибывших вместе с командой, здоровых, крепких мужчин, отвечавших за здоровье Верховного, настаивал на отмене охоты: тот слишком устал и острые ощущения нежелательны для него (а стало быть, и для них тоже)… Однако Хвылина перехитрил их, сам заведя разговор с Верховным: вчера, дескать, ему сообщили по рации, что охотники нашли в тайге берлогу… И тот, говорят, как ребёнок, радовался «настоящей медвежьей охоте».

И полетели. Летела целая эскадрилья вертолётов; над таёжным тихим краем стоял такой гул, будто грянула война.

Двухэтажный «охотничий домик» трещал по швам от обилия гостей. Обслуга с ног сбилась.

Повели Верховного Шамана «на берлогу», и охота удалась на славу: егеря, расставив охотников с карабинами, т. е. самого Верховного, Хвылину и ещё двух генералов по бокам, принялись шуровать в берлоге шестами, пока не раздался могучий рёв и огромный, двухметрового роста медведище, расшвыривая брёвна, снег и комья грязи, не вылез на белый свет; тут его сразу же без лишних хлопот и уложили выстрелами. Причём все уверяли, что Верховный выстрелил первым и поразил зверя в самое сердце.

Но отличной охота выглядела только для непосвящённых. Для посвящённых же это было

убогое убийство, над которым посвящённые же и потешались втихомолку: посадили ручного медведя в землянку, и егеря тыкали в него шестами до тех пор, пока тот не взревел от боли и обиды и не начал раскидывать утлую землянку, как охапку баклушек… Медведь, говорят, был кастрированным и смиреннейшим существом огромного веса, откормленным поварихами. Егеря-проказники скуки ради научили его ещё лакать водку: сами напьются и ему в миску нальют пополам с хлебным крошевом; им-то хоть бы что, а у медведя нервная система чувствительна: этакая махина, а на лапах устоять не мог, валился мордой вперёд — егеря просто от смеха лопались… Когда, говорят, он вылезал из «берлоги», собаки хвостами виляли — егеря их пинали, чтоб хоть немного разозлились и тявкали для приличия…

Верховный Шаман был страшно доволен «сибирской охотой» и растроганно благодарил Хвылину за доставленное удовольствие, от которого он, будто бы, даже помолодел. Хвылина обещал переслать ему в Москву трофей: выделанную шкуру. А во время ужина в «охотничьем домике» с пельменями из медвежатины и с медвежатиной же, изжаренной на вертеле, под непрерывные тосты, когда подвыпивший Верховный Шаман в благодарность за этот прекрасный день решил преподнести гостеприимному Хозяину какой-нибудь памятный подарок, Хвылина и сумел подсунуть разрешение на строительство небоскрёба, вложив просьбу в тост о том, что лично ему ничего не нужно, кроме счастья его земляков, поэтому он просит в подарок городу — на память о пребывании здесь столь почётного гостя — дать разрешение на строительство сорокаэтажного Культурного Центра.

Верховный Шаман, будучи хоть и пьяненьким уже, и щедрым в этот момент, всё-таки не позволил строить небоскрёб выше, чем в Москве: погрозил этак шутливо Хвылине пальцем и накорябал старческой дрожащей рукой на заранее подготовленном Хвылиной документе: «Разрешаю 30 этажей». И — подпись. Но потом, будто бы, выпили под новый тост, предложенный Хвылиной: «За твёрдую руку и зоркий глаз нашего дорогого гостя, который стоит у руля и по-охотничьи зорко всматривается в лица друзей и врагов!» — только после этого прежняя подпись на документе была зачёркнута, и снова написано, ещё более дрожащей рукой окончательно размякшего Верховного Шамана: «Разрешаю 35 этажей». Это был предел: даже будучи пьяненьким и добрым, тот никак не мог позволить строить здания выше, чем в Москве.

Такова непростая предыстория нашего Культурного Центра. А то что Миша Новосельцев наблюдал, как медленно и неотвратимо росла из земли серая громада — так это уже, фигурально выражаясь, надводная часть айсберга, девять десятых которого, как известно, скрыты водой.

Так что Хвылина не смог полностью удовлетворить своего самолюбия — построить самое высокое здание в Союзе. Правда, оно было самым высоким в Сибири, да и то лишь до некоторого времени: тотчас, как только появился прецедент, все областные столицы, догоняя и перегоняя одна другую, затевали каждая свой собственный, одинокий, серый, скучный небоскрёб. Да и «небоскрёб» ли, по нынешним-то мировым строительным стандартам?

Единственное, чем мог теперь тешить своё самолюбие Хвылина — он всё-таки был первым, он пробивал и расчищал остальным дорогу; в этом надо отдать ему должное; ему — пальму первенства!

Собственный мавзолей (как шутили по поводу этого «небоскрёба» архитекторы), построенный Хвылиной, до сих пор высится в полном одиночестве среди однообразия панельных пяти- и девятиэтажек и двух-, трёхэтажных каменных домов, оставленных нам ото всех прошлых эпох, заставляя удивляться поистине циклопическому упорству людей, плохо одетых, недоедавших, отупевших от всяческих иных неудобств быта, но терпеливо поднимавших в небо этаж за этажом этого Колосса, простодушно веривших при этом, что помогают строить Коммунизм, в царстве которого, как торжественно обещали Шаманы, все наконец хотя бы досыта наедятся. Но, возводя этого Колосса, рабочие нет-нет да и горько насмехались над собой: «Вот уж, дескать, воткнул, так воткнул Хозяин нам всем — век помнить будем!..» И, действительно, они в своём простодушном цинизме не были далеки от истины: здание это имеет ярко выраженную фаллическую форму, столь почитаемую среди первобытных народов, с большой куполообразной надстройкой на самом верху — будущим конференц-залом с рестораном и смотровой площадкой.

Судя по тому, как простые, незатейливые люди любят метить кратким, словно хлёсткий удар, словом из родного языка, обозначающим фаллос, любую чистую поверхность: спинки ли кресел в автобусах, скамьи, заборы, памятники старины, стены уборных, — сдаётся мне, что фаллос — главный предмет, который, после потребности поесть, занимает их мысли. Поражает только скромность притязаний простых людей — в сравнении со вкладом в этот процесс людей образованных, которые, опосредованно служа культу фаллоса, с упорством маньяков загромождают земное пространство всевозможными башнями и небоскрёбами — да ещё по-детски хвастливо устраивают из этого состязание: у кого — выше… Так что не случайно Хвылина стремился утвердить на земле «свой» «небоскрёб», элегически напоминавший ему о некой знойной африканке.

Окончание следует…

Марат Валеев

Ломоть хлеба с салом

Бог есть!

Что вы знаете об отчаянии?! А я знаю. Это когда ты провёл сорок дней вдали от любимой, на очередной экзаменационной сессии (после того как мы со Светланой уехали из Казахстана на Север, в Эвенкию, я продолжал ездить на сессии в Алма-Ату уже отсюда) и с каждым прожитым днём всё больше мечтал о предстоящей встрече после неимоверно долгой разлуки.

И когда проклятая сессия эта наконец закончилась и ты, счастливый, едешь с купленным в предварительной авиакассе билетом на рейс самолёта Алма-Ата—Красноярск. И после трёх часов лёта приземляешься в порту Емельяново, и тебе остаётся пролететь всего ещё 1000 километров на Север, в Туру, где тебя дожидается красавица-жена, по которой ты за сорок дней просто смертельно стосковался.

И ты переезжаешь из аэропорта Емельяново в другой, всего в трёх километрах, в Черемшанку, обслуживающий северные и другие периферийные маршруты, уже рисуя в пылком воображении встречу свидания с женой (ну да, и с сыном, конечно, а как же!)

Но под твои ожидания и мечты закладывается первая бомба: ты видишь у всех касс в Черемшанке огромные очереди, и в твою душу вкрадывается первое сомнение: «А улечу ли я сегодня домой, обниму ли свою любимую?»

И когда, всё же отстояв гигантскую очередь, ты протягиваешь деньги в окошечко кассы и, унимая волнение, внешне спокойным голосом говоришь: «Мне до Туры, на сегодня…»,—тебя как обухом топора бьёт равнодушный ответ: «На сегодня нет…»

Тут ты начинаешь паниковать: «Девушка, как так нет? Мне очень надо, я сорок дней дома не был, меня очень ждут…».—«Всем надо».—«Ну хорошо, тогда на завтра!».—«И на завтра тоже нет. Через пять дней полетите?»

Тогда было так. Это было начало 90-х, геологические экспедиции в Туре ещё работали, и туда, особенно по весне, летало много командировочного народа. А в день делался всего один рейс маленького Як-40, он забирал два-три десятка пассажиров (в зависимости от количества багажа), очень редко выделялся дополнительный рейс.

И мне ничего не оставалось делать, как купить билет на вылет домой из Красноярска аж через целых пять дней. Пять! Это при том, что каждая клеточка моего истомлённого ожиданием и разлукой организма и каждый мой нейрон изо всех сил рвался туда, где меня дожидалась молодая жена.

Нам было тогда—всего-то мне под сорок и немного меньше Светлане, и мы, найдя друг друга, воистину переживали вторую молодость. Мы и прожили-то пока вместе всего пару лет, так что упивались своей любовью. И каждый час, а не день разлуки оставляли шрамы-зарубки на наших сердцах, уже привыкших быть только вместе. А тут после сорока дней отсутствия—ещё пять!

«Как я скажу это Светланке, уже готовящейся сегодня к встрече со мной?»—скорбно думал я, направляясь к переговорному пункту.

— Марат, это ты? Ну как долетел до Красноярска? Билет уже купил на Туру, вылетаешь сегодня?—бился в трубке её радостный и в то же время взволнованный мелодичный голосок.

И как он изменился, когда я, запинаясь, сообщил, что народа в Черемшанке—не протолкнуться. Билетов нет, и я смогу вылететь в Туру только через пять дней.

— Да ты что-о?!—протянула Светлана упавшим голосом.—И что, ничего сделать нельзя?

— Да я куда уж только не толкался (я и в самом деле пытался уговорить и дежурного администратора, и к начальнику аэропорта ходил с просьбой отправить меня пораньше), всё бесполезно. Единственное, что они мне посоветовали—это каждое утро приходить к рейсу и попробовать идти на подсадку, если вдруг кто из пассажиров не полетит). Ты расстроилась, да, лапонька?

— Нет, я обрадовалась!—сердито сообщила мне любимая жена.—Ну ладно, попробуй идти на подсадку. Деньги-то у тебя ещё есть? Хватит тебе на гостиницу и покушать в эти дни?

— Есть,—соврал я. Денег на самом деле было в обрез. Чёрт меня дёрнул отметить с сокурсниками в ресторане накануне отлёта успешное окончание сессии, да так, что в кармане потом оставалось не более десяти рублей. Откуда же мне было знать, что я так застряну в порту (это я уже после, наученный горьким опытом, стал придерживать

на случаи таких непредвиденных задержек денег побольше)?
— Ну ладно, буду ждать тебя каждый день,—сказала Светланка уже боле оживлённым голосом, хоть и с не ушедшими до конца из него нотками разочарования.—Целую.

Это потом мне коллеги рассказали, что видели, как после разговора со мной Светка забилась в редакции в угол потемнее и тихо плакала там, неумело затягиваясь сигаретой.
— И я люблю и целую тебя. До встречи!—как можно оптимистичней сказал и я, и связь прервалась.

Что мне оставалось делать? Улететь в этот день уже никак не получалось. Поселиться в гостинице при порту тоже не выходило—«мани-мани» не позволяли. И я сел в первый же маршрутный автобус и уехал в город. Нашёл там редакцию краевой газеты «Красноярский рабочий» (всего за несколько месяцев нашей жизни и работы в Эвенкии я уже успел отметиться в этой главной газете края, выходящей тиражом в 200 тысяч экземпляров, рядом заметных публикаций). Подумал—чем чёрт не шутит, может, там гонорар мне какой образовался за последние публикации?

Точно, гонорар был, где-то рублей пятнадцать, которые как раз собирались переводить мне в Туру, но тут же отдали на руки в кассе. Однако этого было маловато, я набрался наглости и, уповая на журналистское братство, попросил одолжить мне червонец, с возвратом через несколько дней, у первого же обнаруженного в первом же встретившемся мне рабочем кабинете журналиста. Разумеется, я предварительно представился и вкратце обрисовал свою бедственную ситуацию.

Не помню уже, кто это был (может, ещё и потому, что денег у этого газетчика не оказалось). Как и у второго. Но зато он сказал, у кого они могут быть—у фотокорреспондента, если по прошествии лет не ошибаюсь, по фамилии Кузнецов. Тот, долго не раздумывая, одолжил мне этот червонец. И я вернулся в порт и устроился в гостиницу—номера там были недорогие, вполне по моим средствам.

А с утра я уже толкался среди улетающих в Туру. Но и в этот день все мои старания оказались тщетны: свободных мест не образовывалось, никто не сдавал билетов, не отставал от рейса. Удручённый, я пошёл в портовый узел связи звонить Светланке в редакцию (дома у нас тогда телефона ещё не было), боясь её не застать на месте и одновременно желая этого—не хотелось в очередной раз самолично её расстраивать. Но она как раз только что вернулась с какого-то из совещаний в окрисполкоме, с которого должна была сделать отчёт для газеты. И пришлось докладывать жёнушке об очередной неудаче.
— Ладно, не расстраивайся, теперь уже четыре дня осталось,—стала утешать она меня. А я обещал ей, что всё равно улечу раньше, чего бы мне это ни стоило. Хотя надежда была лишь одна: кто-то не полетит в Туру и образуется свободное место.

Однако на следующий день я обнаружил, что я не один такой умный: ещё несколько человек, как понял из их разговора с дежурным администратором, хотели бы улететь в столицу Эвенкии по подсадке. Правда, по очерёдности я всё же был первым из них. Но толку от этого не было никакого: и сегодня самолёт улетел в Туру, забитым пассажирами под завязку.

Покурил на улице, ожесточённо растоптал окурок и пошёл в переговорный пункт, сообщать Светлане, чтобы они с Владиком (сыном) и сегодня меня не ждали. Жена уже вроде немного успокоилась и встретила это известие практически спокойно. Рассказала редакционные новости, снова поинтересовалась состоянием моего кошелька—хватит ли денег на это непредвиденное жительство в порту? Сказал, что хватит. И упрямо повторил, что всё равно улечу раньше, чем через оставшиеся до указанного в моём билете срока четыре дня. Нет, уже три. Светлана уже без всякой надежды на такую возможность пожелала мне успеха. И нас разъединили.

Был ещё только полдень. Идти тосковать в постылый гостиничный номер не хотелось, и я, чтобы убить время, решил съездить в город, пошататься по нему, в киношку сходить. Знакомых у меня в Красноярске тогда ещё почти не было—мы жили в этом сибирском краю всего второй год, и за тыщу километров от краевого центра, посреди бескрайней тайги.

Надо был сначала забросить рюкзак в номер—кстати, как вы думаете, что я вёз из Алма-Аты, столицы яблок, в качестве гостинца своими? Килограмм пять картошки! Дело же было весной, а в Туре тогда народ жил от каравана к каравану, то есть от навигации к навигации, когда по реке можно было завезти всё самое необходимое на год вперёд, в том числе и картошку. А к концу зимы она у многих заканчивалась и приходилось использовать сушёную, что, как говорит нынче молодёжь, далеко «не айс». И народ по весне тосковал именно по ней, а не по яблокам и ждал прихода каравана, когда привезут по реке из Красноярска тонны и тонны товаров, и в том числе долгожданную картошку. Но это случится не ранее начала июня, а сейчас ещё был май…

Я направился, было, в сторону гостиницы—она находилась всего в сотне метров от здания аэропорта, и тут увидел, что от стоянки для легковых машин к входу в порт идёт небольшая, человека в три-четыре, группа хорошо одетых, явно непростых мужчин. И один из них явно мне знаком.

Я наморщил память и вспомнил: ба, да это же начальник крайсеверпотребсоюза, у которого осенью прошлого года я брал интервью для «Советской Эвенкии» (увы, фамилию его за давностью лет

припомнить не смог, и в интернете не нашёл — не отметился как-то товарищ. Но это смотря где, а в тот день... Впрочем, читайте дальше).

Я как бы невзначай заступил ему дорогу и с неподдельным удивлением и даже, пожалуй, восторгом, воскликнул:

— Ба, Николай Николаич (ну, пусть будет Н. Н., какая уж теперь разница, раз всё равно не вспомнил, как звали того торгового краевого чиновника по «северам»), какими судьбами?!

Николай Николаич осторожно пожал протянутую мной руку, силясь вспомнить, кто это так ему радуется. Я не постеснялся напомнить.

— А, — просветлел лицом Н. Н. — Как же, как же, помню. Хорошее у нас с вами тогда интервью получилось. Куда летите или уже прилетели?

Он вежливо смотрел на меня, давая понять, что непредвиденная «аудиенция на ногах» закончилась и ему пора идти дальше, по своим важным рыбкооповским делам. Но я-то, загораживая ему дорогу, знал, что этот человек частенько прилетает на «севера» не на рейсовых самолётах, а на спецрейсах, доставляющих разные важные грузы для обеспечения работы промысловиков, оленеводов.

И я коротко обрисовал Н. Н. свою плачевную ситуацию: студент-заочник, не был дома уже сорок дней, а в Туре меня ждёт любимая молодая жена, и я уже вот — вроде на пороге дома, ещё два с половиной часа лёту, и я обниму свою жёнушку и сына, но нет билетов ни на сегодня, ни на завтра, а только на через неделю. А я поиздержался в Алма-Ате, и здесь мне сейчас жить негде и не на что. Вот розы везу любимой, они, того гляди, и завянут. Как и пять кило картошки в рюкзаке.

В общем, всю правду выложил, может быть, чуть разбавленную слезой.

Н. Н. выслушал меня с большим вниманием и даже сочувствием. Но больше всего его поразили пять кило картошки, которые я тащил за несколько тысяч километров в Туру по просьбе жены.

— Что, совсем нет картошки дома? — недоверчиво поинтересовался он.

— А откуда ей взяться? — пожал я плечами. — В магазинах картошки в это время днём с огнём не сыщешь — думаю, вы сами об этом знаете. А сушёная уже в горло не лезет. Вот и везу своим самый желанный гостинчик — «живую» картошку. Хотите, покажу?

Я уже нагнулся к стоящему у ног пузатому рюкзаку, из полузатянутой горловины которого торчал большой газетный свёрток — в нём были многократно обёрнутые, всё ещё источающие даже через бумагу горьковатый аромат пунцовые розы, под которыми и покоилась картошка.

— Да ладно, я верю вам! — улыбнулся Н. Н. И чуток подумав, добавил:

— Ну, хорошо, попробуем помочь вашему горю. У нас тут как раз один товарищ заболел и не может лететь. Я распоряжусь внести вас вместе него в список пассажиров нашего спецрейса. Полетите с нами. Посадка уже началась, отлёт через пару часов. С нами пойдёте или у вас есть дела?

Какие дела? Какие дела?!! У меня сердце ухнуло вниз, замерло там, где-то в районе пупка, потом воспарило на прежнее место и забилось хотя и ровно, но с удвоенной силой. Вот оно: Бог есть! и он услышал мои молитвы!

Откроюсь — я хоть и атеист, но в безнадёжной ситуации начинаю взывать к Господу, не к Аллаху там, Христу иль Будде с Шивой, а просто к Господу с убедительной просьбой оказать мне посильную помощь. И ведь иногда срабатывает. В эти дни, когда я толкался среди гомонящих пассажиров, шедших на посадку в Туру, я в душе просил Господа, чтобы он помог мне улететь домой, к моей жёнушке, прелестный образ которой неотступно стоял передо мной, нежно и властно звал к себе и с каждым часом становился всё желаннее...

И вот сбылось: сегодня, сейчас я улечу к жене и всего через несколько часов страстно и бережно обниму её, тонкую и хрупкую... Спасибо тебе Господи, я верю: ты есть, как бы ты ни звался! Ты вошёл в моё положение и послал ко мне этого славного и, видимо, богобоязненного человека по имени Николай Николаич, и он решил мне помочь.

Все эти радостные и лихорадочные мысли вереницей пронеслись в моём возбуждённом мозгу, пока я, вскинув рюкзак на плечи, спешно топал за своим спасителем с его товарищами на посадку на спецрейс через вип-зал. Я всё время боялся, что сейчас вот-вот произойдёт что-то невообразимое: вдруг объявится тот, место которого я собираюсь занять в грузопассажирском Ан-24. Или сам самолёт сломается и рейс перенесут на следующий день. Или очередной Тунгусский метеорит свалится, в этот раз на лётное поле в Черемшанке, и всё его перепашет.

Но страхи мои не сбылись. И в объявленное время вместе с другими немногими пассажирами (с хозяином спецрейса Николаем Николаичем нас было человек шесть-семь) я занимаю место в передней части трудяги-«аннушки», а всё остальное пространство узкого и длинного самолёта забито какими-то ящиками, бочками, мешками. И спустя минуть пятнадцать-двадцать мы взлетаем, оставляя внизу злополучную Черемшанку с подступающими к ней со всех сторон тёмными хвойными лесами и берём курс на север!

Несмотря на то что уже май, сверху видно, что снег в эвенкийской тайге ещё лежит, и чем ближе к Туре, тем реже тайга, тем больше снега — весна сюда приходит с опозданием на месяц. Но зато она властвует в моей душе, моё сердце поёт: скоро-скоро я обниму свою любимую, по которой так истомились моя душа, мои руки мои губы... Фу, чёрт, снова меня бросило в жар от картин,

которые тут же начало рисовать моё услужливое воображение. А ведь не мальчик уже, вот-вот пятый десяток разменяю…

И вот через два с небольшим часа лёту мы приземляемся в аэропорту «Горный», от которого до моего дома в Туре остаётся всего 14 километров. Николая Николаича и его попутчиков встречают какие-то свои, рыбкооповские, машины. Я успел поблагодарить его за то, что он взял меня на борт спецрейса, ещё в Красноярске, так что здесь мы расстаёмся безо всяких сантиментов, лишь дружески кивнув друг другу. Я снова пристраиваю рюкзак за плечи и бодро топаю в сторону стоянки маршрутного автобуса, тогда ещё курсировавшего между посёлком и аэропортом.

Автобус, к счастью, пока на месте, дожидается пассажиров практически одновременно с нами прилетевшего рейсового Як-40, на каком я должен был прибыть домой ещё только через четыре дня. А я уже здесь, и снова радость тёплой волной обдаёт меня.

Но вот автобус, резво скатившись по плавному серпантину тогда ещё просто гравийной и единственной в Эвенкии дороги федерального значения Тура—Горный, выныривает из холмистой тайги и въезжает в посёлок, компактно раскинувшийся на полуострове, образованном в месте слияния Нижней Тунгуски и её притока Кочечума.

Посёлок застроен преимущественно серыми деревянными двухэтажными домами, с жидкими от грязи улицами, с там и тут всё ещё дымящими трубами котельных, но с уже пробивающейся травкой на подсохших участках голой земли, с набухшими почками ивняка за разномастными изгородями палисадников. Но солнце уже стоит высоко и греет вовсю и весело отражается слепящими бликами от окон домов, и народ ходит уже легко одетым. Весна пришла и на эту неухоженную северную землю. И я люблю этот неуютный посёлок, потому что в нём живёт моя обожаемая женщина, и это к ней я спешу, преодолев тысячи километров и другие преграды.

Ключей от квартиры я с собой не брал, а потому иду сразу на работу, в редакцию. И вваливаюсь в наш общий со Светланой кабинет и, слава Богу, застаю её на месте.

И вот это вот изумление в её серо-синих глазах, смешанное с радостью от моего внезапного появления, тонкие руки на моей шее, эти жгучие поцелуи-укусы становятся мне наградой за все перенесённые накануне страдания.

— Постой,—бормочу я, задыхаясь,—у меня вон что…

Я сбрасываю рюкзак на пол и вынимаю из него стоящий торчком газетный свёрток, с шуршанием разворачиваю его и высвобождаю выжившие за эти вымотавшие меня два дня пунцовые розы, которые я купил на знаменитом огромном, шумном Зелёном рынке Алма-Аты, куда ездил за картошкой перед самым отъездом в аэропорт.

Кто-то в дверях кабинета тихо ахает от восторга—это к нам начинают заглядывать немногочисленные любопытные сотрудницы редакции.

— Вот, поставим их у нас в кабинете, пусть всех радуют,—говорю я.—Хотя они, конечно, твои.

— А картошка?—обеспокоенно спрашивает любимая.—Надеюсь, про картошку ты не забыл?

— Конечно, нет,—отвечаю я, снова притягивая её к себе и целуя её в уголок маленьких капризных губ.

— Ну тогда пошли домой, жарить картошку…

И мы, счастливые, пошли жарить картошку.

Ломоть хлеба с салом

Погода в нашу вторую смену сегодня выдалась морозной, на 1-м полигоне завода ЖБИ всё густо парило: и самосвалы, подвозящие бетон, и сам бетон, не успевший остыть после подвоза его с бетонного узла. А запарочные камеры, куда устанавливались заливаемые бетоном марки 100 формы под фундаментные блоки СП, так те вообще были покрыты густо клубящимся белым паром, поэтому приходилось даже включать дополнительные прожектора, чтобы крановщица, белокурая Люся, которую сегодня вообще было не разглядеть на её верхотуре, без промашки подавала «туфлю» с бетоном прямо к рукам бетонщика пятого разряда дяди Вани Тучкова.

Он хватал этими руками в верхонках поверх тёплых рукавиц за отполированную до блеска рукоятку замка «туфли», сипло кричал Люсе наверх: «Ещё чуток на меня!»—и, широко расставив ноги в серых валенках по краям маслянисто поблёскивающих ячеек стальной формы, с коротким хеканьем дёргал рукоятку замка на себя и вниз. Жидкий бетон серой лентой с шумом устремлялся в форму, дробно стучал по её стенкам мелкой щебёнкой.

Дядя Ваня затем на несколько секунд включал прикреплённый к туфле вибратор, и тот начинал с сердитым гулом мелко-мелко трясти туфлю, вытряхивая из неё остатки бетона. Тут за дело брался я, семнадцатилетний бетонщик пока третьего разряда: с чмоканьем погружал в серую массу ручной вибратор весом с полпуда, включал его и, держась за рукоятку, уплотнял этим зудящим, старающимся вырваться из моих рук механизмом расползающийся по ячейкам формы бетон.

Наш бугор, по совместительству мой дядя Равиль (его называли на русский манер почему-то Саша), в это время армировал деревянные формы для колонн, периодически сверкая голубым огоньком электросварки. Это была сложная работа, и занимался ею только он сам.

Но вот все три тонны бетона разлиты по формам, утрамбованы и разглажены сверху до блеска, из них торчат свежеустановленные петли

из толстой проволоки для выемки краном после того, как блоки будут сутки пропарены и готовы к отправке на стройки краснотурьинских объектов.

На полигоне стало тихо, и можно перекурить в просторной столярке, где готовятся деревянные детали для опалубки форм. Здесь можно погреться — пощёлкивающие трубы парового отопления всегда держат в столярке высокую температуру, перекусить, у кого что есть с собой, поиграть в теннис.

Сухо стучащим пластмассовым белым шариком сразу же стали перекидываться через сетку стропальщик Коля Овсянников и электрик Юрий Шервуд. А мы с дядей сидели — он на лавке, я на широком подоконнике, — и с наслаждением курили и отогревались. И тут даже через табачный дым мои ноздри защекотал знакомый дразнящий аромат — чеснока, укропа и ещё чего-то невероятно вкусного и сытного.

Сало! Это было сало домашнего посола. Его, небольшой такой, но толстенький брусок, пошуршав газетой, разложил у себя на верстаке столяр Михаил Колобов и стал нарезать большим складным ножом на аккуратные белые, чуть-чуть розоватые пластинки.

Мне до конца вечерней смены оставалось часа полтора — несовершеннолетнему, по КЗОТу, разрешалось работать только до десяти вечера, смена при этом у меня начиналась в три часа дня, в то время как вся «взрослая бригада» подтягивалась к пяти. И вроде бы перед выездом на завод я неплохо пообедал в столовой рядом с нашей общагой, но довольно тяжёлая работа на морозе быстро сжигала все калории, и потому я был уже зверски голоден.

Дома, в общежитской комнате, меня, в лучшем случае, ждала припасённая на ужин банка кильки с полбулкой хлеба. А в худшем, если жившие со мной ещё двое парней затеяли выпивку без меня, то нашли эту несчастную кильку в моей тумбочке и уже сожрали её. А тут этот невозможно аппетитный, прямо с ума сводящий запах. И без того тогда плоский мой живот тут же свело от голодных спазмов, он самым бессовестным образом громко заурчал и прилип к позвоночнику, показывая хозяину что пора бы и того… что-нибудь кинуть в него существенного.

Я поспешно затянулся «примой» и с деланным равнодушием отвернулся к промёрзшему окну, за которым стояла трескучая морозная уральская ночь, и туманную темень её с трудом рассеивали мощные светильники и прожектора, которыми был утыкан наш первый полигон со всех углов и с крыши столярки.

Мне вдруг, ну совсем некстати, вспомнились мамины горячие и румяные пирожки с картошкой и жареным луком, которые я так любил запивать холодным вкусным молоком. Желудок мой вовсе взбесился, застонал и стал вгрызаться в позвоночник.

— На, Марат, перекуси, — услышал я вдруг участливый голос столяра дяди Миши и живо обернулся. Столяр принёс мне ломоть хлеба с выложенным поверху солидным пластом сала, дразнящий аромат которого поблизости и вовсе оказался сумасшедшим!

— Тёща из деревни гостинец прислала, — пояснил Михаил Колодный, обращаясь не столько ко мне, сколько ко всем отогревающимся в столярке членам бригады. — Кабаняку они закололи, аж на полтора центнера весом. Сала на нём, слышь, — с ладонь толщиной! Вот и передали нам килограмма три. Никто так не умеет солить сало, как мои тесть с тёщей. На вот, ешь, набирайся сил.

Я, для солидности выдержав секундную паузу, положил на подоконник недокуренную сигарету и, вытерев правую ладонь о ватные штаны, бережно принял этот сельский бутерброд, поднёс ко рту. Сало не стало сопротивляться натиску моих молодых нетерпеливых зубов и легко откусилось вместе с хлебом.

Мой язык, моё нёбо тут же ощутили божественный вкус этой жирной, в меру просоленной и начесноченной массы, пропитанной ароматом лаврушки, сохранившей летний запах укропа, перца и ещё какой-то специи — сейчас я понимаю, что это был тмин. Всё это создавало непередаваемый вкусовой букет, вызывающий мощную реакцию слюнных желёз.

Прижмурив глаза от удовольствия, я проглотил первую порцию этого деликатеса и только тут обратил внимание, что в столярке стояла тишина, нарушаемая лишь пощёлкиванием пара в трубах парового отопления: оказывается, дядя Миша уже успел раздать бутерброды с салом всем, кто был в столярке (с ним — человек пять-шесть), и все дружно уплетали их, в том числе и наш бригадир, мой дядя Равиль-абый…

Всё, всё, на этом прекращаю дразнить тех, кто на диете, и тех, кто вообще не ест сала. К последним вроде бы должен относиться и сам автор текста. Но я, татарин, выросший среди русских, можно сказать, с детских лет познал вкус свинины.

В прииртышском селе Пятерыжск, где мы поселились после переезда из Татарстана, практически не было такой семьи, в которой бы не держали свиней. Всеядность этих животных, облегчающих проблему кормления, быстрый рост (начав откорм поросят с ранней весны, к началу зимы уже получаешь взрослых, весом нередко за сто кило, свиней), хорошие гастрономические свойства мяса и сала — это те плюсы, которые издавна подвигают сельчан на занятие домашним свиноводством.

Глядя на русских (украинцев, немцев, белорусов и т. д.) и оценив выгоды разведения свиней, с годами это дело стали с охотой осваивать

и «басурманы», живущие среди славян. У нас в подворье была полная толерантность в отношении ассортимента домашних животных: в закутках блеяли овцы и мемекали козы, мычали коровы и телята, мирно похрюкивали в своём свинарнике пухнущие как на дрожжах поросята, я уж не говорю о курах и утках.

Летом мясо нам на стол «поставляли» куры и изредка овцы, телят обычно выращивали на сдачу в заготскот, и это приносило ощутимую прибавку в семейный бюджет. Ну а запасы мяса на зиму давали именно свиньи. В 50–60-е холодильников у сельчан не было, поэтому свинина замораживалась в холодном чулане, сало засаливалось впрок в деревянных ящиках и, отправленное с приходом тёплых дней в подпол, могло держаться там хоть всё лето, до очередного забоя очередной бедной хрюшки (ну что поделать, такова уж их судьба) на следующую зиму.

Единственный, кто не употреблял свинину в нашей семье, была мама. Но она понимала, что трёх пацанов, дочь и нашего отца, всегда занятого тяжёлой физической работой в совхозе, надо было чем-то кормить. И хоть сама не ела свинину, но для нас готовила. Суп или борщ на свином мясе, правда, могла похлебать, но наливала его себе без мяса. Когда дома появлялась колбаса, а это случалось довольно редко, мама не могла себе отказать в удовольствии полакомиться ею. Но всегда выковыривала из своих колбасных кружочков кусочки сала, во избежание, как она полагала, греха. И это нас забавляло: колбасная масса, в любом случае, содержала в себе какую-то долю свинины.

Став взрослым и самостоятельным и, следовательно, получив возможность общаться с людьми не только из своей деревни, я видел, что свинину и сало с удовольствием едят и многие молодые казахи, хотя свиней при этом могли и не держать. А русские, в свою очередь, если попадали в гости к казахам, не чурались бесбармака из конины, вкуснейшей конской колбасы казы. И это правильно, это и есть взаимопроникновение национальных культур на основе обмена кухнями, это позволяет людям лучше узнавать и понимать друг друга.

Я с уважением отношусь к людям, придерживающимся религиозных норм и правил и потому отказывающимся от нехаляльной, некошерной пищи,—это их выбор, их образ жизни. Но и не осуждаю тех, кто, вопреки убеждениям далёких предков, стал употреблять в пищу то, что когда-то считалось запретным,—времена-то меняются, условия жизни тоже, и то, что считалось когда-то догмой, становится простым пережитком, предубеждением.

Как на мой взгляд, так есть можно всё, что нравится, что хочется попробовать (я вон уже лягушек отведал, и крокодилятину, страусятину, и даже акулу жареную ел!). Главное, друзья мои,— не «ешьте» себе подобных! Вот это грех из грехов, ничем не оправдываемый…

Эк, куда меня занесло, однако! На чём же это я споткнулся и пустился затем в невнятные рассуждения? Ах, да! Перекусив бутербродами с салом, наша бригада затем с новыми силами вышла на тридцатиградусный мороз—встречать очередную порцию бетона и задорно, с шутками и прибаутками залила его в формы, накрыла крышкой запарочную камеру и успешно завершила свою смену. Хороший перекус—он любому делу великое подспорье!

Одноклассник

Лариса, одинокая моложавая женщина, поздно вечером возвращалась от подруги домой. Чтобы сократить путь, пошла через базарчик на пустыре, от которого метров сто было до остановки, а там рукой подать до её хрущёвки. Конечно, рисковое это дело—ходить одинокой женщине через пустырь. Но Лариса ходила тут уже не один раз, и ничего, всё как-то обходилось. Городок у них был небольшой и относительно спокойный.

Базарчик этот представлял собой два ряда прилавков с навесами над каждым, и всего с одним фонарём на территории. Сейчас рынок был пуст, моросил мелкий дождь, на ветру помаргивал неяркий фонарь, тускло отсвечивая от мокрых прилавков, под сапогами чавкала грязь, было холодно и как-то всё же неспокойно на душе.

Лариса ускорила шаг, чтобы быстрее пройти это неуютное место и выйти на автобусную остановку, рядом с которой была её панельная пятиэтажка. И вдруг из-под одного из навесов вынырнула тёмная фигура и преградила путь Ларисе.

Женщина хотела крикнуть, но от страха практически онемела и лишь тихо охнула. Было не настолько темно, чтобы нельзя было разглядеть, что перед ней стоит рослый мужчина средних лет, в кепке с надвинутым на глаза козырьком, с которого на заросшее тёмной щетиной лицо капала дождевая влага. Мужчина был одет в тускло блестящую болоньевую куртку, мятые штаны.

Всё это Лариса отметила в сознании чисто автоматически. В мозгу же её бились, наскакивали друг на друга лихорадочные мысли: «Что ему надо, бандюге? Меня, мою сумку? Просто отберёт или убьёт? Или чего другого захочет? Закричать? До остановки далеко, метров сто, но, может, кто услышит и прибежит на помощь?»

Бандюга будто услышал её мысли и угрожающе прошипел:

—Только пикни—убью!

В руке его что-то щёлкнуло и блеснуло лезвие. У Ларисы от страха отнялись ноги, и она стояла неподвижно, немо уставившись на злодея. Неизвестный, быстро осмотревшись по сторонам, цепко ухватил Ларису за рукав пальто и повлёк её

за собой туда, откуда он вынырнул — под козырёк прилавка. А там желтела расстеленная на земле картонка — видимо, разобранный ящик. Трудно было предположить, что незнакомец собирался здесь ночевать: если он бомж, то такие живут в подвалах, в коллекторах, но никак не на территории рынков на свежем воздухе. А значит, он расстелил здесь картонку с определённой целью и специально дожидался здесь своей запоздалой жертвы — по этому пути ходили многие горожане, укорачивая дорогу к остановке, к соседнему микрорайону. Но это днём. А сейчас-то уже практически ночь. И прохожих, кроме неё, не было видно.

У Ларисы всё похолодело внутри: её хотят изнасиловать! Ведь сколько раз она ходила здесь, и всегда благополучно. А тут на тебе, как сглазили! Сама накаркала — жаловалась подруге в порыве откровенности, что у неё уже с полгода не было интимной близости. И вот, значит, кто-то всесильный её услышал и подослал ей кандидата для решения её проблемы. Бомжа!

— Нет! — пискнула Лариса. — Нет!!!

— Я тебе дам нет! — рыкнул мужик и поволок Ларису на приготовленное «ложе».

— Постой… — задыхаясь, сказала Лариса. — Постой, тебе говорят!

— Ну, чего ещё?

— Я не хочу в этой грязи, под дождём, в антисанитарии, — торопливо заговорила Лариса, пытаясь быть как можно убедительнее.

— А я тебе ничего другого предложить не могу, — гоготнул мужчина, и Ларисе показалась на мгновение, что где-то этот смех она уже слышала. А мужик между тем снова потянул её к проходу между прилавками.

— Пошли, пошли, ничего страшного с тобой не случится. Не девочка же, чё упираешься.

— Я не привыкла так, — снова затормозила каблуками Лариса.

— Ничего, привыкнешь! — снова заржал незнакомец. И опять этот гогот напомнил ей что-то очень знакомое. Лариса вгляделась в лицо мужчины, на треть затенённое козырьком фуражки. Оно было покрыто щетиной, по меньшей мере, трёхдневной давности, но не скрывало формы крутого подбородка, выступающего вперёд и раздвоенного глубокой ямкой.

— А ну, сними фуражку! — не попросила, а потребовала вдруг Лариса, и мужчина, слегка опешивший от такого напора только что молящей о пощаде этой некрупной женщины, так кстати подвернувшейся ему сейчас в этом укромном месте, неожиданно для себя подчинился и стащил головной убор. Ну да, вот он — выпуклый лоб, широко расставленные светлые глаза, полноватые губы.

— Мишка? Ты?!

— Какой ещё Мишка? — растерянно и не сразу ответил мужчина и резко нахлобучил фуражку обратно на голову. — Никакой я не Мишка, а вовсе даже Колька. И вообще, женщина, что вы пристали ко мне? А ну, отпустите мою руку!

В самом деле, это уже не он, а она вцепилась в его рукав, всё ещё пристально вглядываясь в его лицо.

— Никакой ты не Николай, а самый настоящий Мишка. Мишка Уткин! — злорадно сообщила Лариса своему визави. — Думаешь, я тебя не узнала, зараза?

Мишка Уткин был её одноклассником, но на год старше её, так как второгодником попал в их третий класс. Очень живой, даже чересчур, с неважной успеваемостью и таким же поведением, он кое-как закончил среднюю школу.

Рослый, нахальный, где-то с шестого или седьмого класса начал приударять за девчонками, особым вниманием наделяя её, Ларису, хорошенькую шатенку с точёной фигуркой и надменным личиком. Но как он ни пытался задружить с ней, Лариса до самого последнего дня совместной учёбы в школе давала ему от ворот поворот, предпочитая принимать ухаживания от Виктора Толстых, хорошего, спокойного парня. За него и вышла замуж, уже на втором курсе политеха.

Но его на том же курсе вдруг забрали в армию — говорили, тогда был страшный недобор в войска, и через год сгинул в огне чеченской второй кампании. Так Лариса осталась вдовой, с крошкой-дочей на руках.

Пыталась устроить личную жизнь, даже целых два раза, но мужья всё попадались какие-то не те, ненадёжные, безответственные. И вот уже и дочка её стала взрослая и училась на втором курсе пединститута в областном центре, а Лариса всё оставалась одинокой и уже смирилась с мыслью, что так и проживёт свою жизнь без надёжного мужского плеча рядом. Да и одна ли она была в таком положении — тысячи и тысячи сорока-пятидесятилетних, ещё полных сил и нерастраченной любви разведёнок, вдов составляли значительную часть женского населения страны.

Время от времени у Ларисы, конечно, появлялись мужики — «для здоровья», цинично вторила она своим таким же подругам-вековухам. Но все они, понятное дело, были «не то», и исчезали так же малозаметно, как и появлялись.

А узнанный ею Мишка между тем думал, как бы безвредно для обоих разрулить ситуацию. Он, в конце концов, тоже признал Ларису, хотя последний раз видел её лет двадцать назад, перед первой своей посадкой за драку на танцах, в которой носком ботинка выбил глаз своему противнику — пьяный был, пинал уже лежащего. Ему тогда дали четыре года. Отсидел, домой не вернулся — мать к тому времени умерла от рака,

а отец бросил их давно, когда Мишка ещё и в школу не ходил.

Уехал с другуном на «севера». А там опять «непруха»: лет через пять, когда уже и квартиру себе заработал и были мыслишки семьёй обзавестись, на охоте нечаянно застрелил напарника. Снова срок, на этот раз за убийство по неосторожности. Отсидел и вот с таким багажом решил вернуться в родные места.

Здесь Мишку никто не ждал, никому он был не нужен, в их квартире, кстати, неподалёку отсюда, давно жили чужие люди. Но вот потянуло его в этот родной городишко с такой непостижимой силой, что, вернув себе паспорт после отсидки, Михаил оставил север и с месяц назад приехал, условно говоря, домой.

Работу Уткин нашёл сразу, дали и комнату в общаге. Он вроде угомонился, никого из знакомых в городе отыскивать не стал — пришлось бы рассказывать, где пропадал все эти годы, — старательно вертел баранку самосвала на угольном разрезе, даже получил перед выходными аванс. И пошёл не то, чтобы вразнос, а немного выпил, и его, всегда шебутного по пьянке, вдруг опять потянуло на приключения.

В этот раз Мишка захотел женщину. Впрочем, он давно её уже хотел, но как-то так, приглушённо — привык к состоянию воздержания. А тут чёрт попутал — нет, чтобы в ресторане, где пил, с какой-нибудь бабёнкой столковаться, так его угораздило сесть в засаду, аки татю полунощному («да я и есть тать!») на этом чёртовом рынке, чтобы изловить запоздавшую прохожую. И уговорить её… ну, поговорить с ней сначала о погоде, а там и до полюбовных утех недалеко, куда ей деваться среди ночи-то, на пустыре, не откажет. А оно вон как повернулось — на одноклассницу напоролся, да ещё ту, которая ему всегда нравилась. Чистая кинокомедия! Теперь вот надо как-то выворачиваться.

— Ладно тебе, Лариса, ладно, шуток не понимаешь, что ли, — сконфуженно забормотал Мишка. — Я сюда это… ну, по малой нужде, ты уж извини за прямоту, зашёл. А тут смотрю — ты. Я тебя сразу узнал — всё такая же красавица, вот. Ну и думаю, дай подшучу над одноклассницей! И ведь, смотри, получилось: ты поверила, что я этот, как его… ну, насильник. Вишь, какой талант во мне пропадает!

Он заискивающе улыбался и искательно заглядывал в глаза Ларисе — авось, примет такую версию развития событий.

— Шутка, говоришь? — задохнулась от негодования Лариса и неожиданно смазала по физиономии, да так, что во все стороны полетели брызги, и не только дождевые. — А нож у тебя — тоже шуточный, а?

Михаил в ответ на хлёсткую пощёчину лишь мотнул головой да поправил съехавшую на бок кепку — всё правильно, заработал! А про себя восхитился отвагой Ларисы: ведь мало ли как мог он отреагировать на это физическое воздействие, а поди ж ты, не испугалась, припечатала. Молодец.

— Нож? — переспросил он и сунул руку в карман куртки. — Гляди, что у меня за нож.

Он нажал на кнопку зажатого в ладони пластикового футляра, и из него со щелчком выбросилась блестящая алюминиевая расчёска. — Вот он, мой нож.

Но это не успокоило Ларису. Она продолжала негодовать:

— Ты ведь здесь не меня дожидался, а любую женщину, которую ты… с которой ты…

Лариса не могла подобрать или не хотела выговорить то слово, которое обозначало грязный умысел её бывшего одноклассника.

— Эх, ты! — горько сказала она. — Знала, что ты балбес и хулиган, но чтобы до такого докатиться.

И Лариса уже с другой руки влепила ещё одну пощёчину, да такую сильную, что фуражка слетела с дурной головы Мишки и спланировала в проход между рыночными прилавками, куда несколько минут назад он хотел затащить свою бывшую одноклассницу. Хотя он тогда ещё не знал, что ему попадётся именно Лариса. Но разве это меняло дело?

— Что здесь происходит? Женщина, вам помочь?

Около них остановился немолодой уже, тяжело дышащий мужчина. Опираясь на увесистую трость, он неторопливо высморкался в носовой платок, снова спрятал его в карман и с подозрением уставился на поникшего Мишку.

— Ага, как же, ей… Это впору мне помогать, — пробормотал Мишка, держась за пылающую щёку. Впрочем, пылало уже всё его лицо, и хмельной кураж как рукой сняло. Давно с ним такого не происходило, давно…

— Спасибо, дедуля, не надо, мы сами разберёмся, вы проходите, — с благодарностью сказала Лариса.

— Нашли где семейные разборки устраивать, — проворчал дед и, шлёпая ботинками по лужам, побрёл дальше.

Когда дедок удалился, Лариса вновь подступила к Мишке.

— Ты вообще откуда тут взялся, а? Тебя ведь не видно и не слышно было чёрт знает сколько времени, а тут, здрасьте вам! — сидит в засаде, с ножом, как самый настоящий разбойник…

— С расчёской, — вяло поправил её Мишка. — Да я это… недавно только откинулся… Ну, то есть, из зоны освободился, ну вот и решил в родные места вернуться. Потянуло как-то…

— И снова туда, на зону, собрался, да? Бомжуешь, да?

— Да нет, что ты! — запротестовал Мишка и, шагнув в сторону, подобрал и напялил на мокрую голову фуражку, тоже мокрую. Впрочем, этот нудный осенний дождь уже моросил всё тише и тише, а промозглый воздух становился всё прохладнее.

— Я на работу устроился, породу вывожу из разреза. Комнату мне в общаге дали. Не пью, это вот с аванса что-то потянуло,— доложил он Ларисе. И тут же постарался сменить опасную для него тему.— А сама-то как? Муж, дети? Кого из одноклассников видишь? Мне вот пока никто, кроме тебя, не попался…

Мишка, поняв, что ляпнул несуразное, прикусил язык и с досады переступил с ноги на ногу.

— У меня-то, в отличие от некоторых, всё в порядке,— всё ещё сердясь, пробурчала Лариса.— И с одноклассниками вижусь. Правда, тут их почти никого не осталось. Поразъехались, поумирали…

А кого-то никакая холера не берёт, а надо бы…

Они замолчали, и оба исподлобья посматривали друг на друга, Лариса — непримиримо, Мишка — с любопытством и всё возрастающим восхищением.

«Какая она стала: статная, гордая, такая же красивая,— взволнованно думал Мишка.— Эх, если бы в другой обстановке встретились, попробовал бы снова за Лоркой приударить! Хотя о чём я — она же наверняка замужем…»

«Хм, а он ещё ничего, крепкий, рослый, лицо какое хорошее, не мятое, если побреется — просто красавчик,— задумчиво размышляла Лариса.— Ну да, сидел. Да мало ли кто у нас сидел и сидит? Но… Но ведь он на меня хотел напасть! И если бы это была не я, он бы точно напал на свою жертву и… У, мерзавец!.. Впрочем, не от хорошей же жизни он пошёл на это дело. Ему бы хорошую женщину, чтобы взяла его как следует в оборот, человека из него сделала… Так ведь такой, как Мишка, не каждую слушать будет… Хотя я-то — не каждая, вон видно же, что он до сих пор ко мне неравнодушен. Эх, Мишка, Мишка, садовая твоя голова…»

— Ну ладно, Лариса, ты это… прости уж меня. Пойду я, ладно?— кашлянув, просительно сказал Мишка и снова переступил с ноги на ногу.

— Уткин, ты опять хочешь подвергнуть меня опасности, да?— сердито сказала Лариса, и глаза её по-особенному блеснули.

— Это как?— растерялся Мишка.

— Как, как…— комично передразнила его бубнящий голос Лариса.— А вдруг там ещё кто меня поджидает? Давай, проведи уж теперь до дома одинокую беззащитную женщину!

И она взяла своего одноклассника под руку…

*Ди*Н пародия

Евгений Минин

Страхи поэтической тропы

Проблема с рифмой

И я входил и дважды выходил,
но, как спастись от рифмы «крокодил»?
Александр Кабанов

Возможно, этим свой талант гублю —
глагольной рифмы с детства не люблю,
когда есть существительных орава.
И в Африку я вроде не ходил,
но как спастись от рифмы «крокодил»,
когда наткнёшься сразу на удава.
Напишешь об «Агдаме», про стакан —
и тут же приползает таракан
и в рифму лезет, и глядит недобро.
Но почему же слон, гиппопотам
в мои стихи влезают тут и там?
И как теперь спастись от рифмы «кобра»?

Диндонное

Так стучи-постукивай, голубое сердечко,
стучи-постукивай — па-па-па
………………………………
У окна провожу весь день,
и звонка дверного дин-дон
Мария Маркова

Как страшна поэтическая тропа,
где на каждой ветке сидит Купидон,
оттого и сердечко колотит па-па
после каждого в дверь мою дон-дин-дон.
и не скажешь сердечку: а ну-ка стоп,
пишешь строчку, а в мыслях всё время страх,
пародиста мне слышится топ-топ-топ,
он появится сразу и бах-бабах…

Ирина Иваськова

Шурочка

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
Фёдор Тютчев

…и мне тогда в голове представление сделалось: будто смотрю я с высоты на город, а кругом ночь, только огни внизу горят жёлтые. А мимо огней, прямо из домов, будто нитки голубые вверх тянутся. Тонкие такие, дрожащие, светлые ниточки, как молнии электрические. А я на них смотрю и понимаю, что это молитвы человечьи светятся, улетают из ночных домов на небо, а там уж, сами понимаете, по назначению. И мне так легко стало тогда, ну, думаю, не пропадём—ниток-то много, усердное такое плетение…

— Записала, Шура?—спросила Мила и откашлялась.—Много вышло сегодня?

— Всё записала, тёть Мил. Две страницы. Я побегу, ладно? Мне к подруге надо.

— Ну беги, беги. На обратке хлеба купишь, и поздно не приходи, нечего шляться, грязь такая. Давай сюда тетрадь.

Мила бережно взяла протянутую Шурой толстую тетрадку и спрятала её под подушку—огромную, твердокаменную, в блёклых ситцевых цветках.

Шура давно уже уговаривала тётку сменить подушку на лёгкую, мягкую. Этим невесомым турецким добром, набитым меленькими синтетическими шариками, уже обзавелась каждая семья. Но Мила наотрез отказывалась—ни соображения удобства, ни гипотетические бельевые клещи её не пугали.

— Мать моя в неё плакала! И я буду!—сердилась она и впрямь принималась рыдать, вспоминая ушедшее в прошлое столетие детство и своих давно сгинувших родных: кого войной съело, кого государством или болезнями. Шура видела тёткину семью на фотографиях—тающие, прячущиеся в тёплом тумане лица с нездешними глазами и пушистыми причёсками. Все Милины родственники были кудрявыми: и мужчины, и женщины, и сама Мила всю жизнь сражалась с непослушными, мелко пушащимися прядками.

Семейные снимки тоже жили под её подушкой, в альбоме зелёного бархата, аккуратно подписанные и заправленные в прорези на картонных страницах. Чернила бледнели, глубже впитывались в картон, но ещё можно было разобрать имена и фамилии, даты и города—всё забытое, потерянное, не нужное никому.

Мила появлялась в альбоме ближе к последним страницам: сначала младенцем, потом девчонкой с острыми коленками, а затем взрослой девушкой, по тогдашней фотографической моде кокетливо тянущей к лицу цветущие ветки. Шура всегда любовалась молодым тёткиным лицом: щёки круглые, нежные, и лоб невинный, под воздушным облаком светлых волос.

Мила угомонилась, улеглась, выпростав руки поверх одеяла и по-старушечьи вздыхая.

— Беги, беги,—повторила она,—завтра ещё попишем, поторопиться бы надо.

На самом деле тётка совсем не была старой. Ей лишь недавно исполнилось шестьдесят, а сил и бодрости в её крепком теле оставалось в избытке. Отпраздновав юбилей и покинув замшелый коллектив полузаброшенного дамского ателье, Мила постепенно тронулась умом—то ли от никогда не виданного безделья, то ли под воздействием многочисленных газет и журналов о духовном поиске и иных мирах. Этими литературными изданиями на плохой бумаге, призывавшими людей прозреть и присоединиться к энергетическим потокам, Мила увлеклась ещё в конце девяностых, когда на душе было особенно пусто и темно. Бессмысленные тексты, яркие картинки с космическими пейзажами и огромными руками, держащими планеты в горсти,—журнальная муть эзотерических вод нарушила хрупкое тёткино сознание, и без того омрачённое семейными бедами, собственным одиночеством и страшной, но изо всех сил скрываемой нищетой.

Сумасшествие Милино вышло неопасное—с таким, в общем-то, и к врачам не идут. Несколько смущаясь, тётка сообщила, что стала теперь небесным проводником и будет писать книгу для несчастных, утонувших в незнании землян. Милина религия с трудом поддавалась идентификации: карма в ней мирно соседствовала с Христом, а волны энергии распределялись по планете архангелами—крылатыми, но при этом ещё и многорукими.

Впрочем, вникать в суть этого красочного бреда было некому — Шура тогда ещё жила с мамой, подруг у Милы не водилось, а проповедовать на улице она боялась. Но ценность обретённого знания не давала Миле покоя — так и пришла она к мысли о книге, способной озарить и спасти жизни глупых, несчастных, тёмных людей.

Первые пятнадцать тетрадей Мила исписала сама и останавливаться не собиралась. Но притормозить пришлось: обострился артрит, мучивший её ещё в годы работы швеёй. Милина сестра — Шурина мама — помогать отказалась наотрез, и Шуре, до слёз стыдившейся тётки и до слёз же любившей её, пришлось брать судьбу человечества в свои руки. Мила плакала, благодарила и клялась — пара недель диктовок, не больше.

С тех пор прошло пять лет — исписанные тетради множились, разум к Миле не возвращался, Шурина мама умерла, а сама Шура поселилась у тётки в крохотной двухкомнатной квартирке, выходившей окнами на центральную улицу города. И днём и ночью мимо дома неслась городская жизнь: плотно прижатые к асфальту автомобили, сверкающие серебром мотоциклы, шумные до боли, быстрые до смерти. Шура слушала дрожание стёкол и думала о себе, много думала.

Быстро темнело. Продрогнув на остановке, Шура с радостью увидела долгожданный автобус, светящийся изнутри ласково и жёлто. Поднявшись по облитым безнадёжной осенней грязью ступенькам, она сняла рюкзак с плеча и пробралась к задним сиденьям сквозь путаницу чужих ног, сумок и голосов. Уселась, перевела дыхание и вдруг, будто кипятком, обожглась знакомым лицом. Аркашка сидел напротив, закрыв глаза. Белые проводки наушников, как всегда перепутанные между собой, прятались под светлыми волосами, отправляли в его прекрасную голову музыку, перемешивались с неизвестными Шуре мыслями. Хотя, что тут неизвестного. «Знаю, всё знаю», — подумала Шура и, как всегда, захотела плакать. Потом толкнула Аркашку коленкой — раз. И ещё раз. Он приоткрыл глаза, прищурился:

— О, Шурка, — и вытащил один наушник. Протянул его Шуре и снова закрыл глаза. Проводок был коротковат, и ей пришлось наклониться вперёд. Неудобно, но зато, зато! Целых двадцать минут они смогут быть чем-то целым, пусть соединённым лишь тонкой пластиковой ниткой и пунктирами звуков.

— Как хорошо, что мы встретились, правда? — спросила она Аркашу позже, когда они вышли на нужной им остановке и пошли рядом по изломанному полотну асфальтовой дорожки.

Он молчал.

— Мне страшновато всё-таки одной поздно ходить, фонари не горят, всегда темно, — упрямо продолжала она.

Аркашка снова ничего не ответил.

— Даже юбку никогда не надеваю, всё джинсы, джинсы, — в отчаянии сказала Шура, — а с тобой я бы в самом коротком платье пошла, и мне было бы не страшно.

Ей было ужасно стыдно от своих слов, а Аркашка молчал и молчал.

Она почти со слезами заглянула в его лицо и только тут заметила, что он снова в наушниках. И когда успел нацепить, непонятно.

Асфальтовая дорожка кончилась, сменилась гравийной, а потом и узкой земляной тропинкой, ведущей к старой пятиэтажке, потерявшей свою непрочную штукатурную корочку ещё лет тридцать назад.

Шура раньше всегда удивлялась, как это Катька умудряется выбираться отсюда в город такой свежей и сияющей, словно бы свежевымытой. Это ж уму непостижимо, каждый день по грязи до остановки, а гляди ты, вся сверкает, и даже туфельки чистые, не ободранные. Впрочем, потом Шура углядела в Катькиной сумочке пакетик с медицинскими бахилами, и всё стало ясно. Катька вообще многое пыталась скрывать, но получалось у неё неважно. Вот и сейчас, поднявшись на второй этаж к двери её квартиры, Шура услышала Катькин крик.

— Да ты всю жизнь мне портишь! Пошла ты со своими коробками, сама принесла, сама и уноси!

Катькина мать, сухонькая, коротко стриженная женщина, очень хотела счастья. Счастье же, напротив, её никак не хотело и пряталось от неё очень старательно и упрямо. Мужья рядом не задерживались, работы терялись, здоровье подводило — всю жизнь она страдала от пренеприятных женских болезней, частичного облысения и крошащихся, как мел, зубов. Но самой главной её проблемой был неисправимый оптимизм: отчего-то эта женщина, прожившая полвека в ободранной хрущёвке, познавшая все ужасы советской, а затем и российской бесплатной гинекологии, никогда не евшая вкусно и не высыпавшаяся досыта, всегда верила в чудо.

Сейчас её спасительной мечтой была косметика, распространяемая по каталогам и обещающая своим покупательницам не только мгновенную и неувядаемую красоту, но и стремительное обогащение.

По утрам Катькина мать старательно красилась, покрывая сухую, в мелких морщинках кожу густым тональным кремом, накладывая румяна и тени, помаду и тушь. Взбодрившись пролистыванием каталога и привычно полюбовавшись выглаженными моделями (одна в сверкающей ванне, другая — на солнечном семейном пикнике, третья — перед первым свиданием), Катькина мать паковала сумки, взбиралась на каблуки и устремлялась вперёд.

Поскольку марафет наводился в полутьме, а волшебная косметика на деле была редкостной гадостью, при ярком свете дня лицо Катькиной матери выглядело несколько устрашающе. Но она не теряла энтузиазма и бегала вприпрыжку по этажам офисных зданий, заглядывая в кабинеты и заманчиво потряхивая образцами товаров, каталогами, сувенирами и прочей дребеденью. Офисные труженицы испуганно отмахивались, но, сражённые напором, или, скорее, испуганные внешностью посетительницы, иногда покупали что-нибудь мелкое, вроде лака или заколки.

Катька наотрез отказывалась присоединиться к маме на этом многотрудном пути к финансовому благополучию. Яркие каталоги с твёрдыми гарантиями счастья её тоже не привлекали: она была красавицей и без специальных отвлекающих приёмов. Однако мать настаивала, и каждый вечер крохотная квартирка на самом краю города сотрясалась от ссор.

— Опять орут,— констатировал Аркашка, вынув, наконец, наушники.— Подольше звони, Шурка, а то не услышат.

В паузе между криками Шура нажала на кнопку звонка и в который раз подумала: «Зачем я сюда пришла?» Дверь открыла Катька, ещё не отдышавшаяся после крика; закатила глаза при виде гостей, но шагнула назад, вроде как разрешая войти.

Аркашка был влюблён в Катьку так сильно, что терял всякий человеческий облик в её присутствии. Шура любила Аркашку — до остановки дыхания и мерцающего сознания. А Катька вроде как никого не любила, она мечтала просто выбраться отсюда куда-нибудь подальше, чтобы не видеть никогда зассаной маминым котом ванной, выцветшего линолеума, верёвок с сохнущими тряпками — всего этого тихого, тусклого, вечного жизненного добра.

— Шурочка, загляни потом ко мне,— крикнула Катькина мать из кухни, стараясь сделать радостный голос,— поступление чудесных лаков!

— Хорошо,— ответила Шура куда-то в глубину узкого коридора,— обязательно.

— Ну как ты, Кать?— спросил Аркаша, и голос его вдруг стал похож на желе.

— А тебе какое дело, а?— ответила Катька.

— Да я так, просто спросил, слышу, что ругались вы,— смутился Аркаша.

— А нечего подслушивать!— Катька явно была раздражена до предела.— И вообще, скажите мне, чего вы пришли, а? Вчера приходили, и сегодня, и на той неделе таскались! Я вам что, развлечение, что ли?

Катька остановилась перед своей комнатой и повернулась к гостям.

— Идите отсюда, вот что! Надоели! Как вы мне все надоели! Видеть вас не хочу, никого, никогда!— поразительное дело, но Катька оставалась красавицей, даже когда кричала.

Шура пожала плечами и пошла обратно. Аркашка плёлся следом.

— Шурочка, Шурочка, подожди!— Катькина мать стремительно выскочила из темноты, укутанная в облако отвратительно-сладких духов, и сунула Шуре в руку маленькую твёрдую коробочку.— Как сможешь, рассчитаешься!

А потом вытолкнула Шуру и Аркашу на площадку и захлопнула дверь.

Домой Шуре возвращаться не хотелось. Было не слишком поздно, Мила наверняка не спала и вполне могла решиться на ещё один сеанс диктовки и записи. Аркашка мялся у подъезда с таким лицом, словно не мог выбрать, пойти ли ему улечься у Катькиной квартиры вместо коврика или бежать отсюда со всех ног в неведомом направлении, оглашая темнеющие окрестности плачем и стенаниями. Постояв минутку, он вроде пришёл в себя, посмотрел на Шуру и неуверенно улыбнулся:

— Едем обратно?

В автобусе Аркашка забился в угол и опять закрыл глаза. Наушниками с Шурой делиться не стал. А Шура всё смотрела в его лицо и думала: хоть бы на минутку стать Катькой, хоть бы на секундочку. Потом вдруг вспомнила про коробочку — до сих пор сжимала её в кулаке — и открыла, основательно поборовшись со скотчем и клеем. Внутри был лак — ядовито-розовый, с блёстками.

Перед своей остановкой Шура коснулась Аркашкиной руки, чтобы попрощаться, но он вдруг схватил её за рукав и спросил:

— Ко мне пойдёшь? У меня родители уехали.

Шура кивнула.

У Аркаши в гостях она ещё не была ни разу. Знала, что живёт он с родителями недалеко от центра города, в хорошей новостройке. И вообще, жизнь у него вся была хорошая, устроенная — Шуре такое и не снилось. Ни сумасшедшей родни, ни нищеты. Если бы он не встретил Катьку, так и жил бы себе спокойненько, по писаному. Раз в год — в отпуск всей семьёй, дни рождения в кафе, мама улыбается по утрам, папа руку жмёт — молодец, сынок, весь в меня. Нахватавшись по отрывочным Аркашкиным рассказам представления о чужой жизни, Шура рисовала себе светлые, солнечные картинки, страшно далёкие, недоступные ей никогда. Больше всего отчего-то впечатляли ежегодные поездки к морю — эта никогда не виданная Шурой диковина представлялась ей чем-то огромным, мягким, сияющим, как плавленое золото. Ей так и хотелось сказать Аркашке: «Эх ты, ты же море видел! Что тебе эта Катька?» Хотя Катька и была, как море. Даже Шура это понимала, какая она была прекрасная.

Аркашка убежал на кухню ставить чайник: замёрз ужасно, ведь одет вечно кое-как: курточка, кедики и никаких шапок. А Шура, затаив дыхание, стояла в его комнате, оглядывалась кругом

и удивлялась: точно, как в рекламном каталоге, шторы к ковру подобраны, а шкафчики — к кровати. Картинки висят. Зеркало большое, как для девчонки.

Шура подошла к оправленному в тонкую стальную рамку зеркальному полотну и внимательно вгляделась в своё отражение. А ведь что такого в этой Катьке невероятного: нос, губы, глаза — всё, как у всех. Волосы длинные, ну так их отрастить можно. Правда, Катька даже двигалась как-то по-особенному, так, что не поймёшь, то ли танцует, то ли идёт просто. Шура попыталась повторить плавные Катькины повороты, выпятила губы, изогнула спину и вытянула шею, отчего стала похожа на пухленького, но очень грустного гусёнка.

— Ты чего кривляешься тут? Живот, что ли, болит? — Аркашка вошёл в комнату и засмеялся. — Забавная ты, Шурка! Пойдём на кухню.

За чаем Аркашка стал серьёзным, задумался. Бултыхал, бултыхал ложкой в кружке, а потом решился:

— Шурка, мне тебе кое-что сказать надо. Ты и не знаешь, я никому ещё не говорил, но, кажется, я очень Катю люблю. Наверное, даже и не кажется. Точно люблю.

Шура мысленно закатила глаза — как Катька при виде незваных гостей, но вслух удивилась:

— Да ты что? Правда? Никогда бы не подумала.

Аркашка повеселел:

— Ну да! А зачем, по-твоему, я каждый день таскаюсь в ту дыру? Думаешь, мне так нравится с тобой по автобусам болтаться?

Шура ничего не ответила, но внутри у неё стало гулко и пусто, как в ночной подворотне.

— Я вот что, Шур, хочу у тебя попросить, — продолжил Аркашка. — Ты же вроде как друг мне, да? Не ходи пока к Кате, а? Я один хочу к ней прийти, вдруг она захочет меня выслушать, как думаешь? Она, наверное, сегодня распсиховалась из-за тебя, а если бы я один пришёл, всё было бы по-другому. Ты не ходи пока, я прошу тебя, ну что тебе стоит? Дома посиди, погуляй там, с другими подружками повстречайся, туда-сюда.

Шурка слушала смущённое Аркашкино бормотание вполуха, как далёкое радио, которое шумит где-то там, за пределами видимости, старается для никого. Отчего-то вспомнились ей сегодняшние утренние мысли — потешные такие. Она проснулась и стала вдруг думать про японского императора — недавно по телевизору показывали, как он с женой под цветущими деревьями прогуливался. Маленький такой, аккуратный, худенький. И жена такая же, в шляпке. Они были похожи на фарфоровых куколок и почему-то взволновали Шуру почти до слёз своей хрупкостью и улыбками. И вот она утром думала, как хорошо было бы, если бы Аркашка был японский император, а она — его жена. Чтобы они прожили вместе уже полвека, и никаких не было бы неразрешимых проблем: ни ледяных автобусов, ни Катьки этой, ни Милы с её тетрадками, ничего — только лепестки, старость, тишина.

Ей вдруг стало совершенно всё равно. Императором Аркашка не станет, попрётся завтра к Катьке, получит от неё по полной и станет безнадёжный совсем — Шура очень хорошо представила его опрокинутое лицо. А может, и наоборот получится. Вдруг Катька только и ждёт его одного, без липучей подружки?

И ей настолько стало всё равно, что она отодвинула чашку и сказала:

— Ладно. Не буду к Катьке ездить. Вот поцелуешь меня — вообще ни разу у неё не появлюсь.

Аркашка от неожиданности чуть не поперхнулся:

— В смысле — поцелуешь? Ты чего, Шурка?

— В прямом. Поцелуй меня по-настоящему, и я уйду, не буду тебе мешать. И к Катькиному дому даже близко не подойду.

— Ну, хорошо, — растерянно пробормотал Аркашка. — Давай так.

Он встал, и Шура поднялась со стула. Подошла к нему близко-близко, так, что его удивлённые глаза стали огромными, на весь мир. Потом прижалась губами к его губам и долго, целых три секунды, совершенно ни о чём не думала. А потом ушла, как и обещала.

…А про любовь архангелы вот что говорят: когда человек любит, его кровь становится сладкой и тягучей, как мёд. От того, что кровь сладкая и густая, человеку дышать становится тяжело, и он пугается даже сначала. Но пугаться тут нечего: любовь никому вреда причинить не может. Архангел одной рукой человеку любовь протягивает, второй — радость, третьей — терпение, а четвёртой — надежду. А человек часто только одно берёт, а другого не замечает. Вот и мучается потом, чувствует, что не хватает чего-то, а поздно. Ещё раз таких подарков уже не получить, как ни старайся…

Мила закрыла глаза и помолчала, а потом вздохнула:

— Ты беги, Шурочка, тебе к подружке, видать, надо. Беги, а то неделю уж дома сидишь. А я устала чего-то.

— Нет, тёть Мил. Я дома сегодня буду. И завтра, наверное, тоже, — ответила Шура и покосилась в угол тёткиной комнаты. Там стоял красочный плакат, сооружённый Милой из подручных материалов — лоскутков старых тканей, кальки и длиннющей линейки закройщика.

На плакате Мила, применив все свои портновские навыки, постаралась изобразить лик — чей уж, только её душе ведомо. Образ получился странный: яркие губы, румянец, синие веки. Лоскутное лицо чем-то смахивало на Катькину мать, и от этого

Шуре было совсем неуютно. Завтра Мила собиралась идти к людям — она вдруг решила, что её писательство делу спасения мира помогает слабо, планировала расположиться со своим плакатом возле местного супермаркета, а там уже и преподнести народу всё, в чём он, болезный, нуждается.

Думать о завтрашнем дне Шуре не хотелось — лучше сделать вид, что он никогда не наступит, и просто остаться дома, в мягкой тишине маленьких тёмных комнат. Чаю попить, на улицу посмотреть: на бегущие во все стороны огни, на прозрачные золотые окна в доме напротив. Завтра Шуре придётся пойти к супермаркету вместе с тёткой — удержать ту дома не было никакой возможности, а отпускать одну — страшно. Шура пыталась представить себе, чем может закончиться подобная проповедь. Милицией? Скорой? Побиением камнями? Равнодушие, пришедшее к ней после Аркашиного признания, не собиралось уходить, и даже память о самом первом, самом сказочном поцелуе, полученном в обмен на расставание, уже не грела её сердца.

Вечер казался вечным — темнота владела небом, улицей, домом, и даже всегда раздражённые мотоциклисты отменили на сегодня свои бесконечные бега. Мила уснула, крепко обняв каменную подушку и охраняя спрятанные под ней сокровища. А потом у Шуры кончился чай, и конфеты кончились, а утро — началось.

У супермаркета всегда играет музыка. В любую погоду: и в дождь, и в солнце. Бодренькие, никому не известные мелодии, вроде как стимулирующие на немедленное и очень полезное приобретение. Утренние посетители вяло плетутся за будущим блаженством, ещё помня вчерашнюю, подаренную телевизорной рекламой надежду: начни день с покупки и будь уже, наконец, счастлив, дурачок. В магазине тепло и светло, и здесь назначаются свидания, совершаются мелкие сделки и греются замёрзшие влюблённые, которым осенним утром совершенно некуда податься.

Мила экипировалась по полной: пакеты с мелко исписанными тетрадками, тёплый платок для согрева и плакат с неизвестным религиоведам ликом. Вручив пакеты Шуре, Мила укуталась поплотнее — утро выдалось на редкость зябкое, выпрямилась во весь свой незначительный рост и начала говорить:

— А больше всего оберегаться надо от жестокости — не может она быть главной в человеческом сознании. Архангелы грустят над этой человечьей выдумкой — естественным отбором. Глупости это, заблуждение. Не может борьба и победа над слабым быть самой важной в человеческой жизни. Внутри у человека такая хрупкость, такая нежность, что-то вроде пёрышка или одуванчика. Ну не может появиться в людях такая вещь только потому, что когда-то кто-то кого-то победил, или убил, или унизил по-всякому.

Мила говорила тихо. Никто её не слышал — даже Шура, сидевшая на скамейке совсем рядом с тёткой.

Люди шли мимо, мельком косились на очередную полоумную — в большом городе таких пруд пруди, на всех и взглядов не напасёшься. Магазинная музыка заиграла ещё громче, двери гостеприимно сдвигались и раздвигались, как прозрачные ненасытные челюсти. Мила бормотала что-то всё быстрее, и со стороны казалось, что она просто подпевает беспечным музыкальным мотивам.

— Шурочка! Ты чего здесь? Ждёшь кого-то? — Шура даже вздрогнула от неожиданного, как всегда, деланно весёлого голоса — Катькина мать стояла рядом и растягивала в улыбке ярко раскрашенные губы.

— Нет. Я с тёткой, — ответила Шура и кивнула в сторону плавно размахивающей плакатом Милы. Врать и оправдываться не хотелось — пусть видит.

— А-а, — коротко протянула Катькина мать, — дочка говорила, что родственница у тебя того… странная.

Она поставила свои тяжёлые сумки на скамейку около Шуры и подошла поближе к Миле — та продолжала свой еле слышный разговор:

— …А у нас как получается? У человека вроде как задача поставлена: стать сильнее, чтобы больше трудностей вынести. А чем сильнее человек, тем больше трудностей и борьбы у него, словно бы специально. И он борется, старается, и потом даже радость от этого начинает получать — от победы над ближним. Только сама по себе борьба — это жестокость. И ещё вот что: неразумные считают, если какое-то свойство человеку не нужно, то оно само по себе отваливается, вроде хвоста. Так отчего тогда не отвалились сострадание, сочувствие, жалость? Они ведь только мешают, если ты в естественном отборе участвуешь, выживаешь. Почему нежность в людях осталась, смущение или раскаяние?

Катькина мать слушала Милу внимательно, и лицо её, обычно удерживаемое усилием воли в выражении фальшивого восторга, расслаблялось, смягчалось и словно бы сползало вниз.

— …Архангелы жалеют неразумных, потому что нет жестокости в изначальном человеке. Будьте, как свет, жалейте друг друга, ведь даже архангелы не помогут, если в сердце, кроме зла, ничего не растёт. Будете тратить свою жизнь на бессмысленный бег вперёд, будете топтать ближнего — прибежите в пустоту. И любви не жалейте и не пугайтесь, берите её всю, вместе со всем, что к ней приложено: боль так боль, страдание так страдание.

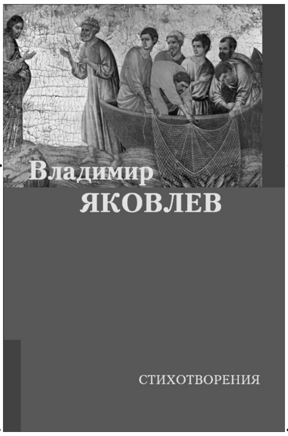
Катькина мать подошла к Миле совсем близко, взяла из её рук плакат и подняла повыше, чтобы всем было видно. Она кивала головой и чуть приплясывала на месте то ли от холода, то ли от радости. К неожиданным проповедницам, отодвигая

прохожих, уже направлялись четверо охранников супермаркета: полнотелые, ленивые, предвкушающие развлечение. Шура встала, потом снова села, чувствуя себя совершенно беспомощной и бесполезной.

Охранники почти ласково подхватили женщин под руки и увели внутрь магазина, в самую глубину непрерывно работающих челюстей-дверей.

И тут только Шура заметила парочку, стоявшую неподалёку и внимательно наблюдающую за происходящим. Аркаша и Катя держались за руки. Точнее, врастали ладонями друг в друга, как молодые деревья, по недосмотру садовника посаженные слишком близко и теперь переплетающиеся ветвями, корнями и всем, чем вообще можно переплестись.

Постояв минутку, глядя на Шуру с благодарностью и стыдом, они отвернулись от неё и ушли — подальше от навязчивой музыки, магазинной толпы, сумок с косметической дрянью и тетрадок, плотно набитых словами о счастье и нелёгком пути к нему.



Владимир Яковлев

Стихотворения

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017

Владимир Яковлев (1952–2016) прожил большую многотрудную жизнь: был рыбаком, солдатом, спортсменом, переводчиком, редактором и издателем книг, но при этом всегда оставался поэтом. В книге собраны практически все его стихи, написанные в течение жизни. Это лирика открытого сердца, подлинных смыслов и высоты духа в его мужественном и смиренном пути к обретению вечных истин.

Украинская ночь

Снова небеса над Незалежной
Рвут снаряды — пятернёй железной
Землю с кровью смешивает «Град».
И бессонный снайпер смотрит в оба…
Как теперь я буду верить в Бога,
Если украинец мне — не брат?!

Если оклеветан и оболган
Мир, в котором я живу, и волком
Воет ненависть звериным всем нутром,
Насылая смерть, тоску и морок?
Если ночь июньская, как ворог,
Затаилась снова за Днепром?

Место встречи

Отвези меня, шеф, в Сокольники!
Там, где соколы в тишине
Режут воздух у колоколенки, —
Там назначена встреча мне.

Там пылает окно с геранями,
И сирени от рос мокры.
Там открыто вино заранее.
И давно уже стол накрыт.

Отвези меня, шеф, по-тихому,
Чтобы сердце тоской не жгло,
В ту страну, где хлебнули лиха мы
И где с нами был Глеб Жеглов.

Место встречи не мной назначено,
И его изменить нельзя.
Всё простилось. За всё заплачено.
И такси заждалось, друзья.

Отвези меня, шеф, в Сокольники!

Анатолий Бимаев

Человек-птица

Ушло за горизонт солнце, и на широком плаще Атеа засияла вереница жемчужных звёзд, что когда-то преподнёс отцу в дар его верный сын, покровитель леса, животных и птиц, божественный Тане.

Смежились очи Атеа. Задремала его возлюбленная Папа-земля, из священного союза с которой образовался некогда мир. Оцепенели в сонной дремоте подёрнутые туманом реки, горы, деревья, уснул, умиротворённый собственным дыханием океан. Давно отгорели костры в деревнях, и теперь тихо тлели, растворяясь в тёмной ночи сизым дымом. Спали люди в этих селениях. Дети, утомлённые впечатлениями бесконечного дня, и их родители, уставшие от вечерних песен и танцев, видели в своих ветхих фаре уже пятый сон.

Не спал только юноша Тутанакеи, сын безвестного рыбака и мастерицы циновок, сильный и смелый, свободный духом, словно Мауи — легендарный герой, похитивший у богов подземного мира огонь.

В это позднее время на берегу океана, среди зарослей пандануса, в тени шелковицы и хлебного дерева, отбрасываемой полной луной, Тутанакеи ждал Хинемоа, прекрасную дочь вождя Туры. На горе и счастье юноши, ибо любовь всегда есть великое горе и великое счастье, Хинемоа была ритуальной принцессой племени Мокоии, жившего на побережье Офату. Ни один смертный не мог желать Хинемоа. Она появилась на свет, чтобы девственной служить на священных обрядах распития кавы, встречать именитых гостей, быть лицом и честью каинги. А потом в один из назначенных верховным тохунгою дней украшенной морскими ракушками и перьями казуаров возлечь на ложе вождя соседнего племени, укрепив союз двух великих матае.

Далеко разносилась печальная песня флейты Тутанакеи, на голос которой должна была приплыть Хинемоа. Прошло уже две недели, как молодые люди условились свидеться, но девушка так и не появилась. Две недели с того благословенного дня, когда, встретившись взглядами на собрании представителей всех племён архипелага, племён острова Офату, который украшала своей неземной красотой, как цветок, Хинемоа, и племён острова Отахуху, где родился и вырос Тутанакеи, юноша и девушка поняли, что влюбились.

Нелегко, верно, было вырваться Хинемоа из-под надзора многочисленных тёток и бабушек, не отпускавших её от себя ни на шаг. Нелегко было выкроить час любви в этом мире жестокости и раздора, и потому Тутанакеи не унывал, каждую ночь, верный своему обещанию, выходя к берегу моря играть на своей флейте.

Две недели он дожидался возлюбленную, и две недели Хинемоа томилась, словно в темнице, на ставшем ей ненавистном острове Офату. В первую ночь, выйдя на побережье, чтобы пуститься сквозь океан навстречу музыке Тутанакеи, она обнаружила, что кто-то убрал все суда на песок, не оставив на воде ни одной лодки. Тогда Хинемоа пришла на следующий день, но и на вторую и третью ночь и четвёртую всё повторилось опять. Словно прознав о планах влюблённых, какой-то злой дух нарочно мешал им соединиться, разлучая древние корабли, выструганные священными тёслами мастеров Мокоии, с их единственной вечной спутницей, капризной и своенравной Моаной, ласковой, нежной Моаной, грозной Моаной.

Призывно звучала вдали одинокая флейта Тутанакеи. Это сама любовь его сердца, нашедшая воплощение в чарующих звуках мелодии, спешила к своей Хинемоа, но девушка не могла покинуть земли Офату.

Дни тянулись медленной пыткой. Неужто Мауи, не закончив великих подвигов древности, снова взялся утихомирить быстрокрылое солнце, остановив его бег, чтобы не было больше ночи над Оялавой, не было больше рассветов и зорь, не было тайных свиданий под прикрытием мрака. С трудом двигалось солнце по небу, изнемогая в усталости. Где ж ему было справиться с полубогом? Верно, подобно струне натянулась верёвка героя, которой он пленил лучезарную сферу, и пот блестел на его мускулистой груди, и глаза смотрели с непреклонным упорством. Кто мог ему помешать? И тогда Хинемоа обратилась к Мауи с такими словами:

— О, прославленный герой древности!

Ты выловил на крючок, словно рыбу, земли Офату и Отахуху, ты добыл для людей архипелага огонь, ты замедлил бег солнца, чтобы под его ласковым светом вызревали кокосы и ямс, бананы и таро, наливались питательной мякотью

плоды хлебного дерева. О твоих подвигах слагают легенды, твоё имя не сходит с уст благодарных жителей Уполы.

Но достоин ли восхищения тот рыбак, кто, снискав себе славу великого мастера, на старости лет, вместо того, чтобы терпеливо ждать смерти, немощным и слепым, снова рвётся в неспокойные воды Моаны, желая свершить новые подвиги? Разве уже не исполнил он всё, что предназначила ему жизнь? Разве уже не смотрят на него молодые, мечтая сравняться с ним в ловкости и удаче? И разве не говорят про таких, что они подобны акуле, вознамерившейся слопать собственный хвост?

Задумайся, о прославленный герой древности, бесстрашный Мауи! Мечтая снова вернуться к великим делам своим на земле, остановив свободный бег солнца, не пытаешься ли состязаться с собственной славой? Не пытаешься ли новым подвигом предать забвению старые? Умертвить уста благодарных жителей Оялавы, славящих твоё имя в легендах?

Так обратилась Хинемоа к Мауи.

И умный, величественный сын богов внимал её журчащему как ручей голосу, и его сердце смягчалось. Разжимались крепкие руки, державшие солнце, словно на привязи, и солнце спешило за горизонт в страну мёртвых, Гавайки, и звёзды одна за другой зажигались на широком плаще Атеа, и выходила луна.

Снова Хинемоа спешила к берегу моря, но вновь не могла покинуть пределов земли Офату. Видимо, зол и коварен был дух, вставший на пути двух влюблённых. Словно травинки, каждую ночь перемещал он тяжёлые лодки на побережье, туда, где не могли их достать волны прибоя, лишая девушку случая свидеться с юношей.

Две недели Хинемоа тосковала по Тутанакеи. А на пятнадцатый день, не в силах более выносить томившей сердце разлуки, она, сделав связку спелых орехов кокоса, бросилась в море и поплыла на звук флейты возлюбленного. Несколько раз ей казалось, что Тутанакеи прерывал свою музыку, теряя надежду увидеть любимую, и тогда душа девушки леденела в отчаянье. Скрылась за облаками луна, освещавшая полуночный мир, не было видно путеводных созвездий. Кругом царила непроглядная тьма. В какой стороне земля, сулившая жизнь и спасение, а в какой океан, обещавший погибель, девушка не понимала. Но сильна была любовь Тутанакеи, непоколебима была его вера в то, что однажды Хинемоа придёт—через мгновение флейта снова звучала в ночи и девушка узнавала дорогу.

Был бы только этот манящий звук в темноте, пело бы только сердце влюблённого, и ничто не собьёт Хинемоа с пути. Ни ледяное течение, влекущее её в открытое море, ни усталость, сковавшая руки и ноги, ни страх перед дальней дорогой и хищными рыбами. Всё готова преодолеть, справиться со всем Хинемоа ради любимого. Ведь красив, как сам вождь, её Тутанакеи, быстр, как ястреб, а молва о его силе шагает по мирным каингам, точно живой человек.

Давно волновала воображение девушки эта молва, давно растила в сердце всходы любви, задолго до их первой встречи в родной Мокоии. И теперь, распустившись подобно цветам гибискуса, заблагоухав, как самый изысканный плод, чувство её стало подобно весне, неудержимой и победоносной.

Долог был путь Хинемоа к земле Отахуху, опасен и труден. Но всему когда-нибудь приходит конец. Пришёл конец и её испытанию. Ступили девичьи ноги на песок заветного острова и, вспорхнув, словно легкая птичка, побежали к Тутанакеи. И Тутанакеи, увидав Хинемоа, поспешил ей навстречу. Никогда ещё ночь не становилась свидетелем столь страстного поцелуя, что увенчал объятия двух влюбленных, никогда ещё не наблюдала она столько нежности и любви между смертным мужчиной и женщиной. Да, ибо как Тутанакеи и Хинемоа, наверное, не жаждали соединиться друг с другом даже горы острова Офату, Кара и Какепуку, что, по легенде, томимые жаром любви, преодолели моря и равнины, лишь бы быть вместе. Уже тысячу лет стоят они один напротив другого не в силах разомкнуть взглядов, и туман, нисходящий по вечерам на их склоны, скрывает застенчиво брачные ласки влюблённых. И хоть у Тутанакеи и Хинемоа не было впереди тысячи лет жизни и не было огромных гранитных сердец, способных стерпеть томление бесконечного чувства, их мягкие взоры, переплетаясь и ластясь, скользили по милым чертам, словно волны, пытаясь запомнить те на века.

Высок, крепок и пылок был Тутанакеи. На твёрдой как камень груди его красовались щиты перламутровых раковин, а запястья украшали браслеты тридакны. По широким плечам, спине и ногам кружилась спиралью, то переходя в паутину, то рассыпаясь на мелкие брызги точек, чёрная татуировка, рельефная, будто кора столетнего дерева. Лицо же его, как изваяние бога, наверное, высекли под резцом знаменитого мастера: гордые, непреклонные линии подбородка, носа и губ, лучащийся взор, озарённый светом божественной силы, уши, оттянутые до ключиц тяжёлыми серьгами. Само совершенство пожелало явиться миру в Тутанакеи, не было в нём никакого изъяна, уродства.

Подстать красавцу Тутанакеи была и юная Хинемоа. Налегке плыла она по морю, и потому единственным украшением, в котором девушка предстала пред юношей, была нагота стройного, смуглого тела. Всё в этом теле сияло гармонией:

миниатюрное, свежее, как кокосовое молоко, личико с порхающими туда и сюда по жизнерадостным траекториям бархатными глазами-бабочками, круглые, стоячие груди и покатый живот, ещё не познавшие муки рождения, отнимающей женскую силу и молодость. Всё в Хинемоа было прекрасно, и Тутанакеи, зачарованный прелестью молодою невесты, смотрел на неё с восхищением.

Только мгновение длился их взгляд, но, поистине, было мгновение это равно тысячелетию, и когда оно завершилось, Тутанакеи и Хинемоа ощутили в себе веяние вечности, и было краткое, смертное счастье их дольше бессрочного счастья гор Кара и Какепуку.

И обратилась Хинемоа к своему жениху:
— О, славный воин Тутанакеи. Любимый Тутанакеи,— начала девушка, и слова эти были самыми благозвучными, самыми желанными словами во всей её жизни.

Нелёгок был путь мой к тебе. Злой дух преграждал мне дорогу, разлучая каждую ночь священные лодки с Моаной, чтобы я не могла покинуть родной Мокоии. И Мауи, этот тщеславный Мауи, пытался мне помешать, остановив бег легкокрылого солнца, дабы не было больше ночи на земле и тайных свиданий возлюбленных. Течение меня уносило в открытое море, и звук твоей флейты всё время терялся во мраке, обрекая меня на погибель. Но я, несмотря ни на что, приплыла, Тутанакеи, ибо нет во всём мире, во всех девяти небесах такой грозной силы, что способна смирить порыв страстного сердца.

И пусть мой отец, великий вождь Тура, предназначил меня в жёны другому, лишь ты станешь моим настоящим супругом, любимый. Сам дух мой взялся за руки с твоим, и теперь они тихо шагают вдоль кромки моря. Разве союз их не священен? И разве не крепче он тех мёртвых уз, что налагают своим бормотание тохунги среди каменных истуканов мараэ?

Так обратилась Хинемоа к Тутанакеи, и тот произнёс:
— О, прекрасная Хинемоа, достойная дочь великого Тура.

Клянусь, не бывать тому, о чём ты говоришь! Прежде скроется под водой Отахуху, чем ты станешь женой Кахукуры. Прежде боги девятого неба состарятся, чем, покорная и молчаливая, ты подаришь ему свои нежеланные ласки. Запомни слова мои, Хинемоа! Не носить мне своего имени, если я не сдержу этой клятвы.

Так ответил Тутанакеи, и слова его были услышаны.

Целебной мазью по кровоточащим ранам души пришлись Хинемоа слова гордого юноши, ибо именно их втайне она ожидала услышать и, услышав сейчас, исцелилась.

— Тогда люби меня!— воскликнула Хинемоа.— Или в тебе нет костей и ты не решаешься в этом признаться?

Она нежно смеялась над юношей, призывая его быть смелей. И тогда Тутанакеи обнял её, и она ему не противилась. Он обнял её не так, как при встрече, любовно и ласково, словно пташку, в тщедушном теле которой едва теплится жизнь и ты боишься её раздавить, а обнял иначе, порывистей, и руки его, казалось, прошли через кожу, вросли в Хинемоа, как корни, выжимая по капле из сердца любовь. Они питались любовью, но корней-рук было мало, чтобы насытить всё дерево, заключённую в рёбрах мятежную душу Тутанакеи, и тогда он прижался к ней ртом, приник грудью, сомкнул свои бёдра с бёдрами девушки и так, слившись с ней в одно целое, пил её, как одержимый, сминая и комкая, и раздирая на части.

Как горный родник в знойный полдень Тутанакеи пил Хинемоа, и любовь в ней не иссекалась. Любви было много, так много, что она готова была разорваться на части, не в силах сдержать переполнявшего чувства. И когда Тутанакеи, насытившись, наконец от неё отстранился, усталый, но радостный, любви в ней было ровно же столько, как и в самом начале, и теперь она тихо плескалась в ней, как безмятежное море, спокойные волны которого ласково били о грудь.

Чувствуя в себе это море, девушка открыла глаза и, открыв их, увидела, как стремительно кончается ночь. С тяжёлым сердцем поднялась она с брачного ложа. Грустно ей было прощаться с милым возлюбленным, грустно было смотреть на него взглядом разлуки вместо взгляда радостной встречи, зная, что не можешь остаться.

И обратилась Хинемоа к любимому:
— О, Тутанакеи, мой желанный супруг.

Поблёкли звёзды на широком плаще Атеа, их вот-вот готово сменить встающее солнце. Близок рассвет, близок час нашего расставания.

Вместе с маленьким озерцом Каити на вершине горы Какепуку, что по легенде влюбилось в самую яркую звезду небосвода, я ожидаю дня с печалью и невыразимой тоской. Ужели не видеть тебя мне при солнечном свете? Ужели не выходить с тобою под руку из нашего общего фаре, свободно и без стыда, как подобает законной жене? Ужели любоваться тобой лишь краткое время ночи, посвящая дни ожиданию?

Так обратилась Хинемоа к любимому и, смолкнув, заплакала.

Тутанакеи ничего сперва ей не ответил, ибо и у него на душе лежал камень, и он не хотел открывать своего малодушия. Когда же поборол он дрожь голоса, то произнёс:
— Верь мне, прекрасная дочь Мокоии, лучшая из земных жён. Как я сказал, так и будет. Не разойдутся дела мои со словами до тех самых пор, пока

будет стучать в жилах кровь, а сердце шептать твоё имя. Не посмеет коснуться тебя Кахукура. Ни увидит он тебя в свадебных украшениях в своём фаре.

Так сказал Тутанакеи, и тревога души Хинемоа прошла, и сами собою высохли слёзы.

Но настало время прощаться. Горькими были поцелуи влюблённых, которыми они обменялись теперь. Пообещав Тутанакеи приходить к нему на свидание каждую ночь, Хинемоа пустилась снова в дорогу. И дорога эта была дорогой воспоминаний. Она не пугала более девушку грозящими трудностями, потому что плыла Хинемоа туда, куда ей приплыть не хотелось. Казалось, было бы лучше ей утонуть — столь нестерпимой представлялась разлука, но море, будто назло, само несло её к ненавистному берегу, с каждой секундой отдаляя всё дальше и дальше от благословенной земли Отахуху. Никто в этот раз не играл Хинемоа на флейте, направляя её в темноте, никто не ждал со своею любовью под кронами хлебных деревьев, но путешествие девушки закончилось благополучно.

Вступив на берег родной земли, Хинемоа направилась, было, украдкой в свой дом, чтобы тенью пробравшись мимо спящих фаре деревни, никем не замеченной лечь на циновки и так встретить утро. Но планам её не суждено было сбыться. Когда проходила она мимо лодок, всё так же томившихся на берегу в тоске по Моане, её остановил властный окрик, в котором она узнала голос Пифанги — старой, завистливой тётки, охранявшей её целомудрие для чужого матае.

И сказала Хинемоа Пифанга:

— А ну-ка, стой, дрянная девчонка!

Где это ты пропадала всю ночь? Ответь мне, негодница!

Никак завела ухажёра в Афио, забыв что должна стать женой благородного человека, самого вождя Кахукура, правящего Уикато, что по той стороне горы Кара? Разве не подобает тебе благодарить милосердных богов, пославших на долю такую завидную участь? Или несносна тебе, неблагодарной, роль благодетельницы нашего племени, раз позволяешь себе подвергать всех опасности, крутя шашни с любовником?

Ну ничего, я отучу тебя от этой привычки.

Живо за мною в деревню. Посмотрим, что скажет на это отец твой, великий вождь Тура, услышав о падении дочери, ритуальной принцессы обесчещенного ею племени Мокоии.

Так сказала Хинемоа Пифанга.

И были слова её страшным укором для девушки, вызвали они в её сердце стыд, но не заставили сожалеть о содеянном. Ибо уродлив, алчен и стар был вождь Кахукура, не любила его Хинемоа, а любила красавца Тутанакеи и не могла идти против зова природы, зова своей дивной молодости.

С потухшим взором шла Хинемоа вслед за Пифангой. И вид её в этот момент был настолько же жалок, насколько самодоволен и радостен был вид злой Пифанги. Прожив всю жизнь без любви, переходя, как ненужная вещь, от одного мужчины к другому, она была счастлива видеть чужие несчастья и особенно горести Хинемоа, племянницы — самой красивой, самой удачливой, самой щедро одарённой почестями и украшениями девушки племени. Теперь удача её должна была смениться страданием, а почести обратиться позором, и Пифанга видела в этой смелой игре изменчивой жизни проявление высшей справедливости небожителей и находила беду Хинемоа заслуженной.

Где-то неподалёку уже бродили души спящих жителей Мокоии, возвращаясь из страны сновидений, когда Хинемоа с Пифангой ступили в деревню. Между невысокими фарами с покатыми крышами, касавшимися самой земли, курились пепелища ночных костров, призванных отгонять злобных духов. Тут и там шныряли свиньи, с пронзительным визгом и хрюканьем разбегаясь по сторонам, прячась в зарослях тропических джунглей. Вся деревня словно бы вырастала из этих зарослей, являясь продолжением зелёного леса, неотъемлемой частью пейзажа, как горная речка или просека, и была аккуратной, чистой и праздничной. Аккуратной и чистой, потому что жители Мокоии любили свой дом и любили землю, на которой родились. Эта в своём роде сыновняя любовь к священной земле-матери не давала им позабыть корни, призывая ухаживать за прародительницей, когда-то в великих страданиях выносившей их в своём большом чреве. Праздничный же вид деревне придавали крыши строений. Они покрывались широкими листьями пальм, которые, выцветая на солнце, становились белыми, словно песок, и были приятны для глаза.

Пифанга провела Хинемоа в дальний конец Мокоии. Она провела её мимо мараэ, длинной ритуальной площади, обложенной стеной камней и охраняемой высеченными из горного туфа истуканами предков, мимо мужского дома собраний, мимо всех спящих фаре, будто желая явить позор девушки, засвидетельствовать перед этими молчаливыми зрителями бесчестие ритуальной принцессы, посмевшей долгие годы находить беззаботный приют в их мирных стенах.

Наконец, втолкнув девушку в хижину, Пифанга уселась напротив, как сторож, дожидаясь минуты, когда души жителей Мокоии начнут возвращаться домой. Ждать пришлось не так долго. Один за другим просыпались дома, наполняя деревню и окружающий лес звуками человеческой жизни. Плакали дети, кричали их матери, смеялись отцы, добродушно о чём-то болтая с другими мужчинами. Кто-то, собираясь рыбачить, приводил свои

снасти в порядок, кто-то готовился к изнурительному труду на плантациях. Тут и там доставались запасы еды, в земляных печах грелись камни.

Решив, что момент наступил, Пифанга повела Хинемоа к вождю, с ехидной усмешкой напомнив, чтобы та надела свою лаву-лаву, поскольку теперь они не одни. Как хотела вызвать она в Хинемоа смущение, как хотела она оскорбить эту любимицу жизни, но девушка, оправившись после первого страха, уже не боялась Пифанги. Она никого не боялась. Только любовь была по-прежнему в её сердце, и эта любовь давала ей осознание своей правоты, высшей и непорочной, той правоты, что не могли запятнать людские законы, пусть даже дарованные человечеству святыми тохунгами.

В том что законы тохунгов были законы людские, но не божественные, Хинемоа не сомневалась. «Разве не есть весь мир любовь?—рассуждала она.—Разве не вьют птицы гнёзда, самка с самцом, и разве не любят друг друга они в этих гнёздах, взращивая потомство на радость улыбчивому богу Тане, доброму их хозяину и покровителю? И разве не ищет в беспредельных просторах Моаны всякая рыба другую, из союза с которой родятся их общие дети, а от этих детей внуки и правнуки, и так без конца, как завещал всем тварям морским Тангалоа, создавая своё великое царство—невесту земли океан? Так почему же она, Хинемоа, должна быть в стороне от этих извечных процессов природы? Неужели богам мила её девственность? Неужели им нужно, чтобы кто-нибудь жертвовал за остальных своей молодостью и красотой, своим сердцем, дабы двигался дальше, не прерываясь, величественный круговорот превращений?

Нет, Хинемоа не понимала такого порядка вещей, и сейчас, идя за Пифангой к вождю, внутренне возмущалась выпавшей на её долю несправедливостью. Она смотрела на жителей Мокоии, на всех этих обременённых мирскими делами людей, рыбаков и охотников, искусных строителей лодок, резчиков дерева и моряков, склонявших почтительно головы при её появлении, и чувствовала, как в груди её зарождается зависть. Зависть не к их мастерству и уделу, но к возможности свободно любить, не боясь наказания за свои чувства.

Вот о чём думала Хинемоа, идя с Пифангой к вождю.

И вот почему, увидев его, облачённого в великолепный наряд из красных перьев попугая сенги и ожерелий из отточенных зубов кашалота—огромной, злой рыбины, раз в поколение посылаемой Тангалоа умирать на побережье Офату и потому считавшейся достоянием матае, девушка не отвела своего взгляда от взгляда отца.

Радостным и приветливым был отец. Он, суровый вождь Мокоии, грозный в мирное время и безжалостный на войне, встречал дочь Хинемоа, не тая нежности. Немногим, далеко немногим во всей Оялаве выпадала честь ощутить на себе расположение матае. Тура любил дочь и редко проявлял к ней суровость, и теперь эта любовь, столь явно проявившаяся в его взгляде и пару мгновений спустя должная обратиться праведным гневом, больно ранила Хинемоа, но не заставила её отвести глаз.

Вождь сидел в самом конце небольшой залы, напротив входа, служившей одновременно приёмной по срочным делам, трапезной и комнатой отдыха, где по вечерам он внимал танцам и песням наложниц, беседовал с тохунгами племени. Он сидел на циновках, скрестив ноги, и принимал из рук двух приближённых служанок жаркое из кабана, запечённое в листьях банана. Даже сейчас, в эту раннюю пору, когда ещё ни один завзятый рыбак не успел вывести своей лодки в открытое море на поиски рыбы, он был величественен и прекрасен, и его прямая спина, словно высеченная из твёрдого камня, излучала недоступное обыкновенным смертным достоинство. Полон достоинства был и его немой жест, пригласивший Пифангу и Хинемоа сесть подле него на циновки, где, склонив почтительно головы, они могли дождаться момента, когда он закончит священную трапезу и примет их подобающим образом.

Всё в облике Туры вызывало восторг, всё заставляло собой любоваться, всё говорило, что перед вами потомок богов, чья родословная берёт свои корни от первых героев Гавайки, далёкой прародины островитян. Всё в этом великом вожде было божественно, и когда, покончив с едой, Тура медленно смежил глаза, приготовившись слушать, казалось, будто тысячи предков застыли в слепом ожидании вместе с ним, стараясь узреть человеческий голос.

Заговорила Пифанга. Недобрыми помыслами приводилась в движение её речь, желчными были слова, шедшие из её тёмного сердца. Хмурился вождь, постигая их смысл, и душа его, подобно сосуду, наполнялась водой чужой злости. Такого позора Тура не терпел никогда в жизни. Не раз доказав на поле битвы храбрость и ум, он теперь чувствовал себя не покрытым татуировкой юнцом, взирающим на врага с постыдной растерянностью. Он не знал, как нужно действовать перед лицом этой опасности, как воевать с этим новым противником, без плоти и без оружия, но с непреклонной решимостью победить. Бесстрашный в битве с позором, которую он самостоятельно вёл в каждой войне и в каждый день мира, Тура не был готов бороться с бесчестьем, добытым для него собственной дочерью.

Дослушав Пифангу, Тура спросил Хинемоа:

—Правду ли говорит эта женщина?

И Хинемоа ответила:

—Да, вождь, если можно назвать шипение змеи, что приготовилась к смертельной атаке, правдивой,—эта женщина говорит правду. Но правда не

всегда справедлива отец. Чёрной завистью продиктованы слова злой Пифанги и единственным её побуждением, подобно побужденью тридакны, притаившейся между кораллов, чтобы схватить легковерную рыбу, есть желание меня погубить.

И ответил вождь дочери:

— Кто хитрее, тот и справедлив. Помни это, моя Хинемоа, дабы не было больше в жизни твоей заблуждений и досадных ошибок, рождённых этой детскою верой. Невинна ты ещё в своём сердце, хоть тело твоё и познало мужчину, но всякий ребёнок когда-нибудь должен стать взрослым. Так стань же взрослой теперь, Хинемоа! Знай, нет другой справедливости в мире, кроме справедливости силы, ибо кто в здравом уме осмелится предать суду дела победителя?

— Может быть, боги?—ответила Хинемоа.

— Боги любят сильнейших. Я не знал ни одного военачальника, кто, победив на земле силой оружия, был бы потом наказан богами, взыскующими справедливость. Такое возможно только в легендах, но легенды всё равно, что сказки для взрослых.

Так сказал Тура, и взор его омрачился раздумьем.

Долго размышлял он, долго беседовал сам с собою в мыслях своих, решая, как поступить. Когда же молчание его стало гнетущим, он наконец-то сказал, обратившись к Пифанге:

— Не мне учить тебя, женщина, как поступать в таких ситуациях. Вам, коварным ханжам и плутовкам, известно, что нужно сделать, чтобы жених считал себя первым мужчиной невесты, пусть даже та трижды до этого была в браке. Представь в глазах Кахукуры Хинемоа вновь девственной и будешь мной щедро награждена. Открывшееся же сегодня забудь. Не годится нам, достойным правнукам Ру, представать перед остальными каингами Оялавы поводом для насмешек.

А ты, моя дочь Хинемоа, готовься к свадьбе.

Думаю, Кахухура не будет противиться, если мы назначим торжественный день на следующий месяц, сразу же после ритуального выбора Человека-птицы. Все дни в ожидании праздника ты проведёшь в своём доме, под присмотром Пифанги. Это избавит твою незрелую голову от необдуманных действий и дарует нам, старикам, желанный мир и покой.

Так сказал Тура. И женщины склонили пред ним свои головы и направились к выходу.

Долго-долго плакала Хинемоа, заточённая в фаре. Не спускала более глаз с неё злая Пифанга, расположившаяся возле входа в жилище с домашней работой. В полдень заступала она на свой пост, а ближе к полуночи её сменяла родная сестра Ниварека, которую в свою очередь на рассвете подменяла третья тётка девушки—Паре. Надёжно и чутко стерегли они пленницу, лишь иногда позволяя ей выходить из темницы. И если кто-нибудь вдруг задавался вопросом в каинге: «Почему не видно давно Хинемоа, ритуальной принцессы, почему не радует она своим появлением взоры жителей Мокоии и почему стерегут её неотлучно тётки Пифанга, Ниварека и Паре?»—им отвечали, что девушка заболела и ей необходим постоянный уход.

Этот ответ был в какой-то мере обычаем, стандартной формулировкой, выражавшей собой щекотливое положение таупоу, готовящейся стать невестой матае, и потому удовлетворял каждого, поскольку каждый понимал его скрытый смысл. Чем строже стерегли таупоу тётки и бабушки, тем соответственно ближе была дата торжественных празднеств и тем светлее и добрее становились улыбки односельчан. Только немногим такая суровость по отношению к ритуальной принцессе была подозрительна и казалась изобличавшей её тайный грех, но такие люди были всегда в меньшинстве. Никто не осмеливался подвергать сомнению древние ритуалы, трактуя их на свой лад, в том числе и обычай, испокон веков сопровождавший замужество таупоу, неизменная форма которого защищала честь девушки от досужих сплетен и домыслов.

Долго-долго плакала Хинемоа, но ни одна душа в каинге не знала об её слезах. Все были счастливы скорым счастьем девушки с вождём Кахукурой, и даже её отец, великий матае племени Мокоии, мысленно считал дочь счастливой, потому что привык верить в непогрешимую правильность своих действий, приносивших всем людям вокруг бесценное благо. Расценивая похождение Хинемоа не иначе, как прихоть, сиюминутную блажь капризной девчонки, он уже видел момент, когда та, раскаявшись и поумнев, вступит в дом Кахукуры в свадебных бусах. Одна лишь Пифанга знала, сколь тяжело приходится Хинемоа в разлуке. Но разве была душа у этой уродливой женщины, разве не жил давно в ней горный дух, сожравший все внутренности, и теперь приводивший в движение её мёртвую плоть одной своей ненасытной к злу волей?

Вот почему было сказано, что ни одна душа не знала о страданиях Хинемоа. Может быть, лишь Тутанакеи, не дождавшись любимой в условленный час, догадался, что с ней приключилась беда. А может, и наоборот, рассердился, разгневался гордый юноша, решив, что Хинемоа над ним посмеялась, даровав ночь лживого счастья, взамен тысячи скорбных ночей. Помнит ли, любит ли он ещё Хинемоа? Не отвернулся ли уже от неё? Придёт ли на выручку, как обещал, или, разуверившись в верности женского сердца, уплывёт на лодке в сторону восходящего солнца на поиски вечной славы и смерти?

Сомнения не давали Хинемоа покоя. Неизвестность вела её душу за руку по извилистому

лабиринту пугающих предположений, где любой поворот взбудораженной мысли сулил ей только страдания и тревоги.

На счастье девушки, неподалёку от её фаре на ветках шелковичного дереве вила гнездо семья миромиро, жизнелюбивых, белогрудых синиц, ожидавших потомства. Эти милые птички были известны своей домовитостью и столь редко встречающейся под солнцем прочностью супружеских уз, соблюдая которые самец и самка проживают всю жизнь неразлучно. Он помогает строить гнездо и заботиться о потомстве, а она в награду ему поёт весёлые песни, оглашая округу переливчатой трелью, утешая и радуя сердце супруга. К миромиро не раз обращались влюблённые с просьбой соединить разлучённые души: мужья хотели вернуть сбежавших из дома жён, невесты плакали о женихах, чьи лодки не вернулись из моря. И всегда миромиро спешили на помощь людям, не зная отказа, не ведая неудачи. Они отыскивали потерявшихся, тихонько садились к ним на плечо и начинали петь свои нежные трели, в каждом звуке которых — воспоминания о доме и оставленных близких. В сбежавших они воскрешали снова любовь, заблудившимся открывали дорогу, больным придавали сил подняться на ноги. Для всякого у них была добрая песня. И, вспомнив об этом сейчас, Хинемоа тихонько позвала миромиро, надеясь, что та не откажет и ей и разыщет любимого.

Миромиро услышала зов девушки и, легко вспорхнув в окно фаре, устремила на бедную пленницу два своих тёмных бусинки-глаза, ожидая слов девушки.

Обратилась тогда Хинемоа к маленькой птичке:
— О, миромиро, утешительница разлучённых сердец!

Помоги мне отыскать милого. Заперта я в этом доме и не могу придти к нему на свидание, хоть в мыслях своих я подле него. Скажи ему, что узнала тётка Пифанга о моей запретной любви и теперь нельзя мне покидать эту хижину до того самого часа, пока не нарядят меня в свадебные украшения, чтобы вести в дом вождя Кахукуры.

Много, что ещё было сказано Хинемоа, много слов поверила она отзывчивой птичке, прося передать их Тутанакеи, но озвучить здесь эти слова было бы делом бесчестным.

Терпеливо запоминала всё миромиро и, когда девушка кончила, в ту же секунду взмахнула короткими крыльями, устремившись в объятия неба, как лодка навстречу Моане. Поднялась она над деревней, поднялась над кронами леса, поднялась над дымом тлевших костров, так высоко, что выше её были лишь Кара и Какепуку, и полетела она между гор вдоль зажатой их склонами всех оттенков зелёного цвета долины к сиявшему серебром океану. Океан был тоже не одноцветен. Сказать про него, что он только синий, равнозначно тому, что назвать пёструю радугу жёлтой. Океан был и синим, и голубым, и лиловым, и фиолетовым на глубине, и почти белым там, где коралловый риф, образуя подводную стену вдоль острова, пенил тяжёлые волны.

Птичка летела всё дальше, томимая просьбою Хинемоа. Вот уже позади была песчаная пристань деревни, позади была земля Офату, и всё ближе и ближе становилось побережье Отахуху. Этот второй остров был значительно меньше первого. Высоко поднимался он над водой острыми, скалистыми очертаниями горы Пукетарата — отвергнутого Карой любовника, который вот уже тысячи лет с завистью и обидой грозно взирал на счастье своего более удачливого соперника и не сходил с места, не решаясь покинуть прекрасную Кару. Кто знает, быть может, однажды, проникнувшись терпеливой любовью несчастного, гора-женщина переменит своё настроение и снова станет его, отвергнув красавчика Какепуку. Грезя об этой желанной поре, Пукетарата время от времени предавался мечтам, отчего вершина его закрывалась белыми облаками, и люди тогда говорили, что Пукетарата заснул и не стоит тревожить его сновидений. В такие дни смолкали все разговоры и смех, прекращали стучать священные тёсла по дереву, извлекая из плоти срубленных детей Тане быстроходные лодки. Каждый боялся, что прерви он сон могучей горы, и та в гневе и ревности, покинув свой остров, устремится сражаться с ненавистным соперником, пытаясь завоевать любовь силой, и тогда жителям Оялавы несдобровать. Тяжело придётся и птицам и зверям, и потому миромиро, всегда гнездившаяся по соседству с людьми и отлично знавшая все их легенды, приближалась к земле Отахуху как можно тише, чтобы не потревожить спавшего сейчас великана.

Перелетела она узкий залив, разделявший два острова, с выступавшими тут и там из воды небольшими утёсами, оброненными Пукетаратой во времена его изгнания с земли Офату, и, тихонько чирикнув, села на ветку прибрежного дерева. Сразу увидела она Тутанакеи и, увидев его, тотчас признала в нём гордого юношу, по которому плакала в заточении Хинемоа. Не было в душе миромиро и тени сомнения. Этот стан, величавый и мужественный, эти мускулистые руки, похожие на двадцать сплетённых между собой лиан, эти широкие скулы и полный достоинства взгляд могли принадлежать лишь Тутанакеи и никому больше.

Печален был юноша, сидевший на побережье. Тяжело и ему давалась разлука, и его сердце грызли черви сомнения, и его взгляд невольно стремился к противоположному берегу, туда, где жила Хинемоа. Проникла добрая птичка страданиями разлучённых, и глаза её стали тоскливее прежнего.

Вспорхнула с ветки она и села юноше на плечо. Вздрогнул Тутанакеи от неожиданности, так погружён он был в свои мысли, но тут же узнал миромиро, беззаветную помощницу всех влюблённых, и возликовал в своём сердце, потому что понял, пришли наконец-то долгожданные вести от милой. И действительно, не успел он опомниться, как миромиро защебетала ему что-то на ухо, спеша поскорей передать слова девушки. И хоть Тутанакеи не знал птичьего языка и в заливистых утренних трелях слышал только прекрасную музыку бога Тане, который, подобно невидимому музыканту, играл на душах пернатых детей, как на флейте, сейчас юноша понимал каждый звук, каждую ноту песни посланницы. В какой-то момент он настолько проникся щебетом миромиро, настолько привык к её нечеловеческой речи, что в ней ему даже почудился голос самой Хинемоа, звонкий, чистый и любящий, словно не птица с ним говорила, а девушка, и было это так же реально, как если б она сидела подле него и он мог её видеть.

В этом было какое-то волшебство, наваждение, и когда оно кончилось, когда умолкла посланница, завершив печальный рассказ, Тутанакеи поднялся, расправив широкие плечи, готовый сразиться с судьбой, и в глазах его бегали молнии.

Обратился тогда Тутанакеи к белогрудой синице:

— О, миромиро, горькая вестница бед!

Лети назад к Хинемоа. Сообщи ей, что не успеет новый месяц родиться, как станет она моею женой, женой не в сердце своём, как сейчас, но в глазах всех жителей Оялавы. Сам отец её, славный вождь Тура, почтёт за честь обручить дочь со мною, бедным сыном рыбака и мастерицы циновок, и подлец Кахукура, грязный матае нечестивого племени Уикато, признает наш брак угодным богам.

Скажи ей, что добуду я для верховного тохунга своего племени сокровенный титул Человека-птицы. Скажи ей, и пусть она не сомневается в этом. Ибо кто, как не я, достоин этой победы: самый храбрый, ловкий, сильный мужчина архипелага? Разве не стану я крепким сосудом для маны предвечного, напитка небес, что Тане готовит для избранных, делая их равными вождям и героям? Скажи ей, и пусть слёзы горя станут слезами счастья, а ожидание погибели — ожиданием новой жизни.

Запомнила миромиро каждое слово гордого юноши. Ни разу за всю короткую жизнь не слышала она речи прекраснее этой, и потому стоило только Тутанакеи замолкнуть, дав понять, что он кончил, как в тот же час она поспешила обратно, к тоскующей Хинемоа, боясь забыть хоть один слог этой возвышенной песни.

А Тутанакеи, оставшись на острове, хоть душа его, облачённая в музыку слов, полетела вместе с синицей к возлюблённой, мысленно стал готовиться к предстоящему соревнованию, от поражения или победы в котором теперь зависела вся его жизнь. Вот уже несколько лет верховный тохунг деревни Афио прочил юноше роль участника ритуала, выделяя его своим проницательным взглядом из многих десятков достойнейших конкурентов. Сезоны дождей сменялись засушливым летом, снова и снова собирались с полей урожаи ямса и таро, рождалась и гибла луна, а терпеливый тохунг, которого каждый год, словно нарочно, обходил стороной великий титул, наблюдал, как мальчик Тутанакеи превращался в мужчину. Он следил, как крепнут мускулы на его длинных руках, как крепнет взгляд и становится твёрдой походка, как очищаются его мысли от мирской скверны, как воспаряют они до самых дальних небес во время культовых служб на мараэ, и убеждался в правильности своего выбора. Не было ни одного дня, когда Тутанакеи разочаровал бы тохунга. Поистине, этот юноша, рождённый так же, как все остальные, в женских муках и слезах, и так же, как все остальные, казалось, должный нести бремя посредственной жизни, стать рыбаком или обыкновенным ремесленником, был посланцем богов, призванным вернуть их племени былое величие. Так считал верховный тохунг, и Тутанакеи, слушая его прорицания, всё сильней убеждался в собственной участи, пока, наконец, не пришёл час воплотить предчувствие в жизнь и сделать своё имя легендой.

Только теперь, обозревая прошлые годы, он понимал, что готовился к этому часу с самого детства. Готовился, даже не осознавая того, инстинктивно, вслепую. Как гусеница, переживая таинственный процесс преображения в бабочку, не ведает, какое чудо с ней происходит, так и Тутанакеи рос и мужал, не отдавая отчёта, что его детство лишь подготовка к великим деяниям зрелости. В невинных играх со сверстниками он готовился к будущему. Играя в прятки, соревнуясь в лодочной гребле, состязаясь в борьбе, где ему никогда не было равных, даже среди ребят старшего возраста, он готовился победить в куда более значимом соревновании, в соревновании за титул Человека-птицы, готовился прикоснуться к самим перстам бога, ощутить его благодать в своём сердце. Ради этой смутной мечты он всегда и везде стремился быть первым, и если, к примеру, они с ребятишками, подражая взрослым мужчинам, делали из прутьев копья и шли войной на врага, Тутанакеи брал на себя роль военачальника и шёл впереди всех, оглашая окрестности боевым кличем. Так привлёк он, ещё будучи нетатуированным мальчиком, внимание тохунга и заставил признать себя избранным. И с этой самой минуты, как увидел он на себе взгляд жреца, взгляд не сонный, скользящий, словно бы мимоходом, а внимательный и

оценивающий, взросление его стало осознанным, а томления прошлого понятными и родными. Но это было потом, после прозрения. А в начале была лишь слепая, рвущаяся из грудной клетки, из самых кишок первобытная сила, что влекла Тутанакеи вперёд, ни давая покоя и сна. Это был голос богов, звавший его за собой, звавший туда, за грань всех миров, за горизонты, к неведомой цели, которую Тутанакеи должен был во что бы то ни стало достигнуть, не спрашивая, послужат ли его деяния на благо или станут причиною зла. Достигнуть—и точка, потому что так велят боги и сопротивляться их воле бессмысленно. Вот что было в начале—родительский поцелуй неба, избравшего себе пасынка.

И теперь Тутанакеи, никогда не выбиравший судьбы, чувствовал благодарность к богам, чувствовал полное примирение с собственной участью, забыв все лишения и трудности этой долгой дороги к Оронго. Ведь наградой за сделанный труд будет ему Хинемоа, венец божьего замысла, придававший этой истории шарм идеально разыгранной партии в камушки, блеск совершенного в своём исполнении плана, очарование фатальной предопределённости человеческой жизни.

Стремительно приближался час ритуала.

И вот однажды распахнулись глаза пробуждённого ото сна юноши, и узрели рассвет того самого дня, в который ему предстояло свершить предназначенное. Торжественен и прекрасен был этот рассвет. Солнце вставало из моря, как огромное лучезарное божество, пробудившееся на востоке. Сперва оно ухватилось горящими дланями за горизонт, расплескав по окрестностям золотое свечение, исходившее от его рук. Потом, подтянувшись, божество подняло над водой голову и, перекинув пылавшие факелом локти, побагровело от неимоверных усилий и замерло, собираясь с духом перед конечным рывком. Лицо божества исказилось, по нему, как морщины, прошли языки прекрасного пламени, и одним титаническим, мощным, быстрым броском оно поднялось целиком над поверхностью моря, засияв таким ярким и чистым светом, что Тутанакеи, наблюдавший за этим новым рождением солнца, закрыл ладонью глаза, ослеплённый далёким пожаром.

Упруго дул южный ветер, надувавший треугольные паруса лодок, спешащих с острова Офату на священное действо к земле Отахуху, в Оронго. Безмятежно плескалась Моана, разрезаемая, как ножами, кормами великолепных, разукрашенных резьбою судов с широкими, дощатыми палубами, с которых до слуха Тутанакеи уже доносились звучные песни радостных кормчих.

Не для дальнего плавания готовились эти лодки и не на рыбный промысел выходили они в океан. Их торжественный ход был полон сакрального смысла. Корабли везли вождей и верховных тохунгов племён Офату в сопровождении многочисленной свиты воинов и слуг. На всех, даже самых последних рабах, были праздничные украшения, отчего лодки издалека казались наряженными перьями, цветами и фруктами, как карнавальные сцены, и лишь присмотревшись, можно было увидеть среди этого пёстрого разнообразия красок маленьких человечков, с самодовольным достоинством стоявших лицом к Отахуху и гордо глядящих вперёд. Они казались застывшими изваяниями, впавшими в транс священнослужителями, и только их длинные волосы, их украшения из перьев, их повязки на бёдрах развевались на мягком ветру, сообщая фигурам движение.

Ничто не могло потревожить людей: ни мерная качка Моаны, игравшей тяжёлыми лодками, словно ребёнок игрушкой, ни солёные брызги воды, ни жалобные крики птиц, сопровождавших морскую процессию по небу в надежде, что люди накормят их рыбой. Лишь когда корабли пристали к земле Отахуху, экипаж лодок ожил, медленно и благочинно сойдя на белый песок благословенного острова.

На берегу гостей встречала почётная делегация представителей аристократии Отахуху. Вожди и тохунги архипелага сошлись, как потоки двух рек. Соединившись в приветственных танцах и дружелюбных похлопываниях, они устремились в глубь леса по неширокой тропинки, ведущей в Оронго.

Тутанакеи тоже был среди этого религиозного шествия. Он ступал по правую руку от верховного тохунга Афио, рядом с великим вождём, и толпа слуг семенила за ним косяком мелких рыбок, заворожённая величием предстоящих событий. Тропа всё время вела людей в гору, то карабкаясь по скользким земляным склонам, то перепрыгивая через ручьи и лежавшие на земле стволы полусгнивших хлебных деревьев, то устремляясь в непроходимые заросли сплетённых между собою лиан и ветвей тысячелетних деревьев, и люди, повторяя каждый изгиб непокорной дороги, тоже карабкались, и перепрыгивали, и устремлялись сквозь заросли джунглей, расчищаемые топорами рабов. То и дело между кронами пышного леса мелькала вершина Пукетараты, осенённая утренним солнцем, где процессию ожидал Человек-птица, неприкасаемый жрец, одинокий в своём божественном единении.

Целый год он был живым воплощением Тане, пришедшего в этот мир в птичьем облике, дабы верили люди, что не забыл он своих сыновей, не променял их тревоги и горести на беспечную жизнь в райской Гавайки, дорога к которой была безнадёжно утрачена жителями архипелага. Целый год ноги его не касались земли, а тело не ведало радости омовений из страха освятить своим прикосновением почву и воду, наложив

на неё священный запрет, табу для смертных людей. Пищу он принимал не иначе как из рук культовых слуг, и посуда, из которой он ел, в тот же день сжигалась в костре и пепел её отдавался на волю ветрам. Он не стриг ногти и волосы, не брил бороды, не менял ритуального облачения, считавшихся частичкою бога, и теперь, по прошествии долгого цикла служения в Оронго, долгого творения молитвы, заклинавшей изменчивое божество в своём сердце принести населению Оялавы счастье, достаток и мир, действительно напоминал редкую птицу с когтями и перьями, величиной с человека.

Сидя на возвышении из камня, венчавшего прямоугольную площадь мараэ, встретил Человек-птица процессию вождей и тохунгов, их избранных воинов.

В тишине проходила эта священная встреча. Молча взирали пришедшие на жреца, молча смотрела в ответ деревянная маска фрегата, украшавшая голову бога. Молчали и шестеро культовых слуг, стоявших по обе стороны Тане. Любое слово, исторгнутое из человеческих уст, любой шорох, любое движение были бы сейчас ужасным кощунством, и потому все хранили безмолвие, оберегая святость момента.

Долгой была тишина, долгим было это немое свидание, пока, наконец, не достигнув высшего пика одухотворённости, оно не нарушилось песней. Чист и высок был голос жреца, с филигранною точностью резчика деревянных фигурок выводил он слова, строил из них узорные предложения, наделял предложения смыслом, а смысл зажигал огнём истины.

Он пел о тех временах, когда ещё не было мира, а лишь чернота, в которой Атеа и Папа, сомкнувшись в любовном объятии, родили первых богов: Тангалоа, Тане, Ронго и Ту. Жрец пел, как расторгнуты были эти объятия, как подпёр сильный Тане руками Атеа и как осветило солнце всю землю, как появилось безбрежное море и суша, Гавайка. Он пел и легенду о сотворении первой женщины, прекрасной Хины, взятой Тане себе в благословенные жёны, и о том, как от союза их появились герои, а от героев—вожди. Много появилось вождей, пел Человек-птица, много родилось потомков от Тане, но жили они в разногласиях друг с другом, не могли найти мира, не могли поделить землю Гавайки. И разгневался тогда бог на людей и изгнал своих сыновей из священного края, каждого в свою сторону.

Изгнал он и матае по имени Ру, потомка жителей Оялавы.

На двенадцати лодках отправился Ру в долгий путь, пел Человек-птица, ибо был он великим вождём, и множество было воинов в его подчинении, в изобилии было богатств и еды. Грозные ветры швыряли тяжёлые волны на лодки, пытаясь их опрокинуть, и безграничное море вселяло в души первопроходцев отчаянье, пророча им верную гибель. Но умел и искусен был Ру, множество знаний было открыто его светлому взору, владел он и тайною лестью, которой соблазняют удачу, приступая к трудным делам, и потому на второй месяц его экспедиция всё же достигла берегов Оялавы и, найдя их пригодными к жизни, осталась здесь навсегда.

Давно это было. Двадцать два поколения островитян сменилось в извечном круговороте смертей и рождений, но память тохунгов свято хранит ту легенду, передавая её из одних уст в другие дословно. Вот почему каждый жрец помнит священный завет, что оставил своим людям Ру, поделив оба острова на двенадцать племён, по числу кораблей, достигших архипелага. «Хранить мир, не делать оружия, не копить зависти в сердце, дабы не ввергнуть жизнь в хаос и не прогневить ещё больше всемогущее божество»,—так завещал Ру потомкам.

Но не суждено тем было исполнить обета. Лишь душа их великого предводителя вернулась обратно в Гавайки, освобождённая смертью от бремени тела, матае поссорились и, разделившись между собой на союзы, отдались кровавой войне.

Чудовищны были годы, последовавшие вслед за этим. Каждый вождь стремился быть первым и ради этой безумной мечты нападал на соседа, безжалостно вырезая мужчин и женщин, стариков и детей, не желая слушаться голоса разума. В непрестанных войнах потерялось древнее знание дальних плаваний, убиты или заморены голодом были все моряки, преодолевшие некогда тысячи горизонтов бескрайнего моря, замучены были их жёны и братья, растерзаны сыновья, хранившие тайну мудрёной науки, доставшейся им от отцов по наследству. Но лишь сильнее ожесточались души вождей, уже не тех первых клятвопреступников, нарушивших завещание Ру, а их свирепых потомков, внуков и правнуков, рождённых средь пламени распри и помнить не помнящих мирного времени. Оказавшись в кровавой тюрьме, которую более никто не мог добровольно покинуть, они повели свои войны ещё искусней, коварнее предков, прерывая их лишь с тою целью, чтобы взять перерыв между битвами, залечить раны, подготовить из только что прошедших инициацию юношей новых солдат и снова отдаться сраженьям.

Всё чаще на алтарях священных мараэ приносились в жертву рабы, посвящённые ненасытному богу Ту, божеству разрушения и смерти, и всё реже в устах верховных тохунгов звучали молитвы, угодные слуху Тане. Вместилищем скорби и страха стали святые мараэ, превратились они в места нечеловеческих пиршеств, где останки врагов поедались их победителями, желавшими этим

древним магическим способом перенять силу и храбрость убитых, сделаться несокрушимыми.

Да, помешался рассудок жителей Оялавы, но, к счастью, бог Тане, милосердный бог Тане, покровитель птиц и зверей, бог изобилия и мира, не отвернулся от своих безрассудных детей. В тот самый час, когда, казалось, исчезла последняя надежда спастись, он снизошёл на проклятый остров, покинув ради людей священную родину. В виде морского фрегата, парящего высоко в небе, чёрной царственной птицей с ярким пурпурным зобом и свободным размахом изогнутых крыльев, не искавшей на склонах земли ни отдыха, ни пропитания, ни уютных гнёзд в кронах вечнозелёных деревьев, предстал перед людьми он. И люди узнали его, и возродилась в их душах надежда.

Во снах и мистических трансах, во время созерцания огня и бесед с духами, открылась тохунгам благая истина. Слёзы стояли в глазах умудрённых тайным знаньем жрецов, когда они вещали свои откровенья людям, и люди, слушая их, преклоняли колена и признавали в словах жрецов правду. И бросали они оружие своё и отрекались от бога Ту, и плакали и молились. Они, вчерашние воины, с головой погрязшие в насилии и подлостях, увидев, что не отвернулся от них милосердный, не устрашился, не возненавидел деяний их рук, что он снова готов принять их молитвы, даровав им прощение, становились вновь радостными и счастливыми, словно дети, и на устах их оживала улыбка. Даже в самых выжженных враждой душах, в душах вождей и их приближённых, весть о возвращении бога вызвала отклик раскаяния, ибо и они устали от кровопролитий и им нужно было прощение Тане, чтобы прекратить преступления и начать мирную жизнь.

Так поселился на островах архипелага бог мира, так появился культ Человека-птицы, живого воплощения божества, с любовью и лаской взирающего на людей со своего земного дома в Оронго. С того самого времени к Человеку-птице приходят за утешением и поддержкой, его просят вразумить жестокосердных вождей снова отдавшихся Ту, снова вступивших на путь злодеяний, забыв заповедь кротости, и Тане, этот достойный противник бога войны, встаёт на сторону благоразумных, помогая им вернуть мир. Не покидает он Оялавы, ясно предвидя то время, когда каждый станет друг другу сестрой или братом. Наступит на островах тогда благоденствие. Рассмеётся в тот час милосердный, застав детей своих за беспечными играми и невинными танцами, и дарует им изобилие, равное изобилию райской Гавайки, и будет оно длиться вечно.

Так пел Человек-птица.

Гримасы боли и ненависти плясали на божественном лике тохунга, когда пел он о братоубийственных войнах и жертвоприношениях, и, напротив, улыбка великого счастья озаряла лицо жреца, когда прозревал он блаженное будущее, без вражды и лишений, в согласии с волей бога.

Так пел он, и когда он закончил, в Оронго вновь пришла тишина. Люди застыли в оцепенении, склонив нечестивые головы, пристыженные словами тохунга, ослеплённые той светлой мечтой, лелеемой богом, в осквернении которой были повинны все в равной степени. Кого изберёт бог своим земным воплощением, если не найдётся достойных священного дара? Кого наградит он сладчайшим из поцелуев, поцелуем божественной благодати, если губы всех окажутся загрязнёнными ложью?

Страх остаться без милости бога на мгновение пронзил сердца храбрых людей. Но недолгим был этот страх, ибо вскоре поднялся Человек-птица, выпрямился во весь рост, бросая длинную тень на камни мараэ, и заголосил птичьим криком, протяжным ликующим клёкотом, давая команду начать состязание. Бог танцевал, кружась на своём постаменте, и был его танец последним, совершаемым в нынешнем теле. А значит, готовилось новое воплощение. Значит, узрел он достойных среди нечестивцев и сердце его размягчилось и дух приготовился к странствию.

Как по команде вперёд из толпы вышло двенадцать крепких мужчин, двенадцать сильнейших воинов архипелага, по одному от каждого племени. Встав у крутого спуска горы, они застыли, как статуи, в ожидании новой команды. Внизу, под их стопами билась, и пенилась, и стонала, будто живая, Моана, забыв обо всём в экстазе любовного противоборства с гранитными скалами острова, суля гордым воинам гибель. Но смерть не пугала отважных мужчин. Ни один мускул не дрогнул на их смуглых лицах, ни один не сделал шага назад, устрашившись открывшимся зрелищем. Все они были готовы бросить вызов стихии и, сразившись с ней в неравной борьбе, стать победителями — уже не людьми, но героями, равными в своих дерзаниях богам.

Все как один гордые воины были прекрасны. Однако и среди них, среди лучших из лучших выделялся, превосходя всех и силою и величием юноша Тутанакеи, славный сын своего племени. Словно из пламени были его руки и ноги, словно светились глаза, словно лучилось сердце в грудине, гоняя по жилам клокотавшую кровь. Зажжённый, как факел, огнём любви к Хинемоа, стоял Тутанакеи пред пропастью, и море ёжилось под его взглядом, боясь принять юношу. «Разве не раскалённым углём бросится он в мои прохладные воды? — думало море, глядя на Тутанакеи. — Разве смогу я потушить его жар? Разве не выкиплю белым паром до самого дна прежде, чем остужу порыв страстного сердца»?

Так думало море, и, поистине, велик человек и велика та любовь, способные вызвать подобные мысли у безграничной стихии, для которой род людской всё равно что игрушка, раб его переменчивой воли.

Но вот завершился танец тохунга, смолкла его птичья песня, опустились руки-крылья к земле, уставшие от полёта, и в тот же миг двенадцать мужчин бросились вниз по склону к рокотавшему вдалеке морю. Устремились жрецы и матае вслед своим воинам, прихлынули они к краю обрыва, как за первой волной прибоя вторая, дабы лучше видеть происходящее, и, прихлынув, узрели, что Тутанакеи бежал самым первым, далеко оторвавшись от остальных.

Тутанакеи бежал, вызывая у всех восхищение. Казалось, ничто не может ему помешать — столь легки были его движения, порхающие, молниеносные движения зверя, но не человека. Обрывист и крут был склон горы, коварен был и опасен. За огромными, белыми, как кость, валунами, открывались отвесные пропасти и земля ускользала из-под быстрых ног, норовя низринуть незваного гостя, но Тутанакеи бежал, как по ровной долине, не замечая преград. Все тренировки, все долгие годы служения одной-единственной цели несли юношу, словно на крыльях. Вся его необоримая воля к победе сжалась, заострилась копьём, и копьё это, пущенное меткой сильной рукой летело сквозь пространство и время в самое сердце свершения, в сердце запредельной, неуловимой мечты.

Первым бежал юноша по склону горы, первым он бросился в море, и море вскипело, объяв его тело водой, взметнулось клочьями пены, навалилось рокочущим валом, желая отбросить обратно на скалы, переломать кости герою, ободрать кожу и мясо. Но твёрдо встретил Тутанакеи удар и усмирилась стихия, признав его силу, и стала покорной и ласковой. Быстро поплыл тогда юноша по волнам к видневшемуся вдалеке островку, к одному из тех безжизненных чёрных утёсов, что оставил Пукетарата в воде, покидая изменницу Кару.

Вокруг этого острова кружились стаи крачек и олушей, прилетевших откладывать яйца. Они кричали, сгрудившись плотной толпой на утёсе. Самки желали уединиться, чтобы в тишине и покое свершить торжественный акт продолжения жизни, но им не хватало места на каменистом клочке бедной суши, и они сердито толкались, клевали друг друга, а самцы пререкались с соперниками, желая отвоевать для своих жён пространство. Те же из птиц, что не были заняты склокой из-за земли, охотились на морских рыб. Неспешно паря над водой, они выглядывали их зорким взором сквозь зеленоватую толщу Моаны и затем, приметив беспечную жертву, бросались за ней камнем вниз, сложив крылья и вытянув голову. Почти всегда молниеносный бросок венчался успехом, и на остров самцы возвращались с большой, судорожно бьющей хвостом рыбой, преподнося её в дар своей госпоже, своей самке, вот-вот готовой принести им потомство.

Всё в птицах томилось зовом природы, всё сводилось к одному лишь инстинкту — сберечь драгоценную жизнь, заключённую в хрупкой оболочке яйца. К несчастью для птиц, именно яйца, эти плоды их трепетной страсти, были целью соревнования людей, условием победы в котором значилось первым доставить в Оронго яйцо и вручить его в руки тохунгу.

Словно чувствуя новую, неизвестную прежде опасность, исходившую от гладкокожих зверей, приближавшихся к ним по воде, птицы становились всё беспокойней, крикливей. Они парили над головой Тутанакеи и одиннадцати избранных воинов, плывших за ним попятам, надеясь отпугнуть людей от своих гнёзд, но слишком не равны были силы противников.

Другие, более грозные испытания, стояли на морском пути соревнующихся. Течение и усталость были их недругами, а тёмная глубина океана — разверзшейся бездонной могилой, готовой тотчас же поглотить всякого, кто обессилеет в борьбе. Акулы тоже были помехой на пути воинов. Где-то там, в таинственной глубине они рыскали, словно охотники за головами, притаившись в засаде. В любую секунду могли они атаковать, внезапно и скрытно. Каждый мог стать их беззащитною жертвой, и мысли об этой опасности были даже страшней самой смерти. Никто никогда не признался бы в этом, но страх перед акулами вползал в сердца воинов омерзительным холодом. Он скользил по их спинам, впивался в их руки и ноги острыми иглами, так, точно акулы уже сомкнули на них свои челюсти. Самые впечатлительные даже видели над водой чёрные миражи острых акульих гребней, разрезающих море подобно ножу.

Да, и Тутанакеи, бесстрашнейший из рода смертных, чувствовал ледяное прикосновение страха, ибо и он был простым человеком и не был свободен от земных недостатков. Но всякий раз, чувствуя холод, он, в отличие от других, кого страх останавливал, делал робким и нерешительным, лишь яростней бросался в борьбу, ненавидя, презирая в душе свою слабость, как бы наказывая себя самого за проявление трусости очередным порывом вперёд, и таким образом становился сильней.

Подгоняемый ненавистью и любовью, Тутанакеи вскоре достиг скалистого берега, где гнездились птицы. Напрасно кричали они на него, пытаясь прогнать со своей территории, напрасно махали мощными крыльями, желая его устрашить. Юноша был непреклонен. Почти сразу на глаза ему попалась вожделенная цель. Отогнав прочь рассвирепевшую крачку, вставшую на его

победоносном пути, герой поднял яйцо с земли и, укрепив в специальной повязке на лбу, как в мешочке, бросился снова в море.

Соперники были уже неподалёку. Одни, достигнув утёса, карабкались по каменистому склону, лихорадочно рыская взглядом по расщелинам у себя под ногами, другие были в каких-нибудь нескольких метрах от суши. Никто не хотел сдаваться без боя, отдавать победу Тутанакеи — этому выскочке, молокососу, лишь вчера прошедшему инициацию и не знавшему настоящих сражений. Всё могло решиться в последнюю секунду соревнования. Удача, эта капризная девка, в любой момент могла переменить настроение и перейти в руки другому. Да и так ли был любим богом Тутанакеи. Разве не играет порой он судьбами избранных, не одаривает их почётом лишь для того, чтобы потом жестоко сбросить с высот былого величия в грязь и бесчестие? Разве не жаждет он явить людям немощь их смертной природы, ещё раз напомнить заносчивым детям, кто их отец и чего они стоят без его милости?

Так рассуждали соперники Тутанакеи, и потому продолжали борьбу. Те, кто надеялся на перемену фортуны, на счастливое вмешательство Тане, пытались догнать неуловимого лидера, вкладывая в гонку последние силы. Другие, что плыли позади всех и потому не могли уповать на оплошность противника, рассчитывали помешать юноше сами, одолев его в честном сражении. Они подплывали к Тутанакеи вплотную, преграждая тому обратный путь, и навалившись на него всем своим телом, пытались утопить в море. Жестоки и величественны были те схватки. Не на твёрдой, привычной земле проходили они, где противники могли не опасаться подвоха, мужественно встречая врага в полный рост, но в стихии обманчивой, враждебной для человека. Тяжёлым грузом сковывала любое движение вода, разверзалась пропастью под ногами, душила, норовя попасть в рот. Она была сетью, в которую воин попадал, словно рыба, она отнимала пространство для боевого маневра, смягчала удары, путала и изматывала. Она сама была в каком-то смысле врагом, третьей независимой силой, сражавшейся против всех во имя одной лишь ей ведомой цели. Не помогала она Тутанакеи, не делала битву легче, но и противникам его она отнюдь не потворствовала. Когда сжимали те свои цепкие руки на горле героя, желая пресечь дыхание юноши, вода была одинаково непримирима к сражавшимся, одинаково была им неудобна, и потому Тутанакеи, сильнейший воин Оялавы, одерживал верх. Он ломал, выкручивал вцепившиеся в него руки и душил сам, безжалостно и самоотверженно. Поистине, мало кто отважился бы взглянуть ему в глаза в этот миг — столько ужасающей ярости было в его искажённом от гнева лице.

Трижды Тутанакеи преграждали дорогу на обратном пути, и трижды сражался он с ненавистным врагом, пока наконец не осталось желающих померяться с юношей силой. Усомнились противники в желании Тане сыграть со своим любимчиком злую шутку, отобрав у него близкий триумф, и в сердцах их пробудилось смятение. Даже воины, что плыли в нескольких метрах от юноши, возвращаясь на берег земли Отахуху, и могли претендовать на успех, при виде того, как легко он одерживал верх над врагами, поддались цепенящему волю сомнению и, сами не сознавая того, прекратили борьбу.

Победитель был очевиден. Выйдя на берег, Тутанакеи ещё не вручив свой трофей верховному тохунгу Афио, не завершив состязания последним актом передачи маны жрецу, высоко поднял яйцо над собой, прокричав: «Брей голову Человек-птица. Я добыл согласие Тане». И толпа на вершине горы, всё это время молча наблюдавшая за поединком, возликовала, чествуя юношу.

Под это приветствие, гармонично слившееся с барабанным ритмом культовых слуг, чемпион поднялся в Оронго. Встав на колени, он протянул тохунгу яйцо, и тот, озарённый лучами вечернего солнца, принял бесценный подарок из рук подопечного, и взошёл на мараэ, сменяя предшественника. Облачившись в ритуальный наряд — плащ из птичьих перьев и деревянную маску фрегата, он воссел на каменный пьедестал и обвёл глазами толпу.

Произнёс Человек-птица:

— О, славные потомки Ру, вожди и тохунги архипелага.

Теперь, когда Тане провозгласил свою волю, выбрав меня земным воплощением духа, для завершения сегодняшнего ритуала остаётся только воздать законные почести воину, добывшему священный трофей. Разумеется, вам известно, что полагается победителю древнего ритуала. Давайте же спросим героя, пока память наша крепка, как зовут семь юных девушек, семь прелестных красавиц, что приметил он взять себе в жёны и, услышав ответ, исполним его желание в точности, как если бы оно исходило из уст самого милосердного.

О, Тутанакеи! К тебе обращаемся мы. Яви нам заветное. Назови имена, что приводят твою отважную душу в волнение и не дают по ночам ей покидать тело для странствий в загробной стране. Назови имена, и пусть они войдут в нас, словно музыка, и заставят нас танцевать, сделают нас счастливыми, — эти прекрасные звуки, исторгнутые любящим сердцем.

Так произнёс Человек-птица.

И ответил Тутанакеи, выйдя вперёд, чтобы все могли его видеть:

— О, милосердный бог Тане, о, мудрые вожди и верховные тохунги двенадцати племён Оялавы, их бесстрашные воины и верные слуги.

Нет в душе моей столько трепетных звуков, чтобы из них получилась долгая музыка, нет семи девичьих призраков, что ходят за мной попятам, не давая покоя. Ибо избранница, ради которой я совершил сегодняшний подвиг, одна и только одно её имя могу я назвать сегодня в Оронго.

Её зовут Хинемоа, и звуки эти я могу повторять целый день. На рассвете имя её прохладно и светло, подёрнуто лёгким туманом. Звучит оно, как далёкое эхо в горах, что резвится вдоль каменных склонов: дерзкое «хи» бежит от капризного «не», а за ними двумя вприпрыжку скачут близняшки «моа», играя в весёлые прятки. Днём свежо и блаженно имя любимой. Как глоток холодной воды оно в жаркий полдень, и порою мне кажется, что, произнося Хинемоа, это имя имён, бесконечно можно наполнить море ручьями, сделав его пресноводным. Ну а ночью имя любимой моей как призыв, как клокочущий ветер, как молния, устремлённая с неба на землю в непреодолимом порыве соединиться. Разрывает грудь мою это имя, такое нежное, трепетное, но вместе с тем заключающее в себе столько страсти, что даже в камнях появилась бы трещина, если б они попытались молча таить в себе три коротеньких слога её сокровенного имени.

Вот как зовут возлюблённую моего сердца. Хинемоа, дочь вождя Тура, таупоу племени Мокоии. Так пусть же теперь ваши ноги танцуют, а сердца полнятся счастьем, ибо нет звуков прекраснее этого имени во всей Оялаве.

Так сказал Тутанакеи, и, когда отзвучали слова влюблённого юноши, Человек-птица не решился нарушить молчание. Молчали и люди в Оронго. Трудно было судить по их лицам, о чём они думают: осуждают героя, завидуют ему или радуются, поощряя сделанный выбор. Ибо даже в этом, в выборе спутницы жизни, не шёл он по избитым путям и дорогам, а проявлял дерзость, требуя таупоу, бросая вызов обычаям, оскорбляя честь жениха, который имелся у каждой такой ритуальной принцессы чуть ли не с самого момента рождения.

Молча взглянул Человек-птица на отца Хинемоа, великого вождя Тура. И молча же устремила на него взгляд толпа, отыскав его в своём многоликом, изменчивом теле, исторгнув из столпотворения лиц и хаоса очертаний постороннюю фигуру матае, и, исторгнув, в тот же час замерла, ожидая решения. Но решение запаздывало. Колебался великий Тура, снова чувствовал себя неуверенно, снова был безусым мальчишкой, впервые вступающим в бой, ибо был опять поставлен пред трудным выбором, которого требовали от него обстоятельства. Да, по обычаю, что довлел над судьбами общества Оялавы, сложившаяся ситуация, хоть и была исключительной, но всё же укладывалась в рамки традиции. Хинемоа необходимо отдать Тутанакеи, так как перечить воле героя нельзя, ведь в нём отныне присутствовала частичка божественной маны, что давало юноше особое, привилегированное положение, с которым должны были считаться даже вожди. Но соответствовала ли воля богов воле этого истосковавшегося по самке юнца, Тура не знал. Потому он и сомневался, не мог принять окончательный выбор, не мог расторгнуть прежнюю договорённость с вождём Кахукурой, которая была для него подобна святыне.

Он не стал бы ручаться за этого хитрого, коварного человека, действия которого, в случае отказа племени Мокоии от данного им обещания, были непредсказуемы и опасны. Последствия этих действий целиком ложились на его, Туры, плечи, какими бы ужасающими они не были, и вождь считал не справедливым то, что, беря на себя такую ответственность, он фактически не имеет права решать.

Так размышлял вождь, так блуждал в тёмном лесу непримиримых сомнений. Наконец, когда молчать дальше было нельзя, он, подняв глаза на тохунга, чуть слышно кивнул, и кивок этот был увиден всеми. Снова возликовала толпа, снова зазвучал властный голос обычая, торжествовавшего очередную победу. Проникаясь возвышенным настроением, люди, как будто погрузились в забытьё, не замечая происходящего. Не замечали они, как забегали по Оронго их слуги, засуетились, готовя праздничный ужин, который им предстояло делить вместе с богом. И, конечно же, не замечал никто в праздничной суете Кахукуры, вид которого в этот момент смог поведать бы людям о многом. Злой, надменный был вид матае. Словно стерпев унижение, смотрел он на мир пылающим чёрным огнём ненавидящим взглядом. Слепым было счастье людей, и потому Кахукура, словно охотник под прикрытием леса, был не виден для глаз торжествующих. Даже Тутанакеи, этот никогда не терявший самообладания юноша, был полностью поглощён радостью, думая только о том, как завтра обнимет свою Хинемоа, и не видел взгляда врага, устремлённого на него двумя острыми копьями. Если бы знал он, как неотрывно смотрит на него Кахукура, как заворожённо следит за его каждым движением, то верно очень бы удивился тому, насколько бесчувственным он оказался к опасности. Бесчувственней прибрежной гальке, которую давишь ногами и она добровольно даёт это сделать, не разбегаясь при виде людей. Увы, Тутанакеи не знал ничего и в этом слепом забвении счастья считал себя недосягаемым для беды. Только Тура, старый вождь Тура, наученный горьким опытом жизни, видел взгляд Кахукуры и читал его, будто звёздное небо.

Сладким было ослепление толпы. До утра длился пир в Оронго, посвящённый новому воплощению бога Тане. И потом, когда на рассвете

осушились последние чаши с кавой, он продолжился в Мокоии, где толпа принялась с прежним задором и ликованием чествовать молодожёнов, отважного Тутанакеи и красавицу Хинемоа, наконец-то обретших друг друга.

Там, в Мокоии ослепление толпы стало даже обманчивей, усыпляющей. Сладостью на губах от вкушаемых яств проявлялось оно. Танцами стройных наложниц вставало перед глазами, как пёстрая пелена заманчивых снов. Музыкой флейт и трещоток, барабанов и звонких ракушек вливалось оно в уши празднующих, заглушая голос рассудка. Но чарующей всех в этом ярком калейдоскопе картин свадебного представления были картины сиявших от счастья жениха и невесты. Приятно было смотреть на Тутанакеи, радость пробуждала в сердцах людей его победоносно лучившаяся улыбка на всегда строгом, мужественном лице воина. Приятно было смотреть и на Хинемоа. Не с редким цветком, распустившимся в пору весны, можно было сравнить красоту счастливой невесты. Не с морем, прекрасной Моаной, покрытой узором солнечных бликов, и не с тропическим лесом, поражающим глаз буйством вечнозелёной растительности. Хинемоа была этим всем одновременно и даже больше того. Она была похожа на небо, и солнце, и росу на траве, на всё то, что вечно тревожит человеческое естество, изумляя и радуя зрелищем своего великолепия. Она была сосредоточием земной красоты, и гости смотрели на неё, не отрываясь, теряя всякую бдительность.

Лишь Тура видел взгляд Кахукуры, которым тот буквально испепелял Тутанакеи, и не поддавался всеобщему забытью. Посреди пьянящего ликования толпы он оставался трезвым и осмотрительным. Не беда, что снова и снова младшая сестра Хинемоа, вступившая в должность таупоу племени Мокоии, подносила ему чаши с дурманящей кавой. Сегодня этот напиток не мог усыпить его мысли. Внимательно наблюдал вождь за Кахукурой, все более убеждаясь в недобрых замыслах гостя. Как посторонний бродил он меж празднующих, подобно ночному духу, забредшему в деревню людей по ошибке, чужой их веселью и радости. Не прикасался он к пище и каве, отвергал развлечения, и когда Тура в знак примирения предложил ему одну из своих самых умелых наложниц, он отказался, скорчив гримасу брезгливости, словно ему предложили разделить ложе с дикой свиньёй. Разве ведёт себя так мирный гость? Разве так благодарит он хозяев за гостеприимство? Да и был ли Кахукура, в самом деле, ещё его гостем? Не был ли он шпионом, тайным врагом в любой момент готовым вонзить в спину нож?

Так спрашивал себя мудрый Тура, и когда вождь Уикато, не сказав никому не единого слова, самым первым из именитых гостей покинул весёлую свадьбу, незаметно скрывшись в лесу, матае воспринял это сигналом для действий. Не теряя времени даром, он разыскал военачальника армии, крепкого великана Макао, и приказал втайне собрать отряд лучших воинов, засесть с ними в засаде неподалёку от поселения. Оставшимся же в Мокоии солдатам надлежало быть начеку, в любую минуту готовыми к бою. При этом со стороны всё должно было выглядеть, как ни в чём не бывало, чтобы никто не смог догадаться о подготовке к сражению. Знал Тура, каким хитрым стратегом был Кахукура, знал, как много у него друзей и союзников, в том числе среди отмечающих свадьбу, и потому действовал осторожно, боясь выдать противнику собственный план.

Макао сделал всё в точности, как велел Тура. Опытный воин понимал вождя с полуслова. Незаметно покинул он празднующих, незаметно собрал отряд лучших воинов и тихо скрылся во тьме. А свадьба тем временем шла своим чередом.

Лишь на рассвете именитые гости стали покидать праздник, а жители Мокоии расходиться по хижинам. В полдень предстояло им пышной процессией вести Хинемоа в дом Тутанакеи, неся подарки родственникам жениха, и перед этим важным событием не помешало бы выспаться. Один за другим исчезали они в уютных фаре. Старики, обременённые выпивкой и усталостью, засыпали прямо на улице, в тени пальм и шелковицы, а безусые юноши скрывались в лесу, условившись ночью о свидании с милыми. Только несколько подгулявших компаний сидели возле потухших костров, горланя рыбацкие песни, в которых они прославляли отвагу и молодость и свои лодки, отважно скользившие по водам капризной Моаны. У каждой из лодок в песнях были собственные имена, даже у каждого паруса и черпака имелось благозвучное прозвище, которые рыбаки помнили наизусть. Они пели о лодках, как о живых существах, любовно и уважительно. Дрожали их голоса, повествуя ушедшее, чуть слышно хрипели они, как снасти состарившихся на промысле кораблей, и по старческим, впалым щекам рыбаков скользили солёные слёзы. Не было дела им до завтрашних хлопот. «Как-нибудь разберутся без нас, разве мало мы потрудились на благо сородичей»,—рассудили они и потому не спешили идти по домам, желая, быть может, последние дни своей жизни провести в песнях, которыми так же, как и любовью, невозможно насытиться досыта.

Пели они, прикрыв глаза веками, и в открывшейся им темноте, словно звёзды, сияли видения прошлого. Не видели они, созерцавшие истины, преходящих картин внешнего мира, и потому, когда из зарослей окружавших деревню джунглей вылетело брошенное кем-то невидимым боевое копьё и с нарастающим свистом вонзилось в грудь их товарища, не сразу прервали они грустной песни. Всё ещё пели они о Моане, а несчастный,

схватившись руками за древко оружия, медленно валился на бок. Лишь когда вслед за первым копьём пролетело второе и третье и ещё два старика упали на землю, песня прервалась и открылись глаза рыбаков, увидев ужасное. Из леса прямо на них бежал отряд воинов, разукрашенных в боевую раскраску, и глаза их светились безжалостным блеском. Вскрикнули старики, чтобы предупредить соплеменников, но крик этот тотчас умолк, захлебнувшись в собственной крови.

Метки были воины Кахукуры, не в их планах было драться в честном бою, где фортуна подчас слишком изменчива, но хотели застать они жителей Мокоии врасплох, перебив их, как спящих младенцев.

Однако напрасно надеялись они на лёгкий триумф. В тот же миг навстречу воинам Кахукуры из хижин деревни выбежали солдаты Туры, бодрые и готовые к бою. Увидели они, что случилось с их соплеменниками, и злость опалила сердца их и горькая скорбь сделала равнодушными к смерти. Увы, не могли они подобно богу, вдохнуть жизнь в убитых, и мщение, этот священный акт воскрешения попранной справедливости, был единственным средством воздать должное умершим. И воины хотели исполнить свой долг до конца. Вооружённые топорами и копьями встретились они с врагом на поляне, где лежали тела стариков, и ужасно было это соприкосновение неприятельских армий. Десятком искалеченных, пронзённых навылет, растерзанных тел завершился первый взаимный удар. Раненые истекали кровью, вопя от боли и шока, извиваясь на земле, словно черви, а живым всё было мало. Снова и снова бросались они друг на друга, желая уничтожить противника, и не было предела их злобы. С влажным, противным шлепком погружались каменные топоры в плоть людей, точно рты хищников, разрывающих мясо, и превращали живые создания в мёртвые да с таким остервенением, с таким отчаянным энтузиазмом, что в любом другом деле подобная рьяность была б неуместной.

В самом деле, из всех великих искусств только искусство войны куётся в запале и ненависти, и творения его не терпят долгих мук творчества, рождаясь в непрестанном движение. Кровь — это краска войны, топоры его кисти, а смертоносные взмахи оружия — непосредственный творческий акт вдохновенного гения, который, промедли лишь на секунду, не достигнет высшего совершенства. И, пожалуй, из всех известных людям искусств война была самым тяжёлым. Не только душу художника-воина оно требовало, а всю его жизнь без остатка, которая тоже являлась пусть необходимым, но лишь одним из многих составных элементов творения, его жалким, слепым инструментом. Только впитав, вобрав в себя жизни создателей, произведение войны могло стать законченным, а форма его идеальной. Не для людей ковалось это творение бессмертного духа и смертной плоти, не для человеческих глаз предназначалась его леденящая кровь красота, ведь в конечном счёте вряд ли найдётся хоть один человек, способный взирать на итоги войны с наслаждением. Для бога Ту создавались шедевры ужасного ремесла, он был покровителем всякой войны и, взирая с девятого неба на битву опьянённых злобой людей, проникался кровожадным восторгом. Только его жестокому взору была открыта чудовищная гармония переплетённых между собой окровавленных тел, будто отдавшихся бесстыдной оргии смерти, побуждающей силой которой была не похоть, но запредельный покой.

Тут и там лежали отрубленные руки и ноги, неподалёку от них, взывая к воссоединению, валялись головы с открытыми ртами и раскромсанные до безобразия тулова. Они валялись в беспорядке и асимметрии, но бог Ту видел в этом нагромождении трепыхающихся, пульсирующих брызгами ещё тёплой крови останков недоступную людям идею, которую можно было лишь чувствовать, но не передать.

И если ты хотел выжить в этом великом хаосе битвы, если хотел быть художником, не став при этом жертвой творения, ты должен был во всём подчиняться желаниям бога войны, удар за ударом, одно убийство за следующим приближаясь к недоступному совершенству. Ты должен был стать любимым резцом божества, дабы тебя не постигла участь всех тех, чьи тела послужили материалом. Каждый знал эту истину и каждый в рядах враждующих армий следовал ей неотступно. Вот откуда бралось остервенение, тот отчаянный энтузиазм, столь удивительный в безумном деле убийства, служащем одному разрушению. Вот почему снова и снова мелькали каменные топоры, разрубая беззащитную перед страшным натиском плоть.

И среди этой ужасающей пляски первобытных инстинктов, между сотней воинов, служивших кровожадному богу верой и правдой, Тутанакеи опять был самым отважным, самым преданным ратному искусству солдатом. Всю ночь юноша был начеку, продолжая выполнять роль счастливого жениха, и теперь находился на поле боя. Никак не мог вырваться он из проклятого круговорота человеческой злости, с зловещим постоянством вовлекавшего его в заколдованный вихрь. Чтобы добиться счастья, необходимо было сражаться. Сражаться всю жизнь с детства до старости, как делали это соплеменники Тутанакеи, как делал это он сам, готовясь к состязанию в Оронго. Нужно было отстаивать место под солнцем, отвоёвывать его пядь за пядью, не зная покоя и устали. Побеждать каждый день и, победив, потом защищать добытое счастье: защищать жену и детей, свою хижину, племя и жизнь, и так до самой смерти.

Ради счастья, каким бы оно не оказалось, сражался Тутанакеи с воинами Кахукуры. Каждый взмах его топора нёс кому-нибудь гибель или увечье, пополняя картину ристалища новыми красками и устрашающими дух деталями. Быстры были атаки героя. Не шли они кружными путями, трусливо избегая прямых, разящих ударов, но бросались кратчайшим путем, точно вепрь через заросли, повергая противников в страх. Невероятны по красоте были атаки юноши. Если противник его был нетерпелив и горяч и бросался на Тутанакеи всей грудью, желая сразить одним-единственным мощным ударом, он кидался вперёд, встречая нацеленный на него страшный топор своим топором. В этом броске, в этом движении в один миг высвобождалось столько кипучей энергии, что Тутанакеи выбивал топор из рук врага и следующим взмахом оружия повергал того наземь, отрубив ему голову, распоров брюхо. Если противник, напротив, был осторожен и начеку, атакуя внезапными, резкими выпадами, после которых в тот же момент возвращался обратно, не давая шанса ответной атаке, Тутанакеи действовал так же, только стремительней и точнее. Опережая вражьи удары молниеносными вылазками, он окроплял свой топор свежей кровью, почти не зная промашек. Так он и бился в самой гуще сражения, прорубаясь сквозь строй потных тел, и не было на теле его ни единой царапины, ни одной маленькой ранки, словно весь он был соткан из воздуха, словно он был самой смертью, пришедшей на землю собрать свою скорбную жатву.

Много воинов Кахукуры полегло от рук юноши, многие были им ранены и покалечены, но на место выбывших вставали другие солдаты, и, казалось, конца им не будет.

Постепенно отряд Мокоии стал отступать в глубь деревни. Уставшие, обескровленные солдаты Туры не могли сдержать натиска превосходящего по численности врага, и даже Тутанакеи, стоящий десяти отборных воинов, не мог изменить ход сражения. Но отступление ещё не означало разгрома. Между домами в тесных заросших кустарником улочках, армия Туры получила неожиданное преимущество. Здесь численный перевес не имел большого значения. Заключённый в тесном пространстве, бой принял равный характер. Нелёгок был этот бой для воинов Мокоии. Под плач детей и визг жён проходил он в огне и дыме пылающих хижин на осквернённой врагом родимой земле. Обливалось сердце слезами, глядя на то, как противник вторгается в их деревню, уничтожая всё, до чего только касалась рука. Схваченных женщин, выгнанных из общественной хижины, он тут же закалывал копьями, детей бросал в горящие фаре и устремлялся впопыхах дальше, заполоняя собой новые улицы. Нелегко было смотреть на всё это, но иначе было нельзя. Свой хитрый замысел имел вождь Тура. Прекрасно осознавая, что его воинам не справиться в отрытом бою с вражеским войском, он решил заманить противника в глубь села и, устроив ему там западню, напасть из засады отрядом Макао. Так спланировал вождь и теперь шаг за шагом осуществлял свой маневр, пытаясь не поддаваться терзавшему горю. Знал он, лишь так можно выиграть войну, знал он, что жертв избежать невозможно, знал он и то, что, препоручив жён и детей под защиту соседних племён, можно было предать их ещё большей опасности, но знание это не несло утешения. Как морская вода, было знание Туры, сколько не выпей её — она не избавит от жажды, и потому ему приходилось лишь стойко терпеть свою боль, наблюдая своевластие противника.

Тем временем армия Кахукуры полностью вышла из леса. Всё новые силы требовала эта битва, всё новых солдат вовлекала она в чудовищную мясорубку, и противник щедро бросал их в борьбу, желая закончить сражение как можно быстрее. Теперь ничто не мешало Туре исполнить свой план. Враг был заманён в деревню, где увяз, словно в топкой трясине, связанный по рукам и ногам. Ему не хватало простора использовать численное преимущество, не хватало места маневрам. Как великан, ступивший в дом человека, всё время сутулится и не может распрямиться в полный свой рост, так и армия Кахукуры, вошедшая в Мокоии, не могла атаковать во всю силу. Удача первого натиска сменилась безуспешностью уличной драки, которую нельзя было ни победить, ни оставить, отступив снова в чащу. В этот момент, обговорённый заранее с Макао, и появился из леса отряд лучших воинов племени. Крича и улюлюкая, они набросились на изумлённых людей Кахукуры, захлопнув ловушку. Свежие, ещё не участвовавшие в сражение воины тотчас потеснили врага, прорубая кровавые бреши в его плотном строю. И враг ужаснулся от этой атаки. Слишком долго отряд Макао находился в бездействии, слишком велика была ненависть его воинов, разожжённая картиной бесчинств Кахукуры. Теперь эта ненависть тысячекратно умножала боевой дух подоспевших солдат, делая их непобедимыми.

Сколь беспомощны казались сейчас недавние победители, насколько жалкими выглядели их попытки отбиться на фоне сминающего всё и вся яростного натиска Макао. Однако исход сражения предрешали не только действия его сил, но и мощный удар воспарявших духом солдат, защищавших деревню. Увидев подмогу, они поспешили навстречу союзникам, прокладывая себе путь прямо сквозь неприятельский стан. Не то что сражаться и побеждать, но просто защитить жизнь воины Кахукуры теперь были не в силах. Словно дети, никогда не державшие боевых топоров, они махали ими по сторонам, без разбора, не зная,

откуда нападёт на них враг. Смерть была всюду. Бесшумной тенью подкрадывалась она со спины, таилась в зарослях и стенах фаре, следя оттуда за каждым движением жертвы, как хищник. Она поджидала людей за углом, за очередным поворотом извилистой улицы, карабкалась на деревья и пряталась там, в пышных кронах, в любую секунду готовая спрыгнуть. Наконец смерть была впереди, она нападала отважно и слепо, срывая жизни, словно цветы. От такого количества мнимых и настоящих опасностей, число которых постоянно росло, множилось с каждым посторонним звуком и шорохом, с каждым неуловимым движением ветки, с каждым промельком тени, у воинов Кахукуры кругом шла голова. Хотелось скрыться, сбежать, но бежать было некуда, всюду царила многорукая смерть, и потому они лишь махали оружием в надежде её отпугнуть, как если бы она была надоедливой мухой. Отпугнуть, заставить уйти, пусть не насовсем,—об этом, конечно же, не могло быть и речи,—но хотя бы на пару мгновений, ещё на несколько вдохов сладкого, напоенного фруктовыми ароматами, воздуха, вся непередаваемая прелесть которого почему-то ощущалась только теперь, перед самым последним моментом, концом земной жизни.

Только самые храбрые не теряли самообладания. Но их было мало, и они не могли сыграть большой роли в сражении. Силы их убывали стремительно, и нечем было восполнить эту потерю. С каждым взмахом руки, с каждым стремительным выпадом на обступивших со всех сторон вражеских воинов их тяжёлые топоры становились всё тяжелее, а движения медленней и предсказуемей. Всё ближе подступали к ним воины Мокоии, предчувствуя близкий конец, всё сильнее тревожили одиноких героев своими ударами, делались всё назойливей и неотступней. И постепенно оружие в руках храбрецов теряло устрашающее волшебство, смертоносную магию, превращаясь в пусть и хитроумное, но всего лишь безобидное в обессилевших членах сплетение камня и дерева, чуждое своему предназначению. Теперь уже никто не опасался этих твёрдых духом и телом людей и нападал без колебаний, закалывая их, разрубая на части, пачкаясь вражеской кровью и осклизлыми внутренностями.

Через двадцать минут всё было кончено. Никому из армии Кахукуры не удалось выжить, ни один из них не сбежал. Даже те, кого смерть пощадила, коснувшись лишь вскользь, те кто, будучи раненным, сохранил в теле слабую жизнь, даже они не смогли избежать общей участи. Разделавшись с последними, стоявшими на ногах воинами Уикато, победители спешно добивали поверженных, и никакие мольбы не в силах были их остановить, смягчить загрубевшие в жестоком сражении сердца. «Победа будет неполной, если хоть один враг уцелеет»,—считали солдаты Туры и, расправляясь с истекавшими кровью захватчиками, они забывали тушить горящие хижины, помогать раненым братьям, отцам, племянникам, утешать испуганных жён и детей. Была бы их воля, они бы прямо сейчас двинулись на селение врага, охваченные истерией войны и полыхавшим в них духом мщения. Они бы вырезали до последнего человека, до последней свиньи и собаки всё это ненавистное племя, казнили б вождя Кахукуру, трусливо передавшего управление армией военачальнику и таким образом избежавшего смерти. Только проделав все это, только тогда, но не раньше, воины Мокоии почувствовали бы себя победителями и, устроив торжественный пир, запели бы героический гимн своим подвигам, слагая очередную легенду.

Лишь Тутанакеи был равнодушен к этой расправе. Впервые за долгие годы бесстрашия его душа была охвачена беспокойством. Взволнованной птицей кружил он по улицам Мокоии, желая найти Хинемоа, но её нигде не было. «Хинемоа,— кричал он.—Ответь мне, любимая!» Но слышал стоны растерзанных воинов и не смолкавший гул разъярённого пламени.

Иногда девушка будто возникала из воздуха, как лесной дух, рождённая игрой светом и тени, и Тутанакеи бежал за миражом, пока тот не рассеивался, оставляя героя ни с чем. Она вселялась в тела других женщин, на мгновение делая их похожими на себя, и юноша устремлялся за ними, и сердце его учащённо билось от счастья. Но, приближаясь к любимой вплотную, он понимал, что ошибся, и снова пускался на поиски, и поиск этот был похож на блуждание по стране призраков. Сколько раз обманывался он таким образом, сколько раз поддавался иллюзиям, не сосчитать. Казалось, ни одна душа не смогла бы выдержать этой пытки надеждой. И тем не менее юноша не бросал своих тщетных попыток. Он искал Хинемоа не только среди живых, но и среди мёртвых, в которых тоже порой воплощалась супруга, замирая в противоестественных позах покойников, приводя своим видом любимого в ужас.

Наконец, когда он обыскал всю деревню, заглянул в каждую хижину, вгляделся в лицо каждого трупа, каждой повстречавшейся незнакомки, Тутанакеи увидел свою Хинемоа. Она лежала чуть в стороне от деревни, возле узкой тропинки, скрытая высокой травой и кустарником. На этот раз сомнений быть не могло. То была его Хинемоа. Он узнал это по образовавшейся в груди пустоте, в которой не было больше ни надежды, ни смятения, ни страха, а лишь зловещая тишина ничем незамутнённого знания. Какой-то внутренний голос, запредельное чувство сообщило ему всю горькую правду, рассеяв иллюзии.

Даже в смерти Хинемоа была неотразима. Словно живая, лежала она, прислонившись к стволу хлебного дерева, будто спасаясь в тени от жаркого полдня, но её грудь, пронзённая навылет копьём, придавала этой безмятежной картине ужасающий смысл. То была явственная примета смерти, говорившая о том, что девушки более нет в нашем мире и что счастье Тутанакеи вновь прошло мимо. Теперь уже навсегда.

Не было в Мокоии такой хижины, в которую бы не заглянула беда. Каждый кого-то лишился, каждому предстояло совершить траурные обряды по близким, каждый имел на сердце невыносимую боль, но при виде страданий Тутанакеи все люди смолкли, обступив героя скорбной толпой. Перед этим великим горем собственные несчастья показались им далёкими и неважными, случившимися с кем-то другим. Скорбь же влюблённого юноши воспринялась людьми как личная драма, и не нашлось человека во всём племени, который бы не оплакал красавицы Хинемоа, так и не успевшей насладиться сполна своей новой ролью жены.

Юноша сделал шаг навстречу мёртвой супруге, и ноги его тот же час подкосились, отказавшись идти. Слёзы побежали по его смуглым щекам, но он не пытался их остановить. Не стыдился он своей слабости перед людьми. Весь мир утратил для него смысл в тот самый момент, как душа Хинемоа пустилась в безбрежное море, совершая последний путь на Гавайки. Тщетно пытался отговорить он любимую от этой дальней дороги, тщетно пытался её оживить словами и уговорами, тщетно вдыхал в застывшие лёгкие воздух. Глаза Хинемоа, те самые глаза, что когда-то порхали как бабочки, призывая к любовному таинству, не открывались, и грудь оставалась недвижимой, безучастной дыханию жизни. Видимо, необоримым было очарование смерти, сладким был дурманящий плен, раз любовь Тутанакеи не могла пробудить девушки ото сна.

Долго рыдал Тутанакеи над телом жены. И тогда люди, не в силах более наблюдать страданий героя, забрали у него Хинемоа, чтобы, омыв её тело, отправить на лодке в Гавайки, вслед за ушедшей душой. И хоть горько им было творить это насилие, как бы завершавшее безжалостный замысел смерти, иначе они поступить не могли. Мёртвые требовали к себе уважения. И кто мог пойти против них, кто мог противиться зову прародины, властно взывавшей покойников встать на золотую тропу заходящего солнца.

Сорок семь погребальных судов выставили на берегу следующим утром жители Мокоии, сорок семь кораблей, когда-то ходивших на рыбный промысел, теперь должны были доставить тела своих мёртвых хозяев в Гавайки. Медленно приближалось к ним скорбное шествие. Сперва послышались плачи и стоны вдов, вопли детей, впервые узревших безобразный лик смерти. Потом из зарослей джунглей показались жрецы, возглавлявшие процессию. Наконец, из леса один за другим стали выходить родственники погибших. С обритыми головами, с телами покрытыми пеплом и ссадинами, оставшимися после ударов плетьми, которыми они терзали свою бедную плоть, соблюдая траур по близким, люди походили на мертвецов, что поднялись на ноги, чтобы самим прийти на берег Моаны. В эти последние мгновения пребывания умерших на острове живые хотели быть солидарны с покойниками. И это им почти удавалось. Каждый чувствовал свою душу на рубеже, за пределом тонкой действительности мироздания и, неся на пологах трупы любимых, непрестанно вёл с ними беседы, желая наговориться на долгие годы разлуки, на долгие годы безрадостного ожидания новой встречи в раю.

Вступив на берег, процессия растянулась вдоль кромки моря. Осторожно погрузили люди страшные ноши на лодки, и лодки чуть заметно просели в воде, приняв скорбный груз. Родственники склонились над погребальными суднами, царапая лица и руки, и жрецы заголосили траурные песнопения.

Тутанакеи, одурманенный горем и бессонною ночью, едва понимал, где находится. Хинемоа теперь и вовсе была совсем как живая. Дух тленья ещё не коснулся её прекрасного тела. Казалось, девушка просто спит и вот-вот должна улыбнуться. Только неживой холод, исходивший от её сомкнутых губ, которые юноша поцеловал на прощание, говорил о том, что она умерла и никогда не очнётся. Никто не мешал Тутанакеи быть наедине с милой. Отец Хинемоа — вождь Тура, её тётки и бабушки, стояли у юноши за спиной, смирившись перед лицом горя с запретной любовью принцессы, и скорбно смотрели на тело погибшей, не оспаривая священного права супруга сидеть возле гроба жены.

Неизвестно, как долго длилось прощание влюблённых. Наконец, Тутанакеи поднялся, отпрянув от Хинемоа с исказившимся от боли лицом и первым толкнул её лодку в море, дав сигнал остальным. Тотчас люди последовали его примеру. Один за другим корабли отставали от берега, устремляясь на запад, к Гавайки, и несчастные родственники жадно смотрели им вслед и не могли наглядеться.

Но вдруг устремлённые к горизонту глаза их заметили постороннее судно. Сначала оно был величиною с зёрнышко ямса, едва различимо видневшееся вдалеке, так что многие приняли его за погребальную лодку, вырвавшуюся вперёд остальных. Однако вскоре всем стало ясно, судно не удалялось от берега, а приближалось, и приближалось с невероятною скоростью, увеличиваясь в размерах с каждой секундой. Вот оно величиной с ноготь, а всего лишь пару минут спустя уже можно было легко различить фигурки белых существ,

то ли призраков, то ли людей, снующих по судну взад и вперёд. Поравнявшись с похоронной процессией, чужестранный корабль направился дальше, к земле, и был в каких-нибудь двух сотнях метрах от суши. Высотой с пальму, а длиной с деревенскую улицу, он был настоящим плавучим островом, огромным утёсом, легко и играючи скользящим по волнам. Никто из жителей Оялавы прежде не видел подобного. В движение корабль приводил не один и даже не два паруса, а десять надутых ветром широких полотен, закреплённых на четырёх крестообразных мачтах, возвышавшихся над дощатой палубой огромной махиной. Несмотря на свою исполинскую величину, всё в этом судне было проникнуто высшей гармонией, начиная изящной кармою с вырезанным на носу изображением улыбающейся обнажённой женщины, плывущей навстречу волнам, и кончая изогнутым полумесяцем якорем, который команда сказочного корабля бросила в воду, приблизившись к берегу на сто метров.

Зрелище было невероятным. Жители Мокоии, в первый момент при виде незнакомого судна бросившиеся в чащу леса, теперь так и застыли на месте, наблюдая из зарослей за большой лодкой. На мгновение они даже забыли о горе, приведшем их в это утро на побережье. Каждый пытался осмыслить увиденное. Неужели духи предков приплыли к ним с легендарной прародины, дабы воссоединиться с живыми. Или, может быть, сами боги почтили их своим долгожданным визитом, явившись в странном обличии белокожих людей. Но что означало их появление? Было ли оно предвестием счастья, или, напротив, сулило новые беды? Никто не знал наверняка. Даже жрецы лишились дара пророчества и наблюдали за открывшимся зрелищем с изумлением. Ни в одной легенде, ни в одном предсказании не было упоминаний о белых людях, приплывших с запада на большой лодке, и тем более не содержалось там сведений, что несёт собою их появление. Только одно не вызывало сомнений: событие это обещало неслыханные перемены. И потому каждый, сознавая в душе грандиозность случившегося, трепетал от смешения чувств любопытства, страха и благоговения, не зная, что лучше — упасть на колени, зайдясь в благодарной молитве, или вступить с незнакомцами в бой.

Тем временем с корабля спустили небольшое судёнышко. Оно быстро приближалось к земле, подгоняемое ударами вёсел команды, разодетой в пёстрые одеяния белого, синего и зелёного цветов. В руках у людей были какие-то палки непонятного назначения, то ли копья, то ли ножи, блестевшие на солнце тусклым, холодным сиянием.

Вскоре чужеземная лодка причалила к берегу.

ДиН ревю

Татьяна Некрасова
Трудовая книжка
Кишинёв, 2016

сообщники

ну, здравствуй, тёплый кишинёвский снег!
тебе со мной к закату не краснеть,
недолговечный, тихий, долгожданный,
едва ли ты касаешься земли —
моё существование продли
небесной манной —

и город-призрак выступит из тьмы
скелетом отступающей зимы
и мутным, беспощадным лунным оком
перемигнётся весело со мной
и распахнёт внезапно в мир иной
зеницы окон.

одновременно

там луна лежит на другом боку
между звёздных булавок в ночном шелку
золотое лезвие тонкий шов
между завтра и хорошо

поддеваешь нитку и вот рассвет
там такое же солнце как тут в листве
как светляк в траве и луна над ним
на другом боку в эти дни

Эльдар Ахадов

Вращение Земли

Синица

Стала часто ночами мне сниться
На просторах высоких широт
Желтогрудое чудо—синица,
Та, что здесь отродясь не живёт.
Да и днём так бывает порою
Слышу вдруг, как вчера, например,
Только форточку в доме открою:
«Пинь-пинь-пинь, зинь-зивер, зинь-зивер».
В синей кепочке шустрая птаха,
Не твоим ли упорством рождён
Мир, похожий на музыку Баха
С небесами из гулких времён?

Душу твою…

Душу твою вынули напоказ.
Душу твою вынесли на мороз.
Лоно её вспорото, как матрас…
Это пройдёт. Только не надо слёз.
Руки твои—в грязных чужих следах.
Только не плачь… Это не твой позор.
Видишь: плывёт озеро в облаках?
Нет ничего чище таких озёр…

Счастливые дожди

Постой говорить! Обожди!
Ты только послушай, послушай!
Лохматятся тучи. Дожди—
Счастливые—скачут по лужам!
Блестят над лесной полосой,
Гоняются дружка за дружкой.
Вот дождик от ветра косой
В болото нырнул за лягушкой.
А этот—смешон и нелеп,
Направо спешит и налево:
От счастья настолько ослеп,
Что сыплется с чистого неба!
Вдруг так защемило в груди,
Что слёзы глотаю скупые:
Счастливые эти дожди—
Косые дожди и слепые…

Вращение Земли

Я чувствую вращение Земли,
Когда гляжу, прижавшись к ней спиною,
На небо совершенно неземное
И облаков текущих ковыли…
Перемещенья запахов и звёзд,
И пляски вьюг, и цапель танец брачный—
Живёт во мне, как будто я прозрачный,
Всё, без чего и мне бы не жилось…
Как будто продолжаясь вниз и вверх,
Я стал и тьмой, и светом, и покоем,
И, растворяясь в небе колокольном,
Живу во всём, со всеми, ради всех.

Раннее утро

Проснулся рано. Было пять утра.
Дремала даль в туманной тишине.
Всему-всему я пожелал добра,
Молясь о том с собой наедине…
Казалось мне, что я совсем один,
Что мир оглох, что это—навсегда,
Что нет ни гор, ни ветра, ни стремнин,
А все слова уходят в никуда.
Но в тот же миг откликнулись ветра,
Взошла заря на огненной волне…
И всё вокруг желало мне добра,
И всё вокруг молилось обо мне.

Стена дождя

Сюда нельзя! Задумайся, входя!
Остановись! Назад уже не выйти!..
Дрожит стена упругого дождя
На горизонте будущих событий.
Но лишь рукой её пересеки,
Биенье влаги ощутив на коже,
И ты поймёшь, что нет твоей руки,
И нет тебя, и мира нет, похоже…
И ты уже остался за стеной,
А здесь исчез, как исчезают пятна…
Там всё иное, там и ты—иной,
Всё хорошо… Но нет пути обратно.

Мой корабль уходит в никуда

Мой корабль уходит в никуда
Вслед за облаками-ветрогонами.
На воде колышется звезда,
Просит зачерпнуть её ладонями.
Но скользит, обозначая путь,
По волнам кочующая странница,
И никак её не зачерпнуть…
Я исчезну. А она останется.

Повсюду плещется тишина…

Повсюду плещется тишина.
Грядут песчаные времена.
Туда, откуда они грядут,
Следы обратные не ведут.
А там, где все времена прошли,—
Восходит небо из-под земли…

Что известно нам о человеке?

Что известно нам о человеке?
Меньше, чем о листьях на ветру.
Если я родился в прошлом веке,
Значит, в этом веке я умру.
И когда придёт пора прощаться
Навсегда с другими и с собой,
Вспомню о трепещущих от счастья
Листьях над равниной голубой.

У каждой реки…

У каждой реки свой плеск.
У каждой души свой дождь.
Ты веришь не в то, что есть,
А в то, чего вечно ждёшь.
Ты в гору, а там—овраг,
Ты замуж, а там—гарем.
И каждый твой раз не так,
И каждый твой шаг не к тем.
А рядом играют гимн
И ставят вопрос ребром…
У каждой трубы свой дым.
У каждой судьбы свой дом.

Мир соткан из небытия…

Мир соткан из небытия,
В котором есть и ты, и я,
И то, чего на свете нет
И не случится в бездне лет.
И жизнь ведёт стезю свою
К бессмертному небытию,
Где ты живёшь, и я живу,
Отсутствуя по существу.

Огонь и вода

И если я—вода, то пусть вода течёт
Отсюда и туда, куда её влечёт
Рыбацкое весло, наклон земной оси…
Того, что истекло, вернуться не проси.
И если ты—огонь, то пусть огонь горит.
Смотри, как сквозь ладонь он с ветром говорит,
Что даже без меня со мною ты везде,
Как отблески огня в невидимой воде.

В городе, построенном на песке…

В городе, построенном на песке,
В каждом взгляде—кассовый аппарат,
Каждый гость—в немилости и тоске,
Но зато работает зиккурат.
Каждый день—бессмысленная война,
Каждый час—отчаянные бои.
Всё кучней на кладбищах имена,
Да никто не видит, что все—свои…
В городе, построенном на песке,
Всё игривей пламени языки…
Словно тени, движутся вдалеке
Чьи-то дети, жёны и старики.
Ни свечей, ни плачущих больше нет.
Вряд ли кто останется поутру…
Лишь по небу стелется звёздный свет,
Тихий свет, негаснущий на ветру…

Земля

За всем, что происходит между нами,
За каждым днём детей и стариков
Следит земля под нашими ногами—
Опухшими глазами родников.
Что б ни случилось—радость или горе,
Глядят на дел людских водоворот
Её глаза—лазурные, как море,
И карие, как омуты болот…
Текут позёмок призрачные реки
Смыкая веки стылые озёр…
Но даже подо льдом о человеке
Молиться продолжает этот взор.

А человек не умирает…

А человек не умирает:
Он просто дремлет не дыша,
Горит, горит и не сгорает
Его бессмертная душа.
Она летит из бездны света—
Над твердью гор и зыбью вод…
И только эхо плачет где-то,
Пересекая небосвод…

Никита Брагин

Толкование печалей

* * *

Бога нет — они твердили раз за разом,
повторяя, словно впавшие в маразм,
догматически-занудный аргумент —
что повсюду торжествует злобный охлос,
и к желаньям безразличен мёртвый космос —
на звонки не отвечает абонент…

Но на деле эти факты означают
опоздание — и к утреннему чаю,
и к обеду, и на полдничный десерт, —
остаются только Рим и Палестина,
да великое терпенье господина,
пригласившего на праздничный концерт.

И неважно, что придёте лишь к финалу —
никому не будет пресно, или мало —
и последнего Он примет как царя.
Если спросите, откуда это знаю,
я отвечу — скоротечна ночь земная,
и с востока приближается заря.

* * *

Из синей проталины неба
над храмом Бориса и Глеба
Ты смотришь на наши дела,
на битые карты и туши,
и наши пропащие души,
оструганные догола.

И как же в такой безнадёге
на грязной кандальной дороге
Ты видишь и липы, и мёд,
и губ сочетаемых нежность,
и детского взгляда надежду,
и всё, что прильнёт и поймёт?

Я буду слепым и оглохшим,
но дай мне слезы Твоей ковшик —
прозрею, услышу, спою,
коснусь облаков куполами,
узнаю сквозь камень и пламя
воздушную ризу Твою.

* * *

И Грозный был, и был Тишайший,
и тополевый пух легчайший
по всем Черёмушкам летал,
подковы цокали в булыжник,
и вырастал раскладкой книжной
пятиэтажечный квартал.

Всё было вместе — пласт морены
в дорожной выемке, сирены
штурмующих проспект машин,
капуста и пучки укропа
у магазина «Изотопы»,
диагональ и крепдешин.

Дым бересты и «беломора»,
шум ругани и разговоры
о космосе и Корбюзье, —
Москва пестра и эклектична,
здесь всё по-своему прилично,
но цель, конечно, в колбасе…

О правда жизни! Ты прекрасна,
когда за далью безопасной
припоминаешь пафос твой, —
ночные записные бденья,
товарные столпотворенья,
уют, похожий на постой.

И только книги, книги, книги,
слепой души моей вериги,
всем дефицитам дефицит!
Собранья, серии, журналы —
шкафов и полок не хватало,
был век на прозу даровит.

И ныне, как студент в раскопе,
дивлюсь России и Европе,
их артефакты вороша —
тома лежат культурным слоем,
и шрифт чернеет в них золою,
и кладка слова хороша.

• • •

Ты можешь толковать мои печали,
исчислить их века, глубины, дали,
нащупать пульс и угадать исток?
Умеешь ли расслышать эти струны,
успеешь ли запомнить эти руны,
пока волна не сгладила песок?

Ты можешь сдвинуть графики и сроки,
перенаправить на лету потоки,
поставить пирамиду на ребро?
Ты возродишь огонь из хлопьев сажи,
и в мегафон честнóму миру скажешь
о смысле выражения «добро»?

Ты знаешь, кто слова наполнил смыслом,
и ритмы сердца переплавил в числа,
и в числах тех гармонию узнал?
Сумеешь ли пройти дороги эти,
найдёшь ли для единственной на свете
тот анемон, ту яшму, тот коралл?

А если так, то сможешь ли запомнить
усталость рук, и тяжесть чаши полной,
и горечь правды в крепости вина,
и муки неизбежных расставаний,
и яблоневый цвет над головами,
и жизнь, опорожнённую до дна?

• • •

Я хочу быть стоном надломленной ели,
дальним звоном колокола в метели,
неутешным плачем у колыбели
на исходе дня,
потому, что в этом снова и снова,
и легко, и чисто, и проще простого
сквозь пустую речь прорастает слово,
и зовёт меня.

Но меня не тронут пьяные слёзы,
и надрыв, и вопли, и кровь с навозом,
и вообще я не верю в соборность колхоза,
мне другое ближе,—
одинокость креста над речным разливом,
и негромкий, но вольный шелест нивы,
и согбенная скорбь надмогильной ивы—
так я родину вижу.

Вижу вал земляной—то в некошеных травах,
то под белым снегом, и в детских забавах,—
вот что вижу я у тебя, держава,
под кольчугой.
И не надо вычурных толкований,
завываний, истерик и целований—
в наше время играть и сорить словами
не заслуга.

• • •

Стоит закрыть глаза, и очутишься в другом,
тёмном пространстве без верха и низа,
где, хоть лежи колодой, хоть мчись бегом,
всё остаётся под пологом грязно-сизым.
Разве что в сторону солнца твоё лицо
вдруг обернётся, и яро-багровые пятна
будут под веками течь кровавым свинцом
прямо в расщелины мозга и обратно.

Стоит глаза открыть, и простор миров
переполняет зрение, словно сети
тех рыбарей галилейских, чей улов
помним и мы спустя два десятка столетий,
и, отводя от солнца смущённый взгляд,
всё отчётливей видишь сумрак еловой хвои,
дымно-серые абрисы горных громад,
синего моря мерцанье, вечно живое.

Ты не закроешь очи, милостивый Творец?
Ты не забудешь о мире, скрываясь в пещере Духа?
Жребий в омут беспамятства падает, как свинец,
там слепота души и сознание глухо.
Пусть говорят, что время врачует боль,
что забываем злое, о лучшем помня,—
пусть говорят, но мне дорога юдоль
этой сансары, солнцем до края полной.

И потому я остаюсь на берегу,
и провожаю небес золотую славу,
и потому своё, неизбывное, берегу,
словно камень, выпавший из оправы.

Галина Булатова

Все автобусы—братья

Волга, Вятка, Ока и Кама

Волга, Вятка, Ока и Кама—вот четыре родных сестры.
Между этими берегами пращур мой разжигал костры.
Волховал, приготовясь к севу, и поглаживал оберег,
Чтоб вовек родовое древо пило воду из этих рек.
Чтобы бьющийся слева бакен направлял бы уключин скрип,
И горел бы огонь прабабкин и прадедов на спинах рыб.

…Начинала цвести ясколка, разливался в лугах апрель,
Лучше няньки качала Волга лодку—мамину колыбель.
Знали слово «война» с пелёнок, но хранил беззащитных Бог,
И от «воронов» да воронок он судёнышко уберёг,—
Только омуты да стремнины, но недаром родня ждала:
Скоро доктором станет Нина, будет новая жизнь светла.

…Вечный зов соловьиной Вятки, зачарованный край отцов:
Здесь писал угольком в тетрадке душу русскую Васнецов.
Здесь грозила судьба расстрелом в сорок первом за колоски…
По сестрёнке, навеки в белом, плакал Ванечка у реки…
И остались они живые, целых пятеро, мал мала…
Славный врач из Ивана выйдет, будет новая жизнь светла.

…Первый скальпель, уколы, грелки и родительский непокой:
Это я родилась на Стрелке, между Волгою и Окой.
Если есть у свободы запах, это запах родной реки.
Напиши-ка, смеялся папа: наши с Вятки-де вы с Оки.
Вслед за мамою ехал Грека через реку, а в реке рак,
И молочными были реки, и кисельными берега…

Утка в море, хвост на заборе, Волга зыбает корабли,
В Жигулях Жигулёвским морем нарекли её журавли,
Натянув тетиву рассвета на Самарской Луки изгиб,—
Это красное пламя ветры зажигают на спинах рыб,
Это посвист далёкой Стрелки, что почувствовал печенег
По вибрации крупных, мелких—всех впадающих в Каму рек.

«Ты—река! И теперь ты—Кама!»—крикнут белые берега.
Может, это такая карма? Может, это одна река?
Может, это игра течений? Может быть, по воде круги—
Многоточия изречений той одной, родовой реки?
…Волга, Вятка, Ока и Кама,—и щепотью ведомый перст
На груди четырьмя штрихами, как судьбину, выводит крест.

Бабье лето

Шмеля запрягай, пока у погоды льгота,
Махнём к сентябрю в лесок.
Для нашей телеги пятое время года —
Не пятое колесо.

Пропишет тебе движение мегаполис
С компьютера на диван.
Здесь доктор иной: ничто не сравнится с пользой
Целебных осенних ванн!

Ещё не утихли звуки лесных оваций,
Рябиновый пир — горой.
И хочется плакать раньше, чем любоваться
Последних цветов игрой.

И музыкой дышит даль, рассыпая флейты,
Опятами дышит близь.
О пятое время года, о бабье лето,
Ещё на чуток продлись!

Все автобусы — братья

Все автобусы — братья:
неразрывные узы дорог.
Зыбче зыбкого ради
я опять оставляю порог.
И с киванием мудрым
под сурдинку усталых рессор
с октябрём рыжекудрым
мой автобус ведёт разговор.

Вот, казалось бы, довод,
что поблизости, может быть, ждут,
только, как заколдован,
повторяется старый маршрут.
Под прикрытием неба,
и под локоть ведут дерева,
фонари будто слепы,
расстилается в ноги трава.

Мой ненастный, цветастый,
обучён волхованью ресниц,
обещает всё царство
милый нищий, и всё-таки принц.
Ибо долы и горы —
есть чарующий вид из окна,
ибо только просторам
испокон окрылённость дана.

Влажной ночью зажжённый,
этот красно-зелёный восторг,
словно флаг, отражённый
в зазеркалье умытых дорог.
Бег серебряных капель
не удержишь на чёрном стекле.
Я уже умолкаю,
по знакомой ступая земле.

Март

Где ветка касается робко
Горячей щеки фонаря,
Вела меня быстрая тропка
От прожитого февраля.

И были дома у обочин
В вечернем прищуре слепы,
Но даже в преддверии ночи
Я видела марта следы.

Резные балкончики зданий
И дерево в истинный рост
Взлетали уже над Казанью
Под звоны оттаявших звёзд.

И эти, и те, и другие —
Весь город вставал на крыло, —
В какие края дорогие,
Куда эту стаю несло?

Летели куда переулки
Над городом светлым моим?
Тянулся за ними, как руки,
Котельных серебряный дым.

Дирижёр

Андресу Мустонену
Кристоферу Мулдсу

В шестом ряду второе место —
Счастливый вытянув билет,
Обожествляю спинку кресла,
Каких на свете больше нет.

Он вышел в чёрном. И взмывала
Смычковых стая голубей.
О дирижёр, ты сердце зала
Навылет музыкой пробей!

Толкай, раскачивай качели,
До неба головокружи
На той струне виолончели,
Которую не заглушить.

Когда рояль играет жизнью,
А скрипку обнимает альт,
В одном движенье тонкой кисти —
Такая боль, такая даль,

Такие колоколят бездны
На люциферовой трубе,
Что отрекаться бесполезно
От безрассудного в тебе.

И ты, в неудержимой страсти,
Все дни и ночи напролёт
Отдашь за чуткое запястье,
За тонкой палочки полёт.

Александр Габриэль

Кроссворд

Рыжина

Говори со мной, осень, на своём языке,
подари, как письмо, запоздалую негу…
Пристрасти меня, осень, к первозданной тоске,
прикреплённой невидимой ниткою к небу.
Негорячее солнце, лучами пронзив
небеса, отразилось кокетливо в луже…
Убеди меня, осень, что я твой эксклюзив,
и никто, и никто тебе больше не нужен.
И прочту я в волшебной твоей рыжине,
хоть на миг возвратившись к забытым основам,
всё, что станет со мною и бродит во мне,
становясь то ли жизнью, то ль сказанным словом.

Постмодерн

Поэт смеётся.
Говорит: сквозь слёзы,
но мы-то знаем: набивает цену.
Во тьме колодца
обойтись без дозы
не в состоянье даже Авиценна.

А в голове—
морзянка ста несчастий.
Он—явный арьергард людского прайда.
Себя на две
распиливая части,
он шлёт наружу Джекила и Хайда.
Поэта гложет
страсть к борщам и гейшам
да трепетная жажда дифирамба.
Но кто же сможет
отнести к простейшим
творца трагикомического ямба?

Давно не мачо,
услаждавший уши,
обыденный, как старая таверна,
он по-щенячьи
подставляет душу
под плюшевую лапу постмодерна.

Вспышка

В тот лунный час, когда Шахерезада
закончит все дозволенные речи
и небо белой шалью снегопада
укроет клёнов зябнущие плечи,
когда мороз забудет чувство меры,
паучьей нитью окна устилая,
и шалые соседские терьеры
устанут от бессмысленности лая
и ночи всеохватное цунами
войдёт в наш дом, желая вечно длиться,
всё то, что стало с нами, станет снами—
короткими, как будто вспышка блица.

Кусочек детства

Ах, детство ягодно-батонное,
молочные цистерны ЗИЛа!..
И небо массой многотонною
на наши плечи не давило.
Тогда не ведали печалей мы:
веснушки на носу у Ленки,
ангинный кашель нескончаемый,
слои зелёнки на коленке.

Вот дядя Глеб в армейском кителе
зовёт супружницу «ехидна»…
И так улыбчивы родители,
и седины у них не видно,
картошка жареная к ужину,
меланхоличный контур школы,
да над двором летит натруженный,
хрипящий голос радиолы.
Вот друг мой Ким. Вот Танька с Алкою.
У Кима—интерес к обеим.
А вот мы с ним порою жаркою
про Пересвета с Челубеем
читаем вместе в тонкой книжице,
в листочек всматриваясь клейкий…

И время никуда на движется
на жаркой солнечной скамейке.

● ● ●

Предугадай-ка: осозна́ешь, нет ли,
бесстрастный, словно камни пирамид,
когда в последний раз дверные петли
земного скрипа истощат лимит.
Невидная окончится эпоха,
и в пригоршне едва звучащих нот
прозрачный иероглиф полувдоха
незримый нотный стан перечеркнёт.
Твой путь земной — не шаткий и не валкий —
на этой гулкой точке завершив,
взлетят куда-то к потолочной балке
растерянные двадцать грамм души,
где и замрут, как мир окрестный замер,
и где, платки в ладонях теребя,
глядятся в ночь опухшими глазами
немногие любившие тебя.

● ● ●

Присесть на лавочку. Прищуриться
и наблюдать, как зло и рьяно
заката осьминожьи щупальца
вцепились в кожу океана,
как чайки, попрощавшись с войнами
за хлебный мякиш, терпеливо
следят глазами беспокойными
за тихим таинством отлива,
и как, отяжелев, молчание
с небес свечным стекает воском,
и всё сонливей и печальнее
окрестный делается воздух.
Вглядеться в этот мрак, в невидное…
От ночи не ища подвохов,
найти на судорожном выдохе
резон для следующих вдохов.
Но даже с ночью темнолицею
сроднившись по любым приметам —
остаться явственной границею
меж тьмой и утомлённым светом.

Не сезон

Слёзы от ветра шалого вытри
в сумрачной мороси дней…
Как ни смешай ты краски в палитре —
серое снова сильней.
Серые зданья, сжатые губы,
мокрого снега напев…
День безнадёжно катит на убыль,
еле родиться успев.
Туч невысоких мёрзлые гривы —
словно бактерии тьмы.
Осень на грани нервного срыва.
Осень на грани зимы.
И чёрно-белым кажется фото,
лужи вдыхают озон…
Эх, полюбил бы кто-то кого-то…

Но — не сезон. Не сезон.

Кроссворд

Я с ней не был знаком, даже имени я не знал.
Чуть припухшие губы, лёгкие босоножки…
Был в руках у неё на кроссворде раскрыт журнал
с молодою ещё Андрейченко на обложке.

Я лишился привычной лёгкости Фигаро;
я слагал варианты, но не сходилась сумма…
До чего ж малолюдно было в тот день в метро
в два часа пополудни, в субботу, в районе ГУМа.

Эта встреча казалась даром от Бога Встреч,
даже воздух вокруг стал пьянящим, нездешним, горним…
Но куда-то, не зародившись, пропала речь,
встав задышливым комом, дамбой в иссохшем горле.

А когда она вышла, досрочно сыграв финал,
что осталось во мне —
ощущенье беды, тоска ли?
И глядел в потолок незакрытый её журнал
с неразгаданным номером двадцать по вертикали.

Лиана Алавердова

Тень города[1]

А меня можно выдумать тысячу раз
И как угодно прочесть.

Вера Зубарева.
«Горный мир»

Со стихами Веры Зубаревой я познакомилась давно, ещё в знаменитом подвальном помещении, где обреталась редакция журнала «Слово/Word». Вера читала свою поэму об ангелах, неожиданно ироничную и очень своеобразную, и самая мягкая манера чтения, не говоря уж об облике поэтессы, завораживали. Сказала «завораживали» и подумала, что слово это отнюдь не случайно в данном контексте. Есть нечто от ворожеи-колдуньи или, если хотите, фейное в облике, манере Веры, в том, как она читает стихи, да и в самом их содержании, наконец. Если кто не встречался с Верой Зубаревой, вспомните известные с детства строки: «*А сама-то величава. / Выступает, будто пава. / А как речь-то говорит. / Словно реченька журчит*». Мало у кого из поэтов есть столь точное совпадение внешнего и внутреннего образа, как у Веры Зубаревой.

Некогда беседы с философом Ароном Каценелейбогеном, судьбоносным для Веры учителе и наставнике (ему она посвятила одно из самых трогательных своих стихотворений «Он просто не звонит…»), проложили дорогу к её Трактату об ангелах, а затем её энергия материализовалась в интернет-журнале «Гостиная», которым поэтесса руководит не менее двух десятков лет, и каждый раз, представьте, новая тема! Мир фантазии и таинств — родной мир для Веры Зубаревой. Не случайно главной героиней поэмы, включённой в сборник, выступает некая Ольга Юрьевна, книжная фея. Вот уж воистину есть где развернуться фантазии! В небольшой поэме, как и в «Собакиаде», и в «Стихах о волке», ярко выражена творческая дерзость, которая, мне представляется, не была проявлена в столь значительной степени в ранних стихах Веры. Отдаю должное безоглядной смелости автора! Она не боится, что её не поймут или поймут не так, не мельтешит назойливыми сносками. В этом, кстати, сказывается и уважение к читателю, которого она приглашает к сотворчеству на равных, не опускаясь до просветительского разъяснения, оптом выдавая авторскую индульгенцию на вольную трактовку. Её муза распоряжается личным творческим материалом, как ей вздумается. И творческий характер Веры Зубаревой, пусть он и давно сложился, как отмечает в Предисловии к книге Даниил Чкония, но не застыл в неподвижности (это я уж добавлю от себя), а меняется, подобно морской волне, конгруэнтной поэтессе.

Сравнение не случайно приходит на ум. Я уже писала, что Вера Зубарева — поэт-маринист. То есть она может сочинять о чём угодно, но связь с морем — самая крепкая, неразрывная для неё. Оттого ли, что Вера родилась на берегу Чёрного моря, в Одессе, либо от психологической близости любительницы фантазий к струящемуся, изменчивому и таинственно-притягательному миру морских глубин, — выражаясь её же словами, «к морским глубинам тянется душа»? Если б наяды или русалки писали стихи, то они бы писали нечто близкое к тому, что пишет Зубарева. Пишет она о Манхэттене — и бездомные у неё свалены в кучу, как битые моллюски («Манхэттен. Солнце, не выдержав нагрузки…»). Начинает стихотворение с описания заколоченных опустевших квартир, а заканчивает береговой полосой, где «*В кельях раковин кто-то молится. / Ветер от нечего делать дует, / И всплывает, вся в водорослях, / Луна-утопленница*» («Кварталы метастазируют заколоченными апартаментами…»). Море и океан, чайки и лавки, «водорослями увешанные», башни — «заводи каракатиц», песок и ветер, лунная дорожка и фонари, которые сравниваются с аквариумами, а автомобили — с крабами. Потемневшие облака напоминают дельфинов, а лопающиеся от галлюцинаций булыжники (вот уж бурная фантазия!) напоминают рыбьи пузыри, проколотые иглой, перо — это весло, а скрытые смыслы наталкиваются на скалы, подобно кораблям.

Не уверена, пишет ли Вера Зубарева до сих пор чернилами, но в наш компьютерный век, когда бумажным книгам грозит книга электронная вкупе с мобильником и компьютером, чернила, чернильницы и давно забытые кляксы живут в её

1. *Вера Зубарева*. Тень города, или Эм це в круге. Стихи и поэмы разных лет. Charles Schlacks, Jr. Publisher. Idyllwild, CA 2016.

поэзии неразлучно с перьями, бумагами, дровами в печи и тому подобными приметами старины. Что это? Дань веку позапрошлому или тяга к романтизму? Впрочем, беспросветная мгла чернил вполне сродни таинственным темнотам поэзии Веры Зубаревой. В её пейзажах немало ночного, мрачного, тяжёлого. *«Лес полон тайн непролазных, косматых. / Жижу его распирают бактерии. Пучат тяжёлое брюхо болот / Дети вечного брожения и распада»* («Записки из леса»). Природа подступает, она втягивает в себя зазевавшегося человека. Человечество — никчёмный нарост на теле матери-природы, который она стремится стряхнуть с себя при первом удобном случае, на уровне индивидуальном и массовом. Думает ли об этом Зубарева, мне неизвестно, но стихи её наводят на подобные размышления («В этом лесу мы самые отсталые, самые слабые и никчёмные…», а в последней строфе, в заключение: *«Мы самые презренные, / Недоразвитые, и неловкие… / В этом лесу. И зачем мы — люди?»).* И в самом деле! Как хорошо было природе, пока не появился человек! Но отвлечёмся от мизантропических размышлений и пойдём далее за музой Веры Зубаревой, которая ведёт нас… в «Пространство ночи». Именно так называется второй подраздел сборника поэтессы, и, верная этому заглавию, она включила в него соответствующие стихи. Ночь, мгла, реальная или воображаемая, мир сновидений — одна из любимых тем Зубаревой, где вольготно живётся её фантазии. Совсем сказочно-былинно, по-фольклорному, звучат строки из стихотворения «Ночь состоит из ломаных линий…».

Крошки звёзд просыпались в пропасти.
Налетели чёрные птицы-вороны,
Молчаливо склевали горсть за горстью,
И раздул их ветер на четыре стороны.
В середине мира — дыра над бездною.
На вершине мира — кормушка звёздная.
У подножья мира — кровать железная
И чьё-то «я», никем не опознанное.

В иронично-фантазийном стихотворении «Переворот» разыгрывается настоящая фантасмагория. Стол на оползнях, перо бредит бездорожьем, а чернила хлюпают жижей, словно в них поселились рыбы, а затем и вовсе в чернильнице разыгрывается шторм, и бедному автору ничего не остаётся, как залезть под кровать.

Стол и тетрадь арестованы. Ручка в подполье.
После полуночи предпочитаю скрываться.
Только чернила пока что бушуют на воле.

Хотите, называйте это фантастическим либо магическим реализмом, но в поэзии всё возможно… Как философ имеет право на любую, даже самую абсурдную картину мира, лишь бы быть непротиворечивым в логике изложения, так и поэту дозволена любая фантазия. Вера Зубарева не нуждается в поощрении и дозволении: фантазии и смелости ей не занимать. Подготовленный читатель не вздрогнет, когда столкнётся с заголовком раздела «Дневник лунасшедшего». Луна столетиями вдохновляла поэтов и самое присутствие её в поэзии стало штампом. Но то ли потому, что Вера Зубарева не боится упрёков в исследовании уже перекопанного материала, оттого ли, что она поэт-маринист, а морские приливы, как известно, зависят от Луны, — вечный спутник Земли в поэтике Веры Зубаревой выплывает прямо-таки с природной закономерностью. Бледнолицая мучается мигренью, словно старая бабка, прикрывается цыганской шалью, держится еле-еле на вольфрамовой ниточке, а звёзды «нашариваются» в окне, словно спички на столе. Луна разливается по саду, по которому бродит загадочный Садовник («Мне сказали, что Садовник…»); она вынесена в заглавие стихотворения, посвящённого Белле Ахмадулиной, «Лунный путь, или Поэма в стихах». В стихотворении «Ночь в безмолвном предместье, как кома» у Луны, как после лишая, не осталось волос (интересно, какой Луна была до зубаревского эксперимента?); а в «Поэме о зиме» Луна смеётся, хохочет в сугробах, а затем ещё щекочет и дрожит на камине в нарисованных углях. Словом, Луне достаётся в стихах Зубаревой по первое число.

Время и пространство, день и ночь, явь и сон — Вера жонглирует этими словами-понятиями каждый раз, словно фокусник, вытаскивая из неистощимого рукава, новую метафору, новое сравнение, новый образ. На смену Закону всемирного притяжения заступает всемирное отторжение, а дальше…

Дальше, словно не в силах кружить, утомившаяся птица фантазии приземляется на родную одесскую почву, набираясь силы от воспоминаний детства и любви к родному городу. («Городские картинки»). Но даже и здесь Зубарева остаётся верной себе. Она не может, ну просто не может, с добросовестной монотонностью описывать родной город и предаваться детализированным воспоминаниям. У неё дворник дядя Федя сметает Леонида Ильича в канаву, упрятывая Владимира Мавзолеича (!) в листву и заталкивая Хоттабыча под скамейку. Что касается «Собакиады», то тут всё и вовсе перевёрнуто с ног на голову. Словно в научной фантастике, — достаточно одного фантастического допущения, чтобы построить рассказ, — в «Собакиаде» человек ведёт себя по-собачьи, а собака по-человечьи, во всяком случае, как положено добропорядочному человеку. Подтверждая предыдущую мою догадку, следующим в сборнике следует цикл «Сказки о двух концах», в котором с первой строки и объявлено: «В этом мире всё шиворот-навыворот», где фантазия Веры Зубаревой теперь резвится на традиционно

сказочном материале, будь то Золушка, Синяя Борода, волшебный горшочек каши и так далее и так далее. Ну и кашу она заварила, эта Зубарева! Нечего сказать! Не каждому волшебнику под силу!

А она и не скрывает, что заварила колдовскую кашу. Раздел «Колдовство» — тому подтверждение. Чаще всего люди присутствуют в поэзии Зубаревой либо в виде окарикатуренных, либо сказочных персонажей *(«Старухи подбрасывали / Солнце животами / И липкими ртами / Смеялись / Над цветами»* («По пляжу гуляли…»)). Природа же, наоборот, донельзя очеловечена, антропоморфна. «Майский ветер… путает шевелюру сада», небо, сотканное кружевницами, ловит божьи дары, облака аукаются, да ещё басом, а у луны ни много ни мало случился инсульт (оттого и осталась от неё только половинка).

Читатель, не отвыкший от традиционной поэтики, может возразить: «Так не бывает!», «Откуда она это взяла?!» В Вашем мире, дорогой читатель, не бывает, а в мире Веры Зубаревой бывает. К Вам не прилетает Ольга Юрьевна, книжная фея, а её она не покидает. Согласна, поэзия Зубаревой не принадлежит к магистральному направлению. Но ведь и в прозе существует реалистическое направление, неистребимое, поскольку людям хочется сострадать героям, находить в них себя, и, если это талантливо написано, читатель неожиданным образом раскрывает, казалось бы, близкое и привычное; но есть и всё большую популярность приобретает мир фантазии, уносящийся от реальности прочь. Так и в поэзии Зубаревой некоторые сравнения и метафоры бьют в цель, являются её «находками», когда нищенка, которая ест, «словно деревенская женщина, бережно и не спеша» («Нищенка на ступенях подземного перехода…»), а некоторые уносят в заоблачные выси. Последние, хотя и неочевидны, но всё же имеют смысл в системе выстроенного ею фантасмагоричного мира. Музе Вере Зубаревой тесно в пределах реального мира: она рвётся за горизонт *(«Ах, ухватиться б за подол заката / И плыть, и плыть — туда, где не объято / Никем, пространство жмётся на краю / Всего земного, что уму понятно…»)*, тянется в морские глубины. Хотя, казалось бы, в обыденном представлении тяга к морским глубинам труднообъяснима. Что такого притягательного на дне морском? Скелеты погибших кораблей, морские чудища, мрак… Но в метафорическом смысле морские глубины соотносимы с глубиной душевного поиска, а этот процесс бесконечен и неисчерпаем. Муза Веры Зубаревой не говорит прямо, а всё намёками и обиняками, всё по касательной, сквозь игру светотени и мерцание смыслов. Даже в стихах, навеянных раздумьями о разлуках и утратах (раздел «Даты ухода»), слова гори и болечи не заявлены прямо, а исподволь.

Краткое стихотворение «Это ничего, это только ветер…»

Это ничего,
Это только ветер,
Это только машина завелась у дома,
Это только голубь
На подоконнике бредит,
И голубка бубнит в ответ монотонно.
Это только поздняя осень в учебнике.
Это только запах жёлтой страницы.
В нём настольная лампа и свет предвечерний…
Это ожил отец.
Это только снится.

Несущая строка, на которой держится стихотворение, предпоследняя: «*Это ожил отец*». Всё стихотворение кажется навеянным вечерней дремотой, где знакомые детали в ласкающем свете заходящего солнца обволакивают теплом домашнего уюта, усыпляют. Стихотворение очень живописно и полно узнаваемыми предметами: машина у дома, голубь на подоконнике, жёлтые страницы учебника, навевающего сравнение с осенью, настольная лампа. Фигура отца выводит из дрёмы толчком, когда сознаётся боль утраты, чтобы вывести из полузабытья и вернуть к суровой реальности без родного человека.

Стихи столь прозрачные по смыслу встречаются у Зубаревой нечасто. Как я уже писала, тени, намёки, шорохи, иносказания, выражаясь её же словами, «гадания на чернильной гуще» — вот её стихия. В стихотворении «Старинный друг» тяга к старине не только в названии, но и в строфике стиха, в наборе атрибутов, фигурирующих в стихотворении: гадальные свечи, бал, маскарад, чья-то свадьба, жених, — стихотворение мелодичное, но настолько затуманенное, что возникает соблазн процитировать поэтессе её же строку: «*Вы путано, как на беду, сегодня говорите*».

Сон и дремота, мифы и сказки, царство ночи настолько органично присущи поэтике Зубаревой, что о чём бы она ни писала, действие происходит среди ночной мглы, а беседы — со звёздами и луной. Раздел «Опыт странствий» открывается размышлениями в ночном поезде, затем несётся к ночным птицам, которые, видимо, не реальные птицы, спящие по ночам, а птицы воображаемые, созвучные страхам. Воспоминания о доме выливаются во вглядывание в ночное небо и извечное желание познать самое себя и отступить перед этой задачей, не увидев своего отражения в звёздном небе (ещё не всё потеряно, однако!). Италия, Вена — знакомый эмигрантам маршрут — всё преподносится в ночном обрамлении. Покачавшись в гондоле («В Венеции»), мы снова возвращаемся в царство ночи и сновидений («В зимней Тарваянике» и «Мне снится возвращение домой», «Дача»). Ночное царство

завершает беспощадно-реалистическая «Свеча», зажжённая в память погибших в Одессе, поэма трагически-тяжёлая и наверное самая сильная во всём сборнике. Книга «Тень города», начавшись раскалённо-жарким Манхэттеном, заканчивается на скорбной ноте боли и сострадания к родной Одессе, где горит зажжённая Верой Зубаревой Свеча Памяти.

Литературное Красноярье ∴ БСР

Татьяна Долгополова

Майк

Конечно, Майк. Разумеется, в честь Тайсона. Как ещё назвать щенка боксёра?

Говорят, боксёры по уровню интеллекта среди собак чуть ли не последние. Может быть.

Щен грыз всё, что можно. Обувь, ножки стульев и кресел, косяки дверей и сами двери.

Ему накупили кучу резиновых игрушек, их тоже грыз и мусолил. Когда ему купировали ушки, смертельно обиделся. Откусил уши всем резиновым зверям. Не что-нибудь, а именно уши. Даже бегемотику, у которого ушки были микроскопические. Нет интеллекта, да? Резиновые звери с дырками вместо ушей валялись по всей квартире, а обиженный Майк сидел два дня под кроватью и выходить отказывался. Обида—страшное дело.

Вырос огромным. Грудная клетка широченная. Подраться—хлебом не корми, во дворе—глаз да глаз. Сук не трогал. И щенков. Был один кобелёк—здоровенный, не меньше Майка, но всего шести месяцев от роду, и Майк его в упор не видел—а чего с сипилявками связываться? Взрослых кобелей драл немилосердно.

Детей любил страшно. Приходящие в гости малыши садились на него верхом, за уши дёргали, как за вожжи,—Майк только улыбался и слюни пускал.

Идёшь в магазин: «Майки, жди!» Всё, будет сидеть, как приклеенный, с места не двинется, главное, чтоб дверь магазинную было видно. Раз между ним и дверью фургон остановился. Собаку чуть инфаркт не хватил: дверь не видно, а с места сходить нельзя: сказано здесь ждать. Когда я вышла, пса колошматило не по-детски, трясло мелкой дрожью. О, как он обрадовался, меня увидев! Мне кто-нибудь когда-нибудь так радовался? Нет. Ни до, ни после. Концентрация счастья, без всякой примеси. И ведь—ни за что, просто так. У меня было ощущение, что я с войны вернулась живая. Как гордо он потом бежал рядом и как важно метил каждое встречное дерево!

Бывало, с гостями засиживались до утра. Как положено—на кухне. С водкой и гитарой. Майк—рядом.

— Майки, спать иди, четыре утра!

Он уже глаза закатывает, зевает, но с кухни не уходит: надо быть с людьми!

Бог ты мой, как я любила эту псину!

Я не знаю, как люди разводятся, имея детей. Это ж вивисекция просто. Если так больно из-за расставания с собакой, то как же расстаются с *детьми?!*

Когда мы расстались с хозяином Майка… плевать на хозяина! Но как мне не хватало этой наглой рыжей морды! Мне по сей день её не хватает.

Я видела его ещё раз. Он сидел у магазина. Ждал хозяина, смотрел на дверь, не сводя глаз. Я не могла не подойти. Прохожие шарахнулись, когда к рыжему кобелю подошла чужая тётка, и он сошёл с ума. Он забыл про эту дверь, что на неё надо смотреть, он прыгал, как безумный, стараясь лизнуть мне лицо, поставить мне лапы на грудь, оббежать вокруг меня, ещё раз подпрыгнуть, ещё раз лизнуть в щёку…

Когда хозяин вышел, я сидела на снегу, сбитая с ног, в расстёгнутой дублёнке, оторванные пуговицы валялись вокруг, а рядом—прямо со всех сторон одновременно—бесновалась рыжая тварь. Он уже немного пришёл в себя и теперь пытался каждому проходящему сказать: вы видите, кого я встретил? Вы понимаете, какое это счастье?

Он и хозяину сказал: смотри, кто пришёл?!! Правда же, она пойдёт с нами, и всё будет по-прежнему??

Но всё не может быть по-прежнему. И я не могу объяснить тебе, Майки, почему я не пошла с вами… У людей всё не по-людски.

Вера Харченко

Продлить звучание стиха[1]

Владимир Шемшученко отнюдь не новичок в поэзии, более того, этот поэт отмечен немалым числом премий — тем интереснее проанализировать недавно вышедший из печати сборник «Избранное» на предмет определения своеобразия, уникальности поэтической мысли и поэтического слова. Что же бросается в глаза при первом уже знакомстве со стихами Владимира Шемшученко и что, напротив, требует пристального отслеживания, едва ли не герменевтического подхода? Попробуем эти индивидуальные черты (условно, конечно же!) пронумеровать.

Во-первых, поэзия Владимира Шемшученко — это мужская поэзия. На поэтическом горизонте (впрочем, не только на поэтическом, в быту и на службе тоже!) сейчас продолжается такой период, когда женщины и ведут себя, и пишут подчёркнуто по-мужски, а противоположный пол не чурается женственных признаний, шквала обид и прочих атрибутов отнюдь не своего гендера. У В. Шемшученко всё чётко по-мужски. Ненависть — высшей пробы! — / Сыну в сердце вложу (с. 151). Плачет сука, и я с ней плачу, / Ненавидя и благодаря (с. 149). Двадцатый век оттяпал полдуши / И треть страны, в которой я родился (с. 146). И вдрызг разругались соперницы-кошки, / Изрядно помяв меховые манто. / Вот глупые твари. Свернуть бы им бошки! (с. 143). А собачьи глаза — Вон какие стихи сочиняют! (с. 128). Любимая, я — идиот — / Европа стихи не читает (с. 95). К чертям занудный ход календаря! (с. 102). И в рюкзак уложить тишину и усталость (с. 41).

Во-вторых (впрочем, это вытекает из первого!), Владимир Шемшученко — поэт эпатажа, отстаивающий своё право на эмоции, достаточно часто альтернативные классическим поэтическим ожиданиям. Но этим голосом говорят сейчас многие, очень многие, которым эти стихи, если бы они их услышали, были бы до боли близки и дороги. У поэта Геннадия Калашникова есть выразительная строка: «Вся суть поэзии — касанье, она не зеркало — ладонь». То, о чём рассказывает лирика Владимира Шемшученко, касается буквально каждого соотечественника-современника: «Неладно со времён царя Гороха…», «Обшарпанный футляр, а в нём аккордеон…», «Я устал. Мне уже никогда…», «Стало страшно читать и писать…», «Петь не умеешь — вой». Мы привели сейчас самые первые строки (и, соответственно, названия некоторых стихов), тематически различных, но равно остающихся в памяти и структурирующих образ поэта.

Ролан Барт выдвинул идею о «третьем смысле» кинопрочтения произведений. Первый смысл — социально-этический, второй — эстетический, однако фильм фиксирует всегда несколько больше, чем хотел сказать автор. Примерно о том же пишет в своей книге «Простодушное чтение» и Сергей Костырко: «А у художества, как известно, своя логика, и противоречие между тем, что намерен был сказать автор, и тем, что сказалось, почти всегда неизбежно». Мы сейчас ведём речь о том, что у Владимира Шемшученко немало строк уделено «русской болезни», поскольку талантливый поэт, подчас независимо от своих установок, то есть интуитивно, становится всеобъемлющим зеркалом социума. Причём упомянутая тема работает и на образный ряд: И хлебнув с утра весенней влаги, / Провода трамвайные поют (с. 85). Тут проступает очень напряжённый нерв оценки: всё ли, что есть в жизни, должно проникать в книгу или всё же не всё? Отражаем ли мы происходящее (науке известен такой термин, как сверхсмертность мужчин, — понятно от чего) или утоляем извечный голод, свою неуёмную тоску по идеалам и образцам повседневного поведения?

Вот одно из самых сильных стихотворений «Счёт»: Я иду, заливаясь слезами, / Всеотзывчивость нашу кляня… / А навстречу — со злыми глазами! — / Боже, как они любят меня! (с. 142). Нас всех (не только мужчин! не только много переживших!) достаточно часто захлёстывают отрицательные эмоции, которые, оказывается, тоже нужны личности, что блестяще доказал в своей книге Томас Гордон, защищая права детей на гнев и зависть, обиду и злость. Кстати, американского психолога трижды представляли к Нобелевской премии, но его смерть сняла этот вопрос с рассмотрения. Мы же пишем об этом потому, что сильным эмоциям, ой, как необходим свой язык. «Язык не может быть сокровенным. Если он сокровенен — он не

1. *Владимир Шемшученко*. Избранное (книга стихотворений). — спб.: нппл «Родные просторы», 2016. — 160 с.

язык»,— подчёркивает в романе «Полевые исследования украинского секса» Оксана Забужко.

Тем ярче в сборнике «Избранное» у Владимира Шемшученко звучат альтернативные, добрые стихи, например, о сыне, подобравшем котёнка, или о дятле за окном. Котёнок спит, а рядом спит счастливый / Поэт, не написавший ни строки (с. 127) …Лукавый кругленький глазок… / Обыденно… Но так красиво! //. ..И он бросает вызов мне / Трёхстопным ямбом в телеграмме. / На нём атласный колпачок / И боевое оперенье… / Ну ладно, ладно, дурачок /— Ты лучшее стихотворенье! (с. 130).

Продолжим наш подсчёт особенностей поэтики Владимира Шемшученко. Итак (это уже в-третьих!), стихи Владимира Шемшученко подкупают необычным для поэтического языка соединением, сочетанием, сопряжением живой интонации разговорной речи, что, по сути, мы уже продемонстрировали, и яркими аллюзиями, цитатами из классики, а также упоминаниями современных поэтов и писателей. Это строки из Блока и Маяковского, Ломоносова и Пастернака, Александра Пушкина и Александра Грина. Это аллюзия алых парусов и аллюзия Э.-М. Ремарка: На писательском фронте без перемен (с. 118). Упоминается Юрий Кузнецов, Геннадий Айги, Захар Прилепин, Глеб Горбовский. К отдельным стихам предпосланы эпиграфы из Пушкина, Блока, Мандельштама, Исаковского. Есть посвящения. Марине Кудимовой, например. Таким путём создаётся лирика, весьма насыщенная именами и образами.

В-четвёртых, в стихах сборника много Петербурга, даже если судить только по названиям: «Петербург», «Васильевский остров», «Петербургский вальс», «Наводнение», «Город Гамлет». Впрочем, и вся страна представлена: Караганда, Курилы, Киев, Феодосия, Донецк, Соловки, Онега…

В-пятых (что связано с сильными протестными переживаниями!), в стихах много «политики», они как пронзительная, пронизывающая оценка непростой нашей современности, включая до сих пор «беснующихся укров», и таджиков, вынужденных зарабатывать среди тех, кого выселяли и проклинали. Посмотрите в окно— кто метёт и скребёт наши улицы? / Это дети оравших до времени: «Русские вон!» (с. 137).

Александр Иличевский хорошо сказал о прозе: «В моём понимании, любой роман— это исследовательская работа, способ познания мира. Желание что-то написать возникает тогда, когда что-то не понимаешь. Текст— это попытка размышления по поводу того, что тебе неизвестно (Новый мир.— 2012.— №5.— С. 227). Полагаем, что исследовательский посыл есть не только у романа, но и у стихотворения, которое тоже становится инструментом не одного лишь отражения, а ещё и анализа события. Вот, например, очень точная зарисовка узнаваемых эмоций: Скитается взгляд по вагону, чего ни коснётся— болит! (с. 46). Добавим: стих— это ещё и аутоисследование, интерпретация собственного поступка: Здравствуй. Знал, что вернёшься, и верил— / Я тебя отпустил, чтобы этим тебя удержать (с. 38).

Впрочем, продолжать выделенные выше «во-первых», «во-вторых» и далее не следует: начинает угасать самое главное. Дело здесь вот в чём. При таком эпатаже и такой «политике», при такой многоликости Петербурга и таких списках имён объединяющим началом, пронизывающим каждый блок, каждый «отсек» своеобразия, у Владимира Шемшученко является яркий лиризм, замечательное чувство необходимости той или иной, всегда по-мужски сильной эмоции.

Он вытащил меня из пьяной драки / И в спину подтолкнул: «Беги, убьют…» / Он умер тихо, но его собаки / Заснуть всему кварталу не дают (с. 36). Время любить— без любви умирают, / Вянут, как сбитая градом трава (с. 37). Не вы гоняли голубей, / Но вы— поймёте… (с. 22). Не гляди на меня. Лучше слушай, как мокрою лапой / Заоконная ель одичало скребётся в стекло. / Пересилив себя, ты сумела назвать меня папой / И сама испугалась— давненько мне так не везло (с. 92). Снега хочется! Солнца! / Рук твоих! Чёрт возьми! (с. 106).

Лирика Шемшученко демонстрирует умение не только пережить, но и выразить эмоцию. Как? Да по-разному и всегда по-своему, так, как мало кто в поэзии эти эмоции выражал. Рассмотрим один интересный содержательный, сюжетный ход и один ход, один приём сугубо формальный, грамматический, поясняя сказанное примерами.

В сборнике парадоксально большое место уделено… собакам, или, выражаясь галантным научным языком, концепту «собака», что тоже больше свойственно сугубо мужской поэтике. Считается, что лучшие собаки у Чехова. В поэзии, конечно же, вспоминается Сергей Есенин. Стихотворение Ивана Бунина «Одиночество» заканчивается словами: «Что ж! Камин затоплю, буду пить… / Хорошо бы собаку купить». Так и у нашего автора эмоциональная нить протянута к собачьему бытию и сердцу. Вот метель, беспощадно диктует стихи, / И наплевать ей, что псы и поэты похожи (с. 72). Псина сторожевая / Вдруг замолчала у ног (с. 40). Подходит хозяин, хромая на правую ногу, / И гладит собаку по шерсти, скрывающей шрам (с. 114). У меня на руках абрикосовый дремлет щенок (с. 113). Образ собаки сродни поэту по силе переживаемых чувств и невозможности выразить их словами. Для животного это абсолютная невозможность, а для поэта— это не что иное, как извечная неудовлетворённость очередным плодом собственного творчества, опять не утолившим авторские ожидания.

Поэзия—это движение образов, художественная бесконечность их прочтения. И соло василька в большом цветочном хоре… (с. 52). Как мы уже подчеркнули, в этих поэтических образах частым гостем становится узнаваемый Петербург. …И снежные хищники с крыш / Не прыгают на прохожих (с. 95). Постою, помолчу, погляжу на мятущийся снег. / Он ещё не лежит на карнизах свалявшейся ватой. / Он летит и летит, и моих не касается век. / Он, конечно же, синий, и пахнет, естественно, мятой (с. 90).

Он летит и летит… Вот мы и приблизились к характерному для Владимира Шемшученко грамматическому приёму, который поэт замечательно разрабатывает. Конец этого стиха: Снег уже не идёт. Он уходит, уходит, уходит… (с. 90). Повтором современного читателя не удивишь, но ведь здесь повторяется так называемое настоящее актуальное, сиюминутное. Повторяется—и потому продлевается. Вот финал ещё одного стихотворения: Тонкий ломается лёд—Кто-то под окнами ходит. / Что-нибудь произойдёт / Или уже происходит… (с. 40). Из других стихов: Заносит меня в Петербурге метель, / Заносит, заносит, заносит (с. 72). И листает, листает, листает / Календарь новогодний зима (с. 84). Я, словно снег, иду, иду к тебе (с. 104).

Говорит, гладит, дремлет, спит, примеряет, прошу, ждёт, поём, врывается, роняет, ржёт, стирает, целую, знают, сторонятся, кружит, пахнет, согреваю… Мы сейчас выписали из финальных строк глаголы-сказуемые. Обратим внимание: это всё формы настоящего времени. В музыке есть такой значок: фермата. Тяни звук, сколько хочешь: если подольше, то звук станет лучше, выразительнее. Так и поэт формой настоящего времени продолжает, продлевает звучание стиха, хотя стих будто бы уже и закончен.

Повтор требует большой осторожности: это весьма сильный приём. Случайно ли, что в сборнике лишь три стихотворения выстроены по эффектной модели. Два по модели: Это… Это… Это… А на реке светает—Это издалека, / Это растёт, нарастает (вот оно опять, настоящее время!)… Это ещё не звук, / Это из сердцевины… / Это небесный паук / Звёздной наткал паутины… / Это корова-луна / Тучу поддела рогами. / Это кричит тишина / Между двумя берегами (Каков образ реки и потрясающей тишины над нею!)… / Это—здесь и сейчас! («привилегированные точки» Э. Канта)—/ Заговорить стихами… / Это—последний шанс / Не превратиться в камень (с. 4). В другом стихотворении трижды повторяется группа придаточных, начинающихся с «когда»: Когда нет преданного друга, / Когда не подадут руки, Когда никто не интересен… (с. 27–28). Двадцать один ответ в общей сложности протягивает читателю поэт на заголовочный процессный вопрос: когда же «мысль превращается в слова».

Много лет назад в стихотворении Якова Белинского мы отметили приём обрыва не строки даже—обрыва на половине слова. Речь шла об осенних листьях: Не апрель—наряжаться, / Время гибнуть кружа,—Додержаться… / Держаться… / Держаться… / Держа… У Владимира Шемшученко в стихотворении «Картина» встречаем: И штрих за штрихом, словно наземь убитая птица, / И ярость мазка, как прорвавшая шлюзы вода, / И чья-то судьба—просто загнутый угол страницы. / Гадала цыганка. Гадала, гадала, гада… (с. 29).

Я так чувствую, что скоро перепишу весь сборник, а главное от анализа всё ускользает, почему стихи лучше не разбирать, а читать и читать. И ценить этот дар в другом. У Фёдора Ермошина есть интересное сравнение наименований лиц с шахматными фигурами. «Поэт—наиболее сенситивный, чутконюхий, но и самый зыбкий агент в этом мире речи. Если сравнить язык с шахматами, то пешками будут журналисты, турами—прозаики (с их эпической обстоятельностью и неповоротливостью), политики—конями (не знаешь, куда увильнёт, и от корявого косноязычия до афоризма один ход), поэт—ферзём: он может ходить, как ему вздумается, он дерзок, размашист и почти всесилен, но его гибель наиболее разительно сказывается на всём балансе сил» (Знамя.—2007.—№10.—С. 187).

Трудно сказать, что осталось за кадром, что не вошло в «Избранное», но в любом случае в этой поэзии есть что исследовать и есть что просто читать.

Дмитрий Косяков

Спасти Россию

Я не видел его со школы, и вообще не знал, как и на что он живёт. Не интересовался. Но вот недавно встретил его в парке у памятника Ленину. Он так смотрел на этот памятник, словно хотел его взглядом опрокинуть. Когда я его окликнул, он даже не сразу меня узнал, посмотрел так, словно я привидение какое-то и уж сто лет как помер. То, что он мне рассказал, показалось мне настолько удивительным, что я его даже тайком записал на телефон. Правда, видео у меня не получилось, потому что криво мобильник держал: хотелось же незаметно снять. И это жалко. Надо было видеть его лицо, когда он мне всё это рассказывал. Но слова его — вот они.

А знаешь ли ты, Митя, что я их всех остановить мог? И революции бы тогда не было, и империя была бы цела, Финляндия была бы наша — мы бы туда могли свалить, если б захотели. А главное, все бы нас боялись, особенно всякое там хамьё вроде работяг и нерусей. Они бы у нас по струночке ходили, и вкалывали как надо. А мы бы с тобой, как белые люди, чёрную икру ложками ели. Были б мы дворянами, жили бы в поместьях… Ну, или купцами, тоже неплохо. Это ж как олигархи, только лучше. Потому что олигархи наворовали всё, а купцы честным трудом заработали. Сам понимаешь, если бы не Ленин со своей шайкой, жизнь совсем другая была бы.

Но не просто так я обо всём этом думал, а с пользой. Я изобрёл водку времени. Представляешь? Пьёшь её, вырубаешься, а просыпаешься уже там. Вот и решил я спасти Россию и отменить революцию. Дело-то святое!

Первым делом прилетел в 1916 год… Только не спрашивай меня, как там. Я столько раз туда летал и столько времени там проторчал, что совсем привык и уже ничего особенного не испытываю. Да и разницы почти не чувствую. Что значит, почему? Я когда впервые устроился в эту свою химическую шарашку лаборантом, меня тоже сперва запахи напрягали, наружу подышать выбегал. А теперь освоился. Так и там. Сначала запах и темень меня раздражали (канализацию и электричество там как-то не жалуют), а потом вроде ничего стало. Это ведь я сначала думал, что быстренько слетаю, царя предупрежу, и дело сделано…

Во-первых, меня с первых шагов поймали как подозрительного, скрутили и отвели в участок. А когда выяснилось, что у меня паспорта нет, так ещё и морду набили. Слава богу, в самый опасный момент я всегда мог назад вернуться. Потому что со страха обычно трезвеешь.

Ну, одежду я у Кати взял, она ж костюмер в оперном, паспорт на принтере распечатал. Но даже после всех этих усилий к царю меня не пустили. Прикинь, Митя? Просто так взяли и выперли. Даже после одной из попыток снова в участок отвели. Я им: «Не имеете права!» А они только ржут. Главное, не хотят понять, идиоты, что я ради них же стараюсь. Я уж и пророком прикидываться пробовал, там, про будущее им рассказывать. Говорят: «Вставай в очередь. У нас этих предсказателей при дворе — девать некуда. Или ты Распутина потеснить хочешь?» Я уж и прямо им объяснял, что я из будущего — так меня в психушку заперли. Знаешь, дурдома у них, конечно, жуткие. Грязища, вонища… И правда с ума сойти можно. Я там и суток не продержался.

А один раз меня даже за террориста приняли: решили, что я к царю рвусь, чтобы его убить. Отвели в тюрьму «до выяснения». Думал, выяснят и отпустят. День сижу, два сижу и чуть не каждый час на допросы бегаю. Главное, паспорт я себе выправил дворянский, но что-то их насторожило, задали парочку вопросов про родственников, и я засыпался. Ну, не совсем, но то, что я не голубых кровей, они догадались. И, опять же, бить принялись, а главное, меня с их еды уже так скрутило, что пришлось опять в наше время возвращаться. Тюрьмы у них не лучше, чем психушки. Ну, а в наших я не сидел — сравнивать не могу.

В общем, понял я, что до царя мне добраться труднее, чем до последнего уровня в Марио. Решил идти в охранное отделение, но там уже вести себя умнее и пророка из себя не изображать. Надо сказать, что там меня приняли вежливо и выслушали внимательно. Я им сразу объявил, что нужно Ленина ловить, потому что он немецкий шпион. Полицейский чин сразу спрашивает:

— Доказательства какие имеете?

— Какие ж, — говорю, — ещё доказательства, если он революцию в России сделать хочет?

А он мне, знаешь, так с усмешечкой:

— Это мы и без вас знаем. Этого сейчас каждый второй хочет. Если же Ленин шпион, то он нам не опасен, поскольку он за границей находится.
— Так ведь он приедет! Приедет в семнадцатом году!
— Откуда такая информация? — спрашивает.

Я язык и прикусил:
— Так, — говорю, — слыхал.
— Связи с большевиками имеете?
— Боже упаси!
— Больше ничего не желаете сообщить?
— Только то, что Россия в опасности!
— Благодарю. Это нам тоже известно.
— А как же насчёт Ленина?
— Как приедет, сразу арестуем, — и опять посмеивается.

Ну, думаю, дело сделано. Возвращаюсь к нам, просыпаюсь и чувствую, что-то я как-то ни разу не граф и не помещик — всё по-старому. Бегу сюда, а памятник на месте!

«Чего же я не учёл?» — думаю. Решил вернуться туда, дождаться приезда Ленина, чтобы лично проконтролировать, как его брать будут. Специально в Интернете посмотрел ещё, что приехать он должен в апреле.

И главное, прибыл туда заранее — прямо первого апреля, чтобы ничего не пропустить. Хожу по Питеру и чувствую, что что-то не так. Больно уж все какие-то весёлые. Солдаты, вместо того чтобы маршировать, сидят на бордюрах, на гармошках играют да семечки лузгают. И что бы ты думал? Революция, оказывается, уже произошла! Я в охранку кинулся, а там никого, все полицейские попрятались. Доусмехались, идиоты. Значит, и Ленина на вокзале арестовать будет некому. И вообще, представь себе, я ведь дождался его приезда, так там его с таким восторгом встречали, будто это группа «Metallica».

Видишь, как трудно одному на целом свете умным быть: одни, когда их предупреждаешь, посмеиваются или в тюрьму тебя норовят упрятать; другие, понимаешь, всей Россией прут Ленина на вокзале встречать, а когда я им пытался объяснить, что он кровавый диктатор и шпион, так мне же ещё и по морде надавали. Я им говорю, что из-за революции Сталин всех в лагеря посадит, а они мне: «Это вообще кто?» Я тогда уже подумал на всё рукой махнуть: ну и получайте то, что заслужили.

Вернулся к себе домой, а там Николай на меня с фотографии смотрит и словно говорит: «Весь народ меня предал, и ты тоже». А рядом постер с Хабенским, ну, то есть с «Адмиралом». И понял я, что не всё ещё потеряно: истинная Россия ведь не в народе, а в царе заключается, в его чистых глазах и аккуратной бороде, в прямой осанке. Ради них и стоит продолжать борьбу. Да и кроме того, ведь лучшие люди, то есть высшие офицеры, после революции уже одумались, поняли, где угроза и кто главный враг. Надо только не допустить ужасного расстрела царской семьи, спасти их и переправить к своим — к белым.

Ты не представляешь, как я рисковал, сколько раз пробовал и сколько извёл своей чудесной водки! Но спасти всю семью мне никак не удавалось. Особенно с дамочками было много хлопот. Короче, решил спасти только кого-то одного, чтобы сберечь династию. Больше всех мне, конечно, было жалко маленького царевича. Но, блин, он у меня постоянно помирал в дороге. Очень уж оказался хилый. Я уж потом выяснил, что болезнь у него тяжёлая. Короче, шаг влево, шаг вправо — и не жилец. Ну никак мне не удавалось ему жизнь сохранить.

Тогда решил сконцентрировать усилия на самом Николае. Он мужик крепкий, спортивный, как и полагается настоящему русскому. Но и с ним получалось, как с барышней: «не буду» да «не хочу». Я ему про будущее России, а он мне про какие-то гарантии, я ему: «Вас тут расстреляют всех», — а он мне: «Бог даст, всё обойдётся», — я ему: «На бога надейся, а сам не плошай», — а он на меня ножкой топает да на жену всё оглядывается. Смекнул я, короче, что тут не с ним, а с ней нужно договариваться, хотя по-русски она не очень хорошо разговаривает.

Короче, через неё только я Николая и уломал. Бежали мы через всю Россию к Колчаку. А там его как раз кем-то провозглашали. Не то сибирским главнокомандующим, не то верховным диктатором каким-то. Не помню, какими неправдами, но прорвались мы к нему на приём. Так и так, говорю, вот вам ваш император. А он только губы скривил:
— Никому своё инкогнито не раскрывали?
— Никак нет! — я уж там выучил, как с офицерами говорить, а то сразу за пистолет хватаются. А он нам:
— Кто вы такие, мы ещё выясним. Уведите.

И утащили нас с Николаем в разные стороны. Меня — в подвал какой-то заперли. Думаю, это ж сколько я уже отсидел в общей сложности за свою любовь к отечеству? Думал, раз «до выяснения», так опять невесть сколько ждать придётся. А оказалось иначе: в ту же ночь слышу за дверью разговор:
— Только чтоб всё было тихо и без свидетелей.
— Не извольте беспокоиться.

И уже мне:
— Эй, выходи!

Смотрю, офицеры за мной пришли, и у всех оружие наготове. Тут я мигом всё понял, понял и проснулся у себя дома в холодном поту. Уж не знаю, что они с царём сделали, знаю только, что затея моя была напрасная, зря я его через всю страну к ним тащил, да ещё и канителился с ним всю дорогу.

Знаешь… может быть, они даже и правильно поступили, и в такое время России был нужен

не тюфяк вроде Николая, а настоящий диктатор вроде Колчака. Но постер я всё-таки со стены снял: не вязалось у меня что-то в голове, не клеилось. А может, у меня от постоянных мордобоев какой-то орган отбили, в котором патриотизм помещается… Вообще всё оказалось гораздо сложнее. Это с одной стороны. А с другой — проще. Как ни вертись, всё одно да потому выходит. Я ведь царя-то и на Дон к казакам возил. И этим, как их, учредиловцам пытался пристроить — никому он не нужен оказался.

Помню, как я в народ ходил, крестьян на защиту отечества поднимать. Думал, ладно, в городе рабочие сумасшедшие — на каждое слово тебе цитату из Маркса выдают; а крестьяне-то, особенно те, что позажиточней, должны за порядок стоять. Специально заходил в те избы, что получше справлены, особенно, если железом крыты. Правда, таких почти не нашлось — всё солома. Заводил с мужиками разговор про Россию. А они мне одно: «Россия — это земля. У кого земля — у того и Россия. Сейчас она у помещиков да монастырей. Вот ежели царь нам землю даст, так мы ему в ножки поклонимся. Только что-то долго тянет». И, главное, почти в каждой избе не портрет царя висит, а какой-то бабы. Я спросил, кто это, а мне объясняют: «Спиридонова Марья, народная заступница».

Дома я в «Википедии» посмотрел — ахнул. Стреляла в советника губернатора, сидела в тюрьме. Ленин в юбке какой-то! Да уж, кто первый крикнет: «Землю крестьянам!» — за тем эти мужики и пойдут. Но подкатывать с таким предложением к Николаю — пустой номер.

Опустились у меня руки. Но решил я последний вариант испробовать. Думаю, ты понял, какой. Да, я решил прикончить Ленина своими руками. Я знаю, что в него Каплан стреляла, но как-то мимо, а главное, когда белые ещё силу не набрали Я же решил это сделать в девятнадцатом году, когда и белые уже нормально организовались, и англичане с немцами им стали помогать, и большевики ещё не успели их всех победить.

Прилетел я и явился на митинг, на котором должен был Ленин выступать. Причём сразу же постарался материализоваться среди толпы, чтобы с задних рядов не протискиваться. Удивительное дело: если бы у нас президент так открыто к людям выходил, его бы давно кто-нибудь грохнул. Подбираюсь я, значит, поближе, ощупываю пистолет в кармане (у бати взял табельный). А Ленин рассказывает про советскую власть, про то, что некоторые не могут и не хотят её понять, про то, что всеми другими странами управляют небольшие кучки богачей, а при советах рабочие и крестьяне — сами власть. Знаешь, так наклонился к ним, но смотрит всё равно поверх голов, будто ему там что-то видно такое необыкновенное, а они все к нему, наверх тянутся, словно чтобы вырасти выше своих голов. И понял я, почему он не боится к людям выходить: да потому что его больше всего интересует то, что ему там где-то видится. И может быть, оно-то и важнее, чем сам Ленин, но что это и как его убить, я не знал. И показалось мне, что всё зря. А может, я просто испугался, потому что увидел, что все эти люди за него меня зубами загрызут, порвут, как тряпку.

Но отступать было уже некуда. Выхватил я пушку и — раз-два — уложил дедушку. Целился прямо в лоб — по такому высокому лбу не промажешь! Они там все, как один человек, вскрикнули. И этим криком меня прямо-таки сдуло, выкинуло обратно к нам. Я снова в парк побежал, а памятник всё равно — вот он. Только, кажется, выглядит он на нём теперь помоложе, что ли.

Вот я уже битый час тут стою и гадаю, чего же я не учёл, чего я не понял? Митя, может, ты мне объяснишь, почему они там смогли изменить историю, а я — нет? Водка времени у меня с собой. Хочешь, слетаем?

Лето Господне

Победители литературного
конкурса им. И. Шмелёва

Александр Титович

6 класс, Ростовская область, г. Гуково

Храни меня, моя Богородица!

Солнце тепло светит, но уже так не греет, как летом. На землю упали первые пожелтевшие листья. Дни стали короче, а вечера тянутся тоской и скукой. В небе звучат последние отголоски улетающих перелётных птиц. Осень пришла на нашу землю. Все запасы сделаны, огороды убраны, поля вскопаны. Идут мелкие дожди.

В доме тихо и тепло, лишь весёлым треском горят дровишки в печке. За окном разыгрался ветер, и скучный дождь барабанит по крыше. Я иду по дому и вижу, как в своей спальне мама сидит, склонившись, и что-то вышивает. Подхожу.

Перед моими глазами икона необычайной красоты, мама шьёт её бисером. От яркого света он блестит и переливается. И тут взгляд остановился на образе Божьей Матери. Это нежное лицо, задумчивый взгляд, улыбка доброты на её устах, золотистый венец светятся и сияют на белом полотне. Мама с трепетом пришивает бисеринку к бисеринке и улыбается.

— Садись, сынок, побудь со мной! — сказала мама

— Почему ты улыбаешься, когда шьёшь? — спросил я.

— Радостно мне, сынок, на душе, ласковыми и добрыми глазами смотрит Матушка Божья на меня, и так тепло мне, и так спокойно!

Я долго молчал и смотрел, а мама вкалывает и вкалывает иголочку в ткань. Мне показалось, что даже иголочка радостно у мамы в руках пляшет в разные стороны.

— Мамочка! Расскажи о Божьей Матери!

Вздохнув и отложив пяльцы, мама начала свой рассказ.

«В давние времена, много лет назад, в городе Назарете жили муж и жена, а звали их Анна и Иоаким. Они были не бедные и не богатые. Занимались они разведением овец. Одна была беда у них — не было деток. Долгие годы ходили они в храм и просили Господа, чтобы он послал им дитя. И вот в один прекрасный день Иоакиму и Анне явился ангел и сказал, что их молитвы услышаны Господом: родится у них благословенная дочь и назовут они её Марией».

У мамы задрожал голос и почему-то глаза заблестели и налились слезами.

— Что случилось? — спросил я.

— Знаешь, сынок, это такая беда, когда люди не могут иметь деток, и такое счастье, когда Господь посылает в семью ребёнка. У меня вас двое. Каждый день и каждую ночь я молюсь у иконы Богородицы за вас, чтобы вы не болели, чтобы учились хорошо, чтобы были добрыми и уважительными к людям. Каждый раз, стоя у иконы Пресвятой Девы, прошу её, чтобы она направила вас на путь истинный и вела вас по жизни, ограждая от бед и несчастий.

Мама прижала меня к себе и поцеловала. Губы у неё были горячие, щёки мокрые и солёные, потому что слезинки всё-таки катились у неё из глаз. Мама продолжала. «Родилась Богородица в Назарете. Когда ей было три года, её отдали на воспитание в Иерусалимский храм — это монашеская обитель была в то время. Там она жила, училась. Была умная. Вскоре родители умерли, так что долгие годы никто не посещал её. Она знала, что теперь сирота. Всю свою любовь, душу и сердце она отдала Господу в молитвах. В четырнадцать лет её отдали замуж за Иосифа. Жили они хорошо, но Мария ждала чуда. Явился ей архангел Гавриил и оповестил, что родится у неё сын Божий и назовёт она его Иисусом. Так и случилось. Появился на свет Господь наш Иисус Христос. Всю свою земную жизнь он учил людей, вёл за собой, призывал жить по Божьим законам. Время было смутное. Правил царь Ирод. Ему доносили слуги, что ходит Иисус и называет себя царём. Господа нашего схватили и распяли на кресте. Богородица была рядом. После вознесения Иисуса Христа Богородица вместе с учениками-апостолами ездила и ходила по миру. Учила людей жить. Жить так, как завещал сын Божий: по заповедям Бога. Всем бедным, больным, страждущим она помогала и добрым словом, и поступками. И где бы она не была, и что бы она не делала, все её деяния увековечены в иконах. Каждая икона имеет свою жизнь, свою историю.

Они до сих пор хранят чудеса исцелений и помощи Богородицы людям. В каждой семье, в каждом доме есть образ Божьей Матери, в который верят, который чтят, к которому подходят с молитвой и надеждой, её считают заступницей семьи…»

Я встал, поцеловал маму, а она меня. У неё лицо горело ярким румянцем. Она обняла меня и сказала: «Храни тебя, Святая Богородица!» Что-то радостное и ласковое забилось у меня внутри и засветилось от маминых слов. Ещё раз глянул в глаза Богородицы, и мне показалось, что лучик света проскользнул между нами. И мне стало так легко и так хорошо! Я лёг спать и ещё долго думал, представлял себе всю жизнь Богородицы. Каким же чистым душою и сердцем, сильным и выносливым надо быть человеку, чтобы пройти тяжёлый путь жизни. Да, она действительно Пресвятая Дева Мария!

За окном глубокая ночь. Бушует ветер, и ветки деревьев стучат по стёклам, словно запоздалый путник просится на ночлег. На улице холодно и сыро, а мне тепло и ясно. Меня согревает любовь мамы и хранит Богородица!

Наступило утро. Оно мне показалось каким-то волшебным и чудесным. Чистое небо, только белые пушистые облака, похожие на кучерявых барашков, смотрят свысока. В золотистой листве деревьев лучики солнца игривыми зайчиками прыгают по веткам. Лёгкий ветерок кружит в воздухе и вместе с опавшей листвой поёт свою сладкую песню. На подоконнике сидят воробьи и клюют упавшие алые ягоды калины.

В доме пахнет ароматными блинами и топлёным молоком. Иду на кухню мимо маминой спальни и чувствую запах свечей. Заглядываю. В уголке на комоде среди множества икон горит свеча. Яркое пламя озаряет лики Святых. И такая тишина, что даже слышно, как бьётся моё маленькое сердечко. Я догадался, что сегодня какой-то праздник, но не знал, какой именно. Мама всегда на православные праздники зажигает свечи. Моё молчание прервал голос из кухни:

— Сынок, завтрак готов!

— Мама, как хорошо сегодня на улице! Солнышко светит, потеплело, природа ожила.

— Сыночек, большой праздник сегодня — день рождения Богородицы. От того и хорошо всем: и человеку, и животному, и всем травам. Наша Матушка — Дева Мария — спустилась на землю и люди все её славят. Во всех уголках мира горят свечи в церквях и храмах, часовнях и монастырях, в бедной лачуге и в богатом доме. Звучат песнопения, бьют колокола. Люди идут в Божьи Храмы с цветами — отдать уважение и благодарность Пресвятой Богородице, помолиться Господу и попросить здоровья себе и близким. Господь и Дева Мария помогут в беде, наставят на правильный путь. Главное, чтобы в душе была вера, надежда, любовь.

Пока шёл в школу, мне показалось, что всё пело: и листва, и травы, и тёплый ветерок. Пело сладко и нежно: «Храни тебя, Богородица!» Перезвон колоколов нашей церкви радостно звучал в воздухе, и эхом доносились мелодии песнопений. Подойдя к школе, я невольно, как будто что-то вырвалось из глубины моей трепещущей души, произнёс: «Храни нас всех, Богородица!»

Мария Головина

7 класс, Московская область, д. Кострово

Последние строчки

На занятиях по вокалу в музыкальной школе я разучивала песню «Аист на крыше». Слова простые и понятные:

Аист на крыше,
Счастье под крышей —
Мир на земле!

Я задумалась, почему люди, спустя всего семьдесят лет после Великой Отечественной войны, сделали мир таким хрупким? Ведь война несёт несчастье всем, без исключения. Может, потому что забыли или не хотим помнить?

Однажды на зимних каникулах у моей прабабушки Марии (меня назвали в честь неё) мы засиделись допоздна. Мы пили чай по-деревенски, вприкуску с сахаром. Завывала метель, в окно стучали колючие, холодные снежинки. «В ту ночь тоже шёл снег, — сказала вдруг бабушка. Она отвернулась от окна, глаза её блестели слезами. — В ту ночь в 1943 году к нам в окно постучали. Стучали громко, настойчиво. На пороге стояла девушка нашего Володи Валя. Она молча опустилась на колени, протянула мне последнюю весточку с фронта. Володя погиб».

Так я услышала историю о том, как война своим чёрным крылом задела мою семью.

В селе Одесское Омской области жила обычная семья. Детей было пятеро. Маруся была самой младшей.

Когда началась война, отец, Фёдор Никитич, сразу ушёл на фронт добровольцем. Старшему сыну Володе на тот момент было двадцать лет. Весёлый, компанейский парень, писал стихи, их даже печатали в районной газете, играл на многих музыкальных инструментах.

Война началась летом, впереди уборочная страда. Фронту нужен был хлеб, а деревне — рабочие руки. Володе выдали бронь. Как только урожай был собран, Володя снова пошёл в военкомат. Его отправили на курсы в Омск, а оттуда — на передовую. Отец и сын были связистами, и так случилось (так бывает на войне), что две

части воевали рядом, на Ленинградском направлении.

В феврале 1943 года, когда блокада была уже прорвана, бои под Ленинградом продолжались. Фашисты удерживали Синявские высоты, откуда регулярно обстреливали дорогу, связывающую Ленинград со всей страной.

Как-то во время затишья две воинские части подошли друг к другу вплотную. Отец Володи спросил у солдата из соседей, нет ли у них бойца по фамилии Муромец. Ответ прозвучал: «Да, это наш лейтенант».

Отец и сын встретились, обнялись и расцеловались по русскому обычаю, троекратно. Какое счастье на войне, когда идут страшные бои, ты узнаёшь, что родной тебе человек жив и здоров! Они договорились о новой встрече, но в назначенный день и час Володя не пришёл. Его отец сделал запрос и получил ответ: полевая почта №97760 извещала, что Владимир Муромец погиб 22 марта 1943 года.

Уже после войны, обращаясь к архивам, семья узнала, что их Володя был тяжело ранен, и его должны были отправить в тыл. Но поезд расстреляли фашистские самолёты. В кармане у Володи нашли Валину фотографию с адресом, поэтому и похоронку отправили ей.

От горячего чая сахар у меня в руке совсем растаял, как снег той далёкой зимы 43-го растаял весной, унося с собой память о тяжёлых боях и потерях.

Я спросила у бабушки про Володину тетрадь со стихами. Она достала с полки коробку и протянула её мне. Там среди пожелтевших и потрескавшихся фотографий лежала толстая, исписанная тетрадь. Последнее стихотворение только начато:

В твоих косах
Спряталось лето…

Закончила писать, мельком посмотрела на календарь: 22 марта — день гибели Володи. Случайное ли совпадение? Не думаю, что случайное, как и та встреча на войне.

Когда моя православная прабабушка о таких жизненных моментах негромко говорит «Господь управил», у меня вздрагивает сердце, и я в душе своей молюсь. Молюсь о своих близких и о тех, кого даже не знаю, молюсь и гляжу в небо…

Я верю, Господь всех слышит.

Татьяна Бокша

9 класс Ростовская область, с. Хлебодарное

Оглянуться на себя самих…

В современном обществе на вопрос «Верующий ли вы человек?» часто отвечают: «Бог у меня в душе, я часто разговариваю с ним, прошу о милости ко всем людям, вымаливаю здоровья своим родным и близким, особенно часто обращаюсь к нему в те моменты, когда мне особенно плохо или больно». Но многие также задают вопрос: а нужна ли Церковь для веры в Бога? Нужны ли для общения с Богом специальные здания и атрибутика? Действительно, этот вопрос сейчас очень популярен. На сегодняшний день вопрос о Церкви — это вопрос о церковных праздниках, о церковных обычаях, о церковной культуре, о святых. Люди, которые более просвещены в эти непростых вопросах, могут легко побеседовать с интересующимися о христианской истории и культуре. Но даже несмотря на количество людей, которые относят себя, хотя бы по факту своего крещения, к православной вере, на вопрос, что такое Церковь и для чего она нужна, могут ответить лишь немногие. То, как люди представляют себе Церковь, совсем противоположно тому, чем она является на самом деле. Но перед тем как мы ответим на заданный выше вопрос, нужно немного рассказать о природе Церкви и её назначении. Наш Господь сотворил Церковь, лишь с одной единственной целью: чтобы продолжить ту великую миссию, ради которой он пришёл когда-то в этот мир. Ради спасения людей. Ради того, чтобы принести людям свет, добро и истину.

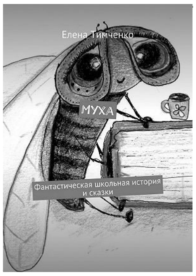
А что же такое спасение с точки зрения веры? Кто такой Спаситель? Да, Бога мы так и называем — Спаситель. Но богословский термин «спасение» сильно отличается от того, что мы называем спасением в нашей обычной повседневной жизни. Когда мы с вами в быту употребляем слово «спасение», то имеем в виду избавление человека от какой-то опасности, сохранение его жизни, возможность уберечь от бед. А вот христианское богословие говорит о спасении совсем по-другому. Спасение — это подаренная Богом любому человеку вечная жизнь. Поэтому уверенно можно сказать, что Бог — это вечный творец жизни, а не смерти. Смерть вошла в человеческую жизнь в результате неправильно выбранного человеком пути. Этот неправильный путь, привёл человека к отпадению от Бога, а значит, к отпадению от жизни, потому что Бог и есть жизнь. Этот путь называется словом «грех». Грех означает непопадание в цель, ошибку, промах.

Вот Господь и основал Церковь как попытку помочь человеку обрести вот это самое вечное спасение. Все остальные функции Церкви не являются первоочередными. Такие функции, как призывы к нравственному совершенствованию, социальное служение, образование, тоже невероятно важны, но они на общем фоне являются скорее второстепенными. В Церкви Бог даёт человеку то, что он нигде и никогда получить больше не сможет. В церковных таинствах Господь даёт

человеку Самого Себя: Свою Плоть и Свою Кровь. Бог приводит человека к вечности тогда, когда он становится Его причастником. Причащение происходит в Церкви, и только в ней! Ошибаются те люди, которые уверенно говорят, что у них свои отношения с Богом и никакая Церковь им не нужна. Мол, моя вера в душе, мне не нужны посредники между Богом и мною. Это неверный путь! Ведь так люди отвергают волшебный дар вечности, который им преподносит сам Бог. От человека в деле спасения требуется одно — вера. Остальное делается без его усилий, с помощью удивительного чуда Церкви… Люди ждут от Церкви помощи и чудес. Например, человек свершил чудо — в голой пустыне вырастил много зерна, испёк хлеба и накормил им тысячу человек, а эти люди в знак благодарности выбрали его царём. Но на следующий год урожайность упала, и расстроенные и возмущённые люди выбрали царём уже другого человека. Так происходит и по отношению к Церкви. Если человек ощущает от Церкви какую-то помощь, он согласен постоянно ходить в Храм, верить, выполнять церковные правила. Это ему кажется правильным и вовсе не трудным. Он с воодушевлением рассказывает о помощи Бога окружающим, старается вести праведный образ жизни, не нарушать церковных канонов… Но если, кроме вечного спасения, которое, возможно, будет в перспективе, он ничего не получает, человек перестаёт видеть в посещениях Церкви какой-либо смысл. Такой человек просто забывает про Церковь. Мне такая позиция кажется крайне неправильной. Такое ощущение, что люди пытаются торговаться с Богом, выкляничивая у него какую-то собственную выгоду: мол, дорогой Бог, давай я буду ходить в Церковь и вести себя хорошо, а ты за это подаришь мне свои благодати и вечное прощение. Согласен? Молчишь??? Ааа… Ну тогда, раз мне это невыгодно, я и в Церковь ходить больше не стану!

А я… Я с ранних лет, я хожу с бабушкой в Церковь, причащаюсь, ставлю свечи и просто прошу Бога, чтобы все люди были счастливы. Я много раз была там и много раз видела, как люди просили у Бога помощи: например, чтобы им подняли зарплату, чтоб увеличилась урожайность, чтоб пришло в их дом богатств, а многие женщины даже просили, чтобы у них родился ребёнок. Но, к сожалению, лично я никогда не видела, чтобы люди просили вечное спасение для своей души. И вот над чем я призадумалась: что же у нас получается — люди приходят в Церковь и пытаются решить здесь то, что Церковь не решает, что зависит от самого человека, от его Веры, от его праведности и искренности! А потом возникает разочарование в Церкви, недоверие к Богу и оскудение Веры… Может, стоит всё же оглянуться на себя самих?!

Д*и*Н ревю



Елена Тимченко

Муха

«Издательские решения», 2017

Конечно, сочинять сказку про мишку панду или о других привлекательных пушистиках куда более выгодное занятие для автора — таких героев легче полюбить, нежели насекомых или слизняков. Но с другой стороны, чем муха-то хуже? Ведь полюбили же мы всей душой Муху-Цокотуху, а заодно и всех букашек и козявок — её приятелей!

Таково уж моё устройство: если кого несправедливо обижают, не любят, обделяют вниманием, то я на их стороне; и сказки придумывать хочется именно про них.

На меня произвело глубокое впечатление одно предание, в котором говорится, что святой Франциск Ассизский собирал и относил попадавшихся ему на пути дождевых червей в безопасное место, чтобы тех не раздавили путники.

Такое уважительное отношение к жизни в любых её формах потрясает!

Во всех живых существах есть искорка, делающая его живым, и мы, люди, не очень-то возвышаемся над животным миром. Умеем летать в космос, придумывать всякие устройства и приспосабливать мир себе на потребу? А они могут за тысячи километров отыскать свой родной ручей или берёзу, почувствовать надвигающееся землетрясение или торнадо… О некоторых таких правдивых чудесах вы прочитаете в этой книге в разделе «Не сказка, а факт». Всё связано со всем. Мы все на этой земле — от улитки до слона — звенья одной непрерывной цепочки. И чтобы стать хорошим человеком, надо побыть усердным червяком, красивой бабочкой, преданной собакой и ещё много кем…

стр. 183 **Алавердова Лиана**
Нью-Йорк

Родилась в Баку. Окончила исторический факультет Азербайджанского государственного университета. Работала в Институте философии и права Академии наук Азербайджана. В 1991 году была премирована Корчаковским Обществом Азербайджана за цикл стихотворений о Яноше Корчаке. Стихи, эссе, статьи, переводы с английского и азербайджанского языков неоднократно публиковались в журналах, газетах и альманахах в Азербайджане, России и США. Автор поэтических сборников «Рифмы», «Эмигрантская тетрадь», «Из Баку в Бруклин» (с английкими переводами Л. Р. Стоун), «Иерихонская Роза», а также книг по психологии: «Самоубийство: до и после» и «Брат мой, брат мой…», сборника статей «Наши за границей: Русские эмигранты в США». В 2010 году была награждена американским журналом «Bewildering Stories» (Mariner Award). В настоящее время заведует Бруклинской публичной библиотекой Kings Bay.

стр. 78 **Алеева-Недоброво Вероника Мстиславовна**
Иваново

Родилась в Москве. Окончила филологический факультет Ивановского государственного университета. По профессии журналист. Член Союза журналистов и Союза писателей России. Участник Всероссийского совещания молодых писателей в Москве. Печаталась в журналах, коллективных сборниках, антологиях, альманахах, в том числе международных. Автор книг стихов «Изумрудный лягушонок» (с иллюстрациями автора) и «Кольцо». В Ивановском областном Доме художника и в Центральной городской библиотеке состоялись персональные выставки графики (1995, 2015). Лауреат Международного литературного фестиваля «Русские мифы» (Черногория, 2013), Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (Россия, 2015).

стр. 41 **Алабин Лев Николаевич**
Москва, 1953 г. р.

Родился в Горьком. Закончил ГИТИС, работал в театрах на Малой Бронной, на Таганке, им. В. Маяковского, в Астраханском драматическом театре, Московском Духовном театре — завлитом. Писал о театре и кино, как критик публиковался в периодике. Снимался в кино, телесериалах. Стихи, религиозные статьи и новеллы распространялись в самиздате. В 90-е религиозные рассказы попали в Интернет. Рассказ «Гипнотизёр» был перекачан на различные сайты более ста раз, переведён на украинский и английский языки.

стр. 79 **Астраханцев Александр Иванович**
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор девяти книг прозы. Последние книги: «Антимужчина» (Москва, «Голос-пресс», 2011), «Портреты. Красноярск, XX век» (Красноярск, «КАСС», 2011). Член Союза российских писателей. Председатель Правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Заместитель главного редактора журнала «День и ночь». Живёт в Красноярске.

стр. 172 **Ахадов Эльдар Алихасович**
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Кукумбер», «Сибирские огни», «Неизвестная Сибирь», «День и ночь», «Обская радуга», «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград. Живёт в Красноярске.

стр. 152 **Бимаев Анатолий Владимирович**
Санкт-Петербург, 1987 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил юридический факультет Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова. Публиковался в журналах «Абакан», «Сибирские огни», «Нева», альманахе «Порог-АК», сборнике «Антология молодых авторов Хакасии», газете «Мол», интернет-изданиях «Пролог» и «Za-Za». Участник 9 и 12 форумов «Молодых писателей России и стран ближнего зарубежья». Участник Совещания

молодых писателей Урала, Сибири и Дальнего Востока (Томск, 2015). Участник Регионального совещания сибирских авторов (Новосибирск, 2016).

стр. 3, 24
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль), антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 174
Брагин Никита Юрьевич
Москва, 1956 г. р.

Родился в Москве. Окончил геологический факультет Московского государственного университета. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Геологического института РАН, эксперт ВАК, автор многочисленных научных работ. Преподаёт в Российском государственном геологоразведочном университете (Москва). Автор сборников и книг стихов: «Стихи» (2004), «Камни, песчинки, потоки» (2005), «Лаура делла Скала» (2006), «Четыре стихии» (2008), «Избранное» (2009), «Пятый угол» (2010). Публиковался в альманахах и сборниках по итогам различных поэтических конкурсов, журналах «Российский колокол», «Лит-э-Лит», «Чайка», «Литературный меридиан», «Невский альманах», «День и ночь» и др. Член Союза писателей России.

стр. 176
Булатова Галина Ивановна
Казань, Тольятти

Родилась в Горьком. Окончила Куйбышевский институт культуры. Лауреат международного поэтического конкурса премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия» (2015). Публикации в различных журналах, а также интернет-изданиях «Новая юность», «Сетевая словесность», «45-я параллель», «Зарубежные задворки», «День и ночь» и др.

стр. 137
Валеев Марат Хасанович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск на Иртыше в целинном Казахстане. Окончил школу, успел поработать бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в С А. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты. После армии работал сварщиком в тракторной бригаде. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени Аль-Фараби (Алма-Ата). Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Автор книг: «Рассказики», «Рыбка моя», «Просто фантастика», «Шрамы», «Соседка», «Зона турбулентности» и др. Публиковался в журналах «Журналист», «Кукумбер», «Мир Севера», «Колесо смеха», «Вокруг смеха», «Сельская новь», «Семья и школа», «День и ночь», газетах: «Литературная газета», «Московская среда», «Советская Россия» и др. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси — 2008» (номинация «Юмор»), Общества любителей русского слова (номинация «Проза», 2011) «Рождественская звезда — 2011» (номинация «Проза»). Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.

стр. 178
Габриэль Александр Михайлович
Бостон, 1961 г. р.

Родился в Минске, с 1997 года живёт в США. По образованию инженер-теплоэнергетик, нынешняя специальность — тестировщик программного обеспечения. Осенью 2006 года в издательстве «Водолей» (Москва) вышла в свет первая книга «Искусство одиночества». Лауреат-финалист престижного поэтического конкурса имени Н. Гумилёва «Заблудившийся Трамвай» (2007, 2009). Обладатель премии «Золотое перо Руси» (2008). Победитель международного литературного фестиваля «Русский Стиль — 2012» в номинации «Юмор». Публикации в газетах «Форвертс» и «Новое Русское Слово» (США), журналах «Вестник», «На любителя»

и «Чайка» (США), «Гайд-Парк» (Великобритания), «Настоящее Время» (Латвия), «Крещатик» (Германия) и др. Автор четырёх книг, вышедших в России. Член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП) и Международного Союза писателей «Новый Современник».

стр. 36
Галамага Андрей Аркадьевич
Москва, 1958 г. р.

Родился в Воркуте. Детство провёл в Киеве. Окончил Московский физико-технический институт. В 1993 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького (поэтический семинар Эдуарда Балашова). Автор книг стихотворений: «Из книги стихотворений» (1991), «Русские ночи» (1992), «Формула странника» (2002), «Кареглазый ангел» (2007), «В трёх часах от Гринвича к востоку» (2010). Автор нескольких пьес, киносценариев, песен для кинофильмов. Член Союза писателей России. Дважды лауреат международного фестиваля «Пушкин в Британии» (2007, 2012). Лауреат литературного фестиваля «Русские мифы» (Черногория, 2013). Обладатель Гран-при 1-го Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» в городе Саки (Крым, 2015).

стр. 183
Долгополова Татьяна Геннадьевна
Красноярск, 1970 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила Красноярский государственный педагогический университет. Автор книг стихов: «Зодиакальная болезнь», «Московское время», «Лепта», «От себя». Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева. Живёт в Красноярске.

стр. 19
Ершов Максим Сергеевич
Самара, 1977 г. р.

Родился в городе Сызрань Самарской области. Поэт, критик, учился в Литературном институте имени А. М. Горького по специальности «поэзия» (семинар С. Ю. Куняева). Лауреат журнала «Русское эхо» (Самара) в номинации «Литературоведение». Автор книги стихов «Флагшток» (Самара, 2011). Член Союза писателей России. Автор журналов «Наш современник», «Москва», «Юность», газеты «День литературы». Стихи автора вошли в двухтомник «Большой стиль» журнала «Москва» (2015) и альманах «Антология поэзии», издательство «У Никитских ворот» (2015).

стр. 146
Иваськова Ирина Викторовна,
Анапа, 1981 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила Красноярский государственный университет, факультет юриспруденции, около десяти лет работала по специальности. Небольшие рассказы начала писать в 2006 году, начав с интернет-публикаций. В 2008 году была опубликована в интернет-журнале молодых писателей России «Пролог» (рассказы «Папина дочка» и «Средний возраст»). В 2010 году переехала из Красноярска в Анапу. В 2014 году вошла в лонг-лист независимой премии «Дебют» в номинации «Малая проза» с подборкой рассказов. В 2015 году получила Гран-при I Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Поэзии прекрасный свет» (рассказ «Норма Джин»). В 2016 году вошла в редакционную коллегию литературно-художественного альманаха «Парус», издающегося в Анапе. Дебютная книга «Бумажный саксофон» вышла в краснодарском издательстве «Новация» в ноябре 2016 года. Член Союза писателей России.

стр. 187
Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра». Живёт в Красноярске.

стр. 6
Курбатов Валентин Яковлевич
Псков, 1939 г. р.

Литературный критик, литературовед, прозаик. Родился в Ульяновской области. Долгое время жил на Урале. Служил на Северном флоте. Окончил ВГИК. Выпустил книги об В. Астафьеве, гоголевском иллюстраторе А. Агине, М. Пришвине, В. Распутине, автор множества статей по русскому искусству, русской и зарубежной литературе. Член Союза писателей России, член жюри литературной премии «Ясная Поляна». Академик Академии российской словесности, лауреат премии Л. Н. Толстого за 1998 год, премий за лучшую работу года журналов «Наш современник», «Литературное обозрение», «Смена», «Урал», «Москва» и др. Публикация посвящена памяти уроженца Красноярского края, выдающегося русского писателя В. П. Астафьева.

стр. 74
Лакербай Дмитрий Леонидович
Иваново, 1965 г. р.

Поэт, литературовед, филолог. Родился в Гагре Абхазской АССР. Кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы и русской литературы XX века Ивановского государственного университета. Автор многих публикаций. В частности, печатался в журналах «Знамя», «Арион», «Дети Ра», «Зинзивер» (лауреат премии журнала за 2016 год), в антологии «Нестоличная литература». Член Союза писателей XXI века.

стр. 23, 33, 145
Минин Евгений Аронович
Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи и проза печатаются в израильских,

американских, европейских, российских журналах и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (APIA) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат нескольких литературных премий. Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр. 77

Москалёва Марина

Иваново

Журналист, редактор. Кандидат исторических наук, преподаватель кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Ивановского государственного университета. Автор поэтического сборника «Будь чуть-чуть причастен». Стихи и проза публиковались в альманахах «Откровение», «Уводьское водохранилище» (Иваново), журнале «Русский путь» (Ярославль), региональных газетах и журналах. Член Союза писателей России. Член Союза журналистов России.

стр. 68

Роваев Александр

Иваново, 1960 г. р.

Родился в Иванове. Стихи и проза печатались в местной прессе и альманахе «Откровение», песни в авторском исполнении нередко звучат на ивановских сценах.

стр. 64

Саввиных Марина Олеговна

Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), в еженедельнике «Обзор» (Чикаго), коллективных сборниках и антологиях. Автор девяти книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994). Лауреат Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Лауреат X Всероссийского поэтического конкурса «Мечети — Божьи храмы» (2016), кавалер Ордена Достоевского I степени. Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член Президиума Международного «Союза писателей XXI века». Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Главный редактор литературного журнала «День и ночь». Живёт в Красноярске.

стр. 34

Скобцов Владимир Леонидович

Донецк, 1959 г. р.

Поэт, бард, прозаик. Родился в Донецке. Окончил Донецкий университет, исторический факультет. Автор сборников: «Стихи под гитару» (1999), «Целовало времечко» (2000), «Автопортрет» (2001), «Венок сонетов» (2011), «Непокорённый» (2015) и др.

стр. 32

Слепухин Сергей Викторович

Екатеринбург, 1961 г. р.

Поэт, художник. Родился в городе Асбесте Свердловской области. Окончил Свердловский медицинский институт, аспирантуру при кафедре физиологии человека. Работал врачом, преподавателем. Главный редактор альманаха «Белый ворон». Автор книг стихов: «Слава богу, сегодня пятница!» (2000), «Осенний покрой» (2003), «Вода и пряжа» (2005), «Прощай, Парезия» (2007), «Задержка дыхания» (2009), «Дотла забывать» (2011), «Послесвеченье» (2013), «Женщины и самолёты» (2014), а также книг эссе совместно с Марией Огарковой — «Новые карты Аида» (2009), «Перья и крылья» (2010). Публиковался в журналах «Звезда», «Уральская новь», «Арион», «Знамя», «Новый берег», «Крещатик», «Волга», «Зинзивер», «Дети Ра», «День и ночь», «Новый журнал», «Урал», «Интерпоэзия», «Иностранная литература» и др. В 2015 году Библиотекой Конгресса США выпущена книга стихоживописи «Небокеан», совместная с бостонским художником Изей Шлосбергом. Автор персональных выставок живописи в Екатеринбурге (1987) и Санкт-Петербурге (2002, 2003).

стр. 72

Соколов Виктор Григорьевич

Иваново, 1941 г. р.

Родился в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, аспирантуру на кафедре теории журналистики. Работал главным редактором «Ивановской газеты», преподавателем. В середине 90-х годов был членом инициативной группы по созданию областной организации «Союз Чернобыль». Входил в состав её правления. Имеет статус «чернобыльца-ликвидатора». Возглавлял Ивановскую областную журналистскую организацию, был членом Федеративного совета Союза журналистов России. Автор и редактор десятков поэтических сборников, сотен литературно-критических статей, рецензий и аннотаций, редактор-составитель трёх выпусков литературно-художественного альманаха Ивановской писательской организации «Откровение». Произведения публиковались в периодике, журналах, альманахах, коллективных

сборниках России, Украины, Белоруссии, Польши, Франции. Обладатель многочисленных премий и наград. Член Союза писателей России, Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

стр. 12

Солнцев Роман Харисович

Красноярск, 1939–2007

Российский писатель, поэт и сценарист. Родился в селе Кузкеево Мензелинского района Татарской АССР. С 1962 года жил и работал в Красноярске. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. После окончания института работал в геологических партиях в Сибири. С 1962 году начал работать преподавателем в Красноярском политехническом институте. В этот же год в журнале «Смена» появилась его первая публикация. После Совещания молодых писателей Сибири в Чите в 1965 году был принят в члены Союза советских писателей. В годы перестройки активно занимался общественной деятельностью. Избирался народным депутатом СССР от Красноярска, депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Верховного Совета СССР (1989–1991). В марте 1992 года стал госсекретарём — председателем Комитета по общественным и политическим связям администрации Красноярского края. С июля 1993 года являлся ответственным секретарём координационного совета краевой администрации, был членом Комитета по вопросам правопорядка и борьбы с преступностью. Также в 1993 году возглавил инициативную группу красноярских писателей по созданию литературного журнала для семейного чтения «День и ночь», в дальнейшем работал главным редактором этого издания. По его пьесам поставлены спектакли в Красноярске, Москве и других городах России. Сценарий фильма «Торможение в небесах» в 1993 году получил Гран-при на международном кинофестивале в Страсбурге. Лауреат премий Министерств культуры СССР и России в области драматургии, заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета». Жил и работал в Красноярске.

обл.

Соловьёва Светлана Александровна

Новосибирск, 1995 г. р.

Родилась в Караганде. С 2012 живёт в Новосибирске. Сейчас студентка 5 курса Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств отделения монументально-декоративной живописи. Участник ряда профессиональных художественных выставок. Удостоена стипендии Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства имени Н. Д. Грицюка в 2015/16 и 2016/17 учебных годах.

стр. 38

Субботин Анатолий Павлович

Пермь, 1957 г. р.

Родился в посёлке Ныроб Чердынского района Пермской области. Поэт, прозаик. Детство и юность прошли в прикамском городе Александровске. Здесь же окончил среднюю школу. Затем — филологический факультет Пермского университета имени А. М. Горького. Во время учёбы в университете входил в поэтическую группу «Времири» (1977–1979). В дальнейшем — в качестве «Кандидата в члены Политбюро» — в литературное сообщество «Политбюро» (1989–1990), которое расшифровывалось как «Пермское объединение литературных бюрократов». Впоследствии (1997–1999) в составе литературной группы «Монарх» участвовал в движении «монархистов», включавших в свои выступления «допетровскую» игровую символику: «Окольничий», «Сокольничий и т. д. Субботин был наделён шутливым титулом «Спальник». Стихи включены в антологии «Самиздат века» (М., 1998), «Жанры и строфы современной русской поэзии» (М., 2013), коллективные сборники «Монарх. Семь самозванцев» (Пермь, 1999), «Антология тишины» (Пермь, 2002). Публиковался в журналах «Юность», «День и ночь», «Урал», «Дети Ра», альманахах «Лабиринт», «Третья Пермь» и др. Стихи переведены на болгарский и украинский языки. В разные годы работал плотником, преподавателем русского языка и литературы, полиграфистом и печатником, редактором в Доме народного творчества и библиотеке для слепых. Член Союза российских писателей с 1999 года. Был ответственным секретарём Пермского отделения Союза российских писателей. Автор книги стихотворений «Беспризорное небо» (Пермь, 2015).

стр. 28

Трушкин Дмитрий

Владимир, 1995 г. р.

Поэт, студент Литинститута (семинар поэзии С. С. Арутюнова), лидер постпанк-группы «Кремация Бонифация» (автор текстов, вокал).

стр. 184

Харченко Вера Константиновна

Белгород, 1949 г. р.

Родилась в Калинине (ныне Тверь). Окончила Новосибирский государственный педагогический институт, в 1970 году поступила в аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена. Доктор филологических наук, почётный профессор, заведующая кафедрой филологии историко-филологического факультета Белгородского государственного национального исследовательского университета. Почётный работник высшего профессионального образования, почётный профессор БелГУ, отличник народного просвещения, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Награждена

медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени (2014). Автор многочисленных научных работ, в том числе монографий, словарей, учебных пособий, составитель баз данных, пяти поэтических сборников, участница Международного фестиваля поэзии в городе Ополе (2010), дипломант международного конкурса на лучшее стихотворение о переводчиках и переводе (2013).

стр. 20

Черкесов Валерий Николаевич

Белгород, 1947 г. р.

Родился в Благовещенске Амурской области. После окончания вечерней школы работал литсотрудником районных газет Приамурья, областной газеты «Амурская правда», газет строительства Байкало-Амурской магистрали — «БАМ» и «Мосты магистрали». Учился заочно в Благовещенском педагогическом институте. С 1982 года живёт в Белгороде. Работал в районной газете «Знамя» и областной молодёжной газете «Смена», выпускал областную газету для детей и подростков «Большая переменка», был собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Центральному федеральному округу. В 1992 году создал Центр развития литературного творчества «Родная лира» при Белгородской государственной детской библиотеке, которым руководит и по сей день. Автор двадцати трёх книг поэзии, прозы, публицистики, произведений для детей, изданных в Москве, Белгороде, Благовещенске, Воронеже, Хабаровске. Автор книги очерков и статей о писателях и литературе «Данники русского слова» (Белгород, 2016). Стихи и проза печатались во многих центральных и региональных журналах, альманахах, сборниках, а также антологиях, в том числе и московских. Под его редакцией было издано около пятидесяти книг белгородских прозаиков и поэтов. Редактор-составитель «Антологии современной литературы Белгородчины» (1993), один из редакторов-составителей трёхтомника «Писатели Белогорья» (2014) и сборника духовной лирики белгородских поэтов «…Во исповедании сердечном» (2016). Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературно-театральной премии «Хрустальная роза Виктора Розова» (2008) и Международной литературной премии «Прохоровское поле» (2013), дипломант IV Международного литературного форума «Золотой витязь» (2013).

стр. 14

Шанин Владимир Яковлевич

Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году, и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне…», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей «главной» книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». В 2011 году вышел первый том «Енисейской летописи» — это хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края. Готовится к изданию второй том. «Енисейская летопись» на сегодняшний день является единственным в своём роде изданием, хронологически описывающим исторические события нашего края. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России. Живёт в Красноярске.

стр. 29

Шемшученко Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 1956 г. р.

Родился в Караганде. Получил образование в Киевском политехническом, Норильском индустриальном и Московском литературном институтах. Работал в Заполярье, на Украине и в Казахстане. Кавалер ордена Святого благоверного князя Александра Невского. Лауреат множества международных и всероссийских литературных премий в области поэзии. Награждён патриархом Московским и всея Руси Алексием II золотой медалью Сергия Радонежского I степени, медалями Фёдора Тютчева и Василия Шукшина. Соучредитель Европейского конгресса литераторов. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Награждён Почётной грамотой Союза журналистов РФ «За большой вклад в развитие российской журналистики», а также Почётными грамотами СП России и Главы Луганской народной республики И. Плотницкого. По итогам Второго открытого Всероссийского конкурса поэзии в доме-музее Игоря Северянина назван «Королём поэтов». Автор 13 книг стихов. В течение 12 лет является главным редактором международного литературно-художественного журнала «Всерусскій соборъ» и общественно-политической газеты «Небесный всадник». Заместитель шеф-редактора «Литературной газеты». Член Союза писателей России, Союза писателей Казахстана.

стр. 76

Щасная Лариса Ивановна

Иваново, 1939 г. р.

Поэт, прозаик, журналист. Родилась в городе Ханжонково Донецкой области. В 1962 году окончила Новочеркасский политехнический институт, а в 1970 году — Литературный институт имени А. М. Горького. Автор десяти поэтических сборников, трёх книг прозы, сборника пьес. Отдельные стихотворения переводились на татарский, азербайджанский, молдавский, польский языки. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

М. О. Наумова

РЕДАКТОРЫ

отдел прозы

Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов

отдел поэзии

Сергей Кузнечихин

отдел публицистики

Геннадий Васильев

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Дарья Романова

СЕКРЕТАРИАТ

Юлия Вятчина
Артём Яковлев

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков — Набережные Челны
Сергей Арутюнов — Москва
Юрий Беликов — Пермь
Светлана Василенко — Москва
Вера Зубарева — Филадельфия
Анатолий Кирилин — Барнаул
Валентин Курбатов — Псков
Андрей Лазарчук — Санкт-Петербург
Евгений Минин — Иерусалим
Виталий Молчанов — Оренбург
Дмитрий Мурзин — Кемерово
Миясат Муслимова — Махачкала
Лев Роднов — Ижевск
Евгений Степанов — Москва
Михаил Тарковский — Бахта
Владимир Шемшученко — Санкт-Петербург
Нина Ягодинцева — Челябинск

Журнал издаётся с 1993 г.

16+

В оформлении обложки использованы картины Светланы Соловьёвой.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».
ИНН 2463042749
Расчётный счёт
40702810800600000186
в «Сибирском» филиале
банка ВТБ ПАО
в г. Новосибирске
БИК 045004788

Корреспондентский счёт
30101810850040000788

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3. т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 1.06.2017
Дата выхода в свет: 20.06.2017
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт» г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10; т. +7 904 895 0340 эл. почта: 2007rex@mail.ru

Светлана Соловьёва | Мастерская | 130 × 100 | 2016

Светлана Соловьёва | День | 120 × 100 | 2016   На обложке: Дом (фрагмент) | 80 × 100 | 2015